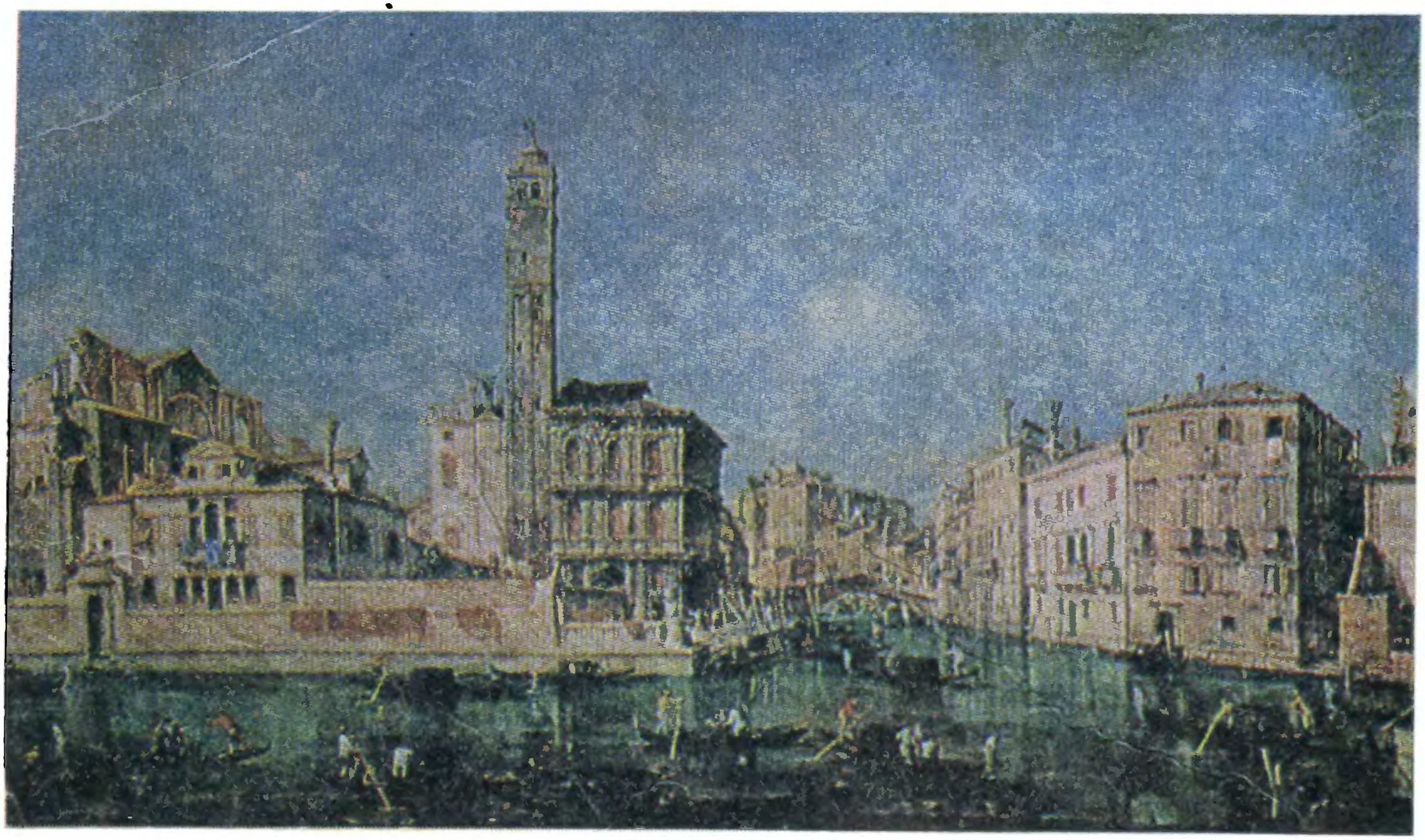
ISSN 0130–6545

1. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ФРАНЧЕСКО ГВАРДИ «Большой канал у Сан-Джеремия».

Цветные иллюстрации номера~
репродукции с картин
из собрания Старой Пинакотеки (Мюнхен)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1 январь 1985

Содержание

ХОАКИН МАРКО — Стихи разных лет *(Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко)* 3

ЭБЕРХАРД ПАНИЦ — Трамвай моего отца *(Повесть. Перевод с немецкого М. Федорова)* 10

ШАНДОР ВЁРЕШ — Стихи *(Перевод с венгерского Давида Самойлова. Вступление Елены Малыхиной)* 89

РОБЕРТ ЛАДЛЭМ — Бумага Мэтлока *(Роман. Перевод с английского Михаила Брука. Вступление Юлиана Семенова)* 97

Критика

Вступая в новое полустолетие

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ. ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ. ЭКТОР МУХИКА. ГАНГА ПРАСАД ВИМАЛ. ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ. ЯРМИЛА ФРОМКОВА. ДУШАН СЛОБОДНИК *(Переводы Н. Степановой, С. Прохоровой, Г. Вержховской, М. Салганик, А. Ковача)* 169

МЭРИ КРУС — Куба и Хемингуэй *(Перевод с испанского и вступление Юрия Папорова)* 175

Наш календарь

К 90-летию Джона Бойнтона Пристли

ДЖ. Б. ПРИСТЛИ — Жизнь, литература и школа *(Перевод с английского М. Лорие. Вступление Е. Гениевой)* 182

Культура и современность

Ю. ВАННИКОВ — На пороге больших перемен 195

Л. ПЕРЕВЕРЗЕВ — Клуб культуры или церковь отравленных умов? 197

Публицистика

МАКСИМИЛИАН БЕРЕЗОВСКИЙ — Непременно скандал *(Главы из книги. Перевод с польского и вступление А. Ермонского)* 201

МАРК ТВЕН — Из эссеистики *(К 150-летию со дня рождения. Перевод с английского А. Дурново, М. Загота. Вступление А. Зверева)* 217

Антирубрика

Ф. ТОНКАБОНИ — Похвала лености. Жизнь. *(Перевод с персидского Дж. Дорри)* 230

К нашим иллюстрациям 235

Наши гости

Т. РОТЕНБЕРГ — Норман Мейлер (США) 236

Среди книг

Издано в СССР

Н. ПОПОВА — «Я, ты, alter ego...» *(Ален Боске. Избранные стихотворения)* ◆ А. Шемякин — Чтобы ожил край... *(Б. Хайнс. Цена угля. Р. Уильямс. Вокруг Манода)* 240

Издано за рубежом

С. ШЕРЛАИМОВА — Как жить завтра? *(Вера Адлова. Горький запах осени)* ◆ ГАСТОН БУАЧИДЗЕ — На встречу с Лафонтеном *(Сулхан-Саба Орбелиани. Мудрость вымысла)* 245

Из месяца в месяц 249

На 1-й странице обложки — АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. «Автопортрет в меховом кафтане». На 4-й странице — ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ. «Страна лентяев».

© «Иностранная литература», 1985.

ХОАКИН МАРКО

Стихи разных лет

■

Перевод с испанского
и вступление **СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО**

Когда в январе 1939 года франкистские войска вступили в Барселону, Хоакину Марко не исполнилось еще и четырех лет. Но память о войне, о бомбах, падающих на людные площади и мирные крыши, осколком вошла ему в сердце и позднее выплеснулась в его стихи. Так же, как и память о «холодных сороковых» и о пятидесятых, с их «горьким хлебом отчаянья», вскормившим его отрочество и юность, которые пришлись на самую мрачную пору франкистского режима.

Первая книга Хоакина Марко называлась «Будет праздник и на нашей улице» (1961). «Подобную поэзию,— писал он сам позднее,— обычно называют социальной. Но не менее существенно в ней личное чувство протеста. Как же было не протестовать? Само писание стихов было тогда равнозначно мятежу...»

Тему нравственной ответственности, которую несет писатель перед лицом эпохи и отечества, разрабатывает он и в последующих сборниках: «Открыть окно порой не просто», «Избранные преступления», «Воздух без голоса»...

Филолог по образованию, профессор Барселонского университета, он многое успел сделать и в области критики, углубленно занимаясь историей испаноязычной и каталонской литературы. Свидетельством тому такие его исследования, как «Народная политическая поэзия XX века», «Народная литература Испании XVIII—XIX вв.», «Новая поэзия Каталонии»,— полный список филологических его сочинений включает около двадцати наименований.

И все же Хоакина Марко знают и ценят в Испании прежде всего как поэта. Процесс возрождения в стране демократических институтов, начавшийся после смерти Франко, стремительно меняет лицо испанской действительности. Бурлят общественные страсти, растет социальная активность масс. И Хоакин Марко, не так давно избранный председателем Коллегиальной ассоциации каталонских писателей, прекрасно понимает, что поэту как воздух необходима обратная связь с его аудиторией. В последнее время он занят напряженными поисками поэтических форм, которые бы обеспечили современной поэзии более надежный контакт с читателем. При этом он не только изобретает и экспериментирует, но и обращается к опыту классики, ибо, как он сам верно заметил, «чтобы идти вперед, надо оглянуться назад». О читателе он думает всегда и всегда надеется найти в нем — или разбудить? — поэта. Название последнего его сборника стихов содержит в себе «грамматическую» метафору: «Лицо настоящего времени». Предисловие к нему он завершает такими словами: «Организованные в книгу, слова мои ищут читателя. О нем, о всех нас думаем мы все вместе, стартуя с площадки белой страницы в поисках поэтического голоса — моего и каждого из вас». Хочется надеяться, что и на русском языке его стихи найдут своего читателя.

© Joaquin Marco, 1976.

ХОАКИН МАРКО — JOAQUÍN MARCO (род. в 1935 г.)
Испанский поэт. Автор нескольких поэтических сборников, среди них «Будет праздник и на нашей улице» («Fiesta en la calle», 1961), «Открыть окно порой не просто» («Abrir una ventana a veces no es sencillo», 1965), «Избранные преступления» («Algunos crímenes», 1971), «Лицо настоящего времени» («El significado de nuestro presente», 1983).
Публикуемые стихотворения взяты из его книги «Поэзия» («Poesía», Barcelona, Plaza & Janes, S. A., 1976).

Из цикла
«Открытое письмо к молодежи»

Страну тоже
могут расстрелять на рассвете,
словно приговоренного к смерти.

И она тоже
будет истекать кровью,
рухнув лицом в руины.

Ее могут убить выстрелом в сердце
или в спину.
Но расстрелянная земля,
кровоточа и содрогаясь,
не перестанет плакать
и петь сквозь слезы.

■ ■ ■

Горько
и больно
видеть,
как уловки
дряхлого мира
мертвой
хваткой
держат на привязи
нашу
молодежь,
околпачив ее,
оболванив,
одурачив ее,
обманув.
И наше:
«Им даже невдомек,
бедным...» —
увы. не впрок.
Вот она,
молодежь:
на пляже,
в полуобмороке,
полусне,
ни вспышки мысли
в глазах,
оболваненная
приезжим
джаз-бандом,
фальшивым
насквозь,
как пустоголовая
статуя
Свободы.

■ ■ ■

А я повторяю: мы с вами взвеяны одним ветром,
и ветер этот овеял общую нашу родину.

Мы с вами глотаем одни и те же слезы.

Одним и тем же ветром мы гонимы:
по общей пустыне,
в тоске по общему дому.

■ ■ ■

Каждый день я встречаю тебя, молодежь,
и смотрю на тебя, задаваясь вопросом:
почему, отчего поколенье твое
оказалось безропотным и безголосым.

Я и сам ведь не стар.
Но язык мой тебе
непонятен... Безропотна ты беспричинно.

Я гляжу на тебя. И я вижу: в тебе
притаились под гладью гроза и пучина.

Бомбардировщик

Привяжите по канату
к легким крыльям бомбовоза.
Колесо судьбы чревато

гибельной метаморфозой:
то к лучам летит куда-то,
то теряется во мгле.

Привяжите по канату
к легким крыльям бомбовоза:

пусть ржавеет на земле.

Песня
в честь павшего солдата

Да не взойдет твоя запекшаяся кровь желтыми цветами,
но пусть твои кости станут гулким галопом
скачущих табунов.

Пусть взвоют сегодня морские сирены,
провозглашая имя твое — убитый в дождливый полдень!
Пусть имя твое узнают невесты и конверты.

Предадим забвению то, чего не было,
не забудем того, что было.

И пусть твои двадцать лет шелестят
летним ливнем над колосьями пшеницы.
Пусть станет пламенем глина, в которой ты растворился.
Пусть голуби свивают гнезда
под летней глыбой голубой глубины.

Пусть смерч твоей смерти
станет миром и песней.

Да смоет волна в море
все примкнутые штыки.

Песня об уснувшей свободе

От прежних дней осталась
во мне одна усталость.
Осталась лишь усталость
во мне — такая малость!

Свобода, ты — и воздух,
и вздох, и море в звездах.

А без тебя — сутулость
и тьма непониманий.
Пока ты не проснулась,
мы сами спим в тумане.

Проклятие

Чтобы летать, птицам нужен только воздух.
Мне же, родившемуся бескрылым,
необходимо еще кое-что:
например, лесная тишина,
например, свободное время, чтобы засесть
за стихи.

Или, скажем,— вагон электрички,
везущей меня неизвестно куда.
Меня все время убеждают,
что я родился на земле солнца и золотых апельсинов,
в счастливой и мирной стране...

А мне не верится...

Те годы, боже мой...

В детстве
мы начиняли петардами пустые жестянки,
и они взлетали, взрываясь, у Старого рынка.

В детстве, выбежав из школы,
мы спешили к ближнему фонтану
поиграть с водой — других игрушек у нас не было.

В детстве, в те годы,
когда в Испании свирепствовала смерть,
мы жевали горький хлеб, черствый хлеб отчаянья.

Однажды на улице Рондас
ограбили банк. Началась перестрелка —
мы слушали ее на уроке латыни.

Холодные, черные сороковые!
Черный рынок:
черный табак, черствый хлеб, постное масло.
Господи! А сколько крови и гноя в госпиталях!

Горе нам, бедным! В детстве
хлеб наш оказался слишком горек.
Поэтому из нас не получилось
добрых прихожан. Не получилось.

Воспоминание

Вспоминать-то особенно и нечего.
Пропели первые петухи.
Взошло солнце.

Помню — луг, и много цветов,
и повсюду детские голоса.

Потом распустился еще один цветок —
огненный,
и нашего дома не стало.

Что уж тут вспоминать!
Мы спрятались в роще,
а самолеты летели
и казались то синими,
то черными.
Все остальное я позабыл.

Помню только еще твои глаза,
в которых застыл ужас.

Ей-богу, все это правда, как на духу...

Я пишу вам из Западного Берлина. Решил сколотить
деньжат.
Ну, доложу я вам, город! Чего я тут только не видел!
Во-первых, море, в котором ни капли влаги.
Или вот еще чудеса: скажем, замороженное пламя,
а рядом — сияющая темнота.
Видел я и дерево с двумя немигающими глазами,
видел лиловые реки и белые субмарины.

Я был до смерти счастлив: ведь я покинул любимую,
я радовался, как ребенок, оказавшийся один в темноте,
я облизывался, как собака, проглотившая гвоздь,
я похихикивал, как старушка, у которой останавливается
сердце.

Меня пригласил в гости один иммигрант-испанец,
у которого есть холодильник и даже стиральная машина.
Беседовал я с пожарником: он поджигает гаражи,
а однажды мне встретилась жаба — в рясе, с кадилом
и при посохе.

Этот народ живет счастливо и припеваючи,
как всякая незамужняя испанка,
обнаружившая, что у нее будет ребенок,
как узник, которому подарили пожизненную решетку,
как белый медведь, на котором сюртук и штиблеты.

Я встретил там рыбу, переодетую зонтиком,
и видел Неруду в смокинге:
он очень хвалил Пиночета.
Я написал там стихи, элегантные, словно роза,—
еще бы! Ведь я был в Жемчужине Западного Мира!

Оказывается, надо жить себе потихоньку,
копить капиталец, как добропорядочный бюргер.
И все пойдет лучше некуда, все на свете станут довольны,
никакого тебе смятения, голода или войны.

Кстати, я там еще видел колибри крупней бегемота
и розового змия: он танцевал ча-ча-ча...

Преступление

Че Гевара был чересчур серьезен
и слишком ребячлив. Как гласит предание,
его хладнокровно застрелили,
когда он, раненый, лежал под деревом
и в боливийских тропиках затевался рассвет.

Так погиб этот революционер,
этот народный герой,
талантливый врач, экс-министр,
любящий отец... Стоп.

Стоп, стоп, стоп.
А если все вывернуть наизнанку?

Итак, примем во внимание,
что Че Гевара был чересчур уж революционером
и слишком, как бы это сказать... интернационалистом.
Ведь он, того гляди, мог победить
в последней своей схватке с «рейнджерами»,
а потом отправиться во Вьетнам
или куда-нибудь еще — скажем... в Нигерию!

И опять же: ну чего ему не сиделось в Аргентине?
Лечил бы себе больных,
морил бы их лекарствами, как положено,
купил бы себе лимузин и стал бы почетным членом
какого-нибудь респектабельного клуба в Буэнос-Айресе.
И никаких тебе неприятностей, заявлений, опровержений
и всяких там последних известий.
Жил бы себе как все нормальные люди,
ибо назначение человека —
соответствовать норме,
то есть тихо прожить положенные годы
и нешумно умереть от какого-нибудь рака легких.

Че Гевара же был вопиющим исключением из правил.

Зеленая пальма, вспышки выстрелов, крики,
сполохи света. Чересчур много света.
Вот и покончили с ним.
Его хладнокровно застрелили — раненого, под деревом.
Что тут скажешь? Его убили.

Разумеется, убийцам воздали по заслугам:
все они получили заслуженное повышение.

Преступление свершилось в Боливии.
Но Боливия тут ни при чем.

Глупая песня

«Ай-ай-ай,
конец звезде,
ай-ай-ай,
звезда в воде!» —
глядя в фонтан,
пишет султан.

«Ай-ай-ай,
стрелой во мгле ведь,
ай-ай-ай,
подстрелен лебедь...»
Лебедь попал в переплет,
но смерть, сеньор,
совсем не тот,
не тот коленкор!

Ай-ай-ай,
певец чувствительности,
поэт чурается
действительности.

Ты, бард, от души
рад розой пораниться.
Пиши не пиши —
какая нам разница?

Поэзия

Поэзия — не струн бренчанье,
а вспенившие море рифы.
Страшась метафоры и рифмы,
она приветствует молчанье.

Предпочитает яркой торбе
она разбитое корыто.

Мой стол закапан воском скорби.

А в нем собака и зарыта.

■

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.)
Советский поэт и переводчик филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги стихов «Четыре лета в году» (1980) Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно Пабло Неруды, Леона де Грейффа, Хосе А. Гойтисоло и других испанских и латиноамериканских поэтов Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе составление, комментарий и предисловие к двуязычной антологии «Испанская поэзия в русских переводах, 1792—1976» (М., 1978, 1984).

ЭБЕРХАРД ПАНИЦ

Трамвай моего отца

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого М. **ФЕДОРОВА**

Детей разметало по свету,
но каждый вместо наследства
взял с собой
дома родного дыханье,
точно лоскут отцовского савана.

Белла Шагал

Я прожил в Берлине без малого четверть века, как вдруг однажды вечером в трамвае у Варшавского моста встретил отца. Сначала я просто собственным глазам не поверил: ведь, насколько мне известно, отец за всю свою жизнь ни разу не покидал Дрезден, если не считать вынужденных разъездов во время войны. Тем не менее вполне вероятно, что он, солдат ветеринарной службы, мог некогда сопровождать подопечных артиллерийских лошадей по железной дороге через всю страну к фронту. И отчего бы ему тогда не покормить и не напоить животных именно здесь, на сортировочной станции под Варшавским мостом, среди развалин и дыма, в редкий миг затишья после бомбежки.

Правда, все это было очень давно и почти забылось, да я толком ничего и не мог помнить, потому что по молодости лет в серьезные разговоры меня тогда не допускали. Конечно, отец обо всем этом рассказывал, когда незадолго до конца войны приехал в краткосрочный отпуск, весьма удрученный, что ему надо на Одер, где уже проходил фронт. Помнится, речь шла о бомбежке, в которой погибло множество лошадей, потому-то отца и приписали к зенитной батарее, хотя бить она должна была не по самолетам, а по танкам.

В то время мы жили в Дрезден-Нёйштадте, недалеко от Хайде и Шютценхофберга, и трамвай еще беспрепятственно следовал от Вильдер-Манна через мост Мариенбрюкке и Альтштадт на Плауэн и Кошюц. Все было почти как в мирные годы, хотя отец и носил вместо

© Mitteldeutsher Verlag, Halle, 1979.

ЭБЕРХАРД ПАНИЦ — EBERHARD PANITZ (род. в 1932 г.).
Немецкий писатель, драматург, сценарист (ГДР). Родился в семье вагоновожатого в Дрездене. Окончил педагогический институт, работал редактором. В 1955 г. появилась его первая повесть «Кэте» («Käte»). Автор романов «Гаснущие огни» («Die Feuer sinken», 1960) «Под деревьями дождь идет дважды» («Unter den Bäumen regnet es zweimal», 1969) «Мой дорогой дядя Ханс» («Mein lieber Onkel Hans», 1983), повести «Ледниковый период» («Eiszeit» 1983) рассказов пьес, сценариев и других произведений. За свою творческую деятельность Э. Паниц был удостоен Национальной премии ГДР, премии имени Генриха Манна и других литературных премий.

Повесть «Трамвай моего отца» вышла в 1979 г. («Meines Vaters Strassenbahn». Halle, Mitteldeutscher Verlag, 1979) Повесть будет включена в сборник произведений Э. Паница, который готовится к печати в издательстве «Радуга».

формы кондуктора солдатский мундир. Теперь кондукторами в основном работали женщины, были и женщины-вагоновожатые, успешно соперничавшие с оставшимися дома стариками. Эти молодые особы могли в рекордное время домчать трамвай до Нидерзедлица, хотя тем самым постоянно вносили путаницу в график движения.

— Неразбериха — вот как это называется,— неодобрительно заметил отец в свой последний отпуск, за несколько дней до налетов, случившихся в феврале[1]. Потом было еще несколько бомбардировок, в марте и апреле, пока город не превратился в груду развалин. При этом вышло из строя много моторных вагонов и прицепов, контактная сеть была порвана, рельсы искорежены и разбиты; по большинству маршрутов неделями ездить было нельзя. От товарищей отца мы впоследствии узнали, что многие из молодых вагоновожатых погибли, а десятки пассажиров заживо сгорели.

Мне стало не по себе, когда я увидел отца в трамвае четвертого маршрута на Варшавском мосту, а он сказал:

— Платите за проезд, пожалуйста.

В этом месте всегда чуточку дымно: внизу под мостом день и ночь маневрируют пассажирские и товарные составы. Дым поднимается над мостом, проникает в близлежащие улицы, обволакивает машины и пешеходов, что иной раз даже грозит опасностью. В этот вечер стемнело особенно быстро после ливня, который успел промочить меня до нитки, прежде чем я сел в трамвай. И теперь у меня никак не укладывалось в голове, что надо платить за проезд, да еще собственному отцу. Я ведь уже опустил мелочь в автомат и оторвал себе билет.

— Вот... — начал я, однако был просто не в силах предъявить ему билет — своего рода доказательство, что он здесь лишний и даже, пожалуй, выглядит анахронизмом.

— Ты что, здесь теперь? — спросил я смущенно.— И давно?

Как ни удивила меня встреча с отцом в этот час и в этом месте, облик его показался мне будничным и привычным. Как и до войны, на нем была темно-зеленая форма трамвайщика; пуговицы, эмблемы, петлицы сверкали, в особенности маленький золотой трамвайчик на фуражке. На кожаном ремне висела до блеска начищенная сумка, с которой мне в детстве дозволялось играть, когда отец приходил со службы домой. Банкноты и монеты покрупнее он сдавал согласно инструкции в Трахенбергское депо, пяти- и десятипфенниговики складывал стопками, заворачивал в бумагу, превращая их в нечто похожее на колбаски, и тоже сдавал, а вот катушки от билетных рулонов и монетки по одному и по два пфеннига предоставлялись в мое полное распоряжение. Я сдвигал стулья, усаживал на них медведей и клоунов, бегал, будто в вагоне, от пассажира к пассажиру, громко звонил, принимал деньги, разменивал, отсчитывал сдачу, убирал все в сумку, и не было для меня ничего прекраснее этого занятия, и никакой другой профессии, кроме этой, не желал я для себя в будущем. Само собой разумеется, что отец, когда мы с матерью садились в трамвай, требовал и от нас денег за проезд.

— Во всем должен быть порядок,— говорил он.— Если придет контролер, мне бы не хотелось предстать мошенником, тем более перед вами.

Однако в этот сумрачный вечер все было по-иному: взгляды мои во многом изменились, я выбрал другую профессию и уже привык к новым порядкам на городском транспорте. В Берлине я чаще всего ездил надземкой и метро, так как трамваи в автомобильной сутолоке ползли очень медленно. На остановках появились билетные автоматы, и профессии кондуктора больше не существовало. Но что-то во мне упорно не давало сказать об этом отцу, он ведь всю жизнь проработал

---

[1] Здесь и далее в тексте повести имеется в виду англо-американская бомбардировка Дрездена 13—14 февраля 1945 года. *(Здесь и далее прим. перев.).*

кондуктором и был, несомненно, счастлив, хотя и выходил в разные смены и получал всего сто двадцать марок в месяц. Бывало, он проклинал ночные рейсы, когда поезда шли все равно что пустые, или работу по воскресеньям, когда так хотелось погулять с нами или пособирать в садике у тети Лотты крыжовник и черную смородину, до которых он был большой охотник. Он вообще любил поесть, ел много и с большим аппетитом, шумно нахваливая все, что мать подавала на стол. Зато в скудные послевоенные годы, когда отец, изголодавшийся, худой как скелет, вернулся из сибирского плена, из-за еды частенько вспыхивали ссоры, потому что он первым набрасывался на последний кусок хлеба.

Все это страшно пугало меня и моего младшего брата Ахима, родившегося в самом начале войны и видевшего отца только солдатом, а не трамвайным кондуктором с денежной сумкой, которую перед призывом, к сожалению, пришлось сдать. После его возвращения из плена мы оба, и мать тоже, ждали, что отец вновь облачится в кондукторскую форму, перекинет через плечо сумку и будет приносить ее домой — словом, все вернется на прежнюю колею. И даже станет еще лучше, так как брат уже умел считать деньги и смог бы играть со мной. Скоро он должен был пойти в школу и быстро схватывал все, чему я его учил. Но отец уже месяцами сиднем сидел дома, не имея ни сил, ни желания идти на работу, и почти не разговаривал с нами. А мать подолгу не бывала дома, даже на выходные она уезжала, чтобы выменять где-нибудь в деревне несколько простынь, наволочек или полотенец на картошку, хлеб или хотя бы на овес, который я молотком разбивал в хлопья. Отец даже на это не мог себя подвигнуть.

— Ты еще сердишься на меня? — спросил отец, когда дым развеялся, а трамвай уже далеко отъехал от моста, но в каком направлении, я внимания не обратил. Я сидел уставившись на него, немой как рыба, однако не злился и не обижался, хотя отчетливо помнил все, что тогда творилось у нас дома. Он скорее всего знал, почему мать совсем отошла от него и все чаще говорила, что вышвырнет его за дверь, потребует развода, что все кончено. Ей было тридцать восемь, красивая темноволосая женщина, многие мужчины волочились за ней, иногда дарили ей деликатесы вроде шоколада, конфет, печенья, а она тайком совала их нам. Однажды отец вырвал у меня из рук толстый бутерброд с маслом и ливерной колбасой, который она мне дала, и с жадностью съел.

— Тише ты! — крикнул он матери, хотя она от ужаса не могла вымолвить ни слова.— Побывали бы в моей шкуре, тогда бы узнали! Так что помалкивайте!

До войны мы вечерами пили чай, в воскресенье — с ромом, сладкий-пресладкий, мне тоже наливали чашку. Укладываясь спать, я просил оставить дверь открытой и еще немного прислушивался к тихой беседе родителей. Отец говорил рассудительно, часто об одном и том же:

— Нам, право, очень повезло: фонарь на улице под окном, прямая экономия электричества.

Лампочку в комнате выключали, и все равно было достаточно светло, чтобы читать, не портя себе глаза. Мать получила в приданое много книг: мемуары княжеских дочерей, книги про любовь, все весьма истрепанные, она их часто перечитывала, а от меня тщетно прятала. Среди них были романы Золя, «Молль Флендерс», «Дама с камелиями», «Анна Каренина» — любимые мои книги. Света в моей комнате всегда хватало чтобы тайком читать под одеялом и заодно подслушивать немногословные разговоры родителей.

— А теперь закрой дверь, мальчик давно спит,— говорил отец через некоторое время.

Он слушал по радио музыку или репортажи с боксерских матчей. Новости называл «трепотней» и не интересовался ими, газеты и книги

матери тоже ни во что не ставил. Поэтому ему в голову не приходило, что я переползаю с «Дамой с камелиями» в родительскую кровать и часами читаю при свете ночника.

— Что же это происходит, ведь мы так экономим,— удивлялся отец, когда счет на электричество был выше, чем ожидалось.— Надувают они нас, что ли, или мы, чего доброго, и уличный фонарь оплачиваем?

Нет, мы не сердились на отца за то, что он был экономным, пожалуй даже скаредным. С тех пор как родители поженились, им приходилось считать каждый пфенниг, хотя мать и не оставляла работы. Сначала она была ученицей и девочкой на побегушках у Дёринга, который держал оптовую торговлю мылом, но тоже не больно-то преуспевал. Мать с ручной тележкой сновала по городу, развозила товар в небольшие лавки, принимала выручку, изредка получала чаевые. Во время инфляции ее недельное жалованье стоило на следующий день не больше чаевых. Позже она нашла временную работу в универсальном магазине Реннера на площади Альтмаркт в парфюмерном отделе на первом этаже, справа от входа. Там всегда приятно пахло, а когда мы с отцом заходили за матерью, хорошенькие продавщицы весело возились со мной. Я тотчас же бежал за прилавок, настойчиво требуя, чтобы мама скорее кончала работу и ехала на эскалаторе в отдел игрушек, где полки сплошь были уставлены разными восхитительными штуковинами: всевозможными стреляющими и дерущимися индейцами и солдатами, скачущими лошадьми, пожарными машинами, домами, палатками, железными дорогами. И если это случалось незадолго до моего дня рождения или перед рождеством, то мы с отцом отходили в сторонку, а мать что-нибудь покупала, например ковбоя на вздыбленной лошади, с лассо, которое можно было бросить и затянуть.

— Разве у него этого нет? — качал головой отец, когда мать просила денег.— Ему нужнее что-нибудь из одежды.

За одеждой отец всегда старательно следил, форма у него была опрятна, вычищена, отутюжена, ботинки, сумка и ремни надраены. И в этот дождливый вечер он выглядел так, словно отъехал на трамвае от самой входной двери и ни разу не выходил из него, даже для того, чтобы помочь пожилым людям при посадке, крикнуть «готов!» и засвистеть в свисток. За эти долгие годы он ничуть не постарел, лицо было гладкое, без морщин, тщательно выбритое, черные волосы зачесаны назад на пробор, никаких следов седины. Под формой, как обычно, белая рубашка; он менял ее ежедневно. После работы отец надевал старые форменные штаны и коричневую домашнюю куртку, ложился на диван, говорил: «Вздремнем четверть часика!» — и тихо похрапывал полчаса или минут сорок, а потом одевался уже как надо: костюм, белая рубашка с галстуком, на выходе надевал пыльник и шляпу. Костюмов у него было всего один или два, единственное, зато элегантное пальто, сшитое на заказ, материал наилучшего качества, ботинки как лакированные, собственноручно «надраенные», как он выражался, и собственноручно же чиненные, когда стаптывалась подметка или каблук.

— За ботинками надо ухаживать так же, как и за другими вещами,— внушал он мне почти ежедневно, хотя все время делал это за меня сам. Казалось, и сейчас обстоятельство это весьма его заботило, потому что он пристально оглядел меня с ног до головы и, очевидно, остался не очень доволен моим внешним видом.

— Ну как твои дела? — спросил он, а мне подумалось, будто он прикидывает, что из его рубашек, пиджаков, брюк и ботинок могло бы мне подойти: ведь я был теперь почти одного с ним роста и так же широк в плечах. Наверняка все вещи и сейчас были как новые, независи-

мо от того, куплены ли еще тогда или совсем недавно. Интересно, как он прожил все эти годы, что мы не виделись? — думал я. Мне казалось, с тех пор прошла целая вечность, хотя внешне он совершенно не изменился. Только эта застывшая улыбка, выражавшая скорей всего смущение, поскольку я молчал, а он не знал, что еще сказать. Вот и произнес избитую фразу, которую я помнил наизусть:

— Во всем должен быть порядок,— и постучал по своей начищенной сумке.— Я не могу делать исключений. Служба есть служба.

Мне вспомнилось, что первые ссоры между ним и матерью начались из-за его пристрастия к порядку и педантичного отношения к вещам. Он терпеть не мог кавардак в шкафах и ящиках, придирался к матери, когда она искала что-то в шкатулке для рукоделия, где были в кучу свалены пуговицы, шерсть, иголки, обрезки материи, катушки ниток. Она никогда не могла найти ножницы, так как отец клал их туда, где, по его мнению, им надлежало находиться. Та же история была с ящичком для чистки обуви, с корзиной для белья, из которой таинственным образом исчезали веревки и прищепки, а также с ключами от подвала, чердака, велосипедного замка, каковых он в своей ярости никогда не мог отыскать на положенном месте. Когда отец уходил на войну, его велосипеду было по меньшей мере лет пятнадцать.

— Ключ вот здесь,— сказал он мне на прощание, сказал серьезно и значительно, так, что мне представилось, будто я уже совсем взрослый.— А велосипед я подвесил, чтоб не портились шины.

Он повел меня в подвал к велосипеду, который напоследок еще раз почистил и смазал.

— Следи, пожалуйста, чтобы не было ржавчины. Я езжу на нем только в чрезвычайных обстоятельствах. Ты знаешь, что я имею в виду.

Мне было семь с половиной лет, и я столкнулся с чрезвычайными обстоятельствами впервые, когда увидел на улице возле кладбища окровавленного человека — он угодил с велосипедом под вермахтовский грузовик. Отец крепко стиснул мою руку, мокрую от пота, и не двигался с места. Он даже попытался остановить мать, но она все-таки вырвалась и подбежала к пострадавшему, возбужденно крича стоящим вокруг людям:

— Да помогите же! — Потом опустилась на корточки рядом с велосипедистом, прямо посреди улицы, и приложила носовой платок к ране на голове. Перевязала его, когда кто-то принес бинт, и не ушла, пока не приехала «скорая» и не увезла раненого.

— Боже мой, Герди,— сказал отец, дрожа всем телом, бледный как полотно.— Я так не могу, не могу даже смотреть на это.

Несколько человек вошли в трамвай, потом вышли, я их толком не заметил. Да и отец тоже, он оставался со мной, хотя обычно свои обязанности выполнял неукоснительно. Он еще раз спросил с меня плату за проезд, подмигнул и сказал:

— С тобой никогда не было серьезных хлопот.

Что ж, действительно в годы его отсутствия я постоянно смазывал, чистил, а позже и зачехлил его велосипед. Сам я им не пользовался, хотя мать и удивлялась, отчего это я не катаюсь, будь он полегче, она сама с удовольствием ездила бы на нем. Ведь целых четыре года — от рождения моего брата и до бомбежки — ей приходилось изо дня в день ездить на работу в переполненных трамваях, которые она ненавидела, еще когда отец был кондуктором.

— Грохот, толкотня, дышать нечем, да и вообще,— жаловалась она вечером у Трахенбергского депо, где мы с братом, пробыв день у бабушки, встречали ее.— Хотела бы я знать, доведется ли еще хоть раз в жизни проехаться в автомобиле?

Никаких отпусков, никаких поездок у нас не было. Только мать однажды на третьем или четвертом году войны съездила в Лемберг[1] повидаться с фельдфебелем, с которым познакомилась в магазине Реннера.

— Я подарила ему лучшее мыло, припрятала для него,— рассказала она позже, получив извещение о его гибели на одерском фронте.— Он любил дорогие, изящные вещи, образованный был человек.

Она целыми днями плакала, неделями не писала ни строчки отцу, от которого регулярно приходили письма, неизменно кончавшиеся одной и той же фразой: мол, у него все хорошо, насколько позволяют обстоятельства, чего он желает и нам вкупе со всеми родственниками и знакомыми, которым он шлет сердечный привет.

— Сердечный привет! — кипятилась мать, читая письма.— Вот еще!

Из Лемберга она вернулась другим человеком: решительная, серьезная, но и задорная. Поездка была долгая и опасная. Достать комнату в гостинице не удалось, и они с фельдфебелем устроились в пригороде у каких-то крестьян. Ночью слышались взрывы, пальба, поезда два дня не ходили — ждали нападения партизан.

— Теперь-то я знаю, что происходит, нечего мне зубы заговаривать всякими там глупостями,— повторяла она, а вечерами все чаще уходила из дому.

Она решила хоть что-нибудь ухватить из перекореженной военной жизни, перестала надрываться на работе, развлекалась с клиентами, с теми, кто «поумнее», как она выражалась.

— Погляди-ка, что мне тут подарили.— Она показала мне кожаный футляр с крохотной авторучкой.— Будь у меня время, я бы села и написала роман про свою жизнь.

Нередко ее сумка была набита духами и одеколоном, мылом и шампунем, которые все равно пылились бы на складе: ведь в последний год войны по карточкам можно было купить только хозяйственное мыло да порошковую пемзу. Многие из дорогих вещиц она посылала фельдфебелю в Лемберг, другие же меняла на сигареты, кофе и коньяк, за что в свою очередь получала картошку, муку или сахар.

— Что ж, быть может, мы погибнем под бомбами или сгорит наш дом, но голодать мы не будем,— говорила она, отдавая нам, детям, лучшие куски, да и сама питалась недурно, а кое-что относила бабушке и своей хилой сестрице Лотте.

— Терпеть не могу страдальческих физиономий. Надо пробиваться, показывать зубы, пока они есть!

Мы уже давно миновали Франкфуртер Тор с его высотными домами и круглыми башенками, подсвеченными по вечерам,— берлинское великолепие пятидесятых годов. Но отец словно бы и не замечал их, даже остановки не объявлял, не то что в Дрездене. Там он в хорошем настроении еще и демонстрировал приезжим достопримечательности: католическую Хофкирхе, дворец с Процессией князей — сто двадцать два метра, настоящий майсенский фарфор! Рассказывал забавные истории о Старом городе — Альтштадте, в которые явно верил и сам: «Купол Фрауэнкирхе скреплен творогом, ведь раньше иного раствора не знали. А когда Август Сильный летом ехал на санях в Морицбург — шестнадцать километров как-никак! — всю дорогу засыпали солью». Он показывал выбоинку на парапете Брюлевской террасы, формой напоминающую отпечаток большого пальца: «Это оставил король». У короля, по его словам, было триста шестьдесят детей, и был он настолько силен, что левой рукой мог поднести к окну трубача, а правой — барабанщика. «Они долж-

[1] Немецкое название г. Львова.

ны были трубить и бить в барабан, а он радовался, глядя, как народ стекается ко дворцу с криками: «Да здравствует король!» Последнего короля отец видел своими глазами: в самом обыкновенном костюме тот сидел в автомобиле; после первой мировой войны его сначала у монарха отобрали, а затем вернули, чтобы он на нем побыстрей и без шума исчез. Показывая на изрытые осколками песчаниковые стены дрезденского Блокгауза на Нёйштедтер-маркт, где в годы революции шли жестокие бои, отец говорил: «Да, вот было времечко, все шло кувырком, только трамвай и я с рельсов не сходили».

Теперь отец подсел ко мне; платы за проезд он уже с меня не требовал. Достав из кармана тужурки яблоко, он очистил его, разрезал и поделился со мной. Прежде он никогда бы такого в рейсе не сделал, даже в пустом вагоне. Лишь на конечной остановке, на скамейке под дубом, где я иногда ждал его, если уроки кончались раньше, он позволял себе полакомиться. Отец никогда не расспрашивал меня о домашних заданиях и о том, что мы сейчас проходим. И тетради я ему не показывал, и наизусть ничего не читал.

— Видишь ли, учителя вообще понятия не имеют, что такое работа, а отпуска у них самые длинные,— говорил он,— у этих толстозадых!

И каждого, кто по роду своих занятий не был с утра до вечера на ногах, он обдавал презрением, даже приветливого соседа-бухгалтера, господина Пича, который сгребал зимой снег перед нашим домом.

— Ему же надо двигаться, а то вконец обсклеротится,— говорил отец, украдкой посмеиваясь, если у соседа ломались черенок или сама лопата, но помогать Пичу даже и не думал. Еще больше не понравились ему люди из НСДАП, СА и Трудового фронта[1]. С ними он никогда не здоровался.

— Бонзы,— шептал он мне,— только вслух не говори, опасно.

Глубже он меня в свои мнения и предубеждения не посвящал. Сидел со мной на скамейке и шикал на меня, когда подавала голос какая-нибудь птица. Кроме служебного свистка у него была маленькая круглая штуковинка, с помощью которой он подражал голосам птиц, зажимая ее между языком и зубами. Таким манером он мог насвистывать, блеять, воспроизводить очень смешные звуки, а прохожие диву давались, не понимая, кто это свистит. Если мимо шел кто-либо, кого он терпеть не мог, отец свистел нудно и пронзительно, а сам задумчиво глядел на верхушки деревьев, но краешком глаза внимательно наблюдал за поведением «бонз» и «толстозадых» и потом их передразнивал.

Одного из братьев матери, лейпцигского дядю Ханса, отец буквально не переваривал; тот торговал фигурками и рельефами из странно пахнущей пластмассы: солдаты в рукопашном бою, молодчики из СА на марше, известные летчики и командиры подводных лодок, парни из гитлерюгенда, вздымающие знамена со свастикой,— все коричневого цвета.

— Жулик он и пройдоха, зарабатывает на этаком вот дерьме,— сказал отец матери, и тут они сцепились.

— Ну-ка уймись,— обрезала его мать, она, мол, не потерпит таких разговоров о брате, да еще при ребенке (при мне то есть). Хансуде в жизни и без того тяжело пришлось, радоваться надо, что он наконец нашел свой твердый заработок.— Тебе и невдомек,— горячилась она,— как трудно оступившись в юности, снова выкарабкаться.

Вечером из-за прикрытой двери спальни я слышал их голоса: спор продолжался еще долго, потому что мать никак не хотела, чтобы на брата вешали ярлык жулика и пройдохи. Она утверждала, что знает его лучше, чем кого-либо другого на свете, что он никогда не

---

[1] Нацистские организации.

делал ничего плохого, просто ему всегда не везло и что все это неудачное стечение обстоятельств, из которого он наконец выпутался.

— Что, он первый, что ли,— кричала она возмущенно,— кого сажают за здорово живешь?! У тебя вот ни о чем голова не болит, ни газет не читаешь, ни радио не слушаешь, не разговариваешь с тем, с кем есть о чем поговорить. Только нос воротишь, коли что-то тебе не по нраву.

Она клялась. что ее брат вовсе не крал никаких драгоценностей и мехов из альтштадтской виллы и обвиняли его напрасно. Конечно, все говорило против него, и полиция быстро его сцапала, ведь эта дура служанка, с которой он был помолвлен, несла всякую околесицу об исчезнувшем ключе и о свидании, на которое ее-де выманили из дому. Но Ханс и тогда и потом в письмах к родным и в бесчисленных прошениях о помиловании упорно повторял, что у него никогда не было ключа и никогда он не заходил на виллу, а только ждал у ворот сада девушку, когда подошел какой-то мужчина и дал ему посторожить чемодан — ему-де надо на минутку отлучиться. Ханс забрал чемодан с собой, потому что тот человек не вернулся, а в нем-то полиция, на его беду, и нашла похищенное.

— Да ну, старые басни! — воскликнул отец, смеясь, и тем самым еще подлил масла в огонь.

— А вдруг это правда? — возмутилась мать.— Ты что, там присутствовал? Я же ходила к нему в тюрьму и письма читала, да я за него руку на отсечение дам, если хочешь знать.

Но отец оставался при своем мнении и твердил:

— Если бы Ханс не стал нацистом, сидеть бы ему до сих пор в тюрьме! Ты меня не переубедишь. Худое споро, не умрет скоро!

В пословицах отец был силен. Он радовался и хохотал во все горло, когда считал, что нашел подходящее к случаю изречение. Еще в молодости на каком-нибудь гулянье с танцами, где он и с матерью познакомился, отец производил фурор именно своими присказками. Мать он поразил ими и очаровал, показался ей человеком образованным и остроумным. К тому же он был хорош собой, опрятно одет и неплохо танцевал, так что девушки так и увивались вокруг него. Прошло довольно много времени, пока мать сумела затмить своих соперниц, а сама между тем, конечно, докопалась, что запас поговорок у него весьма невелик. Однако замуж за него пошла, ведь она уже была в положении, но он все повторял: «Поживем — увидим» — и все смеялся и в конце концов добился своего — за несколько дней до свадьбы она избавилась от ребенка.

— Иначе была бы у вас еще сестренка,— как-то позже рассказала мать.— Уже можно было определить, что это девочка. Но я-то попалась на его присказки во всех смыслах, с самого начала и до сих пор на крючке.

Любимыми его изречениями были: «Чему быть, того не миновать» и «Живи честно, проживешь дольше». Я знал, он очень гордился тем, что в его вагоне контролеры ни разу не поймали ни одного «зайца». Память на лица у него была сказочная. Стоило ему мельком взглянуть на вошедших, и лица мгновенно запечатлевались в его памяти; даже в самой большой сутолоке ничто от него не ускользало. После работы он мог перечислить всех, кого обслуживал, какими деньгами они расплачивались, все с точностью до пфеннига, мог описать, кто загораживал проход или требовал для себя сидячего места; молодежь он всегда прогонял на площадку. Пассажиры для отца делились на чванливых, безалаберных, вежливых, любезных, скупых, болтливых и настырных. Если кто-то разговаривал с ним нагло, он надлежащим образом отчитывал нахала, а если ему наступали на ноги, тоже в долгу не оставался.

— Как аукнется, так и откликнется! — кричал он пассажирам.

С пьяными и строптивыми, не желавшими платить, отец расправ-

лялся быстро, без церемоний: звонил, чтобы притормозить вагон, и выкидывал на улицу.

— Кого слово не возьмет, того палка прошибет!— бросал он им вдогонку.

А тому, кто просил о снисхождении или пенял ему за грубость, отвечал:

— Из маленьких мошенников вырастают большие, так и в Писании сказано.

Когда меня приняли в юнгфольк[1], отец как раз приехал в отпуск. Покачивая головой, он разглядывал меня в форме с непременной коричневой рубашкой.

— И что, на свои деньги покупали ему табачную рубашонку? — поинтересовался он.

Свои мундиры он всегда получал бесплатно: от трамвайного ли депо или от вермахта,— иного он и представить себе не мог. Мать напустилась на него: мол, за подобные разговоры и жизнью поплатиться можно.

— Малыш,— прошептала она, отведя меня в сторону,— смотри, этого ни в коем случае нельзя повторять.

Отец, однако, вовсю потешался над «табачной рубашонкой», то и дело смакуя полюбившееся словцо.

— Коли уж в своих четырех стенах нельзя говорить что хочешь,— говорил он,— стало быть, дело вообще табак.

Зачастую в таких спорах речь шла именно обо мне, мой брат Ахим был еще слишком мал. Но скоро пришло время, когда он решил ни в чем от меня не отставать, особенно в играх во дворе, во всех наших проказах и шалостях, которые позволяли нам забыть войну и тревожные разговоры родителей. Когда мы привязывали к веревочке кошелек и, спрятавшись за углом, дурачили прохожих, брат предательски громко смеялся, и мне приходилось зажимать ему рот рукой, так что он едва мог дышать. С самого раннего детства он смеялся охотно и громко, как отец. И вообще он был похож на отца, я же — больше на мать. Он стоял, хихикая, когда я надевал свою форму, перепоясываясь ремнем с прикрепленным к нему кинжалом и напяливая смешную лыжную шапочку. Во время строевой подготовки на спортплощадке, когда мы отрабатывали походный и парадный шаг, Ахим скакал за футбольными воротами, передразнивая нас. Он громко и визгливо орал вместе с нами «Песню об Англии» и «Корабли у Мадагаскара», хотя сам пел очень хорошо и был гораздо музыкальнее меня. Уже в четыре или пять лет он играл на бабушкином пианино разные забавные вещицы, старые шлягеры вроде «Танцоры-клопишки по стеночке пляшут» или про крепость Кёнигштайн. Однажды он получил от командира нашего отделения оплеуху за то, что горланил эту шутовскую песню во время подъема флага на спортплощадке. Он упал, полежал немного, потом позвал меня. Когда я вечером вернулся домой, он, красный от злости, накинулся на меня:

— Ах ты трус!

Мне стало стыдно, ведь я с места не двинулся, когда его ударили, но все же у меня хватило духу сказать:

— Дурачок, это тебе не детский сад, сперва сопли утри, а потом других учи!

Отец подарил нам обоим по губной гармошке. Он и сам любил на ней играть и показывал нам, как рождаются громкие, тихие, нежные и сильные звуки. Глаза его при этом были закрыты, и он улыбался, когда особенно хорошо удавалась какая-нибудь мелодия из Легара или Пуччини. И так же, с закрытыми глазами, играл на губной гармошке мой брат, на слух, без разучивания. Иногда он вел

---

[1] Нацистская детская организация.

второй голос, сопровождая отцовское исполнение аккордами и синкопами, так что выходил почти оркестр. А у меня получалось черт знает что: я то спешил, то затягивал мелодию, выбивался из такта — звучало все это чудовищно. Слова песен я переиначивал, так как либо не помнил их, либо просто думал о другом. В школе учитель этого не замечал и даже хвалил меня, потому что я пел и читал наизусть стихи всегда без запинки. У брата же от каждой моей фальшивой ноты или слова кривилось лицо, он весь трясся и орал:

— Врешь!

Когда отец в последний свой отпуск приехал с фронта, я как раз портил песню из «Царевича»[1]. Вместо того чтобы петь о солдате, который одиноко стоит на посту у волжского берега, спел о «солдате в волжских песках». Брат просто взбесился, бросил в меня губной гармошкой, но отец, у которого от этой песни на глаза навернулись слезы, только коротко сказал:

— Дети, помиритесь, это все война.

Кто ведал, куда мы ехали? Странная это была поездка, путешествие словно во сне. Свет в трамвае мигал, дождь все усиливался. Я понятия не имел, где мы находимся, окна запотели, и я уже не старался отыскать какой-либо знакомый ориентир. Да и отцу, казалось, все было совершенно безразлично. Он вообще мог подолгу молчать и, сидя с кем-нибудь, никогда не испытывал потребности разговаривать. Мысли его угадать было трудно, хотя его гладкое лицо не было ни замкнутым, ни неподвижным, на нем даже читалось напряженное внимание и интерес. Неожиданно он громко расхохотался и заразил смехом меня. Ему незачем было что-то говорить, рассказывать анекдоты и смешные истории; невообразимая ситуация, а он смеется — вот в чем он совершенно не изменился. Однако я все же спросил:

— Почему ты смеешься?

Продолжая смеяться, он посмотрел на меня, придвинулся поближе и ответил:

— А почему бы и нет?

Я чувствовал, он хотел продолжить, может, доверить мне что-то такое, что раньше держал про себя, ведь я был слишком мал, брат еще меньше, а мать занимали совсем иные вещи. Смех его показался мне уловкой, бегством от слов или, пожалуй, смущенным признанием, что многое в его жизни пошло наперекосяк.

— Ну вот и свиделись,— сказал он, внезапно став серьезным.— У тебя все впереди, у меня — позади, но и ты многого уже не в силах изменить. Что было, то было, и я с этим примирился.

В нашей дрезденской квартире солнце по утрам заглядывало в общую комнату, на кухню и в ванную, а после обеда — в спальню, где был малюсенький балкончик, на котором только-только хватало места для меня, моего друга Вольфганга и кукольного театра; этот театр отец подарил мне вместо традиционного пакета со сластями, когда я пошел в школу. «От сладкого толстеют,— сказал он тогда,— дурачься лучше на здоровье».

Он часто стоял за балконной дверью и веселился во время наших представлений про разбойников и жандармов гораздо больше тех детей, которые сидели на корточках во дворе на посыпанной гравием дорожке, так как на траву перед балконом ступать не дозволялось. И чем драматичней развивалось действие, тем громче мы орали. Соседи частенько жаловались, кричали: «А ну тише!» — натравливали на нас дворника, инвалида с нацистским значком, он всякий раз грозился отобрать у нас кукол, но тоже не смел ступить на траву и подойти к балкону, потому что там висела запрещающая табличка. Однажды в шумливой погоне за разбойниками мы слишком уж увлеклись: передразнивая дворника, заставляли актеров хромать и мо-

[1] Оперетта Ф. Легара (1870—1948).

лоть всякую чушь. Это переполнило чашу его терпения, он мгновенно подскочил к балконной решетке и хотел было схватить их, но на потеху всем руку ему свело судорогой и не отпускало до тех пор, пока куклы не очутились в безопасности. Отец предусмотрительно ушел подальше от двери и сделал вид, будто ничего не заметил, но на следующий день подарил мне новую куклу — зубастого крокодила, который очень здорово щелкал челюстями.

— На это деньги у тебя есть,— сказала мать,— а вот дворника, кстати наиболее порядочного из здешних нацистов, бедного калеку, который просто-напросто исполняет свои обязанности, делаешь своим врагом.

Кроме дяди Ханса — на его нежданную свадьбу мы ездили в Лейпциг без отца — у матери были еще три младших брата и пять сестер; все они жили поблизости. Старшая, тетя Хелли, была замужем за деревенским кузнецом и жила высоко на горе, в Брабшюце под Дрезденом. У нее опять-таки было шестеро детей, у других тоже — двое, трое и больше, лишь у тети Лотты никого. Несмотря на свою болезнь, о которой всегда говорили только шепотом, тетя Лотта была самой веселой из всех и без стеснения говорила о своей бездетности, которая шла вразрез с нашей семейной «традицией», а виноват в этом якобы ее муж, дядя Макс, у него-де «дыху» не хватает. Когда вся семья собиралась у бабушки, то и взрослые едва умещались в гостиной. Мы же, дети, сновали между ними до тех пор, пока речь не заходила о «дыхе». Тут сразу становилось весело, шумно и особенно интересно для нас. Все кому не лень острили, мать краснела, а отец затевал «смех-концерт». Только мы в этом не участвовали.

— Это не про вас! — кричал кузнец, выдворяя нас в коридор, а там и на кухню, подальше от двери.

Мы еще слышали, как тетя Хелли с ехидцей обозвала мужа «Генерал фон Дых». Она вызнала, что в соседней деревне у него есть еще двое детей от некой вдовы садовника. Однако никого в семье это особенно не задевало. Бабушка даже всегда приносила ему из кладовки большущий стакан вермута и, смеясь, говорила нам, детям: «С хорошим «дыхом» винцо!»

По дороге домой я спросил родителей, что за штука этот «дых», и мать, смущенно помолчав, ответила, что у дяди Макса от работы на фаянсовой фабрике легкие сплошь забиты пылью, а у кузнеца там, наверху, в Брабшюце, много воздуха, он все время в движении, в работе и потому здоров как бык.

— Намотай это себе на ус,— вполне серьезно добавил отец,— иначе и над тобой в свое время будут смеяться, как над беднягой Максом.

У отца моего друга Вольфганга на заднем дворе в Миктене была мастерская, изготовлявшая из стекловаты утеплители для отопительных труб. Из отходов мы могли забирать что угодно. И возводили себе деревни и города с домами, вокзалами, дворцами, арками, церквами, а кругом горы и осыпанные снегом ватные леса. Иногда мы целыми днями сидели на чердаке, заселяя свой мир индейцами и зверями из пластилина, с которым мы до смерти любили возиться. Дома нам играть не разрешали — ни у меня, ни у Вольфганга, хотя вообще-то его родители на многое смотрели сквозь пальцы. Мой отец считал, что по квартирам сидеть ни к чему и даже вредно, а кроме того, он не хотел, чтобы ему мешали отдыхать после службы. О нашем чердачном убежище он знать ничего не знал, иначе бы вмешался и «сделал нам ноги», как он говорил. Отец был против возни со стекловатой и вечно брюзжал по адресу Вольфгангова папаши.

— В один прекрасный день с ним будет то же, что с дядей Максом,— твердил он,— а глядишь, еще хуже, мельчайшие крупинки стекла порвут ему легкие.

В его глазах отец Вольфганга, хотя и заслуживал уважения как прилежный человек и ловкий изобретатель, был при всем своем уме дурак дураком, так как совершенно не обращал внимания на собственное здоровье.

— Да пусть его хоть миллионы наживет, я бы ни за что с ним не поменялся,— говорил отец,— лучше уж остаться бедняком, зато здоровьем не рисковать.

Во время войны я часто ездил с матерью в Брабшюц к тете Хелли, которая, несмотря на целую ораву детей, хотела развестись с мужем. Его как кузнеца призвали на тыловую службу, сначала его часть стояла в Ютербоге, затем в Бауцене. И вот из обоих городов шли письма, только не от него, а от женщин, одна из которых вскоре ждала ребенка.

— Что слишком, то слишком,— сказала тетя Хелли и через дыру в заборе провела нас в большое садово-огородное хозяйство, где сама работала. В хорошо унавоженной темной почве росли горох, фасоль, морковь, помидоры, зрели чудесные яблоки.

— Главное, не рвите на одном месте, а то заметят,— предупредила она, глядя на старый дом, где присматривала еще и за детьми вдового огородника.

— Ну а этот как, лучше? — спросила мать, торопливо обрывая фасоль. Меня она послала в заросли гороха.

— Лучше? — пожала плечами тетя.— И что вообще значит «лучше»? Каждому мужчине нужна женщина, иногда две, а этому всего-навсего нужны мои руки.

С ней была младшая дочь Инга, обладательница длинных черных кос. Она чуточку помогала мне, но больше слушала, о чем разговаривают моя мать и тетя Хелли. Сквозь заросли гороха я подкрался к ней и дернул за косы.

— Ну ты! — Она подскочила ко мне, сверкая большими черными глазами. Я ринулся прочь, Инга — за мной. Мы дрались прямо на морковных грядках, пока не подошла тетя Хелли и не напустилась на нас:

— С ума вы, что ли, сошли? Ведь старик заметит. Он вас, сорванцов, и так терпеть не может.

Мы все ехали, ехали, я даже и не думал выходить, не обращал внимания на время, хотя нам с отцом, в сущности, было не о чем разговаривать. Какая-то отчужденность пролегла между нами, мы почти не видели друг друга. Того, что случилось под конец, мне никак не хотелось касаться. И никто в нашей семье, которую разбросало по всему свету, об этом не заикался. Но память подобна пытке, и порой, казалось бы, совершенные пустяки доставляли мне массу хлопот.

— Вздор, мелочь, глупая ревность,— сказал отец, будто прочитав мои мысли.

Он был вполне способен посмеяться над всем этим или, усмехаясь, помолчать, пока в голову не придет что-нибудь другое.

— А дождь-то все никак не перестает,— удивился он, протирая ладонью запотевшее стекло.— Узнаешь, где мы?

Закрыв глаза, он ободряюще кивнул. Он-то совершенно точно знал, где мы находимся, потому что умел называть улицы и остановки и в кромешной тьме, раньше он объявлял их даже во сне. На миг мне подумалось: а так ли уж хорошо он ориентировался здесь, в чужом городе, или порой ему казалось, будто он отправился от Вильдер-Манна или Трахенбергского трамвайного депо и потом угодил в ночной туман совершенно преобразившегося города на Эльбе.

— У тебя есть еще время или ты спешишь домой? — спросил он, особо подчеркнув слово «домой», сглотнул и опять протер стекло. Потом, как бы очнувшись, сказал: — Н-да, ни тебе, никому другому не пожелаю, чтобы его вот так же оторвало от всего и вся, как меня.

Когда тот последний отпуск кончился и отец уехал на фронт, я почувствовал себя одиноким. Было это унылой осенью в старом замке Фрауэнштайн, в большом зале с зарешеченными окнами, со скамейками и столами из нестроганых досок, с солдатскими тумбочками и соломой в углу для ночлега.

— Мальчику это только на пользу,— говорила мать и долго обнимала меня, а потом я с солдатским ранцем за спиной пошел к вокзалу.

Лишь тот, кто бегал шестьдесят метров за десять секунд и прыгал на полтора метра в высоту, получал право приехать во Фрауэнштайн и участвовать в тактической игре, на которой присутствовал даже сам банфюрер. К моему ранцу кожаными ремнями были прикреплены котелок, фляжка и одеяло.

— Одеяло слишком пестрое,— попрекнул меня банфюрер.

Но у других экипировка была еще разномастней. У некоторых вместо солдатских ранцев были школьные, да в придачу еще и клетчатые пледы, яркие эмалированные миски, бутылки из-под лимонада и термосы. Все это полетело вниз через крепостную стену, а ночью в темноте мы потом долго разыскивали то, что не разбилось и уцелело. Мое одеяло висело возле рва на дереве, и когда я на него вскарабкался, из башни нас по команде обстреляли градом камней. В меня не попало, камни шлепались в воду. Один же мальчик, который искал во рву свою эмалированную миску — без нее ему бы не получить еды,— рыдал, зовя отца и мать: камень ударил его по голове и так тяжело ранил, что пришлось отправить беднягу в больницу, а оттуда домой.

— Хоть ты-то по крайней мере не тряпка,— сказал мне наш фенляйнфюрер на вечерней поверке и прикрепил к рукаву моей коричневой рубашки новенькую нашивку хорденфюрера.— Победить в себе труса — вот наша задача, парень!

Когда я вернулся домой, то заметил, что у матери были гости. На столе лежала пачка сигарет, и во всех комнатах пахло табачным дымом. У нас никогда никто не курил. Только отец изредка выкуривал сигару, да и то если получал ее в подарок. На кухне было несколько пустых винных бутылок, в мойке я увидел рюмки, парадные приборы и посуду, которую выставляли на стол только по праздникам. Даже домашние туфли отца стояли на другом месте.

— Мама, кто здесь был? — спросил я, с трудом сдерживая слезы. Но когда она сама заплакала, я твердо и решительно сказал: — Теперь я дома и больше никуда не уеду.

Часто вместе с Вольфгангом мы ходили в ближний лес, в Разбойничью пещеру или в Драконово ущелье к Затерянному роднику — тонюсенькому ручейку, вытекавшему из-под скал и терявшемуся в зарослях вереска неподалеку от Красного пруда и горы Вильдер-Манн. Там были построены казармы и упражнялись новобранцы; Хеллер — так называлась вырубка — выглядел как настоящее поле боя: везде сновали танки и мотоциклетки, солдаты стреляли холостыми, рвались ручные гранаты и мины. Нам было запрещено останавливаться у забора, а скоро и Разбойничью пещеру у Красного пруда замуровали и обнесли стеной, и вообще понатыкали вокруг Хеллера часовых и склады боеприпасов. «Ну-ка пошли отсюда! — кричали солдаты.— А то прихлопнем!» Поэтому мы забирались все глубже в лес. Иногда я прихватывал с собой брата, хотя мой друг и был против. Еще за нами увязывались Гюнтер и Манфред из соседнего дома, и даже Анита с Габи, надоедавшие нам трепотней о любви и любовных письмах. На холме невдалеке от лесных прудов мы собирали и ели чернику, потешались над своими синими губами и зубами, а потом, недолго думая, превращались в краснокожих и строили вигвам из сучьев и хвороста. Мы с Вольфгангом — индейские вожди — усаживались на корточки среди вереска, откапывали томагавк

войны, беседовали, подражая Виннету и Олд-Шэттерхенду [1], и в конце концов раскуривали трубку мира. Однажды, когда уже стемнело, мы привязали Манфреда и моего брата к дереву, залезли в шалаш из сосновых сучьев и начали праздновать свадьбу вождя Вольфганга с Анитой, его скво.

— В конце концов все мы тут взрослые,— сказала индейская невеста и разделась догола.

Мы тоже сняли штаны и рубашки. Какое-то время мы так и сидели, красные как раки, с пылающими физиономиями, удивляясь сами себе. Только Габи отказалась раздеваться. Она убежала, долго проплутала где-то одна, а когда поздно вечером вернулась домой, рассказала все родителям. Моя мать, узнав, возмущенно покачала головой и только сказала:

— А братишку ты, значит, привязал к дереву. И не стыдно?

У отца был брат, дядя Вальтер, моложе его на два года. Он работал подмастерьем у сапожника и регулярно снабжал отца обрезками кожи, каблуками, гвоздями и деревянными шпильками для починки нашей обуви. У него же отец перенял и кой-какие сапожные хитрости.

— Если трамваи вдруг перестанут ходить,— говорил дядя Вальтер, когда первые бомбы упали на рейнские города,— у тебя по крайней мере будет профессия.

Он хотел и меня обучить, пророчески возвещая, что, мол, так или иначе все обратится в прах и пепел и люди станут, как в прежние времена, ползать на четвереньках, ну а ползать лучше уж в ботинках с крепкими подметками.

— Автомобили, дирижабли, воздушные шары, самолеты, к черту их! — ругался он, стуча себя пальцем по лбу, хотя раньше все это его восхищало.

— А ты что? Тоже как отец? — спрашивал он, а я пялился на его руки, всегда черные от дегтя, которым он промазывал подметки и каблуки, чтобы после починки они выглядели как новые.

Когда дядя Вальтер венчался и пастор в церкви надевал ему на палец кольцо, я думал только об одном: есть ли на пальце следы дегтя? Забыл даже рассыпать перед новобрачными цветы, а по дороге домой то и дело оглядывался на дядю Вальтера и в конце концов растянулся с полной корзиной роз.

— Это к несчастью,— сказала бабушка и перекрестилась.— Запомни: и падет с неба огонь, и сера, и много, много смолы!

Дом, в котором мы жили, выстроили за два года до войны. Наш подвал был самым просторным, с опорным столбом посередине и значился бомбоубежищем.

— Что ж, будем готовиться к худшему,— сказал отец и перетащил дрова и уголь в самый дальний конец.

Он не читал газет, зато отлично знал, что происходит в городе, по которому колесил изо дня в день.

— Мешки с песком разгружают,— сообщил он однажды вечером.— По мне, лучше бы привезли мешки с картошкой.

Он еще шутил и не верил, что эшелоны, которые он видел на насыпях и мостах, были уже на пути к войне. На черную светомаскировочную бумагу, внезапно появившуюся в продаже в канцелярских лавках, он не желал тратить ни пфеннига.

— Не стану же я заклеивать окна, да еще платить за это.

Но когда и возле окна нашего подвала сложили мешки с песком, а в каждом доме развесили огнетушители, отцу стало не до шуток. Незадолго до призыва он вместе с соседями расчистил чердак от хлама, чтобы в случае нужды легче было тушить. В конце концов он и светомаскировочные шторы раздобыл и даже собственноручно их

---

[1] Герои приключенческих романов немецкого писателя К. Мая (1842—1912).

приладил. Купил для меня и для матери противогазы, а когда родился брат, сказал, что тому будет достаточно прикрыть рот мокрым платком.

— Ну, а мне-то,— рассуждал он, собирая чемодан,— мне-то кто рот заткнул? И ведь все до одного молчат! Ты вот понимаешь, зачем нужна эта война?

Моему брату уже исполнилось пять лет, когда на Дрезден упали первые бомбы. Он даже не проснулся — бомбили довольно далеко, во Фрайтале, рядом с мукомольней Бинерта, о которой я только и знал, что оттуда нам привозят хлеб. Наутро кое-кто из моих друзей поехал в Кошюц, чтобы с горы посмотреть на руины. Я тоже совсем было собрался, но мать не отпустила:

— Нечего тратить деньги на трамвай, скоро здесь то же самое будет.

Тринадцатого февраля сорок пятого года, в масленичный вторник, только я снял свое индейское одеяние, завыли сирены, как, впрочем, и каждый вечер. Брат даже не проснулся, когда мы несли его в подвал. Бомбы рвались все ближе и ближе. От столба отвалился кусок штукатурки, стены, к которым мы буквально прилипли, заходили ходуном. Старый господин Пич еще постоял у подъезда и видел, как падали зажигательные бомбы.

— Пришел наш черед,— прошептал он, торопливо входя в подвал.

У его жены случился сердечный приступ, она упала со стула, жадно глотая воздух. Мать сунула брата мне на руки и побежала в квартиру за забытой аптечкой. А вокруг грохотали бомбы.

— Стекло в балконной двери вылетело,— сказала она, отсчитывая в ложку капли, влила их в рот фрау Пич и спросила: — Ну что, лучше?

А когда потух свет, она обняла одной рукой меня, а другой брата и проговорила:

— Это ерунда, пустяки, просто короткое замыкание или обрыв сети, кабель полетел. Слышите, там почти все стихло.

По вагону гулял ветер, словно все окна и двери были распахнуты. Отцу это как будто бы ничуть не мешало. Он расстегнул верхние пуговицы тужурки, достал из внутреннего кармана очки и, надев их, обратился ко мне:

— Стало быть, таким ты меня совсем не знаешь? — И опять улыбнулся.

После возвращения из плена отец стал носить очки, правда, и на службе надевал их нечасто, а уж дома и вовсе в редких случаях, когда читал газету. У меня сложилось тогда впечатление, что он воображает, будто очки придают ему солидность. А может, прятался за стеклами, оттого что потерял уверенность в себе? Теперь он, похоже, чувствовал себя беспомощным и передо мной. Пожал плечами, постучал по своей сумке, но тем и ограничился, больше не требовал денег за проезд. Отец отдалился от всего, что раньше было близко и дорого. Казалось только, он любой ценой желает сохранить свое место в трамвае и в моей памяти.

— Да нет, отлично знаю,— возразил я, лишь бы сказать что-нибудь утешительное.

Внешние перемены в нем, на мой взгляд, были минимальны. Правда, стекла очков стали гораздо толще, значит, это уже не баловство, а необходимость, без них он не смог бы работать. Возможно, все это плод моего воображения, но мне почудилось, будто он изо всех сил старается доказать собственную незаменимость. Иначе с какой стати он вдруг вскочил, ринулся на заднюю площадку, засвистел в свисток и, лихо развернувшись на подножке, выкрикнул оста-

новку, хотя кругом в помине не было ни одного пассажира. Запыхавшись, он вернулся на свое место и принялся взахлеб рассказывать, что служит уже «целую вечность», что персонала какой уж год не хватает и ему приходится по нескольку раз в неделю замещать других, молодых, которые эту работу, очевидно, ни в грош не ставят.

— Это выше моего разумения,— проговорил он, подмигнув мне сквозь толстые стекла очков, исказивших улыбку.— Хотя зря я во всем доискиваюсь смысла, как по-твоему, заменят нас когда-нибудь автоматы?

Когда мы после налета протиснулись меж взрослых к двери и замерли на пороге, не решаясь выйти на улицу, небо над городом было огненно-красным, точно от невиданного кровавого заката. Хотя и школа напротив, и голые кусты в школьном саду, и наш дом остались невредимы, но всему этому, казалось, угрожал огненный смерч, который неудержимо бушевал в Старом городе. Из-за школьной крыши валил черный дым и летели хлопья сажи — дождь пепла, покрывавший нашу одежду, лица, руки. Горячий ветер шевелил у наших ног ленты серпантина и конфетти. Вольфганг нагнулся подобрать перо из индейского убора и спросил:

— Это ты потерял?

На нем был маскарадный костюм: трапперские штаны с бахромой, только вместо деревянного ружья на плече висел противогаз, к которому его мать, когда началась бомбежка, привернула фильтрующую коробку. Взрывы слышались еще и теперь, следовали один за другим то далеко, то совсем рядом.

— Бомбы замедленного действия,— сказал господин Пич и отступил подальше от двери вместе со своей женой, которая, дрожа всем телом, цеплялась за его локоть.

— Этому конца не будет,— стонала она,— во всяком случае, ничего хорошего нас не ждет. Но противогаз я ни за что не надену — все равно задохнусь в нем.

Лишь моя мать оставалась спокойной. В руке она держала стеариновую свечу и теперь зажгла ее, так как электричества больше не было.

— Погасите свет! — завопил кто-то из соседнего дома.— Затемнение! Бомбу на башку захотели?!

Никто не обратил на это внимания. Отблески пожара, охватившего город, скользили по испуганным лицам.

— Пошли,— скомандовала нам мать. Брат только сейчас проснулся от громового взрыва, схватил перо и попытался засунуть его в вихры, размазывая по лбу пепел.

— Да брось ты! — прикрикнул я, потому что выглядел он ужасно нелепо.— Дай сюда перо, тебе спать пора!

В нашей комнате над диваном висела картина, на которой мужчины и женщины в туниках перетаскивали с помощью примитивных блоков камни и колонны для храма, сооружаемого на опушке рощи из пальм и кипарисов. Гравюра была старинная, оправленная в золоченую рамку, но никто в доме не знал, кто, собственно, ее автор. Отец наткнулся на нее на чердаке, когда расчищал его от хлама, заодно освободил находку от толстого слоя пыли. Под стеклом пыль и пятна на гравюре остались, поэтому ни фамилию художника, ни название прочитать было невозможно до тех пор, пока тринадцатого февраля одновременно не лопнули стекла на картине и в балконной двери.

— Смотри-ка! — изумилась мать, уложив брата на диван.— Теперь все можно разглядеть.

При свете свечи я с удивлением увидал, как тяжко трудились люди на гравюре: ломали камень, обрабатывали блоки и колонны, перетаскивали их с помощью катков и рычагов, сотни тружеников

тянули за канат, чтоб возвести одну-единственную арку, работали в поте лица, а под пыльным стеклом все это казалось чуть ли не идиллией.

Внизу было написано: «Расцвет Эллады. Рисовано Шинкелем»[1].

А что я вообще знаю об этом? — подумалось мне. И как же мал наш дом, ведь потому-то мы и дрожим за него, только бы он выстоял. В эту минуту второй раз за ночь завыли сирены.

— Возьми свечку и Ахима! — крикнула мать, хватая два чемодана и две сумки, больше ей было не унести.— Затемнением занимается противовоздушная оборона, а лучше сразу накрыть город саваном. Ну а нам с вами забиться бы сейчас куда-нибудь подальше в лес!

В школе старый учитель Кнёрншильд однажды показывал нам яркие картинки, на которых херуск Герман со своими кимврами и тевтонами, копьями и боевыми топорами, лошадьми в тяжелых латах и с рогатыми шлемами, панцирями, щитами и мечами одержал в Тевтобургском лесу победу над римлянами. Раньше, пояснил он, римляне победили греков, а еще раньше греки — троянцев и египтян, а египтяне — персов. Поэтому-де битва в Тевтобургском лесу в девятом году нашей эры есть дата, которую нам надлежит запомнить, ибо все в истории ведет начало от этой германской победы, и нынешняя эпоха тоже. Учитель Аурих откладывал в сторону учебники и зачитывал нам вермахтовские сводки, речи фюрера и специальные сообщения, которые заставлял нас учить наизусть вместо стихов. Он лупил тростью по рукам каждого, кто, вытягиваясь в нацистском приветствии, держал руку ниже уровня глаз. А однажды, когда мы отвинтили изнутри дверную ручку, чтобы хоть часок отдохнуть от его рева, он вышиб дверь своими форменными сапогами. Только фройляйн Буссе, на уроках которой мы горланили «Песню об Англии», если она слишком уж приставала к нам с грамматикой и лексикой,— только фройляйн Буссе оставалась спокойна и, терпеливо сидя за кафедрой, повторяла:

— Раньше я много путешествовала. И повсюду люди, такие и сякие, предметы и события, и все с другими именами, названиями — короче, кругом слова, которые следует знать, чтобы судить о них. Поверьте мне, иностранные языки учить очень даже стоит.

Летом, еще до налетов, я ездил с тетей Мией на пароходе по Эльбе в Ратен, мимо замка Пильниц, мимо небольших фабричек Хайденау, мимо Пирны, мимо высоких скал Бастиона. Затем вагончик подвесной дороги перенес нас через пропасть к Лихтейнхайнскому водопаду, там мы осмотрели Хлев — большую пещеру в скале, где во время Тридцатилетней войны крестьяне прятали скот.

— Страшная была война, и сюда добралась,— сказала тетя Миа.

Она была замужем за дядей Эрнстом, сыном бабушкиной сестры, он дослужился до фельдфебеля и получил Железный крест. На обратном пути в Ратен тетка то и дело пичкала меня сладостями, которые он ей присылал из Греции.

— В Греции тяжелые бои, а я уже целую вечность не получала писем,— с тревогой говорила она.— И от дяди Фрица из Югославии тоже нет вестей. Там ведь за каждым деревом скрывается враг.

На берегу Эльбы мы увидели афиши со скачущими лошадьми, и я громко прочел, что во второй половине дня на открытой сцене в скалах будет представлено «Сокровище серебряного озера» Карла Мая.

— Если ты непременно хочешь посмотреть, можем задержаться до следующего рейса,— сказала тетя; она выполняла любое мое желание, да и вообще с удовольствием оставила бы меня у себя. Но вот в скалах затрещали выстрелы, и откуда-то выметнулись на лошадях

---

[1] Шинкель Карл Фридрих (1781—1841) — немецкий архитектор и художник-классицист.

трапперы, и индейцы, кидая лассо и падая со страшной высоты, набросились друг на друга, размахивая ножами и томагавками. Тетя закрыла глаза и прошептала:

— Я этого не вынесу, вечную эту войну.

А я так увлекся, что молча сполз с лавки и начал пробираться поближе к сцене и в результате, когда представление кончилось, сидел совсем рядом со скалами, блокгаузами и пыточными столбами, у которых Виннету и Олд-Шэттерхенд поклялись в кровном братстве.

— Ох и нагнал ты на меня страху,— сказала тетя Миа, наконец отыскав меня.— Знаешь, у меня есть муж, но думаю я все время о Фрице. Уцелеет ли он в этой войне и вернется ли здоровым — ко мне.— Она прижала меня к себе и, всхлипывая, попросила: — Только не говори никому, в особенности матери. Я ведь старше ее брата на пять лет. Засмеет.

Еще до того, как начаться второму за ночь налету, мать собрала несколько сумок и чемоданов, поставила их у входной двери и дала мне ключ от подвала.

— Останешься с братом, ты отвечаешь за все.— И она побежала проведать сестер, братьев и родителей, живших в Миктене, где тоже падали бомбы.

Спать я не мог, ждал у окна возвращения матери, и когда Яндер, наш юнгцугфюрер, пришел мобилизовать нас с Вольфгангом на тушение пожаров, я показал ему ключ.

— Я отвечаю здесь за все,— повторил я несколько раз строгий наказ матери.

Но Вольфганг пошел с ним, и, когда завыли сирены, родители его смотрели на меня отнюдь не дружелюбно.

— Ты-то улизнул! — крикнули они мне, торопясь в подвал.— А он там в самом пекле.

Я отпер дверь подвала, и в эту минуту совсем рядом разорвалось несколько фугасок. С потолка и стен посыпалась штукатурка, белые облака окутали нас.

— Моя мать тоже в самом пекле,— сказал я, кашляя, и наклонился к брату.— А мое место здесь.

В бабушкин дом попала бомба. Она разворотила всю лестничную клетку, но больше ничего почти не задела. В подвале никто не пострадал, даже мать, которая вбежала в последнюю секунду и остановилась у самой двери. Она почувствовала только толчок в спину, земля дрогнула под ногами, у матери перехватило дыхание, и она упала. Еще долго после этого она была как в дурмане, но все же видела, что бабушка лежит рядом, шевеля губами и протянув к ней руку, видела, как другие выползают через подвальное окно наружу. Семнадцать мужчин и женщин, в основном пожилые люди, стояли во дворе и глядели на дом, внешне целехонький. Лишь стекла в подъезде побились, сорвало несколько дверей, да ступеньки превратились в пыль. Пути к квартирам, хоть они совершенно не пострадали, больше не было.

— Пошли к нам,— сказала мать и взяла бабушкину кожаную сумку с документами, хлебной карточкой, кошельком, сберегательной книжкой, вязаной кофтой и передником, больше она впопыхах ничего с собой не взяла. Только под утро я увидел в окно, как они вдвоем подходят к дому, уже после того как из города по нашей улице прошли сотни и тысячи людей, многие с пустыми руками, одежда прожжена до дыр, лица черные или белые как мел; иные тащили тележки с покрытыми копотью узлами. Все были подавлены и растеряны, как и мать, которая, качая головой, с плачем обняла меня.

Какое-то время мне снился один и тот же сон. Я летал по воздуху, двигая руками и ногами, точно пловец, добирался куда хотел и никогда не падал. Однажды Вольфганг, выучившийся плавать в за-

крытом бассейне, пошел вместе со мной на Эльбу и прыгнул в воду. Я внимательно следил за ним, а потом и сам доверился течению, но стоило мне потерять дно под ногами — и я заспешил обратно к берегу. После многократных попыток я заметил, что вода держит меня и несет вперед и нет никакой нужды напрягаться или трусить. Дышал я спокойно и, подражая каждому движению друга, проплыл за ним до середины реки, где течение так усилилось, что проще всего было позволить ему нести себя или делать широкие, плавные гребки. Обманчивое это было ощущение, у меня словно появились непомерные силы, крылья, и я в любое время мог подняться над водой, отделиться от земли. Упоительные сны, но я пробуждался разочарованным и разбитым: мать трясла меня, посылая то в школу, то на юнгфольковскую службу, то за покупками, то куда-нибудь в деревню за десятком картофелин.

Уже которую неделю не было ни электричества, ни газа, ни воды. Трамваи и поезда остановились. Поэтому мать пешком по разрушенным, опаленным улицам пошла к универмагу Реннера, где проработала столько лет. Но лишь черные развалины окружали площадь Альтмаркт, из подвалов выносили мертвецов, укладывали их вместе с другими бесчисленными покойниками на мостовых, на неужных теперь трамвайных рельсах и сжигали. К кладбищу у Вильдер-Мана тоже ползли вереницы телег, на которых громоздились горы трупов, телеги были прикрыты брезентом, но жуткий запах выдавал, что за груз они везли.

— Я больше не могу,— простонала мать, когда, вернувшись из города, рассказывала об этом.— Мы бессильны, беззащитны, даже руки от грязи отмыть и то нечем.— Она подвинула мне пустое ведро и попросила: — Пожалуйста, принеси воды, иначе я заполучу чесотку или еще чего похуже.

С двумя ведрами я поплелся в Альттрахау, где среди полей стояло несколько старых крестьянских дворов и были ручные насосы, вокруг них толпилось множество народу.

— Конечно, из Эльбы воду таскать удобней,— заметил какой-то старик,— только в ней полно трупов.

Рассказывали, что кроме огромных бомб, разрушавших целые кварталы, на город сбрасывались также фугаски и зажигалки, начиненные фосфором, от которого человек вспыхивал как факел и заживо сгорал, превращаясь в маленький черный огарок. Сотни, если не тысячи, людей, объятых пламенем, бежали по улицам, прыгали с Брюлевской террасы и с мостов в Эльбу, но ничто не могло потушить фосфорный пожар. Полыхая, плыли эти факелы до самого Козвига и Майсена, многие еще кричали.

В нашей небольшой квартире стало тесно. Бабушка спала на отцовой кровати, мать — на диване в общей комнате. Несколько дней жила у нас и тетя Лотта, она не хотела оставаться одна в сгоревшем доме среди руин, где жить можно было только в подвале. Почти каждый день с кирками и лопатами приходил дядя Руди, отдыхал часок и опять шел в Миктен разбирать завал, под которым была погребена его мать, родная сестра бабушки.

— Балки и стальные опоры еще не остыли,— сказал он однажды вечером, показывая почерневшие серебряные пятимарковики, которые нашел в подвале,— сбережения его матери, а больше от нее ничего не осталось.

Ни с того ни с сего заявился вдруг лейпцигский дядя Ханс в офицерской форме и притащил нам опаленную кожаную сумку, большущую, полную шоколада, конфет и банок со сгущенкой.

— Чуть было не сыграл в ящик.— Он задрал штанину и продемонстрировал едва заживший шрам на правой голени. В последнее рождество его призвали под ружье и спешно отправили на Восточный фронт, где его ранило осколком гранаты.— А тринадцатого, будь

оно неладно, я находился в санитарном поезде. Только мы остановились на Главном вокзале, как все и началось. Лежачие сгорели. Мои шмотки тоже. Зато мне самому повезло. Не было бы счастья. да несчастье помогло!

Он как был полуголый, так и выпрыгнул из вагона, а потом побежал через вокзальный туннель в убежище, где на походных койках лежали тяжелораненые офицеры. Кругом бушевал огонь, путаница, неразбериха, везде валяются мундиры и всякая амуниция. Документов у него никто не спросил, просто уложили на свободную койку, и все.

— Я, конечно, не стал отказываться, разрешил им лечить себя, обихаживать, поить-кормить. Ну и в конце концов получил новое обмундирование и выписался, разумеется в качестве офицера,— заявил он удовлетворенно.— Итак, теперь я майор и нахожусь в отпуске для полной поправки здоровья. Война все равно долго не протянется. Вот я и хочу маленько пофорсить в родных местах.

Как только раздавался сигнал воздушной тревоги — один-два раза за ночь,— все обитатели нашего дома бежали к школе, потому что у нас в подвале, под потолком, опиравшимся на единственный тонкий столбик, никто уже не чувствовал себя в безопасности. У школы были толстые стены и глубокие подвалы со стальными дверями. С некоторых пор только один из учителей обретался в большом здании, которое из-за нехватки угля не топили. Уроков не было месяцами, какое-то время мы ходили в деревенскую школу в Кадице, а потом занимались в трактире на Пишенском вокзале. В нашей школе после того ночного налета расквартировали восточные батальоны; большинство солдат были одеты в форму вермахта, некоторые носили черные или синие шаровары, заправленные в валенки, кожаные пальто и меховые шапки. Они были бородатые, смуглые, с узкими раскосыми глазами, как у японцев или китайцев.

— Господи боже мой, последний резерв! — шептал господин Пич.— Дело и впрямь идет к концу.

Солдаты со своими узлами, чемоданами, ранцами и ружьями сидели на скамейках, неподвижно пялясь на нас, когда мы спешили по коридорам в подвал. Мы слышали, как они шептались на своем странном гортанном языке, иной раз доносилось несколько слов по-немецки: «Жена и ребенок, хорошо!» При первых же разрывах бомб они сползали со скамеек, падали прямо тут, в коридорах, на колени и, воздев руки, то склонялись к земле, то вновь выпрямлялись. Молясь своему, не знаю уж какому богу, они уже не обращали на нас никакого внимания. После отбоя, когда мы выходили из подвала, они толпились вокруг нас с матерью, вокруг других молодых женщин и детей, совали нам хлеб, сало и колбасу из своих узлов и шептали чуть ли не хором: «Жена и ребенок, хорошо!» В одном куске хлеба мать нашла записку с двумя десятками адресов. «Пожалуйста, писать жена и дети, когда убит».

По вечерам мать заставляла меня молиться. Молитвы я знал наизусть, но большей частью про них забывал. Мне приходилось посещать уроки катехизиса; в мрачной башенной комнате Апостольской церкви пастор рассказывал старинные легенды, а иногда и истории про первую мировую войну, которая началась, когда ему, как и моему отцу, было девятнадцать. Только вот отец не вспоминал то время, хотя и побывал в ураганном огне под Верденом; он терпеть не мог все эти военные байки и говорил мне: «Не слушай ты их, это все вранье. Правда куда страшнее, никто ее не выдержит».

Без напоминаний я опять начал молиться перед сном.

— Милый боженька,— шептал я,— если ты существуешь, сделай так, чтобы Дрезден, и Германия, и отец, и все мы не сгинули в этой ужасной войне и не попали в плен.

А несколько дней спустя мать получила извещение, что отец, от которого в последнее время с одерского фронта приходили все более отчаянные письма, «пропал без вести», то есть бесследно исчез — убит или попал в плен.

Трамвай замедлил ход, строительные прожекторы лучились в потоках дождя, освещая сквозь мутные окна отцовское лицо; он кому-то кивал, хотя снаружи виднелись только штабеля бетонных шпал, вырытая брусчатка, горы щебня. Трамвай с визгом притормозил среди куч гравия и луж, в которых валялись ржавые рельсы и громадные, в руку толщиной, болты. Только теперь вспыхнул красный светофор, какие-то тени метнулись в сторону, должно быть ремонтники, знакомые отца.

— Вот и здесь началось,— удивленно подытожил он, встал, но, когда светофор снова переключился на зеленый, опять сел, а трамвай дернулся и покатил дальше.— Рельсы никуда не годятся, вконец износились, тонкие стали, как бритва, и сплошь в трещинах,— ворчал отец, перечислял, сколько на линии стройплощадок, а ведь кроме них есть и другие опасные места, куда, по его мнению, давно пора послать ремонтников.

Он всегда считал себя в ответе за состояние путей, по которым ездил, и сообщал в депо обо всех недостатках, требуя немедленно их устранить. За это многие его не жаловали — он якобы совал свой нос в дела, которые его не касались. Вот он и прослыл «педантом» и «придирой». Казалось, и сейчас его глаза примечали все вокруг, хотя мое присутствие несколько отвлекло его. Я не удивлялся, что порой он увлеченно, как, бывало, мы, дети, тормошил свою сумку, потом вдруг, очнувшись от размышлений, начинал говорить, жестикулировать, словно знать не знал ничего, кроме своей службы, и снова чувствовал собственную важность и значительность. Сейчас он глядел в окно на светофор, на огни стройплощадки, исчезавшие в мареве дождя.

— Ты не беспокойся, не стоит.— Он повернулся ко мне.— Я оправлюсь.

Из Польши, узнав о бомбежке Дрездена, он прислал нам письмо. Начиналось оно, как всегда: «Дорогая моя жена и милые мальчики». Я читал его много раз, потому что это было последнее письмо перед известием о пропаже без вести: «Я все время думаю о вас и ничего не знаю, и никто не знает, как там у вас и что будет дальше. Только сообщения радио да слухи, а им я не верю. Один однополчанин удержал меня, а то бы я удрал посмотреть, что происходит на самом деле, живы ли вы, здоровы ли,— ведь это важней всего. Пусть рушатся дома, пусть пропадают вещи — это все дерьмо и глубоко мне безразлично. Но они не вправе удерживать меня тут — вдруг с вами что-нибудь случится, а меня не будет рядом. Я сижу в блиндаже, стою, лежу, глаз не в силах сомкнуть, жду письма о том, что вы живы, и больше мне ничего не надо. Ты, дорогая Герди, садись с мальчиками у стены подвала или у опоры, а лучше даже в углу. Кое-кто считает также, что еще надежнее окоп или щель снаружи. Я бы выкопал для вас глубокую щель, целую пещеру, будь я сейчас с вами, и чего желаю всем сердцем. Скоро так и будет, обязательно будет, скажи об этом всем дорогим родичам и знакомым, которым я шлю горячий привет».

Мать все чаще рвала юнгфольковские приказы. Зачастую я о них даже не подозревал и получал нагоняи за то, что не был там-то или там-то. Наш фенляйнфюрер, белобрысый верзила Яндер, в конце концов заявился собственной персоной, и мать не сумела от него отделаться, хотя и накинулась на него, упрекая за бессмысленную авантюру с тушением пожаров в ночь налета, в которой погибли пять

соседских мальчиков, а мой друг Вольфганг уцелел только чудом. Но тут на лестнице появился Вольфганг в форме, и Яндер тотчас привел его в пример: он-де получил парочку ожогов, лицо заклеено пластырем, однако же без ропота отправляется на новое спецзадание.

— Что еще за спецзадание? — спросила мать.— Я хочу знать, куда и зачем пойдет мальчик, имею полное право.

Но Яндер покачал головой, напустил на себя таинственность и, не дав мне переодеться, повлек нас с Вольфгангом к входной двери, приговаривая:

— Спецзадание! Идем быстрей!

По дороге он собрал еще нескольких ребят посильнее и привел всех к спортивному казино рядом с миктенскими огородными участками. Нам разрешили в строй не вставать, санитарки раздали хлеб и по бумажному стаканчику ячменного кофе.

— Кинжалы держать наготове. У кого их нет, запастись кухонными ножами,— сказал Яндер.— Сегодня борьба идет не на жизнь, а на смерть.

Потом эсэсовский офицер, внезапно появившийся в дверях казино с пятью вооруженными солдатами, объяснил, что нам поручено оцепить огородные участки, где спрятались беглые военнопленные.

— Русские, французы или англичане,— сказал он, снимая пистолет с предохранителя.— Надеюсь, вам ясно, что никто из них не должен выйти отсюда. Не в ногу, шагом марш!

В мое обмундирование, которое висело дома в шкафу, наряду с коричневой рубашкой, галстуком, синей лыжной шапочкой и непромокаемой курткой, входили также спортивные шаровары с завязками на щиколотках.

— О нападении тут речи нет. Главное — без паники,— объявил эсэсовец, когда мы двинулись в путь и многие на ходу завязывали тесемки шаровар и шнурки на ботинках, так что ряды смешались.— Не стоит сразу класть в штаны, если дело примет серьезный оборот!

Распинался он долго: кому нападать, пока, мол, решаем мы. Главное — легкое оружие, особенно фаустпатроны. Чего проще — знай береги себя от струй раскаленных газов, а уж у врага шансы равны нулю. В крайнем случае можно залечь в какую-нибудь ложбинку, пропустить танк над собой и, перевернувшись, ударить вторым фаустпатроном по танку сзади. Но пока что, дескать, достаточно кинжала, не зря же на нем выгравировано: «кровь и честь». Насчет крови объяснять нечего, а что такое высшая честь, каждый знает. Враг еще не ступил на немецкую землю, и танки противника еще не мчались по немецкой земле, если не считать незначительных временных территориальных потерь, связанных с выравниванием линии фронта. И все-таки сейчас ситуация тут как на фронте — побеги, вероломство, предательство; поэтому необходимо смотреть в оба и, не мешкая, пресекать любое сопротивление. Пройдет час-другой, а то и меньше — и этому свинству будет положен конец: беглецов упрячут за решетку, где им самое место.

— Итак, держите язык за зубами,— закончил эсэсовец,— дома тоже не болтайте: враг повсюду подслушивает. Ясно? И не вздумайте драпануть!

— У меня горло болит,— прошептал мой друг Вольфганг,— может, дифтерит.

Ему хотелось домой, он же знал, как было со мною два года назад. В школе на уроке рисования я намалевал чересчур маленькие конфетные кулечки, косые треугольнички. «Ты что, заснул?» Старший учитель Буланг легонько постучал тростью по моим рукам, которыми я стыдливо прикрыл свои каракули. Я как бы одеревенел, не шевелился и не мог вымолвить ни слова. Учитель бил меня по рукам, все сильнее, сильнее, я хотел закричать, но горло словно сдавило клещами. «Что с тобой?» — спросила мать вечером, вернувшись с

работы. Она с ужасом смотрела на мои распухшие, покрытые синяками пальцы, затем потрогала лоб — горячий. Она спрашивала и спрашивала, но ответа не добилась. В глазах у меня все почернело, куда-то далеко отодвинулось, ноги, дрожащие и бессильные, подкосились. Потом я словно с птичьего полета увидел доктора Лайпельта, он сидел возле моей кровати со шприцем в руке и делал мне укол в грудь. «Такого страшного дифтерита я еще не видывал,— проговорил он упавшим голосом.— Особенно меня пугают опухшие пальцы».

Вдоль забора, опоясывающего огородные участки, через каждые сто метров расставили посты из двух мальчиков, а я торчал один-одинешенек в зарослях бирючины, потому что Вольфганг украдкой смылся, только кинжал оставил. Недалеко отсюда был садовый домик тети Лотты и дяди Макса, и я думал о смородине и крыжовнике, которые скоро опять распустятся. Тут и там на ветвях уже появились молодые почки, крошечные зеленые листики, но когда я шевелился, под бирючиной шелестела прошлогодняя листва. Многие деревья и кусты сирени еще стояли голые, с надломленными сучьями, а большинство роз засохли, вымерзли, исчезли среди буйства сорняков. Грядки и дорожки у забора тоже казались с виду пустынными и заброшенными, будто с незапамятных времен сюда не ступала нога человеческая и ничья рука не пробовала навести хоть какой-то порядок. Но, возможно, здесь кто-то скрывался — английский или американский летчик, выпрыгнувший с парашютом из горящего самолета и приземлившийся на одном из участков. Возможно, он влез в какой-нибудь домик, сжег парашют, переоделся в штатское — в старый рабочий комбинезон; у тети Лотты и дяди Макса тоже висело в сарае всякое старье. А может, это беглый военнопленный — француз, поляк, русский — шнырял по домикам в поисках съестного или еще чего-нибудь, небось и сейчас рыщет в спешке и отчаянии. Летчик представлялся мне опаснее — он явно прихватил из самолета пистолет и, ежели что, мигом вытащит его из кобуры. В густеющих сумерках я рисовал себе, что будет, если он внезапно очутится передо мной и выхватит оружие,— ведь я загорожу ему дорогу и крикну: «Стой, стой!» — как приказано. Я должен любой ценой помешать его бегству, подставить ножку, вцепиться в него изо всех сил и вопить, пока не подоспеет помощь. Пускай он даже будет сильней меня, не какой-нибудь изможденный пленный, пускай понимает, что на карту поставлена его жизнь, я все равно обязан остаться на своем посту, обязан задержать этого человека, действовать быстро и решительно. Потому я и схватился за Вольфгангов кинжал. Но рука, мокрая от пота, разжалась, едва мне представилось худшее — он с отчаяния одолеет меня, задушит или застрелит,— а другие часовые хоть и поднимут тревогу, да только найдут здесь не арестованного пленного, а убитого — меня.

Младший брат часто допытывался, почему больше нет дирижаблей. Над каждым рисованным домом, над каждым лесом и лугом он малевал яркий воздушный корабль с развевающимися флажками и множеством людей в гондоле, радостно глядящих на мир. Иногда отец рассказывал про цеппелин, который в дни его юности пролетел над Дрезденом и приземлился в лугах на берегу Эльбы. Его брат Вальтер, в то время еще ученик сапожника, вместе со своим хозяином, который просто бредил дирижаблями помчался к реке, влез в гондолу, а потом притащил домой пустую бутылку из-под шампанского, которым мастер угощал воздухоплавателей. Затем состоялся круговой полет над Морицбургскими прудами, на торжество были приглашены бургомистр, оперный дирижер, Вальтеров хозяин и хорошенькие актрисы; во время старта, когда сбрасывали балласт, чтобы быстрее набрать высоту, дяде Вальтеру, которого, к превеликому его огорчению, в полет не взяли, все лицо засыпало песком. У отца и у дяди сохранились вырезанные из газет фотографии взрыва

дирижабля «Гинденбург»; теперь они попали в руки моего брата, и Ахим развесил их над своей кроватью. Гигантские языки пламени вырывались из тела исполина, перелетевшего через океан в Америку, погибли тридцать шесть человек, вот с тех-то пор цеппелины практически не строили.

— Тебе что, больше делать нечего? — корил я брата, которого занимала только эта катастрофа, будто с того дня больше ничего плохого не случалось.— Такой цеппелин можно сбить одной ружейной пулей, для войны он не годится,— вещал я тоном знатока, а потом как попугай повторял слова отца, которые тот без конца твердил во время последнего отпуска: — Нынешняя война — это сплошная катастрофа.

Вскоре после того налета я видел в Миктене недалеко от бабушкиного дома мертвеца. Он лежал на груде развалин, а на шее его висела табличка: «Мародеров расстреливают». Глаза у него были широко раскрыты, рубашка и пиджак на груди красные от крови, ноги широко раскинуты, башмаки белые от известки, подошвы в дырах. Рядом обшарпанный раскрытый портфель. Я неотрывно смотрел на безжизненное, искаженное страхом лицо, толстое и одутловатое, на судорожно сжатые руки и неестественно раскинутые ноги. Штаны у него сползли, виднелось грязное белье, к подтяжкам была привязана бирка, надпись на которой расплылась от дождя и стала почти неразборчивой.

— О господи! — простонала мать и хотела поскорее пройти мимо, но не сумела, потому что на узкой тропинке среди развалин вокруг мертвеца молча толпился народ. Она долго не говорила со мной, не отвечала на мои вопросы и только покачивала головой, когда позже я заводил об этом речь. И отец Вольфганга, благодаря своей мастерской освобожденный от военной службы, беспомощно пожал плечами, когда я его спросил, правда ли, что расстрелянный, которого он тоже видел, был виноват.

— Об этом и спрашивать нельзя,— сказал он.— Нам конец, но даже это держат в тайне.

Мне снилась Инга, моя кузина с длинными косами. Мы с ней купались в Эльбе, и я учил ее, как легко, воспользовавшись течением, уплыть подальше от берега и от разрушенного города. Мы выныривали из воды, парили над зелеными лугами, взмывали к холмам Брабшюца, кружили вокруг церковной колокольни, презрительно глядя вниз, на огородные грядки, на сады, где раньше устраивали возню и кидались зелеными помидорами и крыжовником. Теперь мы рвали на лету только спелые фрукты, краснощекие яблоки, сочные груши, надкусывали их, угощали друг друга. Ветер раздувал Ингину блузку, под которую она засунула два яблока, чтобы у нас было чем закусить, если захочется лететь дальше. Никакой определенной цели мы перед собой не ставили, и небольшой дождик только нас раззадорил. Мы вовсю дурачились, перескакивали через серые тучки, катались на них верхом, а после камнем ринулись обратно в воду и помогли друг другу добраться до берега. рука об руку. И я вытащил у Инги из-за пазухи яблоко и съел его с большим аппетитом, а она сказала: «Бери и второе, бери».

Трамвай катил быстро, тарахтя и визжа на частых поворотах. На мгновение мне почудилось, будто он уже нигде не остановится, а помчится все дальше и дальше от оживленного города. Мы были с отцом одни, погруженные в раздумья и воспоминания. Я понятия не имел, когда вошел и вышел последний пассажир. Дождь усилился, сперва обзор заслоняли темные дома, потом туманные испарения, а теперь впереди не было видно даже вагоновожатого в освещенном

моторном вагоне; хотя отец, похоже, вполне ему доверял. Он только улыбался, когда трамвай резко тормозил и снова рывком трогался с места.

— Ну и движение теперь на улицах, с ума сойти! — сказал он.— Любой испугается.

Больше насчет этого он ничего не сказал, а ведь прежде относился к новшествам скептически. Ему не нравились ни автомобили, ни автобусы с их высокими скоростями. В Дрездене, где ликвидировали несколько трамвайных линий, заменив их автобусными, он наотрез отказался перейти в автобусный парк. «Я рельсам не изменю»,— упорно повторял он. Это была своего рода клятва, категорический отказ от всех прочих шансов, какие предлагала ему жизнь. Тарахтенье и скрежет старого вагона, уносящего нас в туманную мглу, словно и не досаждали ему. Напротив, он удобно откинулся на сиденье, скрестив на коленях руки, и мог бы ехать вот так до конца своих дней, дальше и дальше, счастливый человек, все желания которого исполнились. Или нет?

Велосипед висел в подвале, я регулярно чистил его и смазывал. Но кататься на нем не мог: ноги до педалей не доставали, как бы низко я ни опускал седло.

— Вообще-то есть кое-кто, кому бы этот драндулет здорово пригодился,— сказала мать, когда месяца через два после налета мешки с песком убрали из подвального окна и сложили из них уличную баррикаду.

Сирены теперь выли редко, притом большей частью с опозданием, когда штурмовики уже летели над городом,— ведь фронт на востоке подступил совсем близко. Некоторым вовсю мерещилась орудийная канонада и лязг танковых гусениц. Но один раз их ввела в заблуждение гроза, а в другой раз по автостраде двигалась вермахтовская колонна. Мать достала из шкафа отцовский выходной костюм, нижнее белье, рубашку, носки и подтяжки, а мне велела привести в порядок велосипед.

— Русские будут здесь со дня на день,— сказала она.— Нельзя думать только о себе.

Вечером, лежа в постели, я услышал в соседней комнате мужские голоса, затем пришли соседки, и скоро там воцарилось шумное веселье. Я не мог заснуть, встал и глянул в замочную скважину. На кушетке сидели двое или трое молодых солдат, курили сигареты и пили вместе с матерью и соседками то ли вино, то ли ликер.

— Велосипед они не получат, я отцу обещал,— сказал я матери на следующее утро.

— Еще как получат! — Она спустилась в подвал и сама сняла его со стены.— Раз надо — значит, надо.

Снова явился Яндер с приказом.

— У нас есть в запасе секретное оружие,— сказал он мне,— будь уверен.

В последний раз я натянул свою форму, которую мать намеревалась сжечь вместе со школьными учебниками и старыми журналами из-за обилия свастик и портретов Гитлера. На сей раз Яндер не знал, зачем нас собрали на спортплощадке и вооружили лопатами и заступами. Несколько фольксштурмовцев уже рыли траншею поперек садовых участков, не щадя кусты и деревья, которые теперь были гораздо зеленее, чем в пору безуспешного розыска пленных. Я нашел то место, где дрожал за свою жизнь, куча песку уже наполовину скрыла куст бирючины.

— Это что за щелка, ширше копай, ширше! — крикнул унтер-офицер в синем мундире летчика, расставляя нас среди пожилых мужчин.— Живо, живо!

— Противотанковый ров, что ли? — спросил Яндер. Ему все не верилось, что русские так близко.

— Ты давай руками работай, а не языком,— оборвал его кто-то из фольксштурмовцев.— Скорей разойдемся.

Я усердно копал и уже через десять минут взмок от пота; сняв куртку, повесил ее на цветущую вишню, которую мы должны были срубить, но спасли, обогнув ее траншеей.

— Чтоб вы сдохли, сволочи окаянные! — завопил фельдфебель, заметив это. И пошел и пошел: нам-де лень корчевать корни и пни, а вот танки просто подомнут дерево и проедут по нему, тогда весь ров коту под хвост.

— Неужто они так и пойдут через садовые участки? — спросил я, поскольку больше нигде не копали.

— Заткнись! — рявкнул Яндер.— Они вообще не придут, они теперь поняли, что им не пройти.

В бабушкином доме я вскарабкался до ее квартиры на пятом этаже. Стены лестничной клетки были покрыты выбоинами и выступами, тут и там торчали остатки ступенек, на которые можно было поставить ногу. Железные перила покуда прочно держались в кладке, и я лез по ним на руках, если не было иной опоры. Бабушка дала мне с собой список вещей, которые были нужны ей в первую очередь: белье и одежда, шкатулка для шитья, кухонная утварь и хозяйственная книга, куда она заносила все расходы, заодно отмечая визиты детей и примечательные события. По-моему, в квартире все осталось как раньше, когда я торчал здесь целые дни, пока мать работала. Только часы на кухне с гирями в виде шишек больше не тикали, и мне не удалось их завести. Когда я начал подтягивать гири, в часах что-то щелкнуло и задребезжало, очевидно, я их вконец доломал. После этого я не рискнул трогать вещи, не указанные в записке, и хотя посидел на вертящемся стуле перед пианино, но к клавишам не прикоснулся. Инструмент принадлежал дяде Фрицу, младшему брату матери, он был строителем, а теперь служил в Югославии сапером. Его фото висело над пианино, в рамку были воткнуты засохшие еловые ветки. Бабушка с рождества не получала от него никаких известий. «Захвати карточку Фрицеля,— стояло в бабушкиной записке,— и его выходной костюм из шкафа, театральный бинокль, а главное, готовальню с полки в чуланчике, вверху слева». Я все собрал, сложил в корзину и опустил ее на веревке из окна во двор, где мой брат, завистливо поглядывая вверх, опорожнил корзину.

— Подними меня, пожалуйста! — упрашивал он, залезая в корзину. Представляя себя как бы в гондоле дирижабля, он верещал от радости, когда я поднял его до второго этажа и позволил заглянуть в окна.

— Держись крепче! — орал я, слегка раскачивая корзину, а он ликовал:

— Вот здорово! Выше, еще выше!

Но тут старик, наблюдавший за нами из соседнего дома, закричал:

— А ну вниз, паршивцы! Или я полицию позову!

И еще раз в городе ухнули взрывы. Сирены не выли, самолетов не было. Это взорвали четыре каменных моста, почти не пострадавших от бомбежек. Трамваи больше не ходили, поезда добирались только до пригородов, по улицам с детьми, чемоданами, узлами потерянно тянулись беженцы, просились на постой, зашли и к нам.

— Здесь места нет,— сказала мать и послала их в школу. Несколько пожилых фольксштурмовцев выковыривали камни из мостовой на Индустриштрассе, сооружали баррикаду, но и они через час-другой смылись. На перекрестках тут и там лежали мешки с песком, эсэсовские солдаты стреляли в воздух, загоняя в дома гражданское население. Но люди все равно толпились возле фабрик, складов и запертых продуктовых магазинов, вышибали окна и двери, хватали с полок что попало, тащили по домам кули с мукой и овсяными хлопьями,

какие-то ящики с пакетами, бутылками и консервными жестянками, тюки материи, комья искусственного меда, разбитые банки с мармеладом, которые выуживали в давке из-под ног.

— Ты не смей этого делать,— предостерегла меня мать.— Помни о расстрелянном мародере.

Я все же притащил со школьного двора микроскоп, чучело совы и кучу книг, выброшенных беженцами из окон. Увидев эти сокровища, мать совершенно рассвирепела, а я сказал:

— Мама, если когда-нибудь снова будет школа, я все отнесу обратно.

Изо дня в день мы вместе с бабушкой ели картофельные оладьи, посыпая их желтым сахаром, по вкусу похожим на сироп. Остатки жира, бурого, прогорклого, соскабливали с маргариновой обертки на сковороду, чтоб оладьи не сгорели. Брат, давясь, проглатывал несколько кусков, а остаток пододвигал мне, пока мать орудовала у чадящей печи, которую топили старыми журналами и моей юнгфольковской формой, потому что уголь кончился.

— У меня на кухне еще осталось несколько пакетов пшеничной муки и рафинада,— сказала бабушка, нарезая свою порцию на четырехугольные куски и отдавая мне те, что побольше.— Мебель можно бы разрубить на дрова, если мы ее спустим из квартиры, только пианино я сохраню для Фрица.

Липкими пальцами бабушка протерла очки, на глаза у нее навернулись слезы, она вдруг встала и выбежала из кухни. Позже мать нашла ее в Миктене у разбомбленного дома и лишь с большим трудом удержала от отчаянных попыток влезть на пятый этаж.

— Фрицель мой,— причитала бабушка,— я ведь должна сохранить вещи до его возвращения.

Вечером в нашей квартире появился какой-то солдат, возбужденно пошептался с матерью, исчез в спальне и вышел оттуда в лучшем отцовском костюме.

— Выкати велосипед,— велела мать, бросив на меня взгляд, не терпящий возражений.— Поставь его во дворе и хорошенько накачай шины.

Мы с братом спустились в подвал и, сидя перед отцовским велосипедом, в слезах размышляли: не запереться ли нам тут или забаррикадироваться, пока не приедет отец и не спасет велосипед.

— Давай проколем шины,— предложил брат,— без воздуха он не двинется с места.

Он вооружился отцовским шилом и как раз нацелился колоть, но мне стало жаль покрышек: ведь тогда и отцу от велосипеда проку не будет. И вот, когда мать позвала нас, а солдат уже шел в подвал, я молниеносно выкрутил ниппеля, с шумом выпустив остатки воздуха, и крикнул:

— Шины спустили! Камеры в дырках, на нем нельзя ехать!

Солдат в великоватом для него костюме отца влетел в подвал, пощупал колесо и бросил в сердцах:

— Вот зараза! Ну и ладно, тогда я остаюсь.

Во дворе соседи поспешно закапывали ящики и чемоданы с посудой, одеждой, серебряными приборами, а заодно военные книги, портреты Гитлера, флаги со свастикой, пневматические ружья, старые штыки и сабли, даже противогазы и другие защитные устройства, будто стремясь уничтожить всякий след прошедшего. Некоторые жгли возле мусорных баков бумаги, форму, газеты, альбомы с фотографиями. Только старая фрау Лёйшнер развешивала белье и, со злостью глядя на всю эту суету, на копоть и на песок, который так и летел из-под лопат ретивых копателей, кричала:

— Я этого не потерплю! Вот пакость, вот свиньи-то!

Газеты выпархивали из окон, планируя за забор богадельни, гра-

ничившей с нашим двором, и пугали стариков, которым вряд ли было что сжигать или закапывать.

— Брось в огонь,— сказала мать и сунула мне мундир солдата, завернутый в бумагу и крепко перевязанный бечевкой.

Какой-то старик за забором сгребал газеты и обгоревшие клочки бумаги и кричал:

— Лучше белые флаги вывесьте, а то они всех нас перестреляют!

Но мать, покачав головой, ехидно возразила:

— Нету у нас лишнего постельного белья.

Историю с велосипедом она тоже восприняла чрезвычайно хладнокровно.

— Сиди у костра,— велела она мне,— пока форма не сгорит дотла.

Когда я вернулся, она обняла меня за плечи и сказала:

— Если кто-нибудь спросит, кто это у нас живет, отвечай: мой дядя, дядя Альфред.

Я удрал с микроскопом на чердак, собрал там кучу всякого хлама: щепки, сосновые иголки, клочки промокашки, лоскуток материи, дохлых мух и жуков — и часами сидел, рассматривая в окуляр увеличенные в сотни раз крылышки насекомых, кусочки древесины и листья, пронизанные множеством жилок. Удивительное дело, как же мало до сих пор я видел и наблюдал невооруженным глазом! Мой собственный волос был похож на древесный ствол с порами, трещинами и содранной корой, сверкающий всеми цветами радуги, а на кончике как бы обломанный, бесформенный и грубый. В капле воды копошились круглые, угловатые и нитеобразные создания, некоторые словно двигались по кругу, другие как бы плавно скользили или рыскали из стороны в сторону — целое море, кишащее крохотными существами, которое я мог сдунуть, а если вздумается, устроить в нем бурю. Я не слышал, как мать выкликала меня в подъезде, во дворе, на улице, я сидел у чердачного окна, которое дочиста отмыл, и лишь вечером покидал свой наблюдательный пост, да и то потому, что становилось темно.

Велосипедные ниппели я запихал в карманы штанов, и теперь они были для меня как свинцовые гири, от которых я хотел поскорее избавиться, при первой же возможности. Я шепотом советовался с братом, не стоит ли мне прикрутить их на место, может, тогда этот тип, которого мы должны звать дядей Альфредом, уедет.

— Но ведь он на велосипеде уедет,— заскулил брат,— а ты обещал отцу сберечь его.

После долгих колебаний мы выбрали меньшее из двух зол: прикрутили ниппели, накачали шины и сказали матери, что велосипед опять в порядке и солдату пора на нем убраться.

— О, слишком поздно.— Мать как-то странно посмотрела на нас.— Вы разве не знаете, что русские совсем близко? Танки. Разве не слышите?

Утром восьмого мая я спрятал микроскоп в углу чердака, вылез через слуховое окно на крышу и увидел, что по автостраде быстро приближаются русские танки. День был солнечный, на небе ни облачка, легкий ветерок задувал мне в лицо дым из трубы, за которую я цеплялся. На улицу никто носа не высовывал, тут и там из окон свешивались белые флаги, большей частью простыни или наволочки, прикрепленные к черенкам метел. Мой приятель Вольфганг тоже вскарабкался по лестнице к чердачному окну, но выше лезть побоялся: родители запугали, мол, еще ранит осколком.

— Сейчас начнется пальба! — крикнул он мне.— Пошли лучше в подвал или в богадельню!

Но я остался наверху, никто не стрелял, только все отчетливей доносились лязг танковых гусениц и рев моторов.

— Я их не вижу,— сказал Вольфганг, боязливо выглядывая из чердачного окна и протирая глаза. Солнце стояло прямо над Шютценхофской горой, где танки теперь сворачивали с автострады и через перелесок ехали к городу. Деревья стояли зеленые, покрытые густой листвой, за ними поднимались пыль и клубы черного дыма, потом на миг лязганье гусениц стихло, а в следующую секунду танки вынырнули у конечной остановки трамвая, где я так часто дожидался отца.

— Вот они и пришли! — закричал я, вовсе не думая покидать свое место на крыше.

Дрезден был объявлен крепостью, и я знал, что разрушенный город должен обороняться до последнего человека, до последнего патрона. Но теперь, казалось, не существовало больше ни одного германского солдата, ни одного фольксштурмовца, ни одного гитлерюгендовца, ни одного хорденфюрера, ни одного юнгфольковского мальчишки, который взял бы оружие и выступил против русских.

— Я смываюсь! Все смываются! — крикнул мне Вольфганг и исчез из окна.

— Трус,— сказал я и почувствовал себя ужасно мужественным, когда увидел, что мать, дядя Альфред, брат и многие другие жильцы бегут через двор в богадельню.— Трусы, трусы!

Во время этой ночной поездки по Берлину отец то и дело окидывал взглядом пустой вагон, будто вправду был на службе и в любую минуту готов обслужить новых пассажиров. В конце концов он сказал мне, пожав плечами:

— Прямо как вымерли все. Вот и хорошо, с тобой мне из кожи лезть незачем.

Он взялся за свою сумку, оторвал мне билет и вытащил двадцать пфеннигов из собственного кошелька.

— Это еще зачем? — спросил я, когда он начал совать мне деньги, хоть и помнил, что он всегда так поступал, если я ехал его трамваем. Он и матери выдавал деньги на проезд из своего кошелька и тут же забирал их в кассу. «Вот глупость!» — говорила мать, всякий раз потешаясь над ним и высмеивая дома его педантичность. Но я постарался сохранить серьезность и сказал:

— Оставь ты эти гроши, не в них дело.

Я чуть было не брякнул, в чем, собственно, дело и что меня смущало во время этой странной поездки.

— Ты давно уже здесь или тебя только-только перевели? — спросил я, так как его поведение было ни на что не похоже.

— Ты имеешь в виду «выпихнули»? — резко бросил он и даже немного отодвинулся, искоса, настороженно посмотрел на меня и горько улыбнулся.— Хочешь сказать, что я спасовал и потерял всякий авторитет? — продолжал он, поскольку я в замешательстве молчал.— Думаешь, меня списали за ненадобностью, мол, пора старому хрычу на покой, разве он разберется в нынешнем мире? — Отец печально отвернулся и опустил глаза, однако немного погодя подмигнул мне, качнув головой, и самонадеянно заверил: — Я ни о чем не жалею, да у меня и не было иного выбора, себя так просто не переделаешь.

В этот миг я понял, что, несмотря на все, знаю о нем крайне мало и лишь теперь, во время этого нежданного свидания, начал спрашивать себя, сколько он значил для меня все эти годы и чем меня наделил.

— Отец, послушай.— Я поднял упавший под ноги билет.— Я знаю, как ты дорожишь своей профессией, правда знаю.— Без лишних слов я сунул билет в карман, где уже лежал другой, из автомата.— Во всяком случае, хорошо, что мы наконец встретились.

Ничто не задерживало танки, которые уже съехали вниз по склону Вильдер-Манна. Даже когда из какого-то подвала начали обстреливать колонну, задержки не произошло. Несколько русских солдат в землистого цвета шинелях и меховых шапках — хотя стояла жара — спрыгнули с танков и швырнули в подвал ручные гранаты. От взрывов загорелась деревянная веранда, а потом и весь дом. Несколько эсэсовцев, засевших в подвале, пытались бежать, но через несколько сот метров повернули обратно к горе. Потом под конвоем русских они стояли, подняв руки. Русские скинули шинели и бросали в воздух шапки, пока не прошли танки; наконец конвоиры остановили какой-то грузовик, влезли с пленными в кузов и покатили в город. Густой, черный дым клубился над горой, временами закрывая солнце. Пожарных не было, поэтому огонь перекинулся на соседний дом; несколько елей вспыхнули факелом и упали поперек улицы. Никого это не заботило, люди по-прежнему боялись высунуться из домов, хотя армейская колонна русских и длинный обоз давно скрылись из виду и уже достигли Эльбы. Оттуда слышался шум, но выстрелов больше не было. Ни автоматных очередей, ни свиста снарядов, ни рева катюш, только стук молотков, голоса, музыка из репродукторов. На нёйштадтской рыночной площади, среди руин, на приэльбских лугах, в заброшенном розарии расположились лагерем тысячи красноармейцев, несколько сотен наводили мост через Эльбу и уже переправили на тот берег понтоны с развевающимися красными флагами.

Мимо нашего дома проехала машина, старый фургон, выкрашенный в серый цвет. На первый взгляд казалось: запоздавший вермахтовский автомобиль, возможно полный солдат, не успевших удрать. Однако шофер, судя по всему, не торопился, обогнул угол у молочной, притормозил возле церкви, спокойно развернулся и покатил по Аахенерштрассе, окруженной садами и спортплощадками. К машине подъехали два велосипедиста — красноармейцы с автоматами за спиной. Они остановились, властно помахали шоферу и бросили велосипеды на землю. Грузовик с визгом затормозил около них, из кабины вылез хромой человек, открыл задний борт и, вытащив молочную флягу, поставил ее перед солдатами на мостовую. Все трое, отчаянно жестикулируя, громко заговорили между собой. Водитель налил молока в крышку и протянул ее солдатам. Один из них понюхал молоко, выпил и покачал головой. Видимо, они подозревали, что в машине везут что-то другое, обыскали кузов, но потом в конце концов наполнили фляжки молоком, крикнули: «Давай!» — сели на велосипеды и быстро покатили дальше. Когда шофер собрался водворить флягу на место, его уже окружала плотная толпа детей, как по волшебству высыпавших из домов, дворов и убежищ. Сообразив наконец, что до искомой молочной рукой подать, шофер влез в машину, развернулся и снова затормозил на углу нашей улицы, где и сгрузил фляги с помощью детей, у которых тотчас откуда-то появились кастрюли, кувшины и бутылки.

Наш дом опустел, обезлюдел. Большинство жильцов укрылись в богадельне, полагая, будто там ничто им не угрожает.

— Это последняя надежная крепость, ни один русский старушек не тронет,— сказал дядя Альфред, спрятавшийся у нас переодетый солдат, и пошел вместе со всеми. Фамилия его была Рингхут, брат же окрестил его «господин Фингерхут», то есть «господин Наперсток», за что схлопотал от матери шлепок по заднице и, обиженный, убрался ко мне на чердак. Теперь мы могли сколько угодно ходить по коньку крыши: ни одна труба не дымилась и не отравляла нам воздух. Мы то и дело бегали вверх и вниз по лестницам дома, глядели в бабушкин театральный бинокль на строительство моста, на русские конные повозки, следовавшие за второй танковой колонной. Лишь вечером явился Вольфганг с отцом, которого в последний момент забрали в фольксштурм, но он еще до прихода русских сбежал домой. Наперсток и

мать тоже вернулись в квартиру, хотели взять одеяла и подушки и увести нас в богадельню. Увидев нас на крыше, мать пришла в ужас.

— Сперва мы с мальчиками сходим за «горючим»,— сказал Наперсток, размечтавшись о бочках с вином в подвале полицейской казармы, которые, конечно же, никак нельзя отдавать русским.

Но мать даже слышать об этом не хотела: дескать, слишком опасно,— а потом сама отправилась с ним, поняв, что Наперстка не переубедишь. Мы опять влезли на крышу и в сумерках скоро потеряли мать и «этого» из виду. От беспокойства мы места себе не находили, бегали по дому то к окну, то к двери, потом уселись на кровать и заснули. Проснулись мы среди ночи, мать, вся в слезах, стояла перед нами, держа в руках простреленные, пустые ведра. Русские накрыли их с Наперстком в подвале, когда они уже собирались уходить с наполненными ведрами. «Стой!» — скомандовали солдаты, пальнув по ведрам, и забрали Наперстка, несмотря на отцовский костюм.

— У него ведь нацистская наколка — группа крови под мышкой,— всхлипнула мать, выпустила ведра из рук и пнула их ногой так, что они с грохотом покатились в разные стороны. Чулки у нее до колен были красными от вина, пальто и платье порваны.

В отцовской тумбочке брат нашел множество пакетиков с резиновыми шариками, надул их и привязал к каждому нитку.

— Это что, напальчники? — захихикал он и принялся носиться с ними по квартире. Они были припудрены тальком и выглядели как цеппелины, только ввысь не поднимались, как Ахим ни старался. Он взял их с собой на крышу, но день как назло стоял жаркий и безветренный. Даже когда он дул на шары, они едва трепыхались туда-сюда, ударяясь о трубу, через конек и то не перелетали. Ахим так много знал о полетах, о воздушных кораблях, о шарах и теперь был опечален и раздосадован, что не может все это продемонстрировать мне. После долгих рассуждений насчет катастрофы дирижабля «Гинденбург» ему вдруг пришло на ум, что наполнять шары нужно не воздухом, а газом. Мы прокрались в квартиру и с облегчением установили, что мать еще крепко спит у себя в комнате. К этому времени на несколько часов в день опять давали свет, воду и газ, никто нам не мешал, и мы начали ретиво накачивать шары от плиты, напустив при этом полную кухню газа. У нас закружилась голова, и мы распахнули окно. Брат со спокойной душой пустил свои цеппелины в полет.

— Смотри! — крикнул он.— Вон как высоко полетели!

Он торжествовал слишком громко. Мать проснулась, прибежала к нам и хотела поймать один из шаров, который еще не успел вылететь в окно.

— Что тут происходит? — спросила она, уставясь в потолок, где парил единственный оставшийся цепеллин.

Спросонья она влепила пощечину не брату, а мне.

— Ты же знаешь, что это никакие не воздушные шары! — напустилась она на меня, тщетно стараясь схватить последний.— И отцовские вещи тебе трогать запрещено, это ты тоже знаешь. Что он, по-твоему, скажет, когда увидит, что они исчезли?

Прошел слух, что в молочной ежедневно выдают по пол-литра обрата. Первыми притащились старики и старухи и стали в очередь за своих дочерей, невесток и внуков. Скоро и молодые женщины покинули свои квартиры и убежища в богадельне. Но чтобы казаться старше, они укутывались в халаты, пальто и платки, некоторые даже напудрили, а то и выкрасили волосы. Мы, дети, впервые услышали слово «изнасилование», а Анита, хихикая, рассказывала, что женщины зря боятся: русские, мол, нападают как раз тогда, когда от них спасаются бегством.

— Я тут встретила на улице одного с висячими усами,— сказала она,— остановилась, и он ничего мне не сделал.

Все чаще мимо проезжали грузовики с красноармейцами. Некоторые из солдат обличьем были похожи на тех, которых я видел в школе во время воздушной тревоги.

— Ну уж те-то не уцелели,— сказала мать и вытащила записку, которую мы нашли тогда в куске хлеба. Она обдумывала, не поможет ли эта записка, если отнести ее в русскую комендатуру, вызволить из-под стражи дядю Альфреда.

— Не делай этого, мамочка, пожалуйста,— упрашивал я, ужасаясь, что она вновь на все готова ради Наперстка.

Перед виллой лесоторговца Леланского, удравшего в мебельном фургоне, стояли военные машины с пушками, джипы, танки и часовые с автоматами. На крыше развевался красный флаг, громкая музыка доносилась до нашего дома, иногда слышались громкие крики, среди бела дня в небо взлетали красные, желтые и зеленые ракеты.

— Идем,— сказала мать, направляясь к комендатуре, но у самых ворот перед часовыми остановилась в нерешительности, а потом порвала записку.— Это бессмысленно. Те солдаты в школе были предателями, воевали против своих. За эту бумажку мне спасибо не скажут, скорей наоборот.

А вот лейпцигского дядю Ханса ни сомнения, ни муки совести не терзали. Недели две-три спустя он подкатил к нашему дому на русской машине и с криком: «Привет, мамаша!» — заключил в объятия бабушку, боязливо отворившую дверь. Дядя о чем-то потолковал с русскими, которые его привезли, и перед отъездом они оставили ему несколько буханок хлеба. Вместо майорской формы на нем был темный костюм с белой рубашкой и галстуком, новые черные штиблеты, а на рукаве красная повязка с надписью «Антифа».

— Что, не ожидали?! — сказал он, отдавая нам хлеб, на который мы с жадностью накинулись. Сам он от хлеба отказался, только без конца рассказывал про русских, с которыми, мол, пировал столько-то дней и ночей, ел и пил как в сказке.

— Нацисты, эти идиоты, решили, видите ли, устроить мне напоследок веселую жизнь. Бумаги у меня якобы не в порядке были,— разглагольствовал он.— Засадили меня в тюрягу, ну я сижу недели три-четыре, потом дверь открывается — казачий генерал обнимает меня и выпускает на свободу.— Дядя снял красную повязку и гордо продемонстрировал ее нам.— Русские хотели сразу назначить меня бургомистром, но я сказал: «Это уж слишком, я никогда не был важной персоной».— На этот раз он тоже задрал штанину и показал рану, от которой остался шрам.— Да, нацисты чуть было меня не ухлопали при попытке к бегству,— объявил он и даже бровью не повел.— Счастье, что обстоятельства изменились.

На каждом повороте трамвай скрипел и визжал, нас швыряло из стороны в сторону, плечи наши соприкасались.

— Старая колымага,— сказал отец, как бы извиняясь.— В Трахенбергском депо, на третьей и шестой линии, у нас вагоны были получше, тут ты прав.

Поджав губы, он перечислял остановки, бывшие для него словно этапами жизни; дома, магазины, сады, аллеи, заодно и людей вспоминал. Казалось, его вдруг самого удивило, что он очутился тут. Ведь разве все это могло сравниться с его скамейкой у Вильдер-Манна и с Гроссенхайнерштрассе, с площадью Губертусплац, с Ганза- и Антонштрассе, с мостом Мариенбрюкке, с Остра-аллее, Постплац и Штернплац, и мостом Фалькенбрюке, и улицей Плауэншер Ринг, и с конечной станцией в Кошюце среди садов, где знакомый старик в краткие минуты перерыва всегда угощал отца свежей кольраби или яблоками? Здесь же будто и не было никакого разнообразия — повсюду высокой стеной тянулись одинаковые фасады домов, и редкое де-

рево сумело пережить войну, тяжелые послевоенные времена, годы восстановления. Садам пришлось отступить перед огромными жилыми массивами, универсальными магазинами, школами, ТЭЦ, фабриками, городами в городе — освещенные окна убегают высоко вверх, до самого дождливого неба, которого толком не разглядишь.

— Кому по силам это изменить? — обронил отец, пристально глядя в окно, точно видел все это впервые. Он не считал нужным говорить, почему очутился здесь, просто сидел, всем своим видом показывая, что ему надо еще многое мне поведать, хотя я годами не спрашивал у него совета, больше того, даже не думал о нем. Он не требовал от меня объяснений, не спрашивал, как мне жилось; словно знал достаточно и примирился с тем, что для сына и для семьи он все равно что потерян, исчез, пропал без вести, все равно что мертв.

— Отец,— сказал я,— поверь, я многого не знал.

Он кивнул, разом отмахнувшись от всего, прошедшее его больше не интересовало.

— Ты же знаешь, я всегда с трудом привыкал к новому.— Он опять посмотрел в окно быстро бегущего трамвая.— Скажи, как ты здесь ориентируешься?

В те майские дни, когда пришли русские, уже ни у кого в нашем доме не осталось ни картошки, ни угля в подвале, и тем не менее в это время, когда не было ни газа, ни электричества, трубы изредка все равно дымились. Люди что-то варили и с жадностью ели, хотя бы запеканку из толченых картофельных очистков или остатки отрубей. Вечерами старики и молодые женщины выходили с тележками, топорами и пилами на промысел, валили деревья на склонах Вильдер-Манна и в садах на Шютценхофштрассе. Стволы и крупные сучья распиливали на месте, распределяли и украдкой тащили домой. Мало-помалу по окраинам исчезли никому сейчас не нужные киоски для мороженого и газированной воды, витрины и рамы для афиш, даже скамейки и заборы запущенных парков и скверов, заросших сорной травой и мелким кустарником. Никто уже не мог представить себе, что когда-нибудь люди будут беззаботно сидеть на скамейках и любоваться цветущими деревьями. Мы вскопали священный кусок газона под нашим балконом, посеяли морковь и редиску, посадили цветную капусту, кольраби, помидоры, даже табак, потому что мать надеялась выгодно обменять его. Жильцы спорили до хрипоты, каждому хотелось иметь грядку побольше, старый господин Пич выступал третейским судьей: вооружившись дюймовой линейкой, он с точностью до сантиметра восстанавливал справедливость. Когда мы с Вольфгангом играли на балконе в кукольный театр, он внимательно следил, чтобы наши зрители ненароком не потоптали морковь и свеклу.

— И с этой кражей дров тоже надо кончать! — кричал он из окна, когда в темноте снова разгружали тележку.— Скоро введут продуктовые карточки и талоны на уголь, тогда вновь наступит порядок.

Несколько недель дядя Ханс прожил у нас, гордо расхаживая с красной повязкой на рукаве, то и дело наведывался в новые учреждения и в комендатуру, где иногда участвовал в застольях, и возвращался домой сильно под хмельком.

— Я о вас забочусь, теперь на очереди мы, маленькие люди,— самонадеянно заявлял он.— Большая ломка идет, в мире должна наконец-то воцариться справедливость.

Он достал многое из того, в чем мы особенно нуждались, в конце концов даже квартиру для стариков, которые до сих пор таскали вещи из миктенских развалин, так что наша комната мало-помалу стала смахивать на лавку старьевщика. С группой антифашистов дядя Ханс ходил по соседним домам, без долгих церемоний выселяя нацистов: членов НСДАП, штурмовиков, эсэсовцев, офицеров и коммерсантов,

разбогатевших на войне. Большей частью он сталкивался лишь с женщинами и детьми, иногда слезы и жалобы смягчали его, и он реквизировал только одну комнату, правда вместе с мебелью, ведь у сотен тысяч беженцев и разбомбленных не было никакого имущества, и ютились они в школьных зданиях на соломе.

— Так уж теперь выходит: что даешь одному, отбираешь у другого,— меланхолически говорил дядя.— Сам иной раз думаю, что я в аккурат как бог, только вот чудес творить не умею.

О своей прежней жизни он будто и не вспоминал, а когда бабушка отваживалась намекать на прошлое, сокрушенно качал головой и перебивал ее:

— Мамаша, я черт знает сколько лет ждал, когда смогу сделать для тебя что-нибудь хорошее. Теперь это в моих силах. Пожалуйста, не отравляй мне радость.

Позвякивая связкой ключей, он повел бабушку, деда, мать и меня в самый красивый дом на всю округу — виллу на Шютценхофберге, где раньше жил нацистский судья.

— У него столько людей на совести, он никогда не вернется,— сказал дядя и отпер квартиру в бельэтаже.

И в прихожей, и во всех комнатах паркетный пол был устлан толстыми коврами, на стенах висели картины, кругом дорогие шкафы, книжные полки, горки, полные фарфора, все за пыльными стеклами, на которых были выгравированы цветочные гирлянды, в основном лилии.

— Боже милостивый,— сказала бабушка, протирая очки,— куда мне на старости лет такие хоромы!

Дедушка, неделями лазивший с могильной командой по развалинам, огляделся по сторонам, точно удивляясь, как это он сюда попал, и резко бросил:

— Нет уж, увольте, я по горло сыт дерьмом и трупной вонью.

Три дня спустя они с бабушкой переехали в плохонький доходный дом неподалеку от нас. Первый этаж, две комнаты, уборная во дворе.

— Да сюда ведь беженцы и те не пошли! — удрученно вздохнул дядя Ханс.

С тех пор он гораздо меньше козырял своей красной повязкой, антифашистами, русскими.

— Эх, мамаша, мамаша! Зачем же я тогда переворачиваю мир вверх дном?!

Но однажды дядя Ханс пошел еще раз к казачьему генералу и попросил освободить Наперстка. Он был больше не в силах смотреть, как мучается мать, ничего толком не ест и казнит себя за то, что тогда потеряла голову и бросилась с простреленными ведрами наутек.

— Ладно, сестренка, ради тебя я рискну. Этот тип, должно быть, служил где-нибудь в особых полицейских частях, а то и в СС,— сказал дядя.— Не исключено, что и меня в два счета загребут.

Он отсутствовал не один час, а затем вернулся вместе с Наперстком, у обоих под мышкой по нескольку бутылок шнапса, чтобы как следует отпраздновать встречу. Мне тоже налили ради такого случая. Наперсток прямо удержу не знал, поминутно тискал мать, дядю Ханса, меня и брата и все повторял:

— Я вам этого никогда не забуду, я там все время думал о вас и ужасно рад, что мы опять вместе.

Русские оставили ему отцов костюм, только обшарили карманы в поисках оружия и документов да остригли волосы.

— Я так боялся, что они увидят метку под мышкой, будь моя воля, я бы вырезал ее к чертовой матери, только вот ножа не было,—

рассказывал он.— Столько недель в подвале, и вечно: в супе ложка, в рисе ложка, в гуляше ложка. Я до того дошел, что корябал себя ложкой как ненормальный, обмирал от каждого шага за дверью. Спятил, в общем.

В конце концов он, совершенно опьянев, свалился под стол и судорожно цеплялся за мать, когда они с дядей Хансом тащили его на отцовскую постель.

— Господи, сколько он пережил,— сказала мать, целуя его остриженную голову, хотя мы с братом стояли рядом и Ахим возбужденно тыкал пальцем в ботинки Наперстка.

— Пускай хоть ботинки снимет! — горячился брат.— Раз уж в отцовскую постель ложится!

С оставшимся шнапсом мать послала меня к русским, их расквартировали во флигеле нашей школы, после того как беженцы и разбомбленные нашли себе другие пристанища.

— Может, дадут за это продуктов. Попробуй,— сказала она.— Бери, что дадут, все равно — хлеб ли, сахар, а картошки у них у самих поди нету.

Она запихнула бутылки в свою хозяйственную сумку, посоветовав мне обратиться к офицерам или к женщинам: она, дескать, видела там много молодых русских женщин — и в форме, и в гражданском платье.

— Ладно,— ответил я и, не раздумывая, двинулся в путь: ведь я уже помогал русским выгружать койки, посуду, белье и пачки книг, за что получил полбуханки хлеба. Часовые, когда я показал им бутылки, пропустили меня на первый этаж. В коридоре я столкнулся с женщиной в офицерской форме, у которой были длинные черные косы и почти такие же темные глаза, как у моей кузины Инги.

— Здравствуйте. Я хочу меняться,— сказал я, показывая ей хозяйственную сумку.

Она кивнула и, обняв меня за плечи, приветливо спросила:

— Как тебя зовут, мальчик?

Мне недавно исполнилось тринадцать, я был всего на полголовы ниже этой женщины, улыбавшейся мне прямо как Инга и смотревшей на меня так, будто ей хотелось пойти со мной на Эльбу или в Брабшюц, где, наверно, уже поспела земляника. Вдобавок она спросила:

— Может, возьмешь за это земляники?

Она провела меня в какой-то класс, поговорила там с несколькими офицерами, сидевшими за столом. Я ничего не понимал и только смотрел на полевые карты, развешанные по стенам, как на уроке географии. Один из офицеров взял бутылки и протянул мне: дескать, отпей,— но женщина забрала их у меня, попробовала сама и сказала:

— Нормально, вполне нормально. Твое здоровье, малыш!

Другой офицер спросил меня:

— Где твой отец?

Он щелкнул пальцем по одной из больших карт, но я в ней запутался и смущенно брякнул:

— На войне.

Тут они все громко расхохотались и дали мне здоровенный ком масла, который еле уместился в сумке, а женщина — молодая, красивая — сказала:

— Война кончилась, скоро твой отец вернется домой.

Она проводила меня до лестницы, держа в руках, как волшебница, миску с земляникой, сказала «до свидания» и прижала меня к себе.

— У меня сынок в твоих годах, и он тоже, как ты, целую вечность не видел земляники.

По своему обыкновению, дядя Ханс исчез так же внезапно, как и появился. Ушел спозаранку достать сигарет, но не вернулся ни в этот день, ни на следующий. И только почти через месяц пришло письмо, в котором он сообщал, что угодил на Нёйштадтском вокзале в облаву на спекулянтов, но, по счастью, сумел выкрутиться. Ведь, на беду, у него только временное удостоверение антифашиста да еще в кармане документы какого-то майора, а тот, чего доброго, был мерзавцем. «Теперь я в Лейпциге со своей семьей,— писал он дальше,— я тут все улажу в лучшем виде, вам действительно незачем беспокоиться обо мне. Ничего, опять стану на ноги, политика все равно не мое дело. Скорей всего займусь торговлей, на нее в это тяжелое время спрос как никогда. Вот к такому я пришел выводу».

Бабушка готова была сию же минуту ехать в Лейпциг, чтобы удостовериться, вправду ли дядя Ханс старается заполучить «солидные документы» и «приличную работу».

— О какой солидности ты говоришь? И что нынче правильно и прилично? — вопрошала мать, отговаривая бабушку от изнурительной поездки.— Каждый пробивается как может. Не приди я сама к этому выводу, все мы тут давно бы подохли.

Наперсток по-прежнему жил у нас, добывал дрова, ездил в деревню, меняя с переменным успехом наши лучшие скатерти и постельное белье на продукты. Иногда я сопровождал Наперстка и видел его тщетные попытки наняться в работники к крестьянам. После короткого испытательного срока выяснялось, что он совершенно непригоден для такой работы. В конце концов его взял подручным в свою мастерскую какой-то слесарь с Вильдер-Манна.

— На большее я не гожусь,— удрученно говорил Наперсток и взял на работу отцовские кожаные перчатки, чтобы не слишком пачкать руки.— А ведь на войне мечтал, что, как только наступит мир, займусь хорошей, чистой и сытной работой.

Теперь мне приходилось ежедневно носить ему еду, сидеть с ним во время перерыва в разбитой машине и играть в шахматы. Шахматы были его страстью, он и меня к ним приохотил, поначалу великодушно позволяя мне выигрывать. В эти обеденные часы он рассказывал кое-что о себе, о своих армейских приятелях и вообще о жизни, но за игрой следил, как рысь, и спуску мне уже не давал.

— Навык мастера ставит,— вещал он, а мне было обидно, что он сыплет отцовыми поговорками. И поесть он тоже любил, не спеша, с удовольствием. Я смотрел на него и завидовал — мать всегда посылала ему самый большой кусок мяса, колбасы или омлета.

— Мужчине нужно больше,— говорила она, добавляя еще три сигареты, которые доставала специально для Наперстка. Он пускал дым над шахматной доской и щелкал языком.

— Тебе еще учиться и учиться.— И он брал у меня какую-нибудь пешку, на которую я не обратил внимания.— Не презирай малых сих, у великих-то голова слишком высоко, вот они и спотыкаются.— Он показал на коричневые воинские машины, заполонившие почти весь двор мастерской.— Мелкая работенка, но я ею не гнушаюсь, не как другие. Шах и мат!

С этими словами он опрокинул моего короля и надел отцовские перчатки, уже измазанные маслом и порванные по швам.

— Перчатки для такой работы слишком уж хороши! — с бешенством сказал я и опрокинул доску.

— Ты что, с ума сошел? — прикрикнул он, собирая фигуры на полу разбитой кабины. Потом выпрямился, снял перчатки и подал мне.— Прошу! — сказал он высокомерно.— И передай матери, что ради нее я охотно запачкаю руки, но ни для кого больше! Плевать я хотел на все. Чтоб духу твоего здесь не было! Ступай ищи своего папашу хоть на луне!

В середине лета в главном здании школы возобновились занятия.

— Каникул теперь вовсе не будет,— объявил какой-то всезнайка,— и учителей тоже!

Действительно, из прежних учителей никто больше не появлялся; только старый Кнёрншильд бродил неподалеку и торчал у ворот, пока дворник не прогнал его. Кнёрншильд отрастил длинные седые космы, перестал бриться и ходил, опираясь на палку с острым штырем на конце. Мы видели, как он на дороге подцепляет им окурки, быстро исчезавшие в его кармане. Встретив кого-нибудь из своих бывших учеников, он заговаривал с ним и просил собирать для него остатки табаку, обещая заплатить за это книгами.

— Его книги! Кому они теперь нужны? Брр! — содрогнулся мой приятель Вольфганг.— Отменили их!

Мы ходили в тот же класс, сидели рядом на одной скамейке и подружились с еще одним Вольфгангом, его прозвали Сэр, потому что он носил очки и хорошо успевал по английскому. Появились новые предметы, новые учебники, молодые новые учителя, многие всего лет на пять-шесть старше нас.

— Я сам еще учусь,— говорил господин Хауптфогель, наш классный руководитель.

Во время уроков он садился не за кафедру, а к кому-нибудь из нас за парту и рассказывал увлекательные истории, случившиеся с ним самим или услышанные от других.

— Вот это было при нацистах запрещено,— сказал он однажды, показывая книгу, всю в угольной пыли, плесени и пятнах, долгие годы он прятал ее в подвале. Впервые мы услышали об английской и французской революции, об Октябрьской революции в России, о Розе Люксембург, Карле Либкнехте, Эрнсте Тельмане и немецких коммунистах, боровшихся против Гитлера и войны.

— А вы тоже коммунист? — спросил Сэр, хитро глядя на него.— Разве их не всех отравили газом в концлагерях?

Господин Хауптфогель подошел к нему. В первую минуту каждый из нас подумал, что вот сейчас он потеряет терпение и ударит, ведь раньше такое было в порядке вещей. А он только печально покачал головой, когда Сэр, сняв и спрятав очки, испуганно от него отшатнулся.

— Милый ты мой,— он усадил Сэра на место,— радоваться надо, что хоть кто-то остался в живых и теперь может рассказать правду. Иначе что бы вышло из тебя, изо всех нас?

Однажды вечером в окно постучали — раз, другой. Я своим глазам не поверил, увидев под фонарем Яндера в форме с глубоко надвинутой на лоб шапкой. Исчезли только значки и эмблемы, петлицы и шнур фенляйнфюрера, а пряжка на ремне замазана черной краской.

— Выходи! — крикнул он, делая мне знак рукой.

Я, однако, не открыл окно, потому что мать сидела за столом, Наперсток тоже — раскладывал карты. Он возбужденно ерзал на стуле, повествуя о своих ночных кошмарах и страхах, хотя бубновый туз и дама червей якобы сулили ему «твердую уверенность» и «счастье в доме». Я потихоньку выскользнул из квартиры и, подойдя к Яндеру, сказал:

— С ума ты, что ли, сошел?!

Он, по обыкновению, напыжился и завел речь про знамя, которое до сих пор хранил у себя под кроватью, а теперь, мол, оно в опасности.

— Они снова начали обыски,— шептал Яндер,— поэтому нам необходимо оборудовать в лесу тайник, где можно спрятать также оружие и боеприпасы. У меня еще есть ручные гранаты и наша мелкокалиберка.— Он уже обследовал пещеру у Затерянного родника и ве-

лел прийти туда другим ребятам из нашего отряда.— Как хорденфюрер ты не можешь остаться в стороне, старик! — прикрикнул он, поскольку я медлил, поглядывая на дверь, за которой послышался шум. Яндер наполовину вытащил из-под куртки черное знамя с серебряными рунами и позументом, показывая мне, что все это не шутка.— Ты присягал или нет?

В этот миг из-за двери выскочил Наперсток, налетел на Яндера и вырвал знамя.

— А ну марш домой, сопляк! — гаркнул он.— Хватит заниматься глупостями, понял?!

Он быстро свернул знамя и нырнул обратно в квартиру. Яндер еще секунду стоял под фонарем, ошеломленно разинув рот, потом заорал:

— Предатель! Трус! — Он ринулся в дом и молотил кулаками в нашу дверь, пока Наперсток не открыл ему и не подвел к кухонной плите, где, чадя, горело знамя.

В вечерней этой поездке не было никакого катания по горкам, не то что в Дрездене. Огромный город, в который нас занесло, раскинулся на многие километры среди плоской равнины, окруженный реками, озерами, лесами и пологими холмами, которые отсюда были незаметны. В просветах между домами виднелись одни только новые жилые массивы да телебашня над крышами с серебряным, освещенным прожекторами шаром ресторана, где я бы с радостью посидел сейчас с отцом. Но, зная, насколько серьезно он относился к своей службе, я даже не заикнулся о том, чтобы выйти и где-нибудь посидеть. Раньше он иногда в шутку говаривал: «Хорошо бы время от времени переносить конечные остановки, чтоб немножко отвлечься и отдохнуть». Он называл площади, улицы, здания, где бы с удовольствием прислонился к стене или посидел на ступеньках минут десять — пятнадцать, а после спокойно двинулся дальше. Позднее, в послевоенные годы, он вспоминал об этом. «Вот уж действительно конечная станция, груда развалин,— говорил он с горькой усмешкой, покидая трамвай только затем, чтобы быстренько размять ноги. Мало-помалу он, однако, со всем свыкся, даже с очищенными от завалов, продленными и измененными трассами, и едва смотрел в окно, объявляя остановки и приближаясь к старым и новым конечным станциям. «Как цирковая лошадь,— посмеивался он дома в часы раздумий.— Вечно по кругу, и даже не по кругу, а просто туда-сюда, вечное однообразие». Н-да, тогда он еще посмеивался и шутливый стишок сочинил: «Лошадь кружит по манежу, ну а я по рельсам езжу». Теперь в центре Берлина его, видать, ничто не трогало, и он испуганно вздрогнул, когда я спросил:

— Мы что, уже обратно едем?

Казалось, он приготовился к долгой ночной поездке: под форменной тужуркой у него поверх белой рубашки был надет еще пуловер. Ни с того ни с сего он достал карманные часы — подарок по случаю двадцатипятилетнего служебного юбилея.

— Я по ним сверяюсь,— сказал он холодно и отчужденно, глядя мимо меня в пустой вагон.— На эти часы всегда можно положиться.

Не ответив на мой вопрос, он продолжал рассуждать о часах, о том, что они давным-давно должны были перейти ко мне.

— А может, возьмешь лучше мои наручные часы или что-нибудь другое? Что молчишь-то? Отвечай! — Его взгляд утратил странное, застывшее выражение, отец вновь оживился, схватил меня за руку и начал объяснять, где мы находимся и сколько еще продлится рейс.— Добрых четверть часа,— сказал он и, сунув часы в карман, в который

раз протер стекло.— Нет, ты посмотри! — весело воскликнул он, указывая в кромешную темноту за окном.— Посмотри же! Ты когда-нибудь видел такое?

Но я не видел ничего, кроме тьмы.

Летом мы с матерью поехали в Брабшюц собирать колоски, оставшиеся на сжатых полях. Мы долго бродили по склонам, обследуя одно жнивье за другим, но нашли всего горсти две зерен. Ведь с раннего утра, когда крестьяне грузили снопы на телеги, народ с нетерпением караулил у межей и жадно хватал любой утерянный колосок.

— Вы опоздали,— сказала тетя Хелли.

Она не могла взять нас с собой на огород, потому что все дыры в заборе были затянуты колючей проволокой. Кузину Ингу я узнал с трудом: она отрезала косы. Времени для меня у нее больше не нашлось, потому что теперь она работала прислугой у одного крестьянина. Обе ее старшие сестры вышли замуж за бельгийских военнопленных и уехали из Брабшюца.

— Они шлют из Брюсселя посылки, а мне и тут хорошо, скоро и у меня помолвка,— говорила Инга, показывая мне большую крестьянскую усадьбу, где уже прекрасно освоилась.

Вечером мы с матерью устало сидели на горе и смотрели вниз, на долину Эльбы, на луга в устье Вайсерица, по которым катил трамвай.

— Нам нужно туда,— сказала мать и строго-настрого запретила мне грызть колоски, потому что там могла оказаться спорынья.

— А она ядовитая? — спросил я, вспомнив, что отец часто срывал придорожные колосья и не глядя грыз зерна.

— Да,— ответила мать,— так уж заведено, во всем есть и хорошее и плохое.

Она встала: уже начало смеркаться, а дома ждали Наперсток и Ахим. Когда мы слезли с крутого косогора, подкатил пятый трамвай, который раньше ходил от Трахенбергерплац к Главному вокзалу.

— Инга собирается обручиться,— сказал я.

Мать рассеянно кивнула. Выбившись из сил, она на миг остановилась и оперлась на мое плечо.

— А почему бы и нет, она уже вполне взрослая. Человек не может жить один, вот и я тоже не могу. Кто знает, вернется ли когда-нибудь отец. Кто вообще знает, что правильно и справедливо?

Мы вытащили игрушки — мой брат, Вольфганг, я и Сэр, который зачем-то расколотил приклад своего духового ружья, а потом склеил его. Сейчас Сэр сидел в коридоре по-турецки, как Олд-Шэттерхенд, и когда мы вошли, крикнул:

— Внимание, стреляю с колена!

Пуговицы у нас на штанах и куртках так и брызнули осколками: стрелял он метко, да еще хохотал при этом. У него была почти сотня оловянных солдатиков, трапперов и индейцев, не считая лошадей, вигвамов, блокгаузов. Каждый из нас выстроил свои войска по углам большой комнаты. Через некоторое время началось сражение с разведчиками и перестрелками, с копьями и отравленными стрелами. Потом грянули ружейные выстрелы, пулеметные очереди, орудийные залпы.

— Для воина,— заявил Сэр,— хуже всего не смерть, а плен или потеря скальпа.

— Нет,— возразил мой брат,— хуже смерти ничего не бывает.

Пальцами мы пихали его индейцев и солдатиков, они падали, валя один другого.

— Что здесь происходит? — закричал отец Сэра, вернувшись с работы.

Он снял ботинок и сперва накостылял Сэра, а затем начал колотить по трапперам, индейцам, солдатикам и вигвамам, пока от игрушек не остались рожки да ножки. Потом под руку ему попалось духовое ружье, он побагровел от возмущения и, брезгливо держа его на отлете, хрипло заорал:

— Я, слава богу, оказался слишком стар для войны, а вы — слишком молоды. А теперь все в мусор это, в мусор!

В нашем огороде под балконом я снял большой урожай табака. Листья были крупные, желтые, я сушил их на чердаке, развесив на веревках, и бдительно следил за тем, чтобы никто на них не покусился.

— Попробуем? — спросил брат, когда первые коричневые листья начали крошиться под пальцами.

Пахли они не табаком, а скорее гниющей травой, но нам кое-как удалось скрутить сигару вроде тех, что курил отец. Длинное и бесформенное наше творение было влажным от облизывания и разваливалось на части еще до того, как мы его раскурили. Наконец после многих тщетных попыток удача: сидя на верху чердачной лестницы, мы по очереди глубоко затягивались смрадным дымом, кашляли, отгоняя руками удушливый чад и удивляясь противному едкому вкусу. Брат закатил глаза, побледнел и заскулил:

— Мне плохо!

С чадящей сигарой во рту он уцепился за ступеньку и со стоном обхватил меня руками, но курить не бросал.

— А то ведь Наперсток все выкурит,— сказал он и запыхтел еще сильнее, пока я не отобрал у него сигару.

— Он к табаку касательства не имеет,— отрезал я, изо всех сил насасывая влажную, разваливающуюся самокрутку.— Фиг он получит, лучше сами все выкурим!

В этот момент стало тошно и мне, мы с братом кинулись вниз по лестнице, сигара сама собой потухла — на воздухе, в кустах, среди высокой, по колено, так же противно пахнущей травы.

В школе я пересел к Сэру. На перемене мы гуляли с ним по двору, а после уроков по Тробишштрассе, где жили Урсула и Марлиз, за которыми мы везде таскались. Они ходили с нами в школу, но глупо хихикали, если мы приближались к ним на школьном дворе или на улице.

— Вы еще слишком зеленые,— издевательски объявляли они и шли гулять с ребятами постарше.

— Сами зеленые, особенно Зеленая! — орали мы вдогонку, потому что темноволосая Урсула, более хорошенькая, чем Марлиз, почти всегда носила темно-зеленое платье в обтяжку с буфами на рукавах.

— Слушай, я написал Зеленой письмо. Любовное письмо,— признался как-то раз Сэр, когда мы слонялись по Тробишштрассе.— А ты можешь написать Марлиз,— утешил он меня, с ожиданием уставясь на балкон, где из-за цветочных ящиков на нас поглядывали девчонки. На сей раз они хихикали и смеялись особенно долго, пронзительно, громко. Потом к нашим ногам спланировал листок бумаги, Сэр поспешно нагнулся и поднял его.

— Мое письмо,— сказал он, опустил со стыда голову и бросился прочь.

— Ты все испортил! — упрекнул я Сэра, догнав его.— Они смеются над твоим письмом! Да тут любой засмеется!

Дядя Ханс прикатил не на машине, словно какой-нибудь барон фон дер Пшик, но и не на «зеленой Минне»[1], как некогда предсказывал отец, а на мотоцикле с двумя чемоданами, привязанными к задне-

[1] Шутливое название полицейского автомобиля для арестованных.

му сиденью; он был в отличном настроении и прямо-таки горел небывалой предприимчивостью.

— Ты войдешь в мое новое дело, Герди? — спросил он мать, раскрыв чемодан и вытащив на свет божий десятка два кукол с улыбающимися лицами, в пестрых платьицах, чулочках и башмачках.— Не ожидала, а? С руками оторвут, больше ведь нигде не купишь таких милашек. Я считаю по тридцать марок за штуку, а ты можешь спокойно накинуть еще добрых десять — пятнадцать марок и в придачу требуй полтора метра материи, все равно какой.

Дядя Ханс рассказал о своих поездках по стране, когда женщины кромсали шторы, платья и простыни, лишь бы доставить детям радость к рождеству. Лучших кукол он даже выставил в окне, чтобы их мог видеть любой прохожий, и прикрепил к стеклу записку: «Здесь можно приобрести настоящие зоннебергские куклы в обмен на материю». Он прямо сиял, когда сбежались соседки и мать тотчас же открыла торговлю. За каждую куклу она выручала сорок пять, пятьдесят, шестьдесят марок, а материал со стола перекочевывал в дядин чемодан.

— Да, бизнес должен процветать,— приговаривал дядя Ханс,— иначе мы тут никогда из дерьма не вылезем.

Наконец-то пришла весточка от отца, несколько строк на обороте фотографии моей кузины Инги, которую он носил с собой всю войну. «Я жив, нахожусь в плену и лежу здесь в лазарете, но вы не бойтесь,— писал он на помятой, пожелтевшей, испещренной штемпелями фотобумаге.— По нынешним обстоятельствам у меня все в порядке, просто-напросто обморозил палец на левой ноге, русская докторша пользует меня хорошо. Главное, теперь мир, и вы живы, да и я кое-как уцелел. Один знакомый солдат давно еще получил из Дрезде́на весточку, что у него все целы и невредимы, на что и я надеюсь. Многие напоследок погибли совсем уж зря, и этот из Дрездена тоже. Только вы у меня и остались. Никто не знает, когда нас выпустят. Врачиха, та мне каждый день говорит: у кого, мол, жена и дети, те вернутся домой первыми. Пожалуйста, напишите мне поскорей и пришлите почтовой бумаги. С нетерпением жду ответа и передаю сердечный привет всем нашим. Ваш отец».

Несколько недель в нашей квартире жил красноармеец, шофер, на ночь оставлявший свой грузовик под фонарем. У каждого дома стояли грузовики, санитарные машины, джипы, во многих квартирах разместились на постой солдаты, офицеры, врачи, медсестры и поварихи. Во флигеле и в спортзале школы уже не хватало места для раненых, больных и медперсонала. Женщины из соседних домов помогали чистить картошку, убираться, стирать белье. Мать тоже по утрам работала в лазарете и что ни день приносила домой завернутую в платок кастрюлю: рис, картошка, жареная свинина, гуляш, овощи. Обычно этого хватало и для нас троих, и для Наперстка, который жутко разволновался, когда у нас поселился красноармеец.

— Я ухожу,— говорил он и торопливо скрывался в спальне; когда грузовик останавливался под окном, из кабины вылезал богатырь-шофер Леня и звал меня, чтобы я отнес в подвал уголь, дрова или картошку, которые он привозил нам из своих рейсов.

Наперсток каждое утро уходил на работу через балкон — только бы не попасться на глаза Лене. Часто вечерами он подолгу задерживался, пробирался в дом опять-таки через балкон, тихо стуча в дверь, и шептался с матерью, которая тоже часто не спала.

— Ну почему ты так боишься? Что тебе сделал Леня? — допытывалась она.— Кроме добра, мы от него ничего не видим. Да он мухи не обидит! Заботится о детях как о своих собственных.

Я отыскал карточку, которая раньше стояла на буфете: отец в форме трамвайщика на конечной остановке у Вильдер-Манна, на

заднем плане моторный вагон и деревья, теперь наполовину вырубленные. Перечитал я и несколько писем, полученных от отца незадолго до бомбежки. «В блиндаже,— писал он,— 3 января 1945 года. Сегодня воскресенье, мы не в наряде и сидим в этих тесных стенах, в темноте. Свечи на исходе, и не знаю, как потом смогу писать. Погода помягчела, но вчера одного из наших ранило осколком, когда он вышел из блиндажа. У меня такое ощущение, что еще многим достанется, о самом худшем я и думать не смею...» Через неделю он сообщил матери, что за девяносто злотых — сорок пять марок на наши деньги — купил пачку табаку и выслал ей. «Ты его подсуши, он, наверно, отсырел, лучше всего высыпь на плиту, только ненадолго»,— советовал он и обещал прислать еще, его можно выменять на продукты или одежду для нас. «В последние дни мы усердно пилили и кололи дрова, чтобы не замерзнуть в этой норе. Я про себя подумал, как бы пригодился и вам хотя бы кубометр. У нас тут ледяная стужа, в караул надеваем тулупы на меху, иначе не выдержать. В блиндаже, если то и дело не вставать и не подбрасывать дров, по ночам стоит лютый холод, утром рядом с нами иногда валяются закоченевшие мыши, так называемые «домашние животные»...»

Несколько раз я наведывался на обменный пункт и гордо клал там на стол пачку своего собственного табака. Его проверяли, взвешивали, и за хорошее качество я получал массу сигарет марки «Друг», которые мать потом меняла на кофе, какао или шоколад. Немного денег она выдавала мне — на учебники и другие вещи для школы. Вместе с Сэром мы после обеда часто рыскали по букинистам у Нёйштадтского вокзала, разыскивали дешевые атласы, книги по истории, нашли двадцатитомный лексикон прошлого века, собрания сочинений Гёте и Шиллера, отпечатанные на рисовой бумаге произведения Бюхнера, даже афоризмы Лихтенберга, многие из которых знал мой отец. Напихав сколько можно в школьную сумку и зажав остальное под мышкой, я тащил их домой, радуясь тому, что каждые две сигареты превратились в тысячи печатных и даже иллюстрированных страниц. И чтобы мои торговые операции окончательно приобрели смысл, я начал одну за другой читать эти книги, выписывая из них наиболее интересное: имена, даты, города и страны, куда охотно бы съездил, названия высочайших гор и самых длинных рек, множество стихов и дерзких изречений, которых не было в хрестоматии. С пылающими ушами я читал, что происходит, когда зачинают и рожают детей. Однажды брат накрыл меня за этим занятием и, увидев изображение еще не родившегося ребенка, спросил:

— Мы что, вправду вылезаем из живота?

Я быстро захлопнул книгу и сказал то же, что говорила мать в ответ на подобные вопросы:

— Да что ты, разве ты не помнишь, как совсем маленьким лежал на зеленом лугу, на солнышке, а вокруг пестрели яркие цветы?

Но брат покачал головой — ведь он помнил только ночи в бомбоубежище, когда просыпался на минутку.

— Там все было серое,— уверял он,— и холодно, я постоянно мерз.

Однажды Наперсток исчез, удрал через границу на Запад, там у него были жена и дети.

— Не верю.— сказала мать.

В этот день она не пошла на работу, безучастно сидела в комнате, дала нам ключ от буфета, к которому мы обычно и приблизиться не смели. Мы могли взять сколько угодно шоколада, какао и сгущенки, но все казалось нам невкусным из-за того, что мать сама ничего не ела, только плакала и шепталась с бабушкой и теткой Лоттой, муж которой уже вернулся из плена.

— По крайней мере хоть раз Максов паршивый дых сослужил добрую службу,— пошутила тетя Лотта.

Но мать даже не улыбнулась, она бы сейчас же поехала за Наперстком и вернула его, если б знала, куда он сбежал.

— Струсил он, да и совесть, видать, нечиста, кто знает, сколько за ним грехов,— услышал я бабушкин голос.— Может, он был в эсэсовской полиции, вот и нажил себе врагов.

Мать горячо запротестовала: он-де служил в роте связи и был на фронте в России, где воевали сотни тысяч, не могли же они все быть преступниками.

— Преступников среди них вполне достаточно,— возразила тетка, рассказывая, что̀ вычитала из газет или знала по слухам.— А то с чего̀ бы этому Альфреду так бояться русских? Даже Лени, он-то и мухи не обидит. Скажи спасибо, что удрал, не то, глядишь, впутал бы тебя в какую-нибудь историю.

Я достал из подвала велосипед и вынес его во двор. Ни следа ржавчины на нем не было, цепь и колеса крутились играючи, как если бы на нем ездили каждый день. Динамка, фара и тормоз работали, ноги мои до педалей доставали, руль и спицы сверкали, звонок звонил как колокол: динь-дон. Я взобрался в седло, крепко уцепившись за стойку для сушки белья, и осторожно тронулся с места. Брат скакал вокруг и кричал:

— Звони, звонить надо!

Но мне-то надо было держать равновесие, жать на педали, хвастливо петлять вокруг многочисленных стоек.

— Звони же! — взмолился брат, заступив мне дорогу.

С превеликим трудом я вывернул мимо него, позвонил и, потеряв равновесие, врезался в одну из стоек. Заднее колесо погнулось, несколько спиц сломалось, левое колено ободрано.

— Это ты виноват, олух! — обругал я брата, собираясь встать и всыпать ему как следует. Но он сказал:

— Ой, да у тебя кровь! — Вытащил из кармана носовой платок и промокнул мне колено.

Мне было и смешно и досадно, я не чувствовал никакой боли и не знал, что делать и что говорить. Молчаливые и подавленные, мы отнесли велосипед в подвал. К нашему изумлению, там в углу нашелся новенький обод и спицы: отец запасся ими перед уходом на фронт.

— Вот повезло! — Брат ужасно обрадовался, что я в два счета могу починить велосипед.— Если он тебе когда-нибудь не понадобится, я почищу его во дворе и назвонюсь сколько влезет, ладно?

Какое-то время с матерью было плохо, она болела, да и хлопот хватало. От Наперстка известий никаких, она тщетно ждала его возвращения. Мы вместе написали отцу два письма, но он не ответил. На дядю Ханса надеяться тоже не приходилось, всякий раз он появлялся с разными смазливыми девицами, они сидели среди чемоданов в новенькой коляске, которую дядя приделал к мотоциклу. Эти девицы дяде весь свет заслонили, он спешил получить материю и деньги вперед, но кукол привозил слишком мало. А в конце концов вообще исчез, перед рождеством, как раз когда матери собрались делать детям подарки. Наша мать отдала куклы-образцы, обещая остальным клиенткам во что бы то ни стало вернуть деньги и материал,— все без толку. Кто-то настрочил на нее донос, прибыли двое полицейских с ордером на обыск по обвинению в мошенничестве и спекуляции. Дверцу буфета — ключ мать от возбуждения не смогла найти — взломали: на свет появился шоколад, несколько фунтов кофе, какао, банки со сгущенным молоком и остаток моих выменянных сигарет.

— Укрывательство продуктов,— сказал один из полицейских, раскладывая, пересчитывая, занося все в протокол, потом спросил:— А где же куклы?

Напрасно мать уверяла, что у нее нет больше ни одной, они перерыли все шкафы, все ящики, даже постели, пока на грузовике не подъехал Леня и не окликнул меня с улицы, потому что опять прихватил немного угля.

— Он живет в этой комнате? — спросил полицейский.

Я кивнул и, указывая на опустошенный буфет, добавил:

— Да, это его вещи, сейчас он будет здесь.

Полицейские струхнули, быстро покидали шоколад, кофе, какао, сгущенку и сигареты обратно в буфет, порвали протокол и, бормоча извинения, убрались восвояси, прежде чем Леня вошел в дом. Мать на радостях обняла меня и его и наконец-то рассмеялась, а на следующий день все продала, распорола платья, занавески и простыни, чуть ли не последнее полотенце отдала, чтобы по крайней мере вернуть женщинам их деньги и материю вместо заказанных кукол.

Незадолго до рождества Зеленая, пробравшись как-то вечером по глубокому снегу, остановилась возле нашего дома. Я сидел у окна, которое было теперь без занавесок, и решил, что в свете фонаря она увидела меня. У нее, как раньше у Инги, были длинные черные косы, она подошла к двери и позвонила к нам. Я открыл и, впервые стоя так близко от нее, увидел, что юбка и пальто у нее были темно-синими, вовсе не из того зеленого материала, что платье с буфами и летние кофточки. И глаза ее, глядевшие удивленно и с любопытством, словно бы изменили цвет и видели меня первый раз в жизни.

— А больше никого нет? — спросила она и хотела уйти.

Но тут из комнаты выкатился мой брат и крикнул:

— Мамочка сейчас придет!

Я был так растерян и смущен, что просто онемел и даже не пригласил ее войти. Она тоже оробела, торопливо заговорила о своей младшей сестренке и о кукле, которую ей надо забрать, и в доказательство продемонстрировала хозяйственную сумку. У меня даже спина взмокла, я ведь и без того стыдился этой истории с куклами, а перед Зеленой готов был прямо сквозь землю провалиться. Но в эту минуту, будто догадавшись о моей беде, появилась мать с куклой в руках и сказала:

— Заходи, Урзель, я сохранила для вас последнюю, но об этом не должен знать ни один человек.

Мать тщательно завернула куклу в бумагу, напихала сверху в сумку старых газет и с улыбкой кивнула девочке:

— Передай привет матери, мы вместе с ней работали в парфюмерии у Реннера, твоей сестренки тогда еще на свете не было. Время-то как летит!

Я все ехал и ехал на отцовском трамвае, в угоду отцу засунув в карман второй билет, упавший и снова зачем-то поднятый. Он навязывал мне еще и какие-то часы, будто настало время растаскивать наследство. Но почему я вообще не спросил про место и время? Ничто меня не подгоняло, не было для меня ничего важнее этой поездки с ним, этого неожиданного свидания и воспоминаний, что овладели и им и мною. Тогда, вернувшись из плена, он молча и печально поглядел на меня, когда я сказал, что передумал и выбрал другую профессию. Он воспринял это как признак отчуждения из-за долгой разлуки, и пропасть между нами и вправду была непреодолима. С тех пор прошло слишком много времени, наши пути разошлись и только теперь по чистой случайности пересеклись вновь. Или он искал встречи? Или ее искал я сам? Или мы шли навстречу друг другу, без оглядки на остальных и на прошлое? Может быть, несмотря на разрыв, он чувствовал себя ответственным за мой путь даже больше, чем за свою службу, за те пути, по которым ездил сам, за конечные остановки, где у него было время передохнуть и оглядеться вокруг? Или он хотел

узнать, как я к нему отношусь? И вообще за что я должен благодарить его или упрекать? Может, мне стоит признаться ему, что я на многое смотрю его глазами и что многие из его слов и мыслей при всей их путанице и невразумительности бродят в моей голове? Мне чудилось, будто я слышу тиканье часов, которые он носил в кармане и хотел подарить мне. Я понял, что ничего не знаю о его детстве, юности и обо всех чаяниях и надеждах, которые он, улыбаясь, хранил в душе. И если я теперь не спрошу, а он не ответит, я безвозвратно потеряю последний шанс обрести его, а вместе с ним и себя.

Я был испуган и потрясен до глубины души, когда в тот холодный декабрьский день через полтора года после окончания войны пришел из школы и увидел на кухне отца, худого, коротко остриженного. Брат торчал у двери, для него это был чужой человек. Мы боялись подойти ближе, хотя он протянул к нам руку и тихо сказал:

— Идите же сюда, мальчики.

Голос у него звучал по-другому, неуверенно и хрипло, лицо заострилось, исхудало, заросло черной щетиной, нескольких зубов не хватало, губы обметало серым налетом.

— Да идите же,— повторил он, пытаясь встать и обнять нас. Но не смог удержаться на ногах и опять рухнул на стул.— Долгая была поездка,— смущенно пояснил он и закрыл глаза, из которых текли слезы.

Его тощие ноги были обмотаны портянками, дырявые, подвязанные бечевкой сапоги он снял. А теперь с исказившимся от боли лицом хотел снять и грязную, продранную летчицкую тужурку, но потом опустил руку и ухватился за серый вещмешок, лежавший рядом с шапкой.

— Хлеба хотите? — Он вытащил уже обгрызенную краюху и протянул нам.

Мы не двинулись с места, и он медленно съел ее сам, а когда мать, со стоном распахнув дверь, ворвалась в кухню, разрыдался.

— Рудольф! — Она с криком обняла его.

В новогодний вечер брат бесследно исчез из дома. Когда я бросился его искать, шел снег и дул ледяной ветер.

— Не мог он уйти далеко,— сказала мать, в третий или четвертый раз обойдя вокруг школьного сада, где деревья были почти все вырублены. Я видел, как отец спустился по лестнице. Это стоило ему огромного труда, он держался за стену и, дойдя до двери, закричал:

— Ахим! Ахим!

Где-то хлопнул выстрел, в небе вспыхнули разноцветные ракеты. Возможно, это русские праздновали Новый год, но в школьном флигеле, где располагался лазарет, было темно и тихо. Наш Леня заходил к нам еще несколько раз, привозил уголь, а потом уехал на родину.

— Вологда на Вологде,— сказал он,— там сугробы под два метра.

Во время прощания, которое явилось для нас полной неожиданностью, мать тоже расплакалась и даже хотела проводить Леню на вокзал, но возле дома стоял грузовик, Леня влез в кузов и уехал. Навсегда.

— Ахим, отзовись! — только и крикнул я, как отец и мать, и бросился прямо по снегу.— Ахим!

Один из его приятелей, черноволосый курчавый Гюнтер, без шапки и пальто стоял у забора спортивного зала, возле заснеженных кустов, и уже хотел удрать, но я ухватил его за свитер.

— Где он? — набросился я на Гюнтера.— Говори, а то как дам!

И тут я услыхал, как меня жалобно и словно откуда-то издалека

позвали по имени, вслед за тем раздались всхлипы и стоны. Гюнтер только сказал:

— Там.

Брат лежал в снегу под кустом, от него разило перегаром, и он скрючился, как тогда на лестнице после курения. Рядом валялась уже почти пустая бутылка красного ликера, бутылка, которую мать берегла к возвращению отца.

— Это от Лени,— забубнил брат, когда я поставил его на ноги и встряхнул.— Это не для него, он и так все у нас отбирает! — взвизгнул Ахим, увидев медленно приближающегося отца.— Я хочу, я хочу отпраздновать Новый год с Гюнтером и Леней!

Я тоже чувствовал себя не в своей тарелке и часто по вечерам ходил с фройляйн Корди в театр. Отец только молча сидел на кухне, ел, засыпал на стуле, а когда просыпался и матери не было дома, расспрашивал меня про Леню и про Наперстка.

Фройляйн Корди снимала по соседству комнату и иногда покупала у матери кофе. У нее был брат — известный опереточный тенор. Она брала у него билеты в любом количестве, не решаясь появляться в одиночку на темной разрушенной улице возле Альбертплац, где уцелевший заштатный танцзал превратили в театр оперетты. Фройляйн Корди звала меня «мой маленький кавалер». Так она и представляла меня певцам, хористам и кордебалету; она приносила им вино и шампанское, которое распивалось в гардеробной, и желала «ни пуха ни пера», когда оркестр уже настраивал инструменты. Специально для нас открывали дверь, и мы проскальзывали на свои места в первом ряду, совсем рядом со скрипачами и виолончелистами, которые дружески нам кивали, так как ценили вино Корди и мой смех. Я корчился со смеху, визжал и хохотал до слез от плоских шуточек и острот на сцене, хотя уже бог знает в который раз смотрел «Куманька из глухомани» и «Пятерых на одной лошади»[1]. Только по дороге домой я узнавал от Корди, что опять кто-то из скрипачей, трубачей или барабанщиков сфальшивил по моей милости.

— Мой маленький кавалер, у тебя чудесный характер,— сказала она как-то раз и, прижав мою голову к своей груди, поцеловала в лоб.— Будь ты постарше, мы и правда могли бы повеселиться,— прошептала она, вдруг став серьезной и смущенно глядя на меня сверху вниз. Потом оторвалась от меня и быстро побежала к трамвайной остановке. В вагоне она тем более держалась от меня на расстоянии и сказала, недовольно покачивая головой:— Думаю, ты даже не понимаешь, о чем я говорю, ты просто смеешься над всей этой опереточной белибердой. Эх ты, детка!

Во мне говорило упрямство, разочарование и протест, когда дома, где отец уже которую неделю сидел сложа руки, я упрямо заявил:

— В кондукторы не пойду.

Я пошел в автомастерскую, где раньше работал Наперсток, и спросил:

— Место ученика свободно?

Мастер, вспомнив меня, с усмешкой протянул мне руку и сказал:

— Ах, едоноше нужно место ученика. Ты что же, не разглядел ничего тогда в нашей развалюхе?

Он провел меня по мастерской: кругом пустые стеллажи — никаких запчастей, инструментов и тех нет, рваные покрышки и камеры, сломанные оси, ржавые, с вмятинами крылья, кое-как выправленные деревянной кувалдой.

— И все равно каждый хочет стать автослесарем, пекарем или мясником, как говорится, на пустом месте,— ворчал он, показывая мне почти стершийся напильник.— Чистое средневековье! Как хочешь, так и зашлифовывай поршни. На-ка, попробуй.

---

[1] Оперетты немецкого композитора Э. Кюннеке (1885—1953).

Он поставил меня к тискам, закрепил деталь и сунул мне в руки напильник.

— Позовешь, когда сточишь на миллиметр.

Я старался изо всех сил, чуть верстак не опрокинул, но ничего не добился, только руки до крови стер. Через некоторое время появился мастер и дружески утешил меня:

— Я же тебе сказал, дерьмовая у нас лавочка и работа дерьмовая, так что брось ты это дело.

Он привел меня в контору, начал расспрашивать про Наперстка, которого считал моим отцом, и все удивлялся, почему тот исчез, не получив жалованья за последнюю неделю.

— Он тебе ничего не сказал, когда послал сюда? — Мастер не раздумывая вручил мне сто двадцать марок, потом добавил еще двадцатку.— Пройдоха, такой из любого дерьма вылезет, наверняка ведь нашел себе кое-что получше.

Я кивнул и, пролепетав что-то невразумительное, помчался домой. Деньги я тайком сунул матери и рассказал ей все слово в слово. Теперь я лучше понимал, почему она все еще льет слезы по Наперстку, да и сам с грустью вспоминал часы, проведенные в кабине разбитой машины.

Ночами опять валили деревья и растаскивали по подвалам. Вблизи нашего дома не осталось уже ни тополя, ни липы, ни какой-нибудь яблони или сливы. Крали, как говорится, все, что плохо лежит, все, что не было прибито и приклепано, даже дверь нашего дома, деревянную обшивку балкона, деревянную стойку для выбивания ковров, стол из прачечной, хотя она и была заперта. Две ночи под нашими окнами горел фонарь, потом кто-то вывернул лампы. Тут даже отец вышел из летаргии, загорячился:

— Вот подонки проклятые, вконец совесть потеряли. Что же это стало с людьми?

Он стал ночами дежурить у окна, желая схватить или хотя бы опознать «подонков», но усталость, видно, была сильней, и к утру новые лампы опять исчезали, а он крепко спал.

— Не иначе как привидение сюда повадилось,— говорил он потерянно, ничего уже не понимая в этом мире.

С тех пор по вечерам мы сидели без света, так как отца одолевал прежний бзик на всем экономить деньги, хотя они фактически обесценились. Он ничего почти не делал, нас с братом отсылал пораньше на боковую, а у меня под подушкой были спрятаны лампочка с длинным шнуром и книга. Когда мать заходила в спальню, то притворялась, будто ничего не видит. Сама она часто ложилась рано, ведь с утра до вечера работала во вновь открытом продуктовом магазине. Иногда она разговаривала со мной как со взрослым, который способен дать совет и помочь.

— Вот сидит да в окно пялится,— шептала она,— прямо как подменили мужика. Что же с ним война-то сделала?

Она громко всхлипывала, говоря об отцовом недоверии и ненависти к Наперстку.

— Бог весть с каких пор из дому не выходит, шарит по шкафам и задает мне глупейшие вопросы. А вот о работе и о том, как я со всем управляюсь, он не думает.

Она при мне подсчитала, что всего за полмесяца мы уже съели хлебную и мясную норму, которую выдают по карточкам.

— И он еще меня попрекает, что я швыряю деньги спекулянтам, когда покупаю что-нибудь дополнительно.

Еще и теперь на всю квартиру пахло кофейными зернами, которые он высыпал в печь, потому что они-де были с черного рынка.

— Он бы погиб, да и мы бы все померли с голоду, если б я жила по его принципам,— сказала мать, оглянувшись на моего брата, который прикинулся крепко спящим.— Никому не говори,— шепнула

она,— мне дают новую палатку у Шютценхофберга, много там не заработаешь, зато место надежное. С какой стати он будет возражать? И вообще, нечего ему тут командовать!

Иногда Корди подкарауливала меня, когда мы с Сэром и Вольфгангом шатались по улицам.

— Чего эта старуха пристает к тебе? — спрашивали мои друзья, подшучивая над тем, что я по-прежнему брал у нее билеты и даже помог ей с переездом, когда она получила собственное жилье.

— Ее родители погибли в концлагере,— сказал я, и, пожалуй, это было все, что я о ней знал. Кроме брата, родственников у нее в живых не осталось, сама же она всю войну провела в каком-то швейцарском интернате.

— Ах, чудесный альпийский воздух! — Она махнула рукой.— А мне все время хотелось в Дрезден. И вот теперь я здесь, одна как перст.

Поэтому я иногда бегал по ее мелким поручениям, паковал в ящики бесчисленные книги и отвозил тачкой на Шютценхофберг, где она поселилась в маленьком садовом домике с двумя крошечными комнатками и островерхой мансардой. Там, наверху, где у ее кровати штабелями громоздились книги, было даже днем сумрачно и очень тихо. Только слышался скрежет трамвая на крутом повороте. Я обычно пугался, выглядывал в чердачное окно и видел желтые вагоны, на которые Корди и внимания не обращала. Она читала мне что-нибудь из Брехта, Тухольского или Вайнерта, декламировала также сцены из пьес, запрещенных при Гитлере.

— Тебе все это нужно прочитать, все узнать,— говорила она, подсовывая мне книги одну за другой.

Вечерами она долго не отпускала меня, пила вино, угощала и меня, хоть мне давным-давно пора было уходить.

— Оставайся, зачем тебе спешить домой,— говорила она, переодеваясь в моем присутствии, и садилась в незастегнутой блузке на кровать.— Придет время, и ты вспомнишь обо мне.— Она схватила несколько книг и протянула мне.— На, читай! Замуруй себя в них, если хочешь, я тоже скоро замуруюсь! — в сердцах бросила она, когда я шарахнулся к двери.— Иди, сейчас тебе невдомек, о чем я говорю.

Однажды, пока мать была на работе, приехал казачий генерал и спросил про дядю Ханса. Переводчик переводил, а двое мужчин из нового магистрата смущенно топтались у двери.

— Он бездельник,— сказал отец,— обманщик, мошенник. Я всегда знал.

Но генерал отрицательно покачал головой —ему не верилось — и назвал дядю своим другом.

— Он первый немец, который от всего сердца смеялся вместе со мной, когда война окончилась,— сказал генерал.— Большинство коммунистов до крайности серьезны.

Двое мужчин у двери закивали, один рискнул осторожно вставить:

— Но Ханс Визнер не был коммунистом, мы совершенно точно установили.

Тут отец захохотал:

— Как раз наоборот, он из тех, кто под себя греб, свое ли, чужое ли, ему все равно.

Генерал и бровью не повел, послал переводчика в машину за бутылкой водки и подсел к отцу.

— Скажите-ка,— спросил он на безукоризненном немецком,— вы были на войне? В нашей стране? — Вопрос прозвучал резко, потом он напомнил, что в тюрьме, из которой он освободил Ханса Визнера, лишь немногие узники остались в живых.— Когда я его обнял, я думал о своей семье, которая на совести у таких, как вы.

Принесенную переводчиком бутылку генерал открыл, ударив ее по донышку; я сбегал за рюмками и напряженно уставился на отца, тот больше не смеялся, но был совершенно спокоен.

— Я этого не хотел,— сказал он.— Я политикой не интересуюсь, поэтому и шурина никогда не жаловал.— Но про дядину торговлю статуэтками нацистов и про форму штурмовика он ничего не сказал, а вместо этого заговорил о себе и о докторше из лагеря для военнопленных.— Она спасла мне жизнь, только вот почему?

Генерал разлил водку по рюмкам, чокнулся с отцом и мужчинами из магистрата, осведомился насчет отцовской работы и, догадавшись, что с ним случилось, коротко сказал:

— Завтра приходите в трамвайное депо, а если появится Ханс, направьте его ко мне. Вы сами должны бы понять, почему живете и будете жить, иначе все напрасно.

Учитель Хауптфогель отвел Сэра и меня в сторонку и спросил:

— Хотите учиться дальше? В полной средней школе?

Мы оба прекрасно успевали по истории и по немецкому, а Сэр еще и по английскому, физике, химии и математике. Сэра прозвали ходячей энциклопедией — к любому понятию он мог отбарабанить определение или теорему: «Закон Гей-Люссака гласит, что объем массы газа при постоянном давлении прямо пропорционален его абсолютной температуре... Quod erat demonstrandum[1]». Он едва ли читал больше меня, но память у него была феноменальная, он страницами цитировал Жюля Верна, Фенимора Купера и Карла Мая, больше сорока романов которого прятал под кроватью. Его отец ни под каким видом не должен был знать про эти запрещенные им книжки; он становился все боязливей, вспыльчивей и чудаковатей, ведь как бывший член НСДАП он потерял работу в городском строительном управлении.

— Мне отец не разрешит,— сказал Сэр учителю.— Он считает, что от ученья одни неприятности, лучше, мол, стать ремесленником.

Я только кивнул, для меня все это явилось слишком большой неожиданностью, но господин Хауптфогель на этом не успокоился и однажды после уроков повез нас в город на экзамен. В полуразбомбленной ратуше собрались несколько сот девочек и мальчиков изо всех дрезденских школ; сорок из них, в том числе мы с Сэром, выдержали экзамен. Наш учитель, вне себя от радости, кинулся нас обнимать.

— Молодцы! Не подкачали!

Он повел нас в ресторан и на славу угостил по своим карточкам пирожными.

— Если кто посмеет вставлять вам палки в колеса, будет иметь дело со мной,— провозгласил он.— Школа теперь не та школа, книга не та книга, и весь мир уже не тот, что раньше. Станете учиться — поймете, и ваши родители тоже.

Несколько дней отец искал по всем шкафам свои свидетельства, страховки, удостоверения и карманные часы. Он ругался и кричал на мать, потому что на том месте, где он их оставил, не было ничего. Вместо этого он обнаружил письма из Лемберга и даже фотографию погибшего фельдфебеля. Стал копать дальше, нашел еще письма, справки и жалованье Наперстка и поздравление с рождеством из автомастерской.

— Сколько же у тебя таких было? — рявкнул он на мать и грубо оттолкнул ее, когда она попыталась выхватить письма.

— А тебе какое дело? — возмутилась она.— Тебе все равно, что с нами будет, крадешь у детей хлеб и еще мораль читаешь! С меня довольно!

---

[1] Что и требовалось доказать (*лат.*).

К счастью, отец, порвав письма и энергически продолжив розыски, нашел наконец в нижнем ящике свои часы, хотя уже и высказал подозрение, что часы давно сгинули в чужой земле вместе с лембергским фельдфебелем или еще с кем-нибудь.

— Это служебные часы,— сказал он.— На них можно положиться, вот в чем дело.

По его лицу скользнула удовлетворенная, примирительная улыбка, когда он завел их и несколько раз сверил с церковными часами.

На следующий день отец попросил меня пойти вместе с ним в трамвайное депо на Трахенбергерплац.

— Меня ведь больше некому приободрить,— сказал он, аккуратно складывая в папку старые свидетельства, книжку Трудового фронта, справку об увольнении. И хотя это был солидный крюк, мы отправились на остановку у Шютценхофберга: трамваи вновь ходили довольно регулярно.

— Скамейка исчезла,— заметил отец,— ну да погоди, мы опять будем здесь сиживать, я уж об этом позабочусь.

Его прямо как подменили, казалось, и фельдфебель, и Наперсток, и ругань с матерью, и война, и разрушенный город были забыты. Он даже внимания не обратил на выгоревший дом у Шютценхофберга, мимо которого мы прошли впервые. Когда подъехал трамвай, он в радостном возбуждении твердил, что узнаёт вагоновожатого и кондукторов, и вместе с тем ничуть не расстроился, выяснив, что обознался, спутал их со своими прежними друзьями. Он с гордостью предъявил старый бесплатный проездной, но уплатил за себя и за меня, лукаво заметив:

— Само собой, удостоверения не действительны, ведь я же пока не на службе.

Хотя до Трахенбергерплац было всего три остановки, он занял для нас места у окна и, удобно откинувшись, сказал:

— Скоро трамваи пойдут как до войны, тогда и старые специалисты понадобятся.— Он вздохнул и сжал мою руку.— Мне надо было раньше собраться с духом.

В депо он велел мне подождать на улице, у поворотного круга: дескать, там интересно и я, может, передумаю насчет школы и профессии. Полчаса спустя он медленно вернулся и пробурчал с печальной усмешкой:

— В данный момент все места заняты.— Потом обнял меня и решительно, словно подбадривая самого себя, проговорил:— Но я могу пойти в путеукладчики, по крайней мере опять буду при трамваях.

На мою конфирмацию пришли бабушка, дедушка, все тетки, дядья, вернувшиеся с войны, и их дети. Только тетя Миа была одна, ее муж пропал без вести, а дядя Фриц, возвращения которого она ждала с таким нетерпением, был в Югославии. От дяди Ханса нам передали письмо, он теперь ворочает делами в Гамбурге и намерен скоро выслать что-нибудь «мамаше» и «сестренке Герди», поскольку весьма сожалеет о неудаче с куклами. Дядя Макс и дядя Герберт сами кое-как залатали стены своих полуразрушенных квартир и сообща построили автомастерскую, которую собирались вот-вот открыть.

— А почему бы вам тоже не завести свое дело? — поддразнивали они отца, кивая на мать и на меня с братом.— Конка! Вот чего недостает разрушенному городу. Можно и без рельсов, а запрячь волами, их-то вполне хватает.

Кругом смеялись и перешептывались, тетка Миа утирала слезы, вспоминая весточку от дяди Фрица из Югославии: он помогал там восстанавливать разрушенные мосты и собирался жениться на какой-то учительнице из Белграда.

— Она станет преподавать в гимназии, Фрицелю с ней повезло,— сказала бабушка и, утешая, погладила Мию по плечу.— Не расстраивайся, твой муж обязательно вернется.

Много разговоров шло о пианино, которое прикрыли досками и брезентом, так как дождь проникал в миктенскую квартиру через крышу и проломы в стенах. Дядя Герберт вызвался поднять на пятый этаж лебедку и спустить пианино на канатах.

— Когда Фрицель вернется домой, сможет побренчать,— сказал он и выложил на стол сотенную купюру — на спасательную акцию. Он не отставал, пока каждый из родных не внес свою долю, даже отец, которому мать под столом сунула деньги. Только тетя Хелли отказалась:

— На музыку у меня денег нету, я ведь все равно что вдова.

Кузина Инга шепнула мне на ухо:

— Она опять завела шашни с каким-то богатым крестьянином, потому моя помолвка и лопнула.

Инга была, как и прежде, приветлива со мной и даже спросила, основательно напробовавшись шнапса и яичного ликера:

— Хочешь, я снова отращу косы?

Мы стояли на балконе, в комнате было шумно и весело, никто не обращал на нас внимания. Инга вдруг ущипнула меня, дернула за волосы, поцеловала, расспрашивая заодно о всякой ерунде, а я от волнения дар речи потерял.

— А в бога ты веришь? — тараторила она.— Во время конфирмации, когда пастор говорил, ты все воспринимал на полном серьезе? Ты будешь венчаться в церкви или просто любить ту, которая тебе понравится?

Каждое утро отец ездил на велосипеде на работу к Нёйштедтермаркт, иногда сажал меня на багажник и подвозил до школы имени Песталоцци на Гроссенхайнерштрассе.

— Школа для бедных, так злословят мои коллеги,— говорил он,— они всегда злословят.

Ворочать рельсы, шпалы и брусчатку ему было нелегко, сноровки не хватало, и зачастую над ним смеялись. Но он радовался, что не торчит больше дома, даже в плохую погоду настроение у него оставалось хорошим, хотя в развалинах иногда приходилось бродить по щиколотку в грязи. Его радовал всякий участок пути, где вновь по рельсам поедет трамвай. Правда, сперва надо было расчищать улицу от мусора, обезвреживать и убирать неразорвавшиеся бомбы — в асфальте еще торчали зажигалки. Однажды отец задел такую лопатой, и язык пламени опалил ему лицо и волосы.

— Что это с тобой?! — испугалась мать, но быстро оправилась от испуга и засмеялась: — Короткие волосы тебе к лицу, да и вообще.

В последнее время он стал почти таким, как раньше, и ссоры в доме прекратились. На стройке им каждый день выдавали обед, и если я заходил к нему, то и мне кое-что перепадало. Ели мы, правда, не на скамейке, у Шютценхофберга, а где-нибудь в развалинах, откуда далеко было видно.

— Вот закончим здесь, и я снова пойду на шестерку,— говорил он, поясняя, как раньше проходил маршрут.— Пока линий две, нёйштадтская шестерка и кошюцкая, такого еще не бывало.— Он насмехался, что вместо тройки учредили девятый маршрут: — Сикось-накось! Зигзагом через Альтштадт, тут и минуты не выиграешь. А я-то думал, теперь все пойдет прямо, как по линейке, не как раньше — туда-сюда по переулкам. И зачем же так восстанавливать?

На первом году в новой школе почти все предметы нам преподавал господин Фишер, маленький лысый педант, постоянно носивший зеленую грубошерстную куртку, зеленые же обмотки и высокие ботинки на шнурках. Словоохотливым он не был, скорее робким и неуклюжим, и все, что ему казалось важным, предпочитал писать на доске, а мы аккуратно переписывали это в тетради, которыми он нас снабжал. При Гитлере его уволили из школы и посадили в концлагерь. Когда он вышел на свободу, ему досталась в наследство писчебу-

мажная лавка, и в войну он кое-как перебивался вместе с семьей. Остатки товаров мы теперь покупали у него по дешевке.

— Мирные товары, мирные цены,— говорил он, раздавая нам время от времени карандаши, ластики и линейки, которые нигде невозможно было достать.

Больше всего на свете он ценил аккуратный почерк. Печатные буквы были ему просто бальзам на душу, он точно определял, что и как должно стоять в строке, все равно, были ли это физические или химические формулы или даты по истории и географии. Поначалу он даже писал на доске образцы сочинений, чтобы мы не делали орфографических ошибок, и все точно соответствовало его представлениям о плане, содержании и особенно форме. Скоро мы стали встречать это в штыки, развлекались тем, что заменяли на доске предложения или хотя бы удлиняли и переиначивали слова. Это возмущало его куда больше, чем невыполненные домашние задания, болтовня или проказы на уроке. От волнения он и вовсе с трудом говорил, запинался, краснел, даже лысина пылала, а мы вели себя все нахальнее, ставя кляксы в священных тетрадях, и тем окончательно приводили его в ярость.

— Нацисты! Нацисты! — вопил он фальцетом.— Вы все, все нацисты!

Мы с Сэром после обеда шастали по лесам, отнести домой школьные сумки после занятий нам и то было недосуг. Мы находили брошенные мундиры, противогазные сумки, оружие, уже начавшее ржаветь. Разбойничья пещера и другие склады боеприпасов были пусты, многие даже взорваны. Но стоило немного покопать — и мы отыскивали ружейные и орудийные гильзы, даже остатки пороха и динамита, которые поджигали, хотя уже и наслышались жутких историй про оторванные руки и ноги.

— Вот бы разрядить что-нибудь по-настоящему,— сказал Сэр, неотрывно глядя в пламя костра.— Так ведь не дают, а скоро все совсем проржавеет.

Он хотел стать физиком или химиком, собирал в свою школьную сумку патронные гильзы, куски труб, пустые бутылки из-под пива, пластинки динамита, автомобильные детали и лампочки, из которых делал стеклянные колбы для будущей лаборатории. Часто в своей сумке я тоже тащил для него домой детали моторов, осколки зенитных снарядов, трассирующие пули и помятые котелки. А поскольку Сэр боялся своего папаши, мы украдкой сносили все в наш подвал, где оборудовали арсенал за дровами, оставшимися от Лени.

— Если мой старик и дальше будет так злобствовать, я вообще не вернусь домой,— заявил Сэр и уже начал обдумывать, как бы сделать отвод от магистральной газовой трубы.— Без бунзеновской горелки лаборатория — шарлатанство и игрушки.

Но прежде чем он взялся за гаечные ключи, подобранные в развалинах, мой отец обнаружил за поленницей наш взрывоопасный винегрет.

— Вы что, и наш дом решили подорвать?! — закричал он и впервые надавал мне пощечин.— Разве в новой школе вы не усвоили, что уже и так достаточно всего погибло? Что, ваши новые учителя на войне не были и не сыты ею по горло? В чем дело-то, а?

Я ехал в отцовском трамвае и думал: как же легко найти ответ на мои вопросы и даже проникнуться уверенностью, что мы были нужны друг другу, и раньше и теперь. Отец как бы между прочим вспоминал прошлое, находил слова примирения и не прерывал меня, когда я говорил об упущениях, ошибках, нерешительности и безучастности.

— Ладно, ладно,— сказал он.— Разве у меня был выбор?

Он вновь и вновь возвращался к разговору о той прочной прямой стезе, с которой никогда не сворачивал:

— Так уж прошла моя жизнь, ваша идет по-иному, а все же не больно-то отличается от моей.

О матери он сказал коротко:

— Она всегда была своевольной и слишком часто рисковала.— Он закашлялся и немного отвернулся, чтобы я не заметил, как мозжит в нем разлука.— У меня тоже бывали шансы, что да, то да,— добавил он,— только, может, чересчур поздно для меня или чересчур неожиданно, непривычно.

Он уставился в окно на соседний путь, на встречный трамвай, быстро промчавшийся мимо, и под грохот и скрежет вагонов задумчиво пояснил:

— Ничего не удержать, не остановить, вот в чем штука. Одно из двух — либо едешь, либо под колеса.

Так он сидел, неподвижный и прямой, с побледневшим лицом, щурясь от слепящего света уличных фонарей и автомобильных фар.

— Странное у меня чувство,— проговорил он, вдруг став отчужденным и неприступным.— Я будто сижу здесь с тобой и еду, а на самом деле я все выдумал, да и в живых меня нету.

Пианино спустили из бабушкиной квартиры во двор, потом поставили на трехколесную машину дяди Герберта, которую тот соорудил из старья.

— Сначала тяпнем по одной,— сказал дядя Георг и, пустив по кругу бутылку шнапса, запел: — Тру-ля-ля!

Уже изрядно навеселе, дядя Герберт залез в кабину, мы с теткой Лоттой взгромоздились в кузов, и началась дикая гонка через развалины, потом по Лейпцигерштрассе, а кончилось все тем, что машина врезалась в трамвай, как раз выезжавший из депо. Пианино опрокинулось, загудев как гонг, и упало нам с тетей под ноги, больше ничего с нами не случилось. Куда сильней досталось дяде Герберту: водительская кабина была разбита, и он сидел в ней, закрыв глаза и обливаясь кровью.

— Толстый пьянчужка,— высказался кто-то в толпе, собравшейся у одра машины; никто из зевак даже пальцем не пошевелил.

Подъехал грузовик, из него выскочили красноармейцы и начали отдирать помятую, заклиненную дверь. Один орудовал штыком, другой прикладом автомата; наконец они распахнули дверь, вытащили дядю Герберта и увезли в лазарет.

— А пианино? — спросил я, по-прежнему сидя в кузове.

— Русские его не заметили,— ответила тетя Лотта, она тоже не тронулась с места.

Однажды наш учитель господин Фишер сказал:

— Я хочу вам кое-что показать, завтра уроков не будет, мы встретимся на Нёйштадтском вокзале и вернемся домой лишь вечером.

Хотя он, как и отец, дрожал над каждым пфеннигом, билеты всем нам он купил на свои деньги. Кроме того, он подкопил хлебных карточек, так что съестного брать с собой не пришлось. Наутро мы поехали по железной дороге до Шандау, затем пешком по долине Поленца добрались до крепости Хоэнштайн, где учитель резко и энергично утихомирил нас и сказал:

— Здесь был концентрационный лагерь, я тут два года просидел.

Он стоял перед нами в своих зеленых обмотках и больше слова не мог вымолвить, лишь указал рукой на полуоткрытые ворота и засеменил туда. Мы, ошарашенные, в нерешительности последовали за ним, подавленно таращась на своды ворот, на стены, на узкие, зарешеченные окна во дворе, вымощенном каменными плитами.

— Здесь! — коротко бросил господин Фишер, несколько раз покрутился волчком, оглядывая стены, от которых отваливалась штукатурка, и испуганно вздрогнул, услыхав голоса и шум: на верхних эта-

жах велись какие-то работы, оттуда доносился стук молотков и звон пилы. Один из рабочих спустился к нам и спросил:

— Вам чего?

В крепости оборудовали молодежную базу, и вход на стройку был воспрещен.

— Вот как, я не знал,— извинился господин Фишер и повел нас к выходу.

Ему словно бы полегчало, оттого что не нужно ходить по камерам и залам, где он был одним из сотен заключенных; каких-либо пояснений или же рассказа о пережитом от него так и так не услышишь. «Я не хочу об этом говорить»,— сказал он однажды на уроке и написал на доске лишь то, что требовалось по уроку. Быстрыми скачками, не оглядываясь, учитель спустился с крепостной горы. У ручья в долине достал еду, поделил на равные части и сказал:

— Красивое место, а? Очень правильно — устроить здесь молодежную базу. Раньше тут, говорят, тоже была база отдыха, я просто забыл.

В газетах я впервые прочитал стихи Бертольта Брехта, переписал их, заучил наизусть и декламировал даже отцу.

— Эти я давно знаю,— твердил он, хотя без конца просил почитать ему стихотворение о «семивратных Фивах»[1].— Сколько ворот было в Дрездене? — спрашивал он у меня и вновь начинал рассказывать о саксонских королях, немного не так, как раньше, потому что не ездил больше на трамвае через ворота, улицы, площади и мосты, названные в честь королей: Георга, Альберта, Фридриха, Иоганна и Августа. Теперь он убирал там мусор, засыпал гравием воронки, утрамбовывал и таскал брусчатку, плиты песчаника на Брюлевской террасе, осколки Хофкирхе и ворот Георг Тор.

— Нынче все переименовали, народ совсем запутался,— повторял он, перечисляя новые названия улиц, ворот, мостов и площадей.— По мне, надо бы одну из площадей назвать площадью Развалин, ведь только руины кругом да разбитый трамвай посередке,— говорил он.— На этом памятнике я бы выбил свое имя, год и фразу: «Так все выглядело, так! Не забывать!»

В нашем классе внезапно объявилась Урсула.

— Привет! — сказала она.— Теперь я с вами!

У нее было новое зеленое платье, еще более длинные, гладко причесанные волосы и дорогой портфель из настоящей кожи, откуда она извлекла учебники, за которыми мы тщетно гонялись.

— Только не завидовать. Могу и вам кое-какие достать,— самоуверенно заявила она.— Моя бабушка еврейка, я сама — еврейка на четверть. Разве по моему носу не видно? — Она со смехом рассказала, что ее потому и приняли без экзаменов и с таким опозданием.— Компенсирующая справедливость. Надеюсь, вы не против?

Она гордо уселась всего через две парты от меня, потом обернулась, так что я с трудом удержался, чтобы тотчас не протянуть ей руку. Но она сделала вид, будто не замечает и не знает меня, говорила с Сэром и Хорстом Редером, самым крупным и сильным парнем в классе, который прыгал на метр семьдесят в высоту и быстрее всех бегал стометровку. Губы у нее были ярко-красные, кое-кто думал, что она их подкрашивает, хотя в школе это было запрещено. Она носила туфли на высоких каблуках, по последней моде, и на переменках важно разгуливала по двору с Хорстом, не отходившим от нее ни на шаг.

— Она такая же красивая, как раньше, но и задавака,— утешал меня Сэр и тоже пялился ей вслед.

Ни у одной девушки не было такой походки, такого волнующего голоса; ее дерзкие взгляды и суждения смущали нас, да и вообще,

---

[1] Имеется в виду стихотворение Б. Брехта «Вопросы читающего рабочего».

даже если она молчала, мы воображали, что слышим ее и находимся рядом. На уроках немецкого, читая «Коварство и любовь» Шиллера или какое-нибудь стихотворение, она словно бы недосягаемо парила над нами, а мы казались себе тупицами, замолкали и не двигались, господин Фишер и тот смотрел на нее во все глаза и даже хвалил:

— Чудесно, чудесно, девочка.

Мой друг Вольфганг учился на слесаря-ремонтника; часто после обеда он помогал отцу в его мастерской, которая после войны была расширена и стала небольшой фабрикой.

— Образование для меня — дело второе, все равно я унаследую фабрику,— сказал он мне.— А ты сможешь потом начать у меня в конторе.

Иногда я заходил с ним в цех и всякий раз видел там новые лица: подсобники — женщины, молоденькие девушки — работали на простейших машинах со стеклянной ватой и картонными трубами и все как одна сетовали на непосильный труд. Вольфганг ничего, кроме работы, не замечал, занимался упаковкой, привлекая к этому делу и меня, контролировал продукцию, предназначенную для отправки, и относил вместе со мной во двор, под навес. За это, когда мы уходили домой, каждый из нас получал от его отца по марке.

— Я допустил большую ошибку,— твердил его отец,— что раньше не развернулся по-крупному, теперь слишком поздно.

Он подсчитывал на пальцах, как долго еще будут разрешены частные предприятия; все равно из-за больных легких врач советует ему как можно скорее кончить со стекловатой.

— Но я выдержу, Вольфи,— говорил он, глядя на своего тощего бледного сына.— Главное — кормить тебя хорошенько, ты теперь растешь, а деньги и фабрика все равно коту под хвост.

Дядя Фриц прислал из Югославии весточку. Он женился и скоро станет отцом. «Теперь я, наверное, обоснуюсь в Белграде своим домом,— писал он,— Дрезден — так или иначе мертвый город». Бабушка принесла письмо к нам и, недоверчиво покачивая головой, сказала:

— Пианино, все его книги и вещи у меня, они ему нужны, а я-то долго не протяну.

Лицо у нее было бледное, руки дрожали. Она терла стекла очков, думая, что сослепу что-нибудь прочитала неправильно.

— Может, выслать все это по почте? Или самой поехать на свадьбу? — спрашивала она отца, мать и меня.— Но я ведь много не подниму, разве что кой-какое бельишко, книги для меня слишком тяжелы.

Бабушка понятия не имела, что это дальнее путешествие, что нет ни разрешения, ни поездов, чтобы пересечь четыре или пять границ. Больше всего тревожилась она из-за пианино, уже настроенного и заново отполированного. Но, мол, дядя Герберт, который головой рисковал, вызволяя его из старой квартиры, не должен ничего об этом знать.

— Ждут ребенка.— Бабушка со вздохом сунула письмо в старую кожаную сумку, которая была с нею и тогда, в бомбежку.— Но на крестины я поеду обязательно.— С этими словами она медленно, спотыкаясь, побрела к двери.— Лучше бы он с женой и ребенком приехал сюда, мы были бы все вместе, правда?

У нее закружилась голова, она покачнулась, сумка выпала из рук.

— Ох уж этот твой Фриц,— сказал отец, подхватив бабушку под руки и ведя назад к кушетке.— Не может он так поступить, он ведь строитель и нужен здесь.

Он оглянулся на мать, которая уже схватила пальто и собралась за врачом.

— Фриц должен приехать, иначе — конец! — крикнул он ей.— Напиши ему об этом, Герди, пошли телеграмму, сейчас же!

Я посадил под балконом деревья и кусты, а на наших грядках — кольраби, цветную капусту, табак и помидоры, которые нужно было

регулярно удобрять. В унитаз мы поставили ведерко, но днем никто не осмеливался выйти с этой «благодатью» во двор. Брат ждал темноты, а потому и спать ложился позже, ведро он относил всегда сам и очень старался, чтобы все росло как следует. В соседях мало-помалу проснулась зависть — ни у кого не было таких крупных помидоров, кольраби, табачных листьев. От воров мы были застрахованы, с тех пор как отцова кровать переместилась к балконной двери. Сон у отца был чуткий, и он сразу же просыпался, если кто-то шел по гравийной дорожке. Однажды он соскочил с кровати и, перепрыгнув через балконные перила в сад, сцапал за ошейник овчарку, которая лишь залаяла и жалобно заскулила. Тут уж проснулись и мы, бросились на балкон, удивляясь, почему собака не убегает, хотя отец отпустил и даже отпихнул ее, а для верности еще и ногой поддал.

— Оставь ты беднягу,— мать засмеялась,— я что-то не слышала чтобы собаки жрали томаты и капусту и курили табак. Если пес останется, у нас будет сторож и ты сможешь наконец спать спокойно.

На следующее утро явился дедушка.

— Вчера опять пришли письма,— сказал он.— Где Герди?

Мне было велено срочно сообщить матери, что бабушке плохо что опять был врач и надежды мало. И хотя мне пора было в школу, я помчался в палатку возле Шютценхофберга, где с недавних пор торговала мать.

— Извините, мне нужно уйти,— сказала она покупателям, толпившимся у прилавка, и выпроводила их на улицу.

Она так разволновалась, что даже дверь не заперла, а я, думая только о школе, побежал на трамвай, чтобы успеть хотя бы ко второму уроку.

Оставшись одна, бабушка слезла с кровати и, ползая на четвереньках, уложила в большую кожаную сумку несколько платьев и ночную рубашку: собралась ехать к дяде Хансу, а потом — к дяде Фрицу. Кроме нового письма из Югославии ей пришло извещение из гамбургского суда, что ее старший сын обвиняется в мошенничестве и неуплате крупного долга. Лишь силой матери удалось удержать бабушку дома. Старушка перепутала имена своих сыновей — хотела купить свадебный подарок Хансу и уплатить долги Фрица.

— Герди, но пианино мы не продадим, у меня достаточно отложено для мальчиков,— сказала она и уснула, предварительно достав из сумки свою сберегательную книжку, в которой хранила и наличные деньги.

За те полчаса, пока мать ходила на Шютценхофберг закрывать палатку, бабушка проснулась и дрожащей рукой написала несколько строк Фрицу и Хансу, на сей раз их не перепутав. Пусть дети распорядятся ее имуществом, чтобы вызволить из беды старшего, в крайнем случае даже пианино продать можно.

— Фрицелю так срочно не надо, он и один справится,— сказала она перед тем как умереть на руках у матери и деда.

Когда мы отправились на похороны, с нами увязалась и овчарка. Даже когда отец рано утром ехал на велосипеде в депо, пес немного провожал его, затем останавливался и ждал, пока мать и мы с братом не выйдем из дома. Тому, кто выходил последним, доставалось больше всех: не помогали ни ругань, ни шлепки — пес бежал за мной или за братом до самой школы, понурив голову, стоял у ворот и, лишь потеряв нас из виду, возвращался на свое место под балконом. Он был предан, простодушен и неисправим, назвали мы его Михель. Если кто-нибудь приходил домой, он плясал вокруг, приближался следующий — он и ему несся навстречу. Казалось, его непрерывно терзали сомнения, кого надлежит одаривать наибольшей благосклонностью, и, когда мы собирались вместе, голова его вертелась, как на шарнире: то на одного посмотрит, то на другого.

— Помрет ведь, если вдруг кто-нибудь не вернется,— говорил отец, который всегда охотно трепал его по голове и подкидывал ему что-нибудь из своего ужина. Выгонять пса ночью из квартиры сторожить сад у отца прямо-таки рука не поднималась.— Все равно никто не тронет зеленые помидоры, пусть Михель уж лучше проследит, чтобы мы не ссорились, это важнее.

Летом я выклянчил у отца велосипед на каникулы. Мы с Сэром уже давно планировали большое путешествие: мне хотелось к морю, он же предпочитал горы.

— Не будь этих идиотских границ,— говорил он,— мы бы смогли махнуть в Альпы, а через них в Италию, в Рим. Зачем мы тогда учили латынь?

Хорст Редер попробовал уговорить Урсулу поехать с нами: на багажнике, у всех по очереди. А она высмеяла нас, для нее наши велосипеды были просто рухлядью.

— На этих драндулетах вы все равно далеко не уедете,— ехидничала она,— помяните мое слово.

Не успели мы выбраться из города, как у Хорста лопнула шина на переднем колесе. Он обмотал ее веревкой и, проклиная заедающее колесо, вернулся из Хайденау домой. Мы с Сэром поехали дальше в направлении Саксонской Швейцарии, но в Пирне у меня спустила камера, и Сэр заявил:

— Зеленая нас заколдовала!

Я кое-как залатал камеру, обвязал хлипкую шину проволокой и так добрался до Ратена; там мы и заночевали, без разрешения, в амбаре на берегу Эльбы. Утром я сплавал на тот берег, поставив перед собой задачу — не дать течению снести меня ни на метр.

— А чего ты там не остался? — спросил Сэр, когда я вернулся, утомленный плаванием.

Рядом с ним сидела дочка хозяина амбара, сперва наше вторжение очень ее возмутило, но потом она все-таки принесла толстые ломти хлеба и парное молоко.

— Кушай на здоровье,— сказала она Сэру.— Смотри, ты мог бы получить еще и обед и ужин.

Но Сэр покачал головой и ловко спрятал половину завтрака за пазуху, так что она даже не заметила. Он поехал со мной, не поддавшись на заманчивые посулы, и по дороге подсовывал мне куски крестьянских харчей.

— Любовь приходит через желудок,— сказал он,— и уходит тоже, быстро, не успеешь оглянуться — а уже забыл.

Вечером мы добрались до старой дощатой хижины под скальным обрывом. Раньше тут был приют альпинистов, а строил хижину отец Сэра с товарищами. Несколько балок сломалось, в дыры нанесло листьев и глины. Такое впечатление, будто долгие годы сюда никто не заглядывал, и все же мы обрадовались крыше над головой и мгновенно заснули после утомительной поездки. Правда, и проснулись скоро: дождь лил прямо на нас, со скал низвергался грязный водопад, заливший всю нашу поклажу. Хижина грозила вот-вот рухнуть; ежась от холода, мы на корточках примостились в углу и попробовали развести огонь, но коробок со спичками насквозь вымок.

— Что бы нам остаться в амбаре с той девчонкой,— вздохнул Сэр.

Я уставился на крышу, сквозь которую хлестал непрекращающийся дождь.

— Ты же сказал, что забыл! — заметил я.

Но Сэр рассмеялся и спокойно проговорил:

— Ты что, думаешь, кто-то станет нас оплакивать, если тут все завалится? Зеленая и та слезинки не прольет, она ведь нас заколдовала!

Отец обнял меня, когда я раньше срока вернулся из злосчастного путешествия, и ни словом не обмолвился о замызганном и повреж-

денном велосипеде. Он без умолку говорил, был очень возбужден и даже впервые после возвращения из плена при нас поцеловал мать.

— Ну-ка поглядите! — Он с гордостью извлек из шкафа новую форму, которую ему сегодня выдали.— Теперь все опять пойдет как надо. Путь свободен!

За хорошую работу на укладке рельсов его наградили: он получил грамоту и сто марок премиальных, которые отдал матери.

— Наконец-то все со мной честь по чести,— удовлетворенно подытожил он, потирая руки.

До сих пор он еще не сумел вернуть деньги за спасенное пианино, да и на одежду и хозяйство почти ничего не давал.

— На будущий год мы все вместе поедем в отпуск,— сказал он, разумея под отпуском всего лишь поездки на трамвае в Пильниц, Нидерзедлиц или Крейша, небольшие прогулки по лесу, собирание грибов и черники — ничего другого ему и в голову не приходило. Брат напялил кондукторскую фуражку, которая съехала ему на уши, подхватил сумку, сдвинул стулья наподобие трамвая, а мы с отцом должны были изображать пассажиров; в моих играх эту роль исполняли клоуны, медвежата и прочее.

— Внимание, сейчас мы все пересядем на дирижабль! — крикнул Ахим, глядя в окно, на облака, куда ему очень хотелось подняться вместе с нами.

— Это еще зачем? — спросил отец. Он купил себе сигару и теперь раскуривал ее.— Я остаюсь здесь, на земле, в моем трамвае. Ведь цеппелин взрывоопасен,— пояснил он, с удовольствием пуская дым над стульями.— Дайте мне спокойно докурить, мальчики, я так рад.

Никто не мешал нам в этом ночном рейсе, никто не садился в вагон и не выходил, когда трамвай на мгновение останавливался. Секундная тишина — потом звонил звонок и громыхающие колеса вновь несли нас по рельсам. Мне подумалось, что иногда отец так вот один ездил сквозь ночь где-то на городской окраине, где в плохую погоду все выглядит вымершим. Последние дома оставались позади, уплывали вдаль уличные фонари и освещенные окна. Я пытался представить себе, чего не хватало отцу и что ему было нужно, когда он в ту пору приходил домой. Несколько слов, улыбка, еда на столе, сон и часочек покоя в свете уличного фонаря у окна — хотел ли он большего? Жалованье он отдавал матери до последнего пфеннига, даже скудные чаевые, лишь изредка оставляя себе одну-две марки, чтоб купить пачку самых дешевых сигар. На день рождения мы тоже всегда дарили ему сигары. А что еще-то? «Мне ничего не нужно,— говорил он,— не ломайте себе голову». Он бы и сейчас так сказал, потому я и решил не спрашивать о его желаниях. Раньше мы действительно не ломали себе голову — ведь он так хотел. Казалось, он жил бок о бок с нами, без желаний, без потребностей, без цели. А теперь?.. Когда мне захотелось прикурить сигарету, я заметил: отец небрежно и рассеянно затеребил газовую зажигалку. Кончик его указательного пальца был коричневый, значит, он курил больше прежнего, даже на службе в часы одиночества.

— Удивляешься? — спросил он, поднося мне огонь.— А на что мне еще надеяться? Думаешь, я тут сижу и дожидаюсь чуда?

В то время, когда отец опять стал кондуктором на шестом маршруте, я, бывало, из чистого озорства, опоздав в школу, позволял себе подшутить над господином Фишером.

— Извините, стрелку заклинило на Трахенбергерплац, пришлось помочь отцу,— говорил я.

Господин Фишер, озадаченный веселым шушуканьем моих одноклассников, начинал комический допрос:

— Почему вы не поехали предыдущим трамваем?

— Откуда я мог знать, что стрелку заклинит? — отвечал я.

А он не отставал:

— Как это откуда? Ведь ее уже не первый раз заклинивает.

Мне было очень трудно сохранять серьезность, тем более что шушуканье вокруг переходило в громкий хохот.

— Теперь буду знать,— говорил я, покорно кивал и садился, понимая, что в следующий раз трамваю придется сойти с рельсов или поехать не в ту сторону. Недаром отец часто повторял: «С трамваем всякое бывает, иногда он даже опрокинуться может, а вот чтоб перекувырнулся — такого еще не случалось никогда! Так что бояться нечего, нечего!»

Один раз на Вайсер-Хирш прицеп оторвался от моторного вагона и покатился вниз по склону Лошвицберга. «Прошу сохранять спокойствие!» — крикнул отец. Он и тогда работал кондуктором и в последний момент сумел вскочить в катящийся назад вагон. Он сразу понял, что катастрофа неизбежна — разве что произойдет чудо. Он втащил с подножки в тамбур нескольких женщин, собиравшихся выпрыгнуть из мчащегося трамвая рванул стоп-кран, но заметил, что его заклинило и скорость почти не уменьшилась. Пока он раздумывал, не лучше ли дать людям выпрыгнуть, а последним соскочить самому, вагон миновал оба поворота в ущелье, нерешительно покачался, но с рельсов не сошел и вновь ринулся под гору. Около Лесного дворца вагон, в котором люди кричали, судорожно цеплялись друг за друга или лежали на полу, задел медленно едущий грузовик, послышался скрежет. А в нескольких сотнях метров был уже виден следующий трамвай. «Внимание!» — крикнул отец, крепко схватившись за поручень; столкновение казалось неизбежным. Но водитель того трамвая в последнюю секунду затормозил и быстро подал назад, а у подножия склона перед очередным поворотом так ловко состыковался с беспризорным вагоном, что всерьез никто не пострадал.

— С ума сойти, ну и человек! Такое самообладание! Ему памятник нужно поставить, настоящий герой! — восхищался отец, не уставая рассказывать об этом.— А ну как он потерял бы голову или не знал, как действовать? — Отец закрывал глаза и сидел так, подергивая ртом.— Кто знает, смог бы кто другой сохранить спокойствие, смог бы я... Нет, просто не знаю.

Деревянную палатку у Шютценхофберга сломали, и на ее месте поставили маленький коммерческий магазинчик, торговавший продуктами, овощами и фруктами. Все там было чин чином, даже решетка на витринном окне, хотя, кроме пакетов с сахаром, макаронами и мукой, выставлять ничего не разрешалось. Цены здесь были выше, чем в кооперативных магазинах, где товары отпускали только по карточкам. Иногда у матери появлялись клубничные торты, помидоры, огурцы, вишни и персики каждый день — свежие сардельки и белые булочки как до войны, но все так бессовестно дорого, что к вечеру многое оставалось нераспроданным.

— Мы столько лет об этом мечтали,— говорила мать, принося домой кусок торта или пакет с фруктами и пытаясь сбыть их соседям, как правило тщетно.— Я почти весь заработок трачу на это, потому что не могу смотреть, как добро пропадает.

В магазине не было ни морозильной установки, ни холодильника, лишь изредка привозили несколько глыб льда, мать и ее продавщицы кололи их и осколками обкладывали колбасу и фрукты. На овощи льда не хватало, и они портились, если торговля шла вяло. Однажды несколько яшиков огурцов и порея заплесневело, а в конце месяца вышла недостача — четыреста сорок марок, и руководство грозило судом.

— Такого быть не должно, вот у меня с деньгами всегда полный порядок,— с упреком заметил отец, когда мать попросила у него денег, чтобы выкрутиться из беды. Она снова и снова просматривала

заказы, накладные, счета, сидела до поздней ночи и не обнаружила никаких просчетов, кроме не зависящих от нее потерь. Я проснулся, когда она хватила кулаком по столу и напустилась на отца:

— Что я сделала неправильно, скажи?! Тебе-то что, у тебя выручка да билеты, они никогда не плесневеют. Ты ничем не рискуешь, стоишь себе, свистишь, болтаешь, считаешь гроши и в ус не дуешь. А я должна думать, считать, заказывать и все время рисковать, иначе в магазине будет хоть шаром покати. И ты еще тычешь мне в нос своей выручкой и занудным трамваем! — Она фыркнула и решительно потребовала: — Возьми завтра в депо аванс, и я покрою недостачу до последнего гроша. Рискни хоть разок, а? Ведь вся семья в беде!

Лето стояло жаркое, с обильными дождями.

— Мне все кажется перевернутым с ног на голову,— призналась Зеленая и принялась шептаться со мной, уведя от Сэра и Хорста Редера. Она касалась меня волосами и вообще была совсем-совсем рядом. На последнем уроке я получил записку: «Подожди, пока все уйдут». Выйдя из школы, мы налетели на господина Фишера, который выкатил со двора велосипед и лихо, одним прыжком, вскочил в седло, как молоденький, будто ему не шестьдесят пять, а то и все восемьдесят, а всего-навсего восемнадцать.

— Ну-ну, голубчики! — засмеялся он.

Не сознавая, чего мы хотим и что нами движет, мы тоже засмеялись и поспешили удрать со школьного двора — через поваленный забор, садами, прочь из города. Наконец мы уселись под деревом у лесного озерка. Кругом безлюдье и по-прежнему жара. Мы разделись и стали плавать, не приближаясь к берегу. Вода была нам по грудь. Потом, не смея ни заговорить, ни поднять глаза, поплыли обратно и залезли в камыши, подальше друг от друга, чтобы одеться. Когда начался дождь, мы опять спрятались под деревом, сели там, касаясь один другого плечами; Урсула вытащила из школьной сумки томик Гейне. Капли дождя разбивались о красный матерчатый переплет, и скоро наши руки и лица, плечи и ноги тоже стали красными.

— Красный — цвет опасный,— продекламировала Урсула, подхватив выскользнувшую из рук книгу.

Она прочла десять—двенадцать стихотворений, не больше. Дождь перестал, и мы без всякой робости поглядели друг на друга, снова поплыли через озерцо и валялись на берегу до тех пор, пока не стемнело и опять не полил дождь. Книга лежала в траве совершенно вымокшая, мы завернули ее в мою рубашку, все и так было красным.

Затем пошли бессонные ночи: я шатался по темным улицам с Сэром или Хорстом Редером, но больше всего с Зеленой, у которой жизненный план был уже наготове:

— Стану актрисой, замуж не пойду, и детей у меня не будет.

По моей просьбе Корди давала ей уроки актерского мастерства и водила в театр вместо меня. Когда я поздно вечером поджидал Урсулу возле дома, она приходила, напевая мелодии Легара или Штрауса. Разучивание ролей доставляло ей меньше удовольствия.

— Эти Минна фон Барнхельм и Луиза не по мне,— говорила она.— Слишком старомодные.— И Зеленая мечтала о новых, необычайных пьесах.— С зонгами, без всяких там тра-ля-ля, что-то совершенно новое, небывалое!

После полуночи в ближнем лесу или где-нибудь на лугу она рассказывала невозможные истории, для которых тут же придумывала фантастические декорации и костюмы, устраивала между деревьями сцену и, естественно, играла главную роль.

— В школе мне бо́льше не выдержать, изо дня в день одна и та же зубрежка — словом, ерунда, которая никогда не понадобится,— говорила она, насмехаясь над господином Фишером и другими учителями, ничего-де не понимавшими в искусстве и реальных проблемах.— Сухие, скучные типы.

Я кивал, мне школа тоже опротивела, слишком уж педантично господин Фишер подчеркивал орфографические и пунктуационные ошибки в моих длинных, восторженных сочинениях и неизменно ставил «в целом удовлетворительно».

— Нет, надо что-то делать, надоело все это,— сказал я, воодушевляясь замыслами Урсулы.— Театр, кабаре, агитбригада или хотя бы листовка против Фишера.

Все последующие дни мы совещались насчет этого с Сэром, Хорстом Редером и еще кое с кем из недовольных школой ребят. Но Хорст высмеял Урсулины планы, назвав их «опереточной дешевкой», и взамен предложил выпускать школьную газету, не какую-нибудь там агитку, а настоящую газету вроде бюхнеровского «Гессенского сельского вестника»[1] или «Вельтбюне» Осецкого[2] — каждую неделю новый, сенсационный выпуск.

— Пишем не боясь последствий и под псевдонимом. Чур я буду Попрошайка.

Мы сразу так и загорелись, я назвал себя Критикус, а Сэр — Квод-эрат-демонстрандум. Никакого разрешения мы спрашивать не собирались, ведь господин Фишер не уставал повторять, что время запретов миновало. Лишь Зеленая упорно держалась за свой «опереточный» план, журналистику она ни в грош не ставила.

— Всякими там статейками вы разве что школу взбудоражите, но ведь школа-то — просто примитив! — презрительно заявила она.— А миру, черт его побери, на вас чихать.

От всякого сотрудничества она отказалась.

— Урсула! — крикнул я ей вдогонку.— Зря ты так! Вот увидишь, как все пойдет!

Работа в саду была заброшена, и отца до Шютценхофберга или до маминого магазина я с собакой уже не провожал.

— Времени нет,— говорил я,— школа.

Но виной всему была газета, которой я занимался с утра до ночи, даже на уроках: что-то писал, правил, передавал под партой листки Сэру или Хорсту, записки порхали по рядам, частенько сопровождаемые смешками и ухмылками.

— Чего вы смеетесь? — вопрошал господин Фишер, словно бы чуя недоброе.— Извольте взять себя в руки, жизнь — это не шуточки.

Как только звенел звонок, мы вылетали из класса и запирались в школьном подвале, где Роланд набрасывал заголовки и карикатуры к нашим заметкам. После обеда в конторе садоводства — она принадлежала родителям Клауса Хенеля — мы перепечатывали страницу за страницей на старой машинке «Континенталь». Контора находилась недалеко от площади Губертусплац, где я часто подлавливал своего брата, который с недавних пор самостоятельно путешествовал на трамвае.

— Откуда у тебя деньги на проезд? — полюбопытствовал я.

Он вывернул пустые карманы и засмеялся:

— Иной раз, конечно, и нарвешься на отца, ну тогда получаешь от него десять пфеннигов и едешь домой.

Ахим кивнул на карусель и качели, установленные тут впервые после войны.

— Покатай меня,— попросил он, не обращая внимания на трамвай, из которого ему делал знаки отец.

— Ты лучше у него поклянчи.— Я пересчитал в кармане мелочь.— Мне деньги еще нужны, на бумагу и ленту для машинки. Родители Хенеля даром ничего не дают. А кроме того, у меня нет

---

[1] Прокламация немецкого революционно-демократического писателя Георга Бюхнера (1813—1837), начинающаяся призывом: «Мир хижинам! Война дворцам!»

[2] Литературный журнал, основанный немецким писателем-антифашистом, лауреатом Нобелевской премии мира Карлом фон Осецким (1889—1938), замученным нацистами в концлагере.

ни желания, ни времени на этот балаган, придумай что-нибудь поумнее,— назидательно сказал я и помчался прочь.

Ахим потрусил за мной, он запыхался и все оглядывался на карусель с летящими дирижаблями.

— Ну ладно.— Я остановился, сообразив, что денег у меня хватит, даже если я куплю ему билет.— Вот, держи.— Я протянул ему мелочь.

Но он отрицательно помотал головой, отскочил от меня и расплакался.

— Ты думаешь только о себе,— кричал он на меня.— Вы все думаете только о себе и никогда о других, никогда!

Ничто — ни уговоры, ни упреки, ни даже принуждения — нас не останавливало. Учительских окриков и запретов мы не боялись, насмехались над наказаниями, которые служили нам лишь поводом для новых иронических сентенций и выпадов. Сэр и Клаус издевались над безмолвной писаниной господина Фишера на классной доске, над уроками латиниста доктора Корино, рассказывавшего о военных походах Цезаря так, будто ничего более важного в мировой истории не происходило. Хорстов Попрошайка с наивной хитростью резонерствовал не только про новую школу, но и про многие другие новшества в городе. Он любовался тортами, сардельками и белыми булочками в государственных коммерческих магазинах, но купить их не мог, равно как и ржаной хлеб в кооперативной лавке, поскольку у него не было ни денег, ни карточек, был только голод. А вот мне не давала покоя мраморная статуя Германии на площади Альтмаркт, рухнувшая во время налета, а затем исчезнувшая, возможно разбитая или спрятанная. «Где же эта Германия, не стоит ли разыскать ее и убить, если она еще жива?» — дерзко вопрошал я. С богиней в разрушенном городе у меня происходили разные фантастические вещи: целыми днями она сидела в засыпанном бомбоубежище и только ночью иногда высовывалась наружу, чтобы посмотреть, что сталось с Германией. Если ее что-нибудь радовало — а такое случалось редко,— она выползала из руин, ходила вокруг, заговаривая то с одним, то с другим, раз даже со мной, когда я выглянул из окна. Она стояла под уличным фонарем, ввинчивая позолоченную лампочку, чтобы я увидел ее в наилучшем свете. «Не вешай голову, мы поднимемся вновь»,— улыбнулась она, воссияв нимбом, от которого открошился совсем маленький кусочек. Она хотела пожать мне руку, поздравить меня с успехом в изучении немецкого, но отпрянула от оконного стекла, в котором увидела свое отражение. «Время не прошло для меня бесследно,— созналась она.— Я утомлена, стала боязливой и старой, старомодной».—«Но я не забуду тебя, Германия!» — крикнул я, чтобы хоть немного ее утешить. Именно эта последняя фраза до крайности возмутила господина Фишера.

— Это как же понимать? — повторял он.— Либо вы уберете эту дерзкую фразу, либо мы уберем газету. Решайте.

Дома тоже царило полнейшее замешательство: отец стал коммунистом. Вытащил из тужурки партбилет и показал его матери, а она только покачала головой и спросила:

— Ты хоть знаешь, что такое коммунизм?

Я с нетерпением ждал, что ответит отец, так как наш учитель господин Фишер всегда уходил в сторону, когда его об этом спрашивали: «Сейчас мы закладываем фундамент, потом камень за камнем возведем стены и в конце концов увенчаем все крышей — это и есть коммунизм».

Отцу все представлялось гораздо проще; коллеги уговорили его вступить в партию, потому что для него это было бы логично, разумно и не без выгоды.

— Ну например, в дни собраний я не буду выходить в ночную смену,— сказал он.— А кроме того, там все наши.

Ему попросту было неприятно, когда на конечной остановке или в депо другие трамвайщики говорили о всевозможных проблемах, а его как бы и не замечали.

— Я тоже за мир, против войны и эксплуатации, и зарабатываю теперь больше прежнего,— пояснил он и облегченно вздохнул, когда мать с ним согласилась:

— Что ж, разве кто против мира и хороших заработков.

Но своих нападок она не прекратила, потому что отец до сих пор не читал газет и вообще понятия не имел, как тяжка и сурова ее будничная жизнь.

— Я вот надрываюсь за восемьдесят марок в неделю, вроде бы много, но они же ничего не стоят! — горячилась она.— К пятнадцатому числу каждого месяца все по карточкам сжираем, а потом я волей-неволей докупаю масло по коммерческим ценам и еще многое другое из-под полы. Спроси-ка твою партию, как мне обеспечить детей зимними вещами!

В пустом трамвае, который мчался вперед и все-таки почти не двигался с места, с визгом тормозил и, точно по камням, громыхал дальше, отец только в сердцах рукой махнул, когда я напомнил ему о том времени.

— Довольно скоро меня вышвырнули из партии,— сказал он,— ведь я не оправдал надежд.

Действительно, на собраниях он молчал, удивленно слушая выступления, и партийных взносов не платил, так как мать потребовала сперва купить обувь нам с братом.

— Возможно, стоило бы честно признаться, что у нас трудное положение. Я ведь тогда даже в дневную выручку пальцы запустил, чтобы мать смогла покрыть недостачу.— Он пожал плечами, будто так до сих пор и не понял, как умудрился пойти против своих принципов.— Однажды меня вызвал из-за твоей писанины ваш учитель,— рассказывал он, вспоминая теперь подробности моей истории про Германию, которые сам я давно забыл. Оказывается, каменная дама с фонарем в руке появилась под нашим окном, чтобы вместе со мной отправиться на поиски доброго, счастливого будущего.— Твой учитель ругал меня за то, что я, коммунист, поощряю подобные фантазии,— добавил он, признав, что мой опус удивил его и привел в ужас.

Но тогда он ничем меня не попрекнул, только спросил, с какой стати я пустился на такие выдумки: «Откуда это у тебя, сынок?» Он, похоже, чуточку гордился моей писаниной и кое с чем был согласен, хотя то качал головой, то смущенно улыбался, читая мои заметки в школьной газете.

— Я вот вечно мучаюсь,— признался он теперь,— сам-то не умею правильно выразиться, большей частью не нахожу слов или даже вообще не знаю, что сказать.

В школу пришли новые учителя: доктор Вильсон, математик; господин Фёльц, актер и декламатор, преподававший историю и немецкий; обер-штудиенрат Гётце, биолог и химик, в чей дом на улице Обервахвицерберг нас часто приглашали.

— Дом деревянный, но переживет и моих семерых детей, и дюжину внуков, так что располагайтесь-ка поудобнее,— говорил он, угощая нас в кругу семьи кофе и пирогами.— Чувствуете, как тут уютно и тепло? Именно поэтому в холодной Сибири строят из дерева, а тут у нас ветер так же свищет.

В первую послевоенную зиму у него замерзло персиковое дерево, росшее возле крыльца, и он до сих пор оплакивал эту утрату: наверняка всему виной нехватка угля, раньше, мол, домашнее тепло и дерево согревало.

— Но я выращу новое, ведь времена потихоньку изменятся к лучшему, я же биолог, а следовательно, оптимист.

Зато учитель математики и физики доктор Вильсон высказывался о «временах» менее оптимистично, он признавал только цифры, уравнения, формулы, естественнонаучные законы.

— Тут уж без обмана,— говорил он и одергивал даже Сэра, который лучше всех успевал по его предметам, но часто доктор нервно хватался за очки или за часы и даже то, чего класс не понимал, называл «примитивным» и «абстрактным».— Разве для того, чтобы слушать, вам тоже потребны очки? Или, может, вы намерены заново изобрести нюрнбергский хронометр и открыть классовую борьбу?

Доктор Вильсон строил из себя неподкупного судию: мол, как сказал, так и будет; правда, большей частью он молчал и только отмахивался, когда мы, возмущенные какой-нибудь несправедливостью, приходили к нему.

— При избыточном давлении надо спускать пары,— повторял он.— Взрывы — это не по мне.

Совсем иначе вел себя господин Фёльц, новый учитель немецкого, ходивший в шелковом кашне и пестрых рубашках; этот вникал во все наши трудности и споры, будто они касались в первую очередь его самого. Однако же смысл у него растворялся в многословии интерпретаций и сравнений, он без конца обращался к Гёте и Шиллеру, цитировал излюбленные пассажи из «Тассо» и непременно из трактата «О грации и достоинстве»: «На наших глазах из духа неожиданно возникает материя, а из небесной Юноны — образ миров». И еще: «На крыльях воображения человек покидает тесные пределы реальности, в каковой заключается лишь низменное, и устремляется на просторы грядущего».

На переменах он прогуливался с нами по коридору как равный.

— Человек ощущает то, что природе угодно позволить ему ощутить,— говорил он, обнимая нас за плечи.— А в искусстве ценна только истинная природа, гармония идеала и действительности.

Иногда он приглашал нас на свои чтения, а после водил в дорогие рестораны, где продолжал монологи, суть которых мы почти не улавливали.

— Слово, словесность, поэзия сметают все преграды,— вещал он, настоятельно рекомендуя, чтобы мы в своих работах сбрасывали шоры повседневности и выполняли требования истинной поэзии.— Высшая задача любого искусства — воссоздать через кажущееся иллюзию высшей действительности.

В сумрачном мезонине Корди буйствовала Зеленая; теперь она предпочитала застиранные красные блузки и пуловеры, гимнастические туфли, полосатые носки, засученные брюки и велела называть себя Красной. Она усаживалась на стопку книг с таким видом, словно прочла и выучила все, что только положено прочитать и выучить актеру.

— Раз — левой, два, три, раз — левой, два, три,— декламировала она, отбивая на коленке такт, будто на барабане.

— Ну хватит,— сказала Корди, взяв ее за плечо.— Если ты кричишь «левой!», это еще не значит, что за тобой кто-то пойдет.

Но Урсула продолжала притопывать, напевала мелодии из «Трехгрошовой оперы» и «Мамаши Кураж», лишь ненадолго умолкая, когда Корди рассказывала о Брехте, которого встретила в Берлине после возвращения его из эмиграции.

— Ты с ним говорила? — допытывалась Урсула.— Что он сказал?

Корди рассмеялась и назвала ее, а заодно и меня наивными мечтателями.

— Кто вы? И кто я? И кто примет нас всерьез?

У Вильдер-Манна заскрежетал трамвай, да так громко, что, несмотря на всю пылкость Корди, я толком не понял, почему она клянет свое существование, вечера в оперетке и наше ребячливое хвастовство.

— Но времена меняются, и быстро! А на бога нельзя уповать!— пропела Урсула, ругая школу, учителей, все на свете, опять забарабанила, засвистела. Я ушел, а она осталась. Я еще слышал, как Корди ей сказала:

— Ну вот что, девочка, хватит. Дикие выходки мне вообще не импонируют, все эти твои капризы и скулеж. Чего вы хотите-то? Не зная цели, так и будешь ходить по кругу.

Мать с отцом уже почти не разговаривали.

— Он спит, когда она приходит с работы, или глазеет на уличный фонарь,— сказал брат, засовывая спичку в замок кондукторской сумки.

В квартире стояла тягостная тишина — и так минута за минутой. После молчаливого ужина мать принималась за свои счета и накладные. Комнатные часы аккуратно отбивали время: динь-дон. Затаив дыхание, я влез на стул и остановил маятник.

— Что случилось? — Не слыша тиканья, отец очнулся от своих раздумий. Как я спрыгнул со стула, он не заметил, пробормотал «надо же!» и, осторожно пустив часы, проговорил: — Ни на что нельзя вполне положиться.

Но еще больше он удивился, когда захотел пересчитать мелочь: кондукторская сумка не открывалась. Все это развеселило мать, и она ехидно спросила:

— Что, нельзя положиться? А ведь кое-кто говорил, что все у него всегда сходится точно до пфеннига и до секунды...

Отец пожал плечами, с трудом вытащил из замка спичку и смущенно ответил:

— Мало ли что человек говорит.

Потом он подсел к ней, прислушиваясь к часам; судя по всему, молчание стало для него невыносимым.

— Все в порядке, даже говорить не стоит, Герди,— сказал он.— Будь твои расчеты такие же простые, я бы смог тебе помочь. Поверь, я бы с радостью это сделал.

Из костюма, сшитого бабушкой к конфирмации, я вырос, но ничего другого для меня не нашлось, когда мы поехали в Брабшюц на свадьбу Инги. Мой брат и сын дяди Герберта рассыпáли цветы по дороге в церковь, а я, стыдясь своих коротких рукавов и штанин, прятался за спинами деревенских. Мне пришлось выпить шнапса и поздравить кузину, и теперь я чувствовал себя прескверно. Жениха я сразу возненавидел, так как он смотрел на меня сверху вниз, как на школяра, хотя и был-то старше всего на несколько лет. Он был в черном костюме — только, не в пример мне, рукава и брюки были ему длинны и просторны,— в пиджаке с непомерно широкими ватными плечами и в цилиндре, качавшемся на голове при каждом его шаге; и костюм и цилиндр ему одолжил тесть. В церковь я заходить не стал и пригнулся, когда Инга обернулась, ища меня взглядом. Ее лицо пылало как раньше, во время наших шутливых потасовок, она снова отрастила волосы, но уже не заплела их в косы, а сделала перманент, украсив его отливающей серебром свадебной наколкой. Платье ее тоже отливало серебром и пышными складками топорщилось на груди и на бедрах.

— Она на пятом месяце,— шепнула тетя Миа, стоявшая подле меня, поскольку родственники выстроились парами: Хелли и вдовый Ингин свекор, дядя Герберт с женой, мои родители, Лотти и Макс, дядя Георг с дочерью Эльке и другие.

— Только я одна,— всхлипнула Миа, слезы градом катились по ее напудренным щекам.

На обратном пути, он составлял метров триста — четыреста, кузина отправила заказную коляску вперед, а сама пошла пешком, смеясь, кивая и подпрыгивая, чтобы каждый в толпе ее увидел. Потом она стала вытаскивать из своего букета розы, одну за другой, и бросать их деревенским, пригласив почти всех в усадьбу.

— Я выращиваю орхидеи, это гораздо прибыльнее, чем сеять зерно или разводить скот,— рассказывал за столом жених, а Инга прижималась к его плечу, кивала, веселилась и пила только шампанское.

— Берите, берите, на всех хватит! — воскликнула она, оглядывая большой зал, где столы были сдвинуты, а блюда с мясом, овощами и картошкой уже подъедены дочиста. Вдруг она встала, подошла ко мне — я сидел за последним столом возле двери — и спросила, серьезно покачивая головой: — Ну чего уставился? Небось думаешь, что ты очень умный, а мы тут в деревне совсем одичали? Нет чтоб поглядеть на нашу оранжерею! Ты хоть слыхал, что такое орхидея и как ее выращивают? Поди, и не представляешь, сколько тут всяких премудростей!

Инга потащила меня в теплицу к алым, точно восковым цветам, от жары она раскраснелась еще больше.

— Знал бы ты, какой от них доход, так еще сильней удивился бы.— Она указала влево и вправо на поле, где пока хватало места для новых теплиц.— Теперь ты веришь, что я счастлива?

Я кивнул, а она чмокнула меня в щеку и, хихикнув, шепнула:

— Может, я и вышла бы за тебя, не будь ты моим кузеном.

Фугаска, чья взрывная волна разбила нам балконную дверь, взорвалась тогда в кафе на углу Коперникусштрассе, которое теперь отстроили заново, превратив в ресторан с коммерческими ценами. Наш дом, школа и богадельня практически не пострадали от налетов, несколько щелей в стенах были заделаны и заштукатурены, разбитые двери и окна заменены. Все меньше становилось заколоченных досками разграбленных лавок, исчезали коленчатые трубы буржуек, прокоптившие стены соседнего квартала, пока там не работало центральное отопление. В нашем дворе жильцы один за другим бросали свои огороды, заравнивали грядки, сносили сараи и крольчатники. Мало-помалу двор опять зарос травой. Кстати, жильцы остались те же, только нацистов отселили. Впрочем, иногда и они появлялись, потому что ютились и работали где-то поблизости.

— Приходится разбирать по кирпичику,— жаловались они,— как будто мы сами разбомбили город.

Отец моего друга Вольфганга умер, а мать его незадолго до национализации вышла за фабричного бухгалтера.

— Из-за стекловаты все время вспыхивали скандалы, это и свело отца в могилу,— утверждал Вольфганг.— Стекловата хоть и народное достояние, а опасна. Один черт.

Уличный фонарь, как и прежде, освещал вечерами нашу комнату, где мы спорили до хрипоты, пока не приходил домой отец. Тогда только мать утихомиривала нас:

— Ну хватит! Либо молчите, либо убирайтесь за дверь!

В школьном саду цвели уцелевшие деревья; вновь посадили шиповник, розы и можжевельник, никто больше не шлялся по ночам с пилами и топорами, появилось даже несколько новых скамеек, где сидели влюбленные парочки. Наш пес спал в коридоре и не думал лаять, когда пьянчуги ломились в дверь или буянили в подъезде.

— У тебя, Михель, не жизнь, а малина,— говорил отец, тормоша его и выводя на прогулку. Он позволял собаке бегать повсюду, на поводок не брал.— Держи ухо востро, лентяй! — предупреждал отец перед сном.— Хотя зачем? Караульщик нам больше не нужен. Слава богу!

Зигфрид Ше́рер, середнячок из нашего класса, появился однажды утром в синей рубашке с желтой нашивкой в виде солнца и раздал нам бланки заявлений о приеме в ССНМ.

— Советую подписать,— сказал он.— У нас рабочая гимназия, и это обязывает.

Но большинство порвали заявления, кое-кто написал «нет» по-русски и по-английски, а Сэр и Хорст Редер сказали:

— Хватит с нас гитлерюгенда, и вообще с бухты-барахты рядиться в форму не станем.

Я был того же мнения и опубликовал в школьной газете протест против любых униформ, значков и шествий с фанфарами. «Мы, молодежь свободной Германии, наконец-то освободились от муштры, и нам не нужен Союз свободной немецкой молодежи, не нужны новые марши»,— писал я. Статью я снабдил фотографиями из новых иллюстрированных журналов, цитатами из лекций наших учителей и стихотворений, направленных против войны, милитаризма и униформ, а еще обильно уснастил свое сочинение красными вопросительными знаками и украсил лозунгом: «Нет, без нас!»

— Думаешь, ты ужасно храбрый и хитрый,— заметил господин Фишер, спокойно читая газету, которую я повесил в коридоре.— Но кто дал тебе право говорить за других, за класс, за всю школу?

Меня поддержали только Сэр и Хорст Редер, они начали пререкаться с господином Фишером и пытались помешать ему снять листки со стены.

— Идите по классам, вам еще учиться и учиться.— Господин Фишер локтем оттолкнул меня от газеты.— Кое-кто и впрямь не расстался еще с нацистской рубашкой!

Секунду мы смотрели друг другу в глаза, и я уже готов был вырвать у него газету, но он подошел ко мне вплотную и шепнул:

— Ой, парень, из-за такой ерунды копья ломать не стоит, рано или поздно ты это поймешь.

Отец уже которую неделю выдумывал всяческие отговорки, объясняя, почему он идет на службу так рано, а возвращается поздно и не имеет выходных. Мать это как будто бы и не трогало, у нее хватало забот с магазином. То и дело случались недостачи, продавщицы заболевали, беременели, обсчитывались или мошенничали. Одна из них — она работала на полставки — втихомолку таскала товар для себя и своих родственников и за короткий срок прикарманила больше сотни марок.

— Я ее застукала, но не подняла шума, теперь она выплатит все до гроша и станет моей лучшей помощницей,— рассказывала мать.

— Где отец? — спросил брат, вечерами постоянно бегавший с собакой на угол.

— Когда он дома, никто его не замечает,— сказал я.

А мать даже головы не подняла от своих счетов, когда в конце концов пришел отец и, заговорщицки улыбаясь, положил на стол коробку шоколадных конфет.

— Не желаете ли узнать, что тут кроется? — Он важно расхаживал по комнате, небрежно расстегнув форменную тужурку и сдвинув кондукторскую сумку за спину, как нечто ненужное.— Пустая, ни гроша не осталось, завтра я ее сдам,— объявил он и, ухмыляясь, показал нам свидетельство о том, что он сегодня успешно закончил курсы вагоновожатых. — Что, удивил я вас, а?! — радостно воскликнул он, обнимая мать, меня и Ахима.— Завтра после обеда от Трахенбергерплац начнется мой рейс, и вы все поедете тоже, посмотрите, как я в кабине буду орудовать рукояткой!

На следующий день я после школы пошел на Трахенбергерплац. Брат нетерпеливо выскочил мне навстречу, указал на депо, где уже стоял чистенький трамвай нового девятого маршрута и отец

со служебными часами в руке смотрел на нас. Потом он влез в кабину и решительно тронулся в путь. Деловито и в то же время красиво вагоны проследовали через сортировку и Гроссенхайнерштрассе, приближаясь к остановке, где вместе с нами дожидались десяток-другой пассажиров и два кондуктора.

— Вот это точность! — восхитился Ахим, когда моторный вагон остановился возле нас.

Он протиснулся на переднюю площадку, втащив за собой и меня, и подергал отца за рукав, но отец, похоже, в сутолоке нас не заметил. Точно одеревенев, он склонился над пультом и глядел вперед, в направлении движения, крепко сжимая рукоятку. Когда кондуктор моторного вагона крикнул: «Готов!» и засвистел, отец вздрогнул и побелел как мел. Он обернулся, лишь теперь увидел нас с братом и множество народу, покачал головой и сказал:

— Нет, я не могу, ответственность слишком велика.

Он со вздохом вытащил рукоятку, отложил ее в сторону и вылез из кабины, а когда к нему подбежал взбудораженный диспетчер, только пожал плечами.

— Не могу,— повторял он,— не могу взять на себя такую ответственность.

Брат кинулся прочь из трамвая, я побежал за ним. Он в голос ревел от злости и разочарования, утверждая, что виновата во всем мать:

— Он просто ждал, когда она придет.

Я схватил его за плечо, встряхнул и велел выбросить этот вздор из головы, а дома помалкивать.

— Не делай из этого трагедии,— прицыкнул я на Ахима, хотя на душе у меня кошки скребли, словно я сам потерпел это постыдное поражение.— Что будет дальше? А ничего. Принесет из депо сумку и билеты и опять начнет ездить кондуктором.

Мать только взглянула на нас и сразу поняла, что произошло.

— Мне не удалось отлучиться из магазина,— сказала она,— но я предчувствовала.

Она куда-то ушла, и когда отец возвратился, молча разделся и рано лег в постель, ее еще не было дома. Вот почему поговорить об этом мне было не с кем. Сэр, который забежал ко мне вечером, узнав обо всем, рассмеялся и сказал:

— Вот тебе и повысил квалификацию! Чепуха это все! Не каждому такое по плечу.

Зеленая, конечно, тоже была тут как тут, но вынесла отцу уничтожающий приговор:

— Жалкий тип. Если б каждый вот так увиливал от ответственности, мы бы и сейчас еще оставались обезьянами и сидели на деревьях.— Она тотчас же перевела разговор на Брехта, Ленина, на завоевание власти рабочими: — Выпустить из рук трамвайное управление — это все равно что предать выигранную революцию.

Тихо, долго и горько, без слез, плакал я в постели, слыша тяжелые вздохи отца, всхлипывания брата, а затем шепот матери, когда она наконец вошла в спальню.

— Все не так уж плохо, не принимай близко к сердцу, есть вещи гораздо хуже, Руди.

А он после долгого молчания сказал:

— С тобой бы никогда такого не случилось, ты все умеешь, все тебе по плечу, Герди. А мне сейчас — хоть волком вой.

Трамвай остановился между котлованами и высотными зданиями, вдали виднелось несколько освещенных окон. Работали три крана, подсвеченные лампами и прожекторами; по грязи, ревя моторами, ползли грузовики. Пока эта часть города была без жителей,

без имени, без табличек с названиями улиц, без конечной остановки; поворотный круг для трамвая, песок и щебень, вот и все, дорожки и той нет.

— Ну вот и приехали,— сказал отец, не двигаясь, однако, с места.

Его рука невольно легла на кондукторскую сумку, он открыл ее и с явным удовольствием показал мне, что теперь носит в ней не деньги и билеты, а яблоки и хлеб, жестяную коробочку с сигарами и новую газовую зажигалку.

— Хочешь чего-нибудь? — спросил он, словно бы начисто забыв, где находится и почему мы сидим вместе, потом рассмеялся ни с того ни с сего, будто даже воспоминания потеряли для него всякий смысл. В лучах прожекторов, скользнувших по нашим лицам, я увидел, что волосы его поседели, лицо осунулось от тревог и забот. С этим своим беззвучным смехом он вдруг стал для меня чужим и недоступным, безжизненным и как бы окаменевшим, точно памятник давно минувшему времени.

— Отец,— сказал я и уронил руку, схватившую пустоту, хотя он по-прежнему сидел рядом и опять вытаскивал из сумки одни только билеты. На секунду-другую мне почудилось, будто он встал и пошел в моторный вагон, чтобы взяться за рукоять и повести трамвай, доказывая мне, на что он в действительности способен. Но пустой трамвай катил и без его вмешательства, годы оставили след на отце, но не изменили его сути.

— Удивительно, чего иные люди добиваются, а порой и страшно,— проговорил он, напрягая усталый голос, чтобы я, несмотря на шум трамвая и стройки, услыхал его.— Если б ты не вошел в вагон, сынок, я бы так и не понял, зачем я здесь. Для чего все это? А?

В коридоре, на лестнице и в некоторых классах появились листовки; когда мы утром пришли в школу, учителя торопливо их собирали. Господин Фишер, занявший тем временем пост директора школы, велел обыскать наши сумки, куртки и пальто и учинил настоящее расследование; на несколько дней уроки прекратились. Меня он вызвал к себе в кабинет и с угрозой спросил:

— Тебе нечего мне сказать?

Я пожал плечами и хотел уйти, но он запер дверь, и мне пришлось принять на себя лавину упреков. Напрасно я твердил:

— Я в этом не участвовал и знать ничего не знаю.

Он и слушать ничего не желал; как уличенный преступник, я стоял «на ковре», а он сидел за письменным столом, где лежали листовки, которые, подобно моей статье в школьной газете, были испещрены словом «нет» — по-немецки, по-английски, по-русски, по-французски.

— Странно, все время одни и те же слова,— господин Фишер щелкнул по листовке пальцем. Некоторое время он глядел на меня снизу вверх, потом сказал: — Я тоже в свое время выпускал листовки, против нацистов.

Он опять умолк, отодвинул от себя бумажки и спросил, неужели я так и не осознал разницу между «тогда» и «сегодня». Как и во время экскурсии в крепость Хоэнштайн, он тотчас же испугался собственных воспоминаний, быстро перевел разговор на другое, второстепенное, всякие там школьные пустяки. Больше всего его возмутило, что для листовок использовали бумагу, которую он нам дарил, бумагу из его прежней лавки.

— Для бестолковой писанины! Такое впечатление, будто мы, учителя, как дураки, работали совершенно впустую.— Он устало махнул рукой, неверными шагами подошел к двери и открыл ее.— Но мы их обязательно найдем! — добавил он.— На «нет» далеко не уедешь.

Через несколько дней в подвале среди руин Альтмаркта поли-

цейский патруль арестовал Зигфрида Шерера, Фрица, Хенеля, Сэра и еще кое-кого, а с ними одного лаубегастовского учителя и Яндера, нашего юнгфольковского фюрера. Там же нашли спрятанную в мусоре пишущую машинку, множительный аппарат и главную улику — бумагу в зеленую линеечку из лавки господина Фишера. Яндер, учитель и Зигфрид Шерер вот уже который месяц устраивали тайные сходки старшеклассников и учеников-ремесленников, рассылали угрожающие письма учителям, в городское управление и народную полицию, а также распространяли листовки, в основном по школам и на народных предприятиях. На Зигфриде Шерере в момент ареста была синяя рубашка с эмблемой ССНМ, ее карманы были набиты сотенными купюрами, которые вообще-то предназначались для постройки молодежного клуба. Под предлогом того, что на разборке развалин можно подзаработать, Шерер заманил в подвал Сэра и Фрица Хенеля, а те лишь с появлением полиции сообразили, в какую историю влипли. Меня тоже вызвали в полицию и предупредили, чтобы я больше не писал статей, которые могут сыграть на руку поджигателям войны, нацистам и провокаторам.

— Ты же из рабочей семьи,— сказал полицейский, пожимая мне на прощание руку,— и должен знать, с кем ты, против кого и для чего!

Мы были возбуждены и растеряны. На школьном дворе Урсула раздала нам сигареты, и мы курили, спрятавшись за деревьями.

— Прямо реветь хочется,— сказала она.— Где у нас были глаза? Как мы все это прошляпили?

К театру она вдруг охладела, к Корди тоже, хотя уроки брать продолжала. Мысль о том, что она учила наизусть стихи и классические роли и целыми днями находилась вместе с людьми, которых теперь будут судить, приводила ее в полное замешательство.

— Что бы сказал по этому поводу Брехт? — Она хотела написать ему письмо, а лучше всего поехать к нему, ведь он уже год как жил в Берлине, и адрес был ей известен.— Но мне стыдно, мы же ничего не разглядели и не поняли до сегодняшнего дня.

Меня она упрекала в том, что политически я еще наивнее ее, невежествен и не разбираюсь в диалектике. Она употребляла слова, каких в нашей компании никто не знал, голос у нее был грубый и хриплый от непрерывного курения и речей, но она упорно взывала ко мне:

— Бросьте вы эту газетенку и ваш вечный нигилизм, организуйте агитбригаду, выступайте с маленькими сценками, песнями, зонгами. Пора нам покинуть башню из слоновой кости, идти на предприятия и в молодежные клубы, агитировать, спорить, учиться у рабочих, изменить свое сознание. Или так и будем терпеть нынешний позор?

После смерти дедушки из миктенской квартиры вытащили кое-какую приличную мебель, в том числе старый письменный стол, который стоял теперь у нас в спальне. В углу возле балконной двери, между шкафами и кроватями, я устроился со своими книгами и тетрадями, там было почти не слышно ссор, которые все чаще вспыхивали между отцом и матерью. После скандальной истории на Трахенбергерплац настроение у отца было хуже некуда, он все время ворчал и без конца вспоминал старое — Наперстка, Леню, войну, плен.

— Обман, сплошной обман,— жаловался он и поминутно корил меня, что я, мол, тоже против него.— Сидишь в своем углу и рожу от отца воротишь.

А я был занят совсем другим: приближались выпускные экзамены, массу хлопот доставляли русский, английский, химия и биология господина Гётце, а прежде всего арест Сэра и школьная газета, которую я, несмотря ни на что, бросать не хотел. Я сочинял стихи, рассказы, писал пьесу, по вечерам, как только засыпал брат, мои друзья влезали через балкон и садились за письменный стол. Среди них была и

Урсула. Она оставалась и после того, как другие уходили, и читала все, что я написал.

— Вот здесь у тебя совсем неплохо,— сказала она, сунув несколько листков под красную блузку. Они весело шелестели, когда мы на прощание обнимались на балконе, а потом шелестели снова, когда она возвращалась с планами и идеями, всегда новыми планами и новыми идеями.

От брата я узнал, что отец часто не ночует дома. Сам отец не говорил, где бывает, а мать уже и не спрашивала, хотя и посылала Ахима к Трахенбергскому депо встречать отца после службы.

— Чего тебе?— спросил отец и дал ему десять пфеннигов на обратный путь.— И вообще нечего за мной шпионить,— пригрозил он, сажая Ахима на следующий трамвай.

Но когда отец скрылся из виду, брат соскочил с подножки, вернулся к депо и увидел, как отец под ручку с какой-то молодой особой направился в коммерческий магазин. По словам Ахима, отцовская дама походила на луковицу: желтые, цвета соломы, волосы уложены в высокую прическу, голова сверху круглая, а внизу острая и к тому же тонкие ноги, как корешки у лука.

— Эта Луковка денежки у него выманить хочет,— сказала мать без особого, впрочем, возмущения.— Ну-ну, я за нее как-нибудь возьмусь...

Она тайком списала отцовское расписание и еще раз послала Ахима на разведку.

Тот незаметно проследил за отцом и его пассией, установил, что они вошли в дом возле кладбища св. Павла и, вернувшись домой, гордо объявил:

— Я знаю, где живет Луковка и как ее зовут.

К счастью, мать была еще на работе; я опасался, как бы она чего-нибудь не натворила, застав отца у чужой женщины.

— Лучше держи язык за зубами,— приказал я брату.— Или тебе охота, чтобы они развелись?

Наутро я до занятий сам пошел к кладбищу и дождался там отца. Он, как всегда аккуратный, в отутюженной форме, вовремя отправился на работу.

— Значит, все-таки шпионите за мной,— сказал он, увидев меня.

Я немного проводил его, но так и не придумал, что сказать, только попросил:

— Останься с нами, вернись опять домой.

Да и что, собственно, мне было ему сказать? Отец торопился, утро как-никак, не до разговоров, и задолго до депо он распрощался со мной, неприязненно бросив:

— Оставь меня в покое!

Вечером он подошел к моему письменному столу в спальне и сказал:

— Знаю, ты надо мной смеешься. Начитался книжек, умных мыслей набрался. Когда ты говоришь, я ничего толком не понимаю. Ты думаешь, глупый трамвайщик, даже вагоновожатым не стал. А тебе все легко дается, да и вашей матери тоже. И незачем меня обманывать, я вам просто в тягость.

Я прямо остолбенел, глядя, как он вытаскивает из шкафа свою перину, костюмы, пальто и рубашки.

— Папочка, не надо! — Я кинулся за ним и увидел, что перед домом стоит тележка, на которую он грузил свое имущество.

— Молчи! — прикрикнул он, отодвигая меня в сторону. Сложил в тележку белье, пуловеры и джемперы, а также кровать и комод.— Я взял только свое. И оставьте меня в покое, а я оставлю в покое вас и не буду вам больше докучать.

Не говоря ни слова, лишь закусив губы, мать сидела в комнате у стола, склонясь над своими счетами.

— Ступай, ступай к своей Луковице! — кричал брат.— Убирайся!

А я еще раз сказал отцу у двери:

— Пожалуйста, не уходи!

Но он пошел к тележке, постоял некоторое время, кивком подозвал меня, вытащил из кармана связку ключей и передал мне. Потом взялся за тележку и, опустив голову, потащил ее прочь.

Возможно, он пытался бежать от воспоминаний и хотел начать здесь новую жизнь, но большой город не принял его. Теперешнее существование казалось ему пустым, ничего не стоящим, лишь прошлое еще что-то значило. Шютценхофберг, новая скамейка под деревьями, поставленная его заботами. Несколько раз я заходил туда к нему, брат бывал чаще; позднее он сидел там в одиночестве, порой грыз яблоки, поджидая нас. Время от времени мы видели его под окном, в свете нашего уличного фонаря, но к двери он не подходил... Память, как видно, мучила его, он закрыл глаза и улыбнулся. Право, ему не стоило обманывать меня, я-то чувствовал, каково ему на самом деле. Трамвай вдруг снова помчался куда-то, и отец, именно отец словно бы тащил сейчас за собой тяжкое, смертельное безмолвие, разочарованность матери, ее отчаяние в тот миг, когда она подбежала к окну и уставилась на его тележку с барахлом, которая медленно, рывками выехала из-под нашего фонаря. Он видел, как мать выскочила из дома и побежала было за ним. Он еще раз остановился, обернулся и промолчал, вместо того чтобы сказать: «Не могу я без тебя жить, без тебя и без детей». Будто трамвай по рельсам, который останавливается лишь на миг и тотчас едет дальше,— так и он уехал, укатил, исчез. Никаких планов у него не было, ничего не было, ни лучика надежды, который, может, и остановил бы его в последнюю минуту. Брат вдруг бросился за ним, как бешеный помчался с собакой за тележкой. Отец встретил его криком: «Оставьте меня, оставьте меня в покое!» Собака перебегала от одного к другому, лаяла, скулила, металась чуть не под колесами тележки, ехавшей к кладбищу, за стеной которого отцу хотелось быть похороненным.

— Зачем? — спросил я.— Зачем ты это сделал?

Он сидел рядом со мной, понурив голову, мрачно глядя перед собой, и молчал.

И еще раз я привел отца обратно домой.

— Давай,— сказала мать, когда я взял у угольщика тележку и привязал к ней Михеля, который все время сновал между кладбищем и нашей квартирой. Пес визжал, лаял, теребил меня и путался под ногами — ему не терпелось вновь собрать нас под одной крышей. Тележка катила через Барбарафельд и людные улицы. Народ качал головами, расступался.

— Отец! Отец! — позвал я, стуча в дверь.

Луковка стояла у него за спиной, когда он вышел, подтянутый, в форме, и увидел тележку. Он надел фуражку, вытащил свои вещи, разобрал кровать и комод, попросил меня помочь с погрузкой.

— Ты должна понять, Эрна,— сказал он, отнес все в тележку, обвязал веревкой, спокойно и невозмутимо, а не судорожно, как в тот день, когда переезжал сюда.

— Я знал, что ты придешь,— проговорил он, когда мы тронулись в путь.

Его ничуть не смущало, что было светло и он сгружал свой скарб на глазах у прилипших к окнам соседей, внес вещи в дом и обнял мать, которая его поцеловала. Три дня спустя он опять съехал.

Мы с Урсулой лежали на траве в лесу недалеко от Шютценхофберга, и она шептала:

— Я рожу ребенка.

Голос у нее был хриплый, она курила и кашляла, обнимала меня, рассказывала о книге «Пелле-завоеватель»[1], которую только что прочитала и принесла мне.

— Если будет мальчик,— сказал она,— назову его Пелле. Только так.

Я кивнул, держа ее сигарету, пока она говорила о Пелле, Пелле из книги и нашем Пелле, каким он должен стать: борцом, потому что мир невыносим без борьбы против нищеты, глупости, войны.

— Ты меня любишь? — спрашивала она.— Хочешь ребенка?

Я любил ее, желал того же, что и она, курил, тушил сигарету, падал с ней в траву, обнимал, целовал.

— Да,— сказал я, когда уже был в состоянии размышлять,— и ребенка хочу...

— Так нельзя.— Мать изумленно смотрела на меня.— Нет, это неправда.

Урсула пришла вместе со мной в магазин, и, пока они шептались, я стоял поодаль. Мать закурила сигарету, и дым обволакивал заднюю дверь, у которой они горячо спорили о чем-то.

— Нет,— несколько раз повторила мать,— невозможно.

Потом Зеленая убежала.

— Я не допущу, чтобы ты испортил себе жизнь! — крикнула мне мать.— Хватит и того, что моя вконец испорчена, так же все начиналось.

Она вернулась за прилавок, где суетились еще две продавщицы и стояло человек пять покупателей. Возле дверей затормозил грузовой фургон, развернулся, из кабины выскочил мужичонка с лисьей физиономией и завопил:

— Ты где прячешься? Это я, кое-что тебе привез, Герди, милочка!

Я хотел было уйти, но мать подозвала меня к себе и прицыкнула:

— Смотри, чтоб без глупостей! Я сегодня же вечером пойду к ее родителям, а ты помалкивай.

В дверях появился мужичонка с улыбкой на лице и ящиком красных яблок в руках.

— Специально для тебя,— сказал он.— И конечно, для твоих сыновей.

Приближались выпускные экзамены, но Сэр и другие все не возвращались. Я не раз встречал отца Сэра, он был седой как лунь.

— Ты что-нибудь слышал? — спрашивал он, заверяя, что его сын ни в чем не виноват. И запальчиво ругал меня, друзей Сэра и учителей: мол, сидят сложа руки, палец о палец не ударят, в то время как молодые ребята за решеткой, погибают. Он-то сам где только пороги не обивал. И с начальником полиции говорил, и с судебным следователем.— Почему никто не желает понять, что мой мальчик впутался в это дело по глупости, почему его не выпускают на свободу?

Он не расставался с портфелем, показывал мне письма и ходатайства, просил о помощи, так как я был близким другом Сэра.

— Вы ведь каждый день были вместе, ты можешь подтвердить, что мальчик политикой не интересовался,— то и дело говорил он.

Но мне и самому было совершенно не ясно, как все это могло случиться.

— В последнее время он больше ходил с Хенелем и Шерером,— ответил я.— Мне он не говорил, что тайком встречается с ними.

Отец Сэра взглянул на меня, покачал головой и дрожащими пальцами запихнул бумаги обратно в портфель.

— Тайком, конечно, я и сам тоже ничего не знал,— согласился он.— И все-таки заварили кашу совсем другие, вот их и нужно сажать, а не мальчишек, у которых аттестат зрелости на носу. Что с ними будет, если они пропустят выпускные экзамены?

---

[1] Роман известного датского писателя Мартина Андерсена-Нексе (1869—1954).

Михель, наш пес, так и сновал между нашей квартирой и домом у кладбища. В конце концов он совсем запутался, почти не ел, исхудал и лаял по ночам, заслышав чьи-нибудь шаги. Мать ругала его за это, выставляла за дверь, но он хранил верность как нам, так и отцу. Однажды поздним вечером он скребся и скулил под дверью, мы немного помариновали его на улице, потом впустили и не заметили, что скоро он опять исчез. На следующий день он не вернулся, встревоженный брат отправился его искать, добежал до кладбища и все время звал его. Ахим несколько раз обошел дом вдоль увитой плющом стены, потом отец загородил ему дорогу и сказал:

— Не ори так. Чего тебе здесь надо?

Он смущенно обернулся к двери. Там, на пороге, появилась Луковка и злобно закричала:

— Пусть они в конце концов оставят тебя в покое, ты же достаточно платишь!

Брату почудился лай, и он попросил отца:

— Пожалуйста, отдай нам Михеля, он ведь всегда жил у нас.

Отец медленно подошел ближе, немного смущенный, но больше не оборачивался.

— Я не виноват, поверь,— сказал он, взяв Ахима за руку и крепко сжав ее.— Пес бежал за трамваем, и его задавило насмерть.

Эрвин, шофер с фургона, приносивший красные яблоки, все чаще приглашал мать по вечерам в ресторан или в театр.

— Иначе я тут задохнусь,— сказала она нам.— Поймете вы или нет, дело ваше, но Эрвин — человек с понятием и чувства юмора не лишен, а то я уж и смеяться почти разучилась.

Она и правда опять смеялась, быстро разделывалась со своими счетами, у родителей Урсулы тоже успела побывать и твердо уверилась, что тем самым решила все проблемы моего будущего.

— Мальчик еще слишком молод, я не допущу, чтобы он так рано на любви помешался, у него есть способности к учению,— объявила она и выложила на стол «верные» пилюли.

— Тоже мне «верняк»! — возмутилась Зеленая, проворно влезая на балкон, как только я остался один.

Она щелчком сбила пилюли с балкона в траву, выросшую уже до колен. Старый господин Пич косить больше не мог, господин Фриче умер, а его преемник страдал желудочными коликами, с тех пор как у него отобрали фабрику. Ни Вольфганг, ни я, ни мой брат с косой обращаться не умели, да и отец, когда еще жил с нами, чуть было не оттяпал себе ногу, так ловко он ею орудовал. Луг одичал, повсюду росла сорная трава — львиный зев, сердечник, маки, васильки, которыми Урсула восхищалась не меньше, чем некогда моя кузина Инга орхидеями своего жениха.

— Я их сорву, а то пропадут из-за этих треклятых пилюль,— сказала она.— Так же, как погиб бы наш ребенок или я.

Она положила руку себе на живот, который, как мне казалось, уже слегка округлился.

— Смотри, вянет! — воскликнула она, указывая на жухлую траву под балконом, где раньше любила лежать наша собака. Но я ни слова об этом не сказал, она терпеть не могла Михеля, гнала его, если он бежал за нами или отыскивал нас в кустах, где мы укрывались по вечерам.

Теперь нам даже в квартире никто не мешал, брат крепко спал, а мать редко возвращалась раньше полуночи. Постепенно темнело, и все-таки время еще оставалось.

— Ты все пилюли выбросила? — спросил я.

— Все. А тебе жаль? Так и скажи, но я все равно хочу ребенка.

Письменные экзамены пришлись на самые жаркие дни, учителя потели и мучились еще больше, чем мы. Господин Гётце расстегнул

рубашку, засучил рукава и, прислонившись к открытому окну, предупредил нас:

— Кто будет списывать, вылетит вон, и без того уже трое отсутствуют.

Про себя он еще пробормотал «лопухи» и «болваны», одни-де попались на удочку других, а теперь все крепко сидят на крючке, не отдерешь.

— Лучше бы уж формулу забыли,— говорил он, будто химия и то, как мы сдадим экзамен, было делом десятым. Он отер несвежим платком потное лицо и, тяжело ступая, зашагал по классу, рассказывая о школьном советнике, у которого вчера побывал.

— У него у самого ребята в таком возрасте,— недовольно проворчал он.— А раз так, мы, мол, и сами с усами. Грех пополам и беду пополам, вместе и ответ держать, но нельзя же стричь всех под одну гребенку!— С этими словами он еще громче затопал и так затряс головой, что его белая грива разлетелась в стороны, а потом сказал: — По крайнем мере вытащу Хенеля и этого осла Сэра, сдадут экзамены после, можете ловить старика Гётце на слове. А теперь напрягите мозги и помогите ребятам, когда придет время.

Луковка прислала мне письмо, начинавшееся с «Милый мальчик» и кончавшееся упреком, что я больше не забочусь об отце. «Он лежит в больнице и постоянно спрашивает о тебе и твоем брате,— писала она.— Почему вы его не навестите? Что он вам сделал?» После гибели Михеля мы ничего не слыхали об отце, а когда о нем говорили, то винили его во всем случившемся. И теперь брат отказался идти в больницу, хотя и нарисовал для него наш дом с уличным фонарем на переднем плане, сиявшим как солнце или взрывающийся воздушный шар. Под рисунком он написал: «Скорей выздоравливай. Твой сын Ахим». Богадельню за нашим домом переоборудовали в клинику, где отец и лежал в палате в какой-нибудь сотне шагов от нас.

— Я видел, как ты шел сюда,— сказал он, когда я подошел к его кровати, и кивнул на окно.

Наморщив лоб, он разглядывал рисунок брата, но улыбнулся, прочитав подпись.

— Мне гораздо лучше, я уже не болен,— весело объявил он. Встал, оделся, подождал, пока сестра исчезнет из коридора, потом спустился со мной по лестнице в сад, к скамейке у забора, совсем рядом с нашим балконом.

— Вы меня не видели? — спросил он, когда мы сели.— Я уж бог знает сколько раз пересчитал герани в ваших цветочных ящиках.

Он рассмеялся, беззаботно, как раньше, и намекнул, что видел и кое-что еще.

— Как ее зовут-то? Зеленая Урзель?— пошутил он, подталкивая меня локтем в бок.— Хорошенькая. Но ты смотри в оба, им обычно не терпится замуж. Дети, квартира... Удовольствия не всегда приносят счастье.

Он говорил обо всем, только не о своей болезни. Когда я спросил об этом, он небрежно махнул рукой.

— Врачи все уговаривают меня лечь под нож, да только я и не подумаю.

По его мнению, смешно было поднимать столько шума из-за нескольких желчных камешков, которые он фактически не ощущал.

— Я чувствую себя здоровым,— твердил он.— Если б не эта скамейка, на которой так приятно сидеть, я бы давно выписался на работу. Может, опять когда прокатишься со мной, а?

Все уже было подготовлено, после выпускных экзаменов наш класс собирался в Рудные горы, в Кранцаль, на строительство плотины.

«Мы будем все вместе, ночлег обеспечен, харчи бесплатные, при деле да еще кучу денег заработаем»,— говорил Сэр, но его-то с нами

и не было. Урсула тоже не поехала, она теперь жила у Корди и пела с ее голоса.

— Я в этой показухе не участвую,— сказала она.— Опять романтические идейки — в руках лопата, в голове мякина.

Правда, перед отъездом она еще несколько раз приходила к балкону и спрашивала меня:

— Ты сможешь жить без меня, без ребенка?

Я отвечал:

— Без тебя — нет.— Но к ребенку у меня не было никакого чувства, и я весьма смутно представлял себе наше будущее.

— Хенеля я вытащу, а может, и вашего Сэра заодно,— повторил господин Гётце, когда выдавали аттестаты, но больше ничего не добавил.

— Кранцаль — это безобразие, ненужная трата времени, бахвальство: дескать, вот мы какие! Ты бы лучше подумал о том, что будет с нами,— сказала Зеленая по дороге на вокзал. Она плакала и обнимала меня и спрыгнула с поезда лишь в самую последнюю минуту.

Вилли, Хорст и Вернер Хюттер держали меня за куртку и втащили обратно в вагон. Кто-то прихватил с собой бутылку шнапса, мы распили ее и, когда прибыли на место, поплелись к бараку нетвердой походкой.

— О господи,— сказал я и рухнул на койку, но так до утра и не спал.

Потом я стоял в тумане с лопатой и размышлял: почему здесь нет Зеленой? Кругом был лес, падали деревья, зеленела трава, совсем еще не увядшая, и никто нигде не сбивал шелчком с балкона пилюли. «Ядовито-зеленые пилюли, фу, гадость! — слышалось мне из дальней дали.— Ты что, решил отравить этот прекрасный мир, ребенка и меня?»

Я окончательно запутался и хотел встать, чтобы удостовериться, тем ли самым маршрутом возвращается трамвай. Но отец удержал меня, рука его была холодной, бессильной и как бы омертвевшей. Дверь на задней площадке то открывалась, то закрывалась, иногда громко хлопала, потом снова распахивалась на остановке, но люди, стоявшие под дождем, почему-то не садились в вагон.

— Ты бы сходил в тамбур,— сказал я, пытаясь подбодрить отца, который хоть и клевал носом, но упорно не давал мне закрыть дверь.— Ты вообще больше не объявляешь остановки? Я что, сейчас буду дома?

Но за окном только смутно маячили серые дома, клочья дыма, возможно от поезда под Варшавским мостом, одного из последних паровиков. В грохоте сортировочной, очнувшись от пронзительного свиста, отец спросил:

— Что случилось? — Он опять повернулся ко мне, вокруг глаз залегла усталость, лицо посерело.— Ты что-то сказал? Я едва тебя слышу и ничего не вижу, даже билеты. Или их больше не осталось? — На секунду улыбка оживила его лицо, потом оно вновь застыло, а он прошептал, словно выдавая тайну своей жизни: — Только и услыхал что этот жуткий свист, как тогда. Помнишь, на Трахенбергерплац, а?

В котловине исчезали последние деревья, треща валились столетние ели. Мы подступали к ним с пилами и топорами, обрубали сучья, распиливали стволы, складывали в штабеля хлысты, которые мастер Кнорр вечерами пересчитывал.

— Ох-хо-хо,— вздыхал этот усатый плюгавый старикашка, который внимательно следил за нами, а выработку по возможности занижал.— С вами по миру пойдешь.

Он вечно изображал, будто платит нам из собственного кармана, и кривил физиономию, когда пила слишком уж визжала. Не да-

вал нашему брату дух перевести, заставлял корчевать пни и сам тоже как бешеный орудовал топором, пока не оставалось ни одного корешка. В котловане не должно было валяться ни щепочки, ни травинки, ни комочка грунта, никому не разрешалось и ступить на очищенный склон, если он прошелся там с граблями и метром.

— Вот увалень, куда тебя понесло! — кричал он, стоило кому-нибудь сунуться туда.

Таким манером он накинулся и на Сэра, который появился однажды на склоне с чемоданом в руке.

— Ты что, с луны свалился?— рявкнул Кнорр.— Небось не станешь лакать воду, если в ней грязные бутсы мыли?

Сэр в замешательстве стоял на дамбе, а мы, побросав инструменты, невзирая на вопли Кнорра, побежали прямо по его священному косогору, приветствуя Сэра криками «ура» и расспрашивая о Хенеле и Шерере.

— Ну, ребята, у вас тут дела! В тюрьме куда уютнее, остальные еще долго там проторчат.

Сэр передал мне письмо от Урсулы, которое я сейчас же начал читать. Я сел на разрыхленный граблями песок и сидел там долго-долго, когда все уже вернулись к работе. Мастер грозил топором, ругаясь, что уже из тюрьмы всяких типов начали присылать.

— Молодежная стройка, бог ты мой! Не молодежная, а хулиганская,— проворчал он, надел очки и наклонился ко мне.— За что твой приятель сидел в тюряге?

Я спрятал письмо и ответил:

— За то.

Меня вдруг взяла злость на всех и все, я вырвал у Кнорра топор, помчался вверх по склону к деревьям, которые никто не собирался валить, и врубился в первую попавшуюся ель.

— Ты что, с ума спятил? — взревел Кнорр, но оставил меня в покое и даже отогнал других, когда дерево стало падать.

Сэр, шедший уже к бараку, обернулся и сказал мне:

— Не дергайся, ты же не хотел ребенка.

У Урсулы был выкидыш, теперь она чувствовала себя свободной и независимой и словно забыла все, что случилось. «Я еду учиться в Берлин, советую и тебе,— писала она.— Во всяком случае, пора каждому подумать о собственной жизни, а там видно будет». Сжимая дрожащими руками топор, я совершенно без сил опустился на поваленное дерево и заорал на Сэра:

— Что ты понимаешь! Нечего ей было спешить с письмом, могла бы и почтой послать или вообще в никуда!

Когда я вернулся из Кранцаля домой, мать в слезах бросилась мне на шею:

— Отец умер.

В комнате висела фотография, сделанная незадолго до войны: отец в форме трамвайщика с сумкой, на заднем плане моторный вагон и скамейка под деревьями. «Он точь-в-точь как в жизни»,— повторяла мать, когда его призвали в вермахт. Потом карточка исчезла, и даже после возвращения отца ее долго не было видно.

— Я наверно, во многом была неправа,— призналась мать.— Но кто же не ошибается?

Она послала нас с братом узнать о похоронах. Мы пошли к кладбищу, чувствуя себя одинокими и обманутыми.

— Может, они его уже схоронили,— сказал Ахим, показывая на дом у высокой, обвитой плющом стены, где он в последний раз видел отца.

У дверей с его фамилией мы остановились; было уже сумрачно, тихо, казалось, в квартире никого нет. Не отваживаясь звонить, мы тихонько постучали. Дверь тотчас открылась. Луковка схватила нас обоих за руки и запричитала:

— Ах, бедняжки, бедняжки...

Она зажгла свет во всех комнатах, продемонстрировала нам в кухне холодильник, в комнате — радиоприемник, а в спальне — новый зеркальный шкаф.

— Недавно купили,— вздохнула она,— а ему теперь ничего уже не нужно.

Она принесла бутылку яблочного сока и стаканы, отломила несколько кусочков от плитки шоколада и собралась было готовить ужин, но брат отрицательно помотал головой, а я сказал:

— Не надо, мы просто пришли узнать, когда похороны.

Она как полоумная забегала по квартире, притащила какие-то бумаги и достала из угольного ящика порванную записку.

— Вот направление в больницу, выписано специально для «скорой помощи»,— заторопилась она.— Не будь отец так безрассуден, он бы до ста лет прожил.

Пришлось нам опять пойти с нею в спальню, где она изобразила, как отец цеплялся за кровать, когда приехала «скорая».

— Н-да, и лицо у него было зеленое, желчный пузырь прорвался,— возбужденно поясняла она.— Но он не хотел от меня уезжать, заставил выбросить направление у него на глазах. А что мне оставалось делать? Кто совладает с таким упрямством?

В тот же вечер я пошел к Корди в надежде повидать Зеленую. Но дом был заперт.

— Уехала она! — крикнул кто-то из соседнего дома.

Все же я решил подождать в саду, сел на скамейку и нашел под клеенчатой подушкой зачитанную до дыр книжку на французском языке. Автор был мне незнаком, название тоже ничего не говорило, я листал ее, как ребенок, который, с трудом, по слогам, разбирает отдельные слова. Через некоторое время появилась Корди и подсела ко мне.

— Ну, мой милый кавалер,— она взяла мою руку и пожала ее,— я все знаю, можешь ничего не рассказывать.

Возможно, она имела в виду Урсулу или отца, Сэра или других одноклассников, которые хоть и получили аттестаты с опозданием, но уже где-то учились.

— Что ты намерен делать? — спросила она, отбирая у меня книгу, в которую я уставился, избегая ее взгляда.

Кроме нее, никто со мной так не говорил и не мог заставить меня отвечать.

— Была бы здесь Урсула! — запинаясь, пробормотал я и встал.— Раз она в Берлине, поеду туда.

Но Корди, крепко держа меня за руку, опять усадила на скамейку и с нажимом проговорила:

— Погоди, ты сам должен наконец выбрать свой путь, не надо больше идти на поводу у других.— Она крепко обняла меня, прижала к себе и, смеясь, прошептала:— Ты перерос меня на голову, раньше я все торопила время, хотела, чтобы ты стал взрослым... а теперь бог знает что у тебя в голове.

Сначала светило солнце, потом нахмурило, заморосил дождь, погода как раз для похорон. Пришла Инга со своим Йохеном и букетом белых орхидей. Дядя Герберт на своем трехколесном авто доставил на кладбище мать и тетю Хелли. Тетя Лотта незадолго до этого умерла, дядя Георг и дядя Руди тоже, так что часовня, где среди цветов и зелени лежал отец, была почти пуста. Луковка под вуалью, с уложенными в пучок волосами, была на себя непохожа; она громко и часто всхлипывала, а вскоре исчезла. Под конец я стоял возле отца один. Руки его были сложены на груди, он словно бы вертел пальцами, как раньше, в долгие зимние вечера, когда сидел у окна и глядел на уличный фонарь. Волосы впереди стояли торчком и даже немного свесились на лоб, седые и как бы припыленные, но, как всегда, тща-

тельно расчесанные на пробор. Лицо у него было теперь усталое и дряблое, на губах страдальческая улыбка, отчетливо видны на лбу морщины, точно он вновь просил покоя, мира и понимания, которых ему так не хватало.

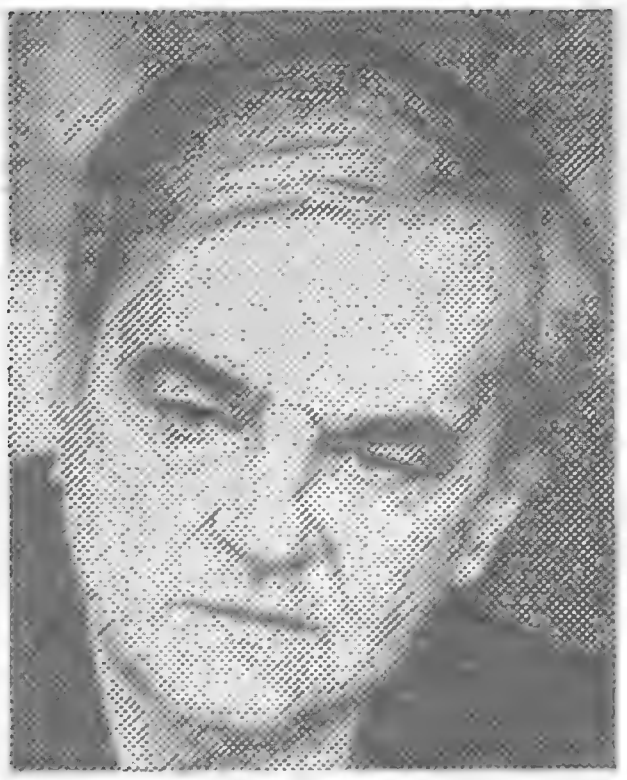
— Пойдем.— Брат взял меня за руку, и мы ушли оттуда, прежде чем гроб заколотили и под проливным дождем опустили в могилу. А мне все слышался смех отца, его голос из далекого прошлого: «Я хотел бы дожить до ста лет и еще целую вечность ездить на трамвае».

Какая уж тут вечность, до ста лет и то было еще ох как далеко. Отец не дожил и до семидесяти. У меня уже дети и даже внук, так быстро мчится время. В ту ночь под дождем я встретил и брата, но он со мной не поехал. «Служба, времени нет!» — крикнул он. А может, мне просто почудилось. Несомненно было одно: отец больше не отвечал, потребовал обратно мой билет и порвал его за ненадобностью.

— И тем не менее все было не зря,— сказал я ему, когда обрывки билета полетели по ветру.

Двери стояли настежь, по трамваю гулял ветер, и дождь брызгал нам в лицо. Но отцу это и теперь не мешало, он никогда не боялся плохой погоды. Просто он исчез со своего места рядом со мной, как когда-то исчез из жизни. Мысленно я еще и еще раз возвращал его — будто нужно всего-навсего взять тележку или сесть на трамвай, чтобы вернуть назад кровати, шкафы или человека. Он сложил руки на груди и вертел большими пальцами, время больше не имело для него значения, он уже толком не понимал ни меня, ни моих книг, ничего в этой жизни. Вокруг клубился туман и дым, под Варшавским мостом маневрировали тепловозы. Резкий свист вывел меня из задумчивости, я прислонился к парапету моста и обернулся. На углу затормозил ярко освещенный трамвай, надо было пройти всего несколько шагов и подняться в вагон. Кругом не было никого и ничего — ни кондуктора, ни надежды увидеть доброе, смеющееся, живое лицо отца. Ведь он давно уже умер.

◆



ШАНДОР ВЁРЕШ

Перевод с венгерского ДАВИДА САМОЙЛОВА

Сегодняшний Шандор Вёреш

Многие годы словно магнитом влекла меня к себе небольшая квартира высоко на Будайских горах. В ней жили два поэта: Шандор Вёреш, уже известный советскому читателю по ряду антологий, и его жена Ами Каройи, знакомство с которой, будем надеяться, нам еще предстоит. Было в квартире тесно — не столько от так и сяк расставленной разновременной мебели, сколько от множества книг, которые лежат решительно везде: на полках, на столах, диванах, креслах. Их берут в охапку, освобождая место для гостя, они участвуют в разговоре, словно сами собой появляясь в руках хозяев, которые, почти не глядя, извлекают их в нужную минуту из полнейшего, на посторонний взгляд, хаоса. На стенах висят картины, и опять чувствуешь, что они не выставка, они тоже — составная часть творческой атмосферы их дома.

Два скромных, уютных, внешне и внутренне изящных человека живут здесь, явно не замечая вещей. Глаза Ами Каройи не просто находят кофейник, а словно бы вдруг обнаруживают его и радуются «обретенной» возможности угостить собеседников крепчайшим, истинно венгерским кофе. Легкий, будто невесомый Шандор Вёреш, с ногами пристроившийся в углу широкого дивана, постоянно окутанный табачным дымом (он курит сигареты одну за другой), рассказывает в это время о том, например, какой огромный мир поэзии открыл для себя в Велемире Хлебникове, как вместе с женой стал переводить его, писать научные труды о его значимости для современной поэзии, и о том, что подражание ему бесплодно, но знание его высвобождает неповторимую индивидуальность поэта... Не говоря по-русски, он вдруг по-русски, на память, читает его стихи. Но на полуслове умолкает, словно чем-то вновь пораженный, уходит куда-то далеко, его попросту нет в этой комнате, с печеньями и кофейником на столе. Впрочем, несколько мгновений спустя он возвращается и радуется всему, к чему возвратился: привычному теплу дома, во всем понимающей его жене, своему гостю, которого покидал (это видно) совсем не по капризу. И начинается радушное чаепитие. Иногда оно заканчивается походом в сад (он недалеко, на другой улице), где живут им родные — иначе не скажешь — деревья, миниатюрная фруктовая рощица, посаженная и обихоженная ими самими, где всегда что-нибудь цветет или зреет, где можно срывать плоды с ветки и сидеть на траве, хорошо молчать и дышать огромным простором над раскинувшимся внизу двухмиллионным Будапештом.

ШАНДОР ВЁРЕШ — WEÖRES SÁNDOR (род. в 1913 г.)
Венгерский поэт, лауреат премии имени Кошута. Его основные поэтические сборники: «Холодно» («Hideg van», 1934), «Азбука любви» («A szerelem abécéje», 1946), «Башня молчания» («A hallgatás tornya», 1956), «Огненный колодец» («Tűzkút», 1964), «Психея, новые стихи поэтессы, жившей в давние времена» («Psyché egy hajdani költőnő újabb versei», 1972), «Три воробья» («Három veréb hat szemmel», 1977), «Пою о безграничности» («Ének a határtalanságról», 1981). Ш. Вёреш много переводит из западноевропейской, а также русской и советской поэзии. Стихи Вёреша в русском переводе печатались в антологии «Венгерская поэзия. XX век» и в сборнике «Современная венгерская поэзия».
Публикуемые стихи взяты из венгерских литературных журналов «Кортарш», «Уй ираш», «Латохатар» последних лет.

Сейчас у Шандора Вёреша и Ами Каройи другой дом, просторный, холодноватой современной архитектуры. Он совсем не похож на их прежнее, право же почти московское, староарбатское, жилье, но они в нем все те же. Очень хочется сказать: просветленные творчеством. Потому что это их суть.

Шандор Вёреш — один из самых крупных поэтов старшего поколения. Он вошел в литературу четырнадцатилетним, в конце двадцатых годов, и буквально с первых же публикаций обратил на себя внимание зрелостью стиха и глубиной, самостоятельностью мысли. В тридцатые годы это уже вполне определившаяся поэтическая индивидуальность, что отмечал и Дюла Ийеш в рецензии на первый сборник его стихотворений, вышедший в 1934 году, предрекая поэту большое будущее.

С ранней молодости Шандор Вёреш был восприимчив и чуток к самым разным сферам культуры и человеческой мысли: философ и историк по образованию, он широко сведущ также в музыке, живописи, свободно ориентируется в новейших достижениях естественных наук. О литературе, ее истории нечего и говорить — здесь он просто в родном краю, исхоженном вдоль и поперек. Именно духовная сторона жизни человечества и стала доминирующим импульсом в творчестве Вёреша. Его поэзия прежде всего и по преимуществу философская поэзия. В поэтическом мироощущении его органически сливаются космические пространства мироздания, ищущая, свободно движущаяся среди абстракций мысль — и яркая, пенящаяся, многокрасочная жизнь, загадка из загадок, чудо и реальность, венец всего сущего в макрокосме. Глаз поэта устроен так, что может служить телескопом и микроскопом одновременно. И это, пожалуй, самая характерная черта его поэтического облика, пронесенного через десятилетия,— симфонизм мировидения. Симфонизм не случайно подвернувшаяся метафора. Поэт и сам называет свои стихи, целые циклы симфониями. Вот образ танца из «Пятой симфонии»:

Как звезда среди тумана, странным светом осиянна,
пролетает дева Анна,
вспышка, ночь, во мгле зевнула
пастью огненной акула,

зашатался силуэт
городов, которых нет,
и под слабый шорох пены
тьма опять сомкнула стены.

То не мысль в мозгу безумца, то Розалия горит,
гибким телом говорит,
каждый взмах ее — небесный,
каждый шаг ее — над бездной.

А меж флагами, как взрывы,
крики, лозунги, призывы,
кровь течет, парит идея. лавры светятся во мгле
у героя на челе...

(«Танец», перевод Ю. Кузнецова)

Человек у Вёреша — мера всему. Он, человек, «озвучивает» вселенную, придает ей смысл. Он породил Слово — тайну и волшебство, всевоплощающее Слово. И оно тоже реальность. Поэт любуется им, его выразительностью, гибкостью, музыкальностью, словно перекатывает его на ладонях, живое и осязаемое. Вот он видит яблоко, «плод на ветке», завороженно наблюдает его «качанье-колыханье»:

Мыслей алость
слов округлость
плод на ветке
алый плод на бурой ветке
грез упругость
. . . . . .

яблоко-локо
юбки колокол
плод под кроною зеленой
в распашонке легковейной
в колыбели полуденной
плод румяный

на качели
алый сон
в этой жаркой этой зябкой и тенистой и лучистой колыбели...

(«Двенадцатая симфония», перевод О. Россиянова)

Музыка слов, словесная живопись, и так отчетливо все видно — жаркий день, тень деревьев, зелень листвы, теплый воздух. И так внятен «алый сон» — солнце сквозь блаженно смеженные веки.

Ощущение красоты мира, несмиряемый годами юношеский восторг перед природой лишь заостряют для Вёреша трагическую противоречивость жизни:

О, как счастливы сонмы стихий нянчить, ласкать человека,
и только сам человек
хочет радоваться себе
и — несчастлив.

(«Счастлив...», перевод Ю. Гусева)

Но, раздумывая о глобальных судьбах человечества, поэт, которого, к слову, иной раз упрекали за некоторую отвлеченность, уход от проблем дня, в сущности, эти социальные проблемы отражает — разумеется, по-своему, в рамках собственной поэтики. Органически неприемлема для него душевная пустота обывателя («Ода к обывателю»), ненавистно, презренно тиранство:

Чингисхан, отец детей, домой вернулся,
на кровавые следы не оглянулся,
поливает свои розы и рыдает,
что расшиблась канарейка — не летает.

(«Сентиментальный тиран», перевод Ю. Кузнецова)

В поэзии Вёреша последних лет отчетливо звучит тревога за будущее человечества, за судьбу нашего неспокойного мира, над которым катастрофически нависла ужаснейшая в истории война. И все-таки поэт верит — надежда есть, человек властен спасти себя и планету людей:

Но человек вскинул голову,
он все-таки хочет чего-то. Пускай холода
преобразили весь мир, где лишь снежные кони,
взнузданы вьюгой, все скачут и скачут в открытые дали,—
сквозь покров беспросветности всегда видны эти кони.

(«Зимние кони», перевод Д. Самойлова)

Это стихотворение, с его характерным для Вёреша сплавом горечи и оптимизма, особенно важно приметить. В нем — сегодняшний Вёреш, мудрец с глазами то волхва, то ребенка.

Любовь к детству у него не в словах и не в воспоминаниях. Это вечно неутоленное любопытство к окружающему миру, постоянное ожидание неожиданного, вера в то, что жизнь и чудо неразделимы. У Вёреша очень много детских стихов, они — одна из форм его восприятия мира.

Как и постоянные его обращения к народной поэзии. Многие его стихи — как бы непроизвольные фольклорные реминисценции. Он любит и тонко воспринимает народный юмор, бравурное озорство, но и реалистичность народного отношения к жизни.

Вёрешу, чьи версификаторские возможности поразительны, с легкостью удается до неузнаваемости менять свой поэтический голос. Так, он создал целую книгу стихов, посланий, дневниковых этюдов от лица им выдуманной поэтессы XVIII века («Психея»). Способность к перевоплощению сделала его одним из самых значительных венгерских поэтов-переводчиков. Вёреш воссоздал на родном языке «Витязя в тигровой шкуре» Руставели, стихотворения Шевченко, Малларме, армянских поэтов. О его переводах из Хлебникова уже говорилось; сейчас в Венгрии выходит «Избранное» этого поэта с предисловием Шандора Вёреша.

В предлагаемой читателю подборке, переведенной Давидом Самойловым, представлены стихотворения Шандора Вёреша последних лет, эскиз его нынешнего поэтического облика. Но и по этому эскизу нельзя не заметить, сколь постоянен он в том, что составляет сущность его поэтических интересов. Разве что прозрачнее стал стих и от этого видней его глубина.

ЕЛЕНА МАЛЫХИНА

Ожидание весны

Вот видишь, мы, забыв про снегопад,
бежим через лесок,
Калитку отворив, опять вбегаем в сад,
а луг уже просох.
Еще прохладна ночь, и на закат
туманный полог лег.
Но все же мы вбежим в застывший сад,
обнимем яблоню, как год назад,
Ведь луг уже просох
и стуже вышел срок.

Восемь строк

С детским взором
сел бы я напротив старика, которым
стал я сам на самом деле,
так бы мы вдвоем сидели,
я дивился бы его сединам,
к жалобам прислушивался длинным,
а когда б он умер — удивился,
но и тут бы я не изменился.

Вечное

Все, что было жизнью, ростом,
рассыплется по погостам —
неужто горы и чащи
не вечны, а преходящи?

Космическое пространство,
небесных кругов постоянство,
шары, что горят слепяще,—
не вечны, а преходящи.

А то, что минутно, забвенно —
взлет птицы, морская пена,
ход ящерки, ветер, скворешня,—
не преходяще, а вечно.

Ведь то, что однажды было,
ничья не изменит сила —
ни божья, ни человечья —
оно не бренно, а вечно.

Диалог о безмерности

А.

Земля мчится, кривоклювая древняя птица. В пору осенних ночей
отворачивает бока от тепла, слышится шорох крыла,
когда она, увлекая ветра, уходит
в нездешние складки пространства.

© Weöres Sándor, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.

Ты видел немало, так скажи, что пространство таит в своих недрах?
Наши нынешние мудролюбы утверждают, что изгибается его жуткий ломоть

и сквозь неисчислимые бесплотные дуги слепо мчится земля
тысячи световых лет — ну а мы, спотыкаясь о мощные жилы ее
или распахнув наши крошки-окошки, все дивимся огромной
ночной короне, под которой нету чела,
и прикасается к нам ее бесчувственное, бесчеловечное сиянье.

Б.

А я вот знаю иное пространство,
оно человечней и вместе стократно таинственней. Вот послушай:
если закрыть глаза, в них какое-то время
пылает нанесенный светом удар,
как оборотная сторона цветного узора, вроде штопки с изнанки,
но потом расплывается цвет, и прикрытые глаза
отражают одну темноту, словно ты очутился в сводчатом зале,
а сколь он огромен, тебе неизвестно, ибо купол во мраке,
алтари его скрыты, слышен лишь шелест алтарных покровов,
в этом зале все плывет, как плавают рыбы, ибо нет в нем и пола,
ковер пролетает, искрясь, то там, то здесь промелькнет
чей-то милый или ужасающий образ, зыбкие контуры воспоминаний,
пролетают прозрачные сути чудес —
все это, повторяю, есть некое внутреннее пространство,
куда не залетает и пылинка того, что разуму внятно,
где нет измерения, формы, устройства,
где все возникает по волшебству, парит и исчезает.

А.

Пространства — то, что вне нас, и то, что в нас,—
переливаются друг в друга; и этот миг есть высший дар:
окно, распахнутое в осень, в него влетает робко
ветер, настоянный на терпком тленье,
из тумана вступает колокольный зов, приглушенный, как скрипка,
в нем чудится металльный привкус звезд;
над нами — до небес — сплошь сплетенная беседка,
ее лоза — из мыслей, испарений, света,
карабкаются в небо тысячи цветков вьюнка;
и стайки девочек — бледных, гибких, круглооких,—
друг с другом все несходно, но ты воспринимаешь общий знак:
один и тот же замысел есть в их покрое.

Б.

Глубоко в твоей душе гнездятся мысли, но намного глубже,
под корою каждого деянья, сияют
истоки феноменов, пролегают русла, скрываются шпунты и швы вселенной,

вихрится пламя, безмерными кругами ходит
живой тысячеглазый огнь,
разгоряченные топочут жеребцы,
лоснятся взмыленные крупы,
бьет в душу звон их кованых копыт,
мимо ушей со свистом пролетает жидкий атом,
ты шкурой ощущаешь бесконечность,
она — подобно капле расплавленного чугуна во льду —
шипит и обрастает пленкой.
Она влечет тебя. Но может, это — одно воображенье?

Но ежели ты вдруг постиг, что она не холод и не отчужденье?!
И что пространство — живое трепетание любви?!
А вдруг все это сродственно тебе?
Роднее, чем ты сам себе?

Зимние кони

Я пробудился с унылыми пенными хлопьями.
Они пропадали в разъятой холмами дали.
Все, что осталось здесь — трухлявые крыши,
спаленные травы, пахучие памятки осени,—
постепенно исчезло, укрытое снежным сугробом.

Но человек вскинул голову,
он все-таки хочет чего-то. Пускай холода
преобразили весь мир, где лишь снежные кони,
взнузданы вьюгой, все скачут и скачут в открытые дали,—
сквозь покров беспросветности всегда видны эти кони.

Пропавшие следы

Ветра сотрут мои следы.
И хляби засосут следы.
А здесь шел бой,
Он, как прибой,
Зализет все мои следы.
О ты, подобный божеству,
В краю, где призрачно живу,
Ответь, что мне бы даровал?
Мои нестертые следы.

Ночь и рассвет

Я дверь закрыл. Ночь рухнула, потрясена,
как при землетрясении стена.
И ничего из-под обвала не торчало,
как будто мира не существовало.

Потом проснулся я, распахиваю дверь,
через порог рассветная влетает трель,
как в капле океан, в ней все тысячелетья,
где не было меня и где устану тлеть я.

Ренессанс

Тогда была эпоха масок
и птиц, слетающих к ручьям.

Глаза, открытые к познанью,
блуждали по булыжным закоулкам.

Из прошлого проступали прочные руины
сквозь настоящее, что рассыпалось в прах.

Женственность щипковых инструментов
состязалась с мужеством орга̀нов.

Безыскусственность
рождалась в муках
и сразу стала умирать.

А если откровенничали двое,
подслушивало их чужое ухо.

А город полон был надежд,
поля — бесчисленных цветов,
невероятных шелковистых песен,
летящих в даль, как облако-кукушка.

Тишина

Сквозь приоткрытое окно
ко мне заглядывает ветер,
тишь, бесприютность бесконечности.

От закоулков, где стареет мебель,
до облаков небесных,
до звездной бездны —
струенье тишины.

Шум —
ржавчина ее.

Переход

Тишина — продолженная тьма.
Мощный ветер над долиной вырос,
ливень вдруг обрушился, пузырясь,
с глаз исчезли сосен терема.
Мокрая процессия влачится
через небо, застив синеву,
среди птиц. Сначала наяву,
а потом во сне уныло длится.

Но...

В детскую пору
я мог быть счастливым,
да ума не хватало.

В зрелую пору
я мог быть счастливым,
да времени не хватало.

В старости тоже я мог быть счастливым.
но лишь потому, что смерть на носу.

В Кечкемете на базаре

В Кечкемете на базаре
семь торговок продавали
яблоки разные.
Одна — красные,
другая — румяные,
третья — шафранные,
четвертая — зеленые, но спелые,
пятая — белые,
шестая — налитые.
А седьмая — золотые,—
кто откусит от них,
те невеста и жених.

Нет и да

Нет
и нет
и снова нет
пустое слово
когда
есть да.

Пусть чуждо
редко
не беда
едва живое
все же
да
и да
и да
и навсегда.

■

САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ (род. в 1920 г.)

Советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Ближние страны», «Второй перевал», «Дни», «Волна и камень» «Весть», «Залив» и других Ему принадлежат также книга «О русской рифме» и книга переводов «Поэты-современники» (в серии «Мастера художественного перевода»). Книги Д. Самойлова переведены на многие иностранные языки.

РОБЕРТ ЛАДЛЭМ

Бумага Мэтлока

РОМАН

Перевод с английского МИХАИЛА БРУКА

Имя Роберта Ладлэма я узнал впервые, прочитав его роман «Бумага Мэтлока», и рад тому, что познакомился с этим американским писателем.

Перевел этот роман Михаил Брук, которого я знаю более двадцати лет, с тех еще пор, когда он и его коллеги выполнили русский перевод «Праздника, который всегда с тобой» Хемингуэя. Потом он переводил книги Н. Мейлера, Г. Видала, И. Стоуна и других американских авторов. Это ли не реальный вклад в выполнение Хельсинкских соглашений, к которым не грех бы почаще обращаться тем издателям и литераторам на Западе, кто по невежеству или по злобе игнорирует богатейшую многонациональную литературу моей родины.

Тот, кто станет искать в романе Ладлэма, предлагаемом «Иностранной литературой», акварельно выписанные пейзажи или необыкновенные характеры, будет разочарован. Он написал детектив, который сделан по законам жанра: порядочный человек борется против организованной банды — будь то мафия, группа правительственных чиновников или сообщество маньяков,— борется в одиночку, на последнем напряжении сил, до конца.

Конечно же, дотошный литературный критик легко заметит швы в повествовании, грубые стыки правды и жанрового приема, некоторую заданность логического посыла и скороговорку там, где требуются аккуратные полутона. Все это, бесспорно, есть в романе, но если судить его только по этим параметрам, то критик рискует не заметить главное: пульсирующую, кровоточащую достоверность, а что может быть важнее в литературе, чем жизнь, написанная такой, какая она есть?

Сюжет романа прост: агенты министерства юстиции США привлекают преподавателя Джеймса Барбур-Мэтлока, тридцати трех лет от роду, кончившего престижный Амхерст, прошедшего Вьетнам, к своей работе по выявлению сети торговли наркотиками, которые распространяются в том самом Карлайлском университете, где преподает ныне Мэтлок.

Почему они привлекают к этой работе именно его, как он оказывается один на один с организованной бандой во главе с неким Нимродом, отчего министерство юстиции, наблюдая за кровавой схваткой одиночки с могучим подпольем, не при-

---

РОБЕРТ ЛАДЛЭМ — ROBERT LUDLUM (род. в 1927 г.)
Американский писатель. Автор романов «Наследство Скарлатти» («The Scarlatti Inheritance», 1971), «Уик-энд Остермана» («The Osterman Weekend», 1972), «Близнецы-соперники» («The Gemini Contenders», 1976), «Ковенант Холкрофта» («The Holcroft Covenant», 1978), «Операция «Аквитания» («The Aquitaine Progression», 1984).
На русский язык переведен его роман «Рукопись Ченселора». Предлагаемый вниманию читателей роман «Бумага Мэтлока» был издан в 1973 г. («The Matlock Paper». New York, The Dial Press, 1973).

ходит ему на помощь в критические минуты — ответы на эти вопросы и составляют суть романа.

Есть книги, которые боятся пересказа, он убивает читательский интерес, и я согласен с тем утверждением, что литература может быть разной, только она не имеет права быть скучной. Детективный, если угодно исследовательский, роман Ладлэма пересказа не боится, оттого что он необыкновенно насыщен информацией, причем информацией социальной.

Я уже писал как-то, что группа польских математиков поставила любопытный эксперимент: рассчитала на электронно-вычислительной машине количество информации, содержащейся в некоторых литературных произведениях разных писателей мира. Первое место занял Пушкин, строка из его «Каменного гостя», которая звучит, казалось бы, архипросто: «...Ах, наконец достигли мы ворот Мадрита». Однако при рассмотрении беспристрастном (то есть «эвээмовском», а не критическом) получается, что каждое слово несет в себе определенное содержание: «ах» — выражение степени усталости; «наконец» — протяженность действия во времени; «достигли» — его завершение; «ворот» — деталь, характеризующая средневековье; «Мадрит» — столица Испании. Просчитанное же на ЭВМ стихотворение весьма известного современного поэта набрало всего два процента информативности.

Не делая никаких сопоставлений, скажу: когда я читал Ладлэма, меня не покидала уверенность в том что страшная тема наркомании знакома ему не понаслышке. Где он прикоснулся к этой теме? Почему? Как? Такого рода вопросы, видимо, бестактно задавать американскому коллеге; сочтет нужным — сам расскажет в интервью; рассказать ему есть что, ибо роман построен на реальных фактах, это бесспорно.

Впервые проблемой торговли наркотиками я занялся в Испании, еще в семьдесят первом году; потом мне приходилось бывать — именно в связи с работой над этой темой — и в Сицилии, и в Далласе, где Руби в своей «Карусели» грешил контактами с торговцами «белой смертью», и в Западном Берлине, и в Гамбурге.

Помню, как уполномоченный сената Западного Берлина по борьбе с наркотиками Вольфганг Хекман сказал мне:

— Даже если половина жителей нашего города станут полицейскими, все равно торговля героином будет продолжаться, поскольку не решено главное — социальная проблема, порождающая наркоманию.

Именно он сказал мне, что торговцы «белой смертью», ударившие в первую очередь по молодежи и имевшие свои опорные базы практически во всех учебных заведениях, выдвинули лозунг: «Гашиш расширяет мировоззрение. Изменим с помощью гашиша общество и разобьем собачьи головы империалистам и ревизионистам!»

В Западном Берлине мне говорили, что Гонконг — как начало начал этого страшного бизнеса — был той точкой, где давно и накрепко завязались отношения между Центральным разведывательным управлением США и китайскими секретными службами, между теми, кто выдвигал «политические лозунги», и теми, кто переводил на свои счета в швейцарских банках баснословные суммы.

Ганс Грэссман, начальник группы по борьбе с наркоманией в гамбургской уголовной полиции, объяснил мне, как говорится, на пальцах, что такое героиновый бизнес:

— В Гамбурге тысяча триста шесть только зарегистрированных наркоманов. На самом деле их гораздо больше. Одна инъекция стоит пятьдесят — семьдесят марок (какие цены сейчас — не знаю, разговор происходил четыре года назад, героиновая биржа живет по законам валютной или хлебной, цены скачут ежечасно). Если грубо округлить, то одному лишь Гамбургу необходимо около двухсот килограммов героина в год, следовательно, «вольный город» готов уплатить производителям «белой смерти» не менее двухсот миллионов марок. А Нюрнберг? Мюнхен? Кёльн? А те города, где размещены американские воинские соединения?

Сотни миллионов долларов, какое там — миллиарды «завязаны» в этом страшном бизнесе, который делает человека животным, готовым на все.

Я помню Гринвич-Виллидж шестьдесят восьмого года, расцвет движения несчастных хиппи, их лозунг «люби, а не воюй». Да, это было бегство от буржуазного истеблишмента, от разврата и тотальной лжи, царствующей в домах тех, кто каждое воскресенье терпеливо отсиживает утреннюю службу в церкви; да, это было бегство от ужаса и позора вьетнамской бойни, развязанной самозваными радетелями за демократию и справедливость; да, это было бегство от безнадежности; да, это был бунт, но это был бунт слепых и бессильных мальчиков и девочек с руками как плети, исколотыми героином, с пустыми, но в то же время лихорадочно блестевшими глазами, которые видели не мир, каков он есть, но мираж — зыбкий, постоянно меняющийся, призрачный.

Я помню Сан-Франциско семьдесят пятого года; хиппи кончились, приближалась пора «панков» и еще чего-то, столь же разобщенного, исколотого, бессильного, зверского, а потому — податливого на тот именно лозунг, который выгоден властям предержащим: бунтуйте себе на здоровье, против чего угодно бунтуйте, но упаси бог тронуть Систему!

Я видел двенадцатилетних проституток на Бэби-штрих в Западном Берлине, видел их трупы в общественном туалете метро «Цоо»: вспыхнут блицы репортеров, провоют полицейские машины, разойдется толпа, и новые девочки-подростки несут в зажатом бессильном кулачке марки тому, кто вколет за это героин.

Ладлэм берет американский университет, вполне респектабельный, там готовят будущее Америки; он рассказывает про то, как люди, прикрывающиеся лозунгами общественного блага, руководствуются на деле вполне прагматичным интересом и губят поколение; он делает это как обличитель.

И еще: в том, что в лучших американских детективах действует одиночка, человек заранее обреченный, есть фактор социальный; это отнюдь не прием писателя, который намеренно ставит своего героя в исключительное положение, дабы вызвать к нему сочувствие — действительно, читатель всегда на стороне того, кому трудно, кто подвергается опасности. Практика жизни в Соединенных Штатах такова — и это Ладлэм показывает точно и безжалостно,— что человек просто-таки не может никому довериться, ибо он ощущает вокруг себя продажность и предательство; он может надеяться только на себя самого. Идти за помощью некуда и не к кому; постучишься в дом человека, к которому испытываешь симпатию, откроешься ему, а он — в банде, он — враг твой, враг не на жизнь, но на смерть.

Подкупают полицию, ликвидируют честных детективов, гонят на панель студенток, продают «товар», от которого гибнут мальчишки с первых курсов, убивают старых профессоров — таков мир Ладлэма, и в этом нет злопыхательства, но есть боль за свою страну.

Повторю: у меня есть свои — чисто профессиональные — претензии к роману. Кое-где облегчены и слабо мотивированы сюжетные линии; трагедия любимой женщины главного героя написана чисто по-американски, для кинематографа: поможет режиссер, оператор, актриса, сработает стереотип представлений, созданных Голливудом (не тем, понятно, который мы любим, не Голливудом Поллака и Креймера, но коммерческой безвкусицей, оболванивающей мысли и души зрителей), вывезет второй план, поможет принадлежность традициям (увы, как часто несут на себе печать ужаса и бездуховности иные «традиции», которые многие тщатся выдать за истину в последней инстанции), спасет динамизм сюжета и достоверность социального конфликта... Нет, не спасет, а, наоборот, сделает тот или иной просчет еще более явным.

Путана линия, связанная с черными бунтарями: Ладлэм и здесь верен штампу, он не «вгрызается» в проблему, он пишет так, чтобы было понятно самой широкой *американской* аудитории; понятно, то есть привычно. Однако же смысл литературы состоит в том, чтобы избегать штампов, ломать традиционные стереотипы, а уж коли берешь такие больные темы, как царствующий в стране расизм, как трагедия черной Америки, то здесь надо быть по-настоящему доказательным и твердым в позиции.

Тем не менее наш читатель — весьма подготовленный и компетентный — без труда отделит злаки от плевел, и главное, что он вынесет после прочтения этой книги — я совершенно в этом убежден,— будет ощущение гнева против тех, кого изобличает Ладлэм.

Романом «Бумага Мэтлока» писатель высказал немало горьких истин о Системе, которая весьма привержена высоким фразам о «демократии» и «справедливости», но каждодневная практика которой входит в разительное противоречие с ними, ибо торгующие процветают в храме под охраной тех, кто должен был бы их из этого храма изгнать.

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

1

Лоринг вышел из министерства юстиции через боковую дверь и стал ловить такси. Был конец рабочего дня и рабочей недели, и улицы весеннего Вашингтона заполняла толпа. Лоринг стоял на тротуаре, подняв левую руку. Он уже почти не надеялся поймать машину, как вдруг таксист, только что взявший пассажира, притормозил.

— Вам куда, мистер? На восток? Садитесь. Этот джентльмен не возражает

В подобных случаях Лоринг всегда терялся. Он подсознательно втянул правую руку поглубже в рукав, чтобы скрыть тонкую черную цепочку, соединявшую запястье с ручкой чемоданчика.

— Нет, спасибо. У следующего перекрестка мне надо сворачивать на юг

Он подождал, пока такси влилось в поток машин, и вновь поднял руку.

Обычно в такой ситуации мозг его работал быстро, чувства обострялись. В другое время он выискивал бы глазами машины, высаживающие пассажиров, и постарался бы раньше всех добежать до первого же такси с тускло светящимся знаком «свободен» на крыше.

Сегодня, однако, Ральфу Лорингу бегать не хотелось. Из головы не выходило то, что произошло. Только что при его участии человека приговорили к смерти. Человека, с которым он никогда не встречался, но о котором много знал. Тридцатитрехлетнего, живущего в небольшом городке в Новой Англии в четырехстах милях отсюда и даже не подозревающего о существовании Лоринга, не говоря уж о том интересе, который проявляет к нему министерство юстиции.

Память снова и снова возвращала Лоринга в большой зал заседаний, где за огромным квадратным столом сидели люди, вынесшие приговор.

— Разрешите напомнить вам, мистер Лоринг,— сказал помощник министра, в прошлом военно-морской прокурор,— что при планировании любой боевой операции предполагается урон в живой силе.

— Но обстоятельства ведь другие. Этот человек не имеет специальной подготовки. Он не знает своего врага — кто это и где находится. Он и не может знать. Мы ведь и сами не знаем.

— Вот именно.— Новый голос принадлежал другому помощнику министра. Раньше он работал юристом в каком-то акционерном обществе и очень любил совещания, на которых, как подозревал Лоринг, только и мог принимать решения.— Этот человек весьма контактен. Взгляните на его психологический портрет: «Не без недостатков, но исключительно контактен». Именно так здесь и сказано. Поэтому вполне закономерно, что выбор пал на него.

— «Не без недостатков, но контактен»! А что, собственно, это значит? Психологические портреты — это всего лишь вспомогательный материал, суждения весьма приблизительные. Я не могу внедрять человека, которого толком не знаю, как не могу брать на себя ответственность за решение математических проблем для НАСА.

— Я понимаю ваши сомнения,— сказал председатель комиссии.— В обычной ситуации я бы согласился с вами. Однако здесь случай особый. У нас в запасе всего три недели, и это вынуждает нас пренебречь мерами предосторожности.

— Это риск, на который мы должны пойти,— с важным видом сказал бывший военно-морской прокурор.

— Себя-то вы никакому риску не подвергаете,— заметил Лоринг.

— Если хотите, вас избавят от контакта,— предложил председатель.

— Нет, сэр. Я пойду на этот контакт. Хотя и против своего желания. И прошу внести это в протокол.

— Да, вот еще что, прежде чем мы разойдемся.— Юрист из акционерного общества перегнулся через стол.— И хочу сразу оговориться, что это исходит с самого верха. Мы все согласны, что у человека, о котором идет речь, есть личные мотивы. Его психологический портрет достаточно ясно об этом говорит. И я хочу, чтоб было не менее ясно: какие бы услуги он ни оказал комиссии, делать он это будет без вознаграждения, на добровольной основе. Тут мы весьма уязвимы. Мы не можем, я повторяю: не можем брать на себя ответственность. Было бы хорошо указать, что он сам пришел к нам.

Ральф Лоринг с отвращением отвернулся.

Пробок на улицах стало еще больше. Лоринг уже решил было пройти пешком двадцать кварталов, отделявшие его от дома, но тут перед ним остановился белый «вольво».

— Садись. Ты ужасно глупо выглядишь с поднятой рукой.

— А, это ты! Большое спасибо.— Лоринг открыл дверцу и, сев на тесное переднее сиденье, положил на колени чемоданчик. Сейчас, рядом с коллегой, уже не было необходимости скрывать тонкую черную цепочку на запястье. Крэнстон был специалистом по заграничным маршрутам. Именно он провел большую часть подготовительной работы для выполнения того задания, которое только что получил Лоринг.

— Длинное было совещание. Пришли к чему-нибудь?

— Зеленый свет.

— Давно пора.

— Все решили двое помощников министра и записка из Белого дома.

— Отлично. Геоотдел получил свежие данные из Средиземноморья. Сегодня утром. Все подтверждается. На севере в Анкаре и Конье, в Сиди-Баррани и в Рашиде, даже в Алжире производство систематически сокращается. Это очень усложняет дело.

— А ты чего хочешь? Я думал, наша цель — вырвать их с корнем. Вечно вы чем-то недовольны.

— Ты тоже не был бы доволен. Мы можем контролировать знакомые маршруты, а что мы, черт побери, знаем о Порто-Белокрус, Пилькомайо и всяких других местах в Парагвае, Бразилии и Гвиане с такими названиями, что язык сломаешь. Тут все надо начинать с нуля.

— Привлеките экспертов по Южной Америке. В ЦРУ их как собак нерезаных.

— Невозможно. Мы даже карты не имеем права попросить.

— Но это же идиотизм.

— Это шпионаж. А мы занимаемся только тем, что положено Интерполу. Я думал, ты в курсе.

— Еще бы,— устало ответил Лоринг.— И все равно это идиотизм.

— Твое дело — Новая Англия, а уж пампасами займемся мы.

— Новая Англия — это ведь целый мир. Но куда ушла поэзия, воспевающая сельские красоты, и дух янки, и кирпичные стены, увитые плющом? Вот что пугает.

— Теперь поэзия другая. Привыкай.

— Премного благодарен. Твое сочувствие просто покоряет.

— Похоже, ты не очень-то веришь в успех.

— Времени маловато...

— Его всегда маловато.— Крэнстон перестроился в другой ряд, где машины шли быстрее, но тут же попал в пробку на пересечении Небраска авеню с Восемнадцатой улицей. Вздохнув, он перевел рычаг скоростей на «нейтралку» и пожал плечами. Затем взглянул на Лоринга, тупо уставившегося в ветровое стекло.— По крайней мере тебе дали зеленый свет, а это уже кое-что.

— Конечно. Только вот помощники никуда не годятся.

— А, понимаю. Это что — он? — Крэнстон кивнул на чемоданчик Лоринга.

— Он. Со дня рождения.

— Как его зовут?

— Мэтлок. Джеймс Б. Мэтлок Второй. «Б» означает Барбур — очень старинный род. Собственно, два очень старинных рода. Джеймс Мэтлок, бакалавр гуманитарных наук, магистр гуманитарных наук, доктор философии. Ведущий авторитет в области общественных и политических влияний на литературу елизаветинской эпохи. Звучит, а?

— Ну и ну! Человек с такой подготовкой? Где же он станет все выяснять? На чаепитиях в честь профессоров, уходящих на пенсию?

— Нет. В этом смысле все в порядке: он достаточно молод. Служба безопасности дала ему следующую характеристику: «Не без недостатков, но исключительно контактен». Прелестно, правда?

— Весьма вдохновляюще. А что это значит?

— Судя по всему, что это человек не из лучших. Возможно, потому, что у него плохая армейская характеристика, а возможно, потому, что он разведен,— я почти уверен, что дело в армейской характеристике. И однако же, несмотря на столь серьезный недостаток,— человек, который умеет расположить к себе.

— Меня он к себе уже расположил.

— В том-то все и дело. Меня — тоже.

Оба замолчали. Крэнстон понимал, что коллеге надо кое-что обдумать, прийти к определенным выводам. В большинстве случаев понять это было легко.

Ральф Лоринг думал о человеке, чья жизнь, описанная в мельчайших подробностях, полученных из десятков источников, лежала сейчас в его чемоданчике. Имя этого человека известно — Джеймс Барбур-Мэтлок, но сам человек никак не возникал перед мысленным взором Лоринга. И это его беспокоило: в жизни Мэтлока многое вызывало недоумение, одно никак не соответствовало другому.

Он был единственным теперь сыном пожилых и очень богатых родителей, уединенно живших в городе Скарсдейле, штат Нью-Йорк. После окончания Андовера и Амхерста перед Мэтлоком открывалась соответствующая карьера на Манхаттане — он мог заняться банковским делом, посредничеством, рекламой Причем ничто в его школьные и студенческие годы не указывало на возможное изменение этого запрограммированного будущего. Напротив, женитьба на светской девушке из Гринуича, казалось, лишь подтверждала, что Мэтлок пойдет проторенным путем.

Тут с Джеймсом Барбур-Мэтлоком стало происходить что-то непонятное. Началось все с армии.

Тогда, на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов, Мэтлоку достаточно было согласиться отслужить лишние полгода, чтобы обеспечить себе спокойное существование в качестве интенданта — скорее всего в Вашингтоне или Нью-Йорке, учитывая связи его семьи. Однако вследствие целой серии нарушений, вплоть до неподчинения начальству, он получил самое нежелательное назначение — Вьетнам, где разворачивались ожесточенные бои. Пока Мэтлок находился в дельте реки Меконг, он умудрился дважды попасть под военно-полевой суд.

Впрочем, никаких идеологических мотивов за этим, видимо, не стояло — просто неумение приспособиться к обстановке.

Возвращение Мэтлока к гражданской жизни также было отмечено целым рядом осложнений — сначала с родителями, а затем с женой. Неожиданно Джеймс Барбур-Мэтлок, учившийся в свое время достаточно хорошо, но не более того, вдруг снял небольшую квартиру на Морнингсайд-Хейтс[1] и поступил в аспирантуру Колумбийского университета.

Жена прожила с ним три с половиной месяца, после чего тихо развелась и быстро исчезла из его жизни.

Следующие несколько лет ничем особенным не отличались — Мэтлок неисправимый превращался в Мэтлока-ученого. Он работал не покладая рук и через год и два месяца получил степень бакалавра, а двумя годами позже защитил докторскую диссертацию. Затем — вроде бы примирение с родителями и работа на кафедре английского языка и литературы в Карлайлском университете, штат Коннектикут. С тех пор Мэтлок опубликовал целый ряд книг и статей и приобрел завидную репутацию в академических кругах. Он был «исключительно контактен» (дурацкое выражение!), вполне прилично обеспечен, а те неприятные черты, которые раньше восстанавливали против него людей, теперь, видимо, исчезли. Так что Джеймс Барбур-Мэтлок Второй имеет основания быть довольным, думал Лоринг. Жизнь у него неплохо налажена: прикрыт со всех флангов, в личном плане тоже полный порядок. В последнее время он, не слишком это афишируя, встречался с аспиранткой по имени Патриция Бэллентайн. Жили они отдельно, но, согласно имеющимся данным, состояли в связи. Однако женитьбой там и не пахло. Девушка заканчивала работу над докторской диссертацией по археологии, и по крайней мере с десяток фондов мог послать ее в дальние страны, где еще много нераскрытых тайн. Судя по всему, Патриция Бэллентайн вовсе не собиралась замуж.

«Ну а Мэтлок? — раздумывал Ральф Лоринг.— Что говорят о нем факты? Оправдывают ли они наш выбор?»

Они его не оправдывали. Да и не могли оправдать. Здесь нужен настоящий профессионал. Слишком много неожиданностей и ловушек подстерегает дилетанта.

Но как это ни дико, если Мэтлок наделает ошибок и попадет в ловушку, он сможет добиться большего и гораздо быстрее, чем любой профессионал.

И заплатит за это жизнью.

— А почему вы все считаете, что он согласится? — спросил Крэнстон. Они приближались к дому Лоринга, и Крэнстон уже не в силах был сдерживать свое любопытство.

— Что? Прости, что ты сказал?

— Почему вы считаете, что он обязательно примет ваше предложение? Почему он должен согласиться?

— Из-за младшего брата. Мэтлок считает себя ответственным.

— За что?

— За смерть брата. Три года назад тот покончил с собой, приняв большую дозу героина.

Ральф Лоринг медленно вел взятую напрокат машину по широкой улице, обсаженной деревьями мимо огромных старых домов с ухоженными газонами. Среди них встречались дома студенческих братств, но гораздо реже, чем десять лет назад. Социальная обособленность пятидесятых и начала шестидесятых годов уходила в прошлое. Некоторые большие здания назывались теперь по-другому — «Палата представителей», «Водолей» (что вполне естественно), «Африканское содружество», «Уорик», «Лумумба-Холл».

Карлайлский университет в Коннектикуте был одним из «престижных» учебных заведений, которых так много в Новой Англии. Администрация под руководством ректора доктора Адриана Силфонта перестраивала университет, пытаясь приблизить его к нормам второй половины XX столетия. Неизбежные студенческие протесты, бороды и интерес к изучению Африки соседствовали со степенным богатством, эмблемами закрытых клубов и регатами, устраиваемыми на деньги выпускников. Рок-музыка и факультетские чаепития с танцами отчаянно пытались сосуществовать.

---

[1] Район Нью-Йорка. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Глядя на мирный университетский городок, залитый ярким весенним солнцем, Лоринг подумал: неужели в таком месте может происходить что-то серьезное?

Тем более то, из-за чего он сюда приехал.

Невероятно, но факт.

Карлайлский университет был подобен бомбе замедленного действия, взрыв которой приведет к огромному количеству жертв. А в том, что она рано или поздно взорвется, Лоринг не сомневался. Что́ произойдет до этого, предсказать было трудно. И именно ему предстояло рассчитать все возможные варианты и выбрать оптимальный. Ключом к решению этой задачи был Джеймс Барбур-Мэтлок, бакалавр гуманитарных наук, магистр, доктор философии.

Лоринг проехал мимо красивого двухэтажного дома на четыре квартиры с отдельными входами. Это был один из лучших домов для профессорско-преподавательского состава — в таких обычно жили способные молодые преподаватели до тех пор, пока положение не обязывало их обзавестись собственным домом. Мэтлок жил на первом этаже.

Лоринг объехал квартал и поставил машину наискосок от двери Мэтлока. Он не мог здесь долго стоять — то и дело вертелся на сиденье и поглядывал на машины и пешеходов, чтобы удостовериться, что за ним самим никто не следит. Это было очень важно. По воскресеньям, как удалось установить в ходе наблюдений за Мэтлоком, молодой профессор обычно читал газеты примерно до полудня, после чего ехал в северную часть Карлайла, где жила Патриция Бэллентайн. Естественно, в том случае, если она проводила ночь у себя дома, а не у него. Затем они обычно отправлялись куда-нибудь за город пообедать и возвращались к Мэтлоку или ехали на юг — в Хартфорд или в Нью-Хейвен [1]. Бывало, конечно, и иначе. Девушка и Мэтлок часто уезжали вместе на весь уик-энд и регистрировались в отелях как муж и жена. Однако в этот уик-энд, согласно данным наблюдения, оба остались в городе.

Лоринг взглянул на часы. Было двенадцать сорок, но Мэтлок все еще не выходил. Через несколько минут Лоринга ждали на Кресент-стрит, 217. Там ему предстояло поменять машину, чтобы не вызывать подозрений.

Он знал, что ему не нужно вести наблюдение за Мэтлоком. Он внимательно изучил все дело, просмотрел десятки фотографий и даже побеседовал с доктором Силфонтом, ректором университета. Но у каждого агента свои методы работы, а он имел обыкновение несколько часов понаблюдать за своим подопечным и только потом вступать в контакт. Некоторые его коллеги по министерству юстиции утверждали, что это дает ему ощущение власти. Лоринг же знал, что это дает ему уверенность.

Дверь квартиры Мэтлока отворилась, и из нее вышел высокий человек в брюках цвета хаки, мягких туфлях и бежевом свитере. Лоринг заметил, что он недурен собой, с острыми чертами лица и длинными светлыми волосами. Он проверил замок, надел солнечные очки и пошел по тротуару к небольшой стоянке для автомобилей. Через несколько минут Джеймс Мэтлок выехал на улицу в спортивном автомобиле «форд-триумф».

Агент подумал, что у его подопечного, очевидно, весьма приятная и не отягощенная заботами жизнь. Достаточный доход, никакой ответственности, интересная работа и к тому же необременительная связь с красивой девушкой.

Все ли у Джеймса Барбур-Мэтлока останется по-прежнему через три недели? Ведь его мир вот-вот рухнет в пропасть.

2

Мэтлок до упора вжал в пол педаль акселератора, и стрелка спидометра показала шестьдесят две мили в час. Не то чтобы он спешил — Пэт Бэллентайн никуда не собиралась,— просто он был очень зол. Нет, даже не зол, а скорее раздражен. Его всегда раздражали телефонные звонки из дома. Время тут ничего не изменит. Деньги тоже не помогут — если даже он и сумеет заработать столько, чтобы стать в глазах отца человеком респектабельным. Вместо того чтобы примириться с существующим положением, родители без конца возвращаются к наболевшему вопросу. Настаивают, чтобы

[1] Небольшие городки в штате Коннектикут.

он провел предстоящие каникулы в Скарсдейле, откуда мог бы ежедневно ездить с отцом в город. В банки, к адвокатам. Чтоб быть готовым к неизбежному, когда оно произойдет.

«Сын, тебе многому придется научиться,— сказал отец замогильным голосом.— Ведь ты не вполне подготовлен...»

«Ты — все, что у нас осталось, дорогой»,— сказала мать с болью в голосе.

Мэтлок знал, что они получают мученическое удовольствие, предвкушая уход из этого мира. Они оставили в нем свой след — по крайней мере отец оставил. Но самое забавное, что родители его здоровы как быки, выносливы как мулы. Они, конечно, не на один десяток лет переживут его.

Просто они хотят, чтобы он больше времени проводил с ними. Они намекают на это вот уже три года, с тех пор как умер Дэвид. Подъезжая к дому Пэт, Мэтлок подумал, что его раздражение, наверное, объясняется чувством вины. Ведь он до сих пор не простил себе смерти Дэвида. И вряд ли когда-нибудь простит.

А кроме того, ему совсем не хотелось ехать на каникулы в Скарсдейл. Он избегал воспоминаний. Сейчас в его жизни появился человек, который помогал ему забыть те ужасные годы. Он обещал поехать с Пэт на Сент-Томас.

Загородный ресторанчик назывался «Чеширский кот», и, разумеется, все там было как в английском пабе. Кормили прилично, напитки подавали в изобилии, и коннектикутцы любили туда ездить. Мэтлок и Пэт только что выпили по второй «Кровавой Мэри» [1] и заказали ростбиф и йоркширский пудинг. В довольно просторном зале было еще, может быть, с десяток пар. В углу сидел мужчина и читал «Нью-Йорк таймс», сложив газету вертикально.

— По всей вероятности, рассерженный папаша ждет, когда объявится сынок. Типичный пассажир скарсдейлского утреннего поезда.

— Нет, он слишком спокоен.

— Они умеют прятать напряжение. Только их аптекари знают, как они это делают. С помощью гелузила.

— Всегда что-то выдает человека, а здесь этого нет. На вид он вполне доволен собой. Думаю, что ты ошибаешься.

— Ты просто не знаешь Скарсдейла. Самодовольство — все равно что местная фабричная марка. Без этого нельзя и дома купить.

— Кстати, о Скарсдейле: что ты собираешься делать? Я, право, думаю, нам надо отменить Сент-Томас.

— Не знаю. Зима была тяжелая — мы заслужили немного солнца. А родители ведут себя неразумно. Я вовсе не намерен тратить время, изучая, как Мэтлоки управляют своим состоянием. И если уж они решат покинуть этот мир — что маловероятно,— делами займется кто-нибудь другой, а не я.

— По-моему, это всего лишь предлог. И тебе ведь тоже так казалось. Старикам хочется, чтобы ты побыл с ними. Очень трогательно, что они не говорят об этом прямо.

— Ничего трогательного — просто отец пытается меня подкупить... Смотри-ка, а джентльмен-то потерял терпение.— Одинокий мужчина с газетой, осушив свой стакан, объяснял официантке, что обедать он не будет.— Бьюсь об заклад, он представил себе своего длинноволосого сынка в кожаной куртке, возможно даже босиком, и сам перепугался.

— По-моему все-то ты про этого беднягу навыдумал.

— Нет. Я ему сочувствую. Просто не люблю издержек бунта. Мне от них становится не по себе.

— Занятный вы человек, рядовой Мэтлок,— сказала Пэт, намекая на бесславную военную карьеру Мэтлока.— Давай съездим в Хартфорд. Там хороший фильм.

— Извини, совсем забыл. Сегодня не получится... Силфонт просил зайти к нему вечером. Какое-то важное дело.

— Какое?

— Даже не знаю. Может быть, что-нибудь связанное с африканскими исследованиями. Этот дядя Том, которого я переманил у Говарда, оказался правее самого Людовика Четырнадцатого.

---

[1] Коктейль из водки и томатного сока.

Она улыбнулась:

— Нет, ты просто невыносим!

Мэтлок взял ее за руку.

Резиденция доктора Адриана Силфонта вполне соответствовала его положению. Это был большой дом в колониальном стиле, с широкой мраморной лестницей, которая вела к массивным резным дверям. По всей ширине фронтона шли ионические колонны. С заходом солнца на лужайке включалась специальная подсветка.

Мэтлок поднялся по лестнице и позвонил. Горничная провела его по коридору в глубину дома, в огромную библиотеку доктора Силфонта.

Адриан Силфонт стоял в центре комнаты; с ним были еще двое. Силфонт всегда производил сильное впечатление на Мэтлока. Высокий, стройный, с орлиными чертами лица, он излучал тепло, которое чувствовали все, кто находился рядом. Это был человек поистине блестящий и в то же время по-настоящему скромный. Он очень нравился Мэтлоку.

— Добрый вечер, Джеймс,— Силфонт протянул Мэтлоку руку.— Мистер Лоринг, разрешите представить вам доктора Мэтлока.

— Добрый вечер. Привет, Сэм,— обратился Мэтлок к третьему из присутствующих — декану Сэмюелу Кресселу.

— Привет, Джим.

— Мы как будто уже встречались?— спросил Мэтлок, глядя на Лоринга.— Не могу вспомнить где.

— Вы меня поставите в очень неловкое положение, если вспомните.

— Еще бы,— сардонически засмеялся Крессел.

— Что вы имеете в виду, Сэм?

— Я вам сейчас отвечу,— прервал его Адриан Силфонт.— Мистер Лоринг — сотрудник министерства юстиции. Я согласился организовать эту встречу, но я не давал согласия на то, на что тут сейчас намекали Сэм и мистер Лоринг. Очевидно, мистер Лоринг счел целесообразным взять вас... как это называется на официальном языке... «под наблюдение». Я сказал, что категорически возражаю.— Силфонт в упор посмотрел на Лоринга.

— Взять под... что? — тихо переспросил Мэтлок.

— Прошу извинить,— сказал Лоринг.— Такая уж у меня привычка — она не имеет никакого отношения к нашему делу.

— Вы тот человек с пригородного поезда в «Чеширском коте».

— Что-что?— переспросил Сэм Крессел.

— Человек с газетой.

— Совершенно верно. Я знал, что вы обратили на меня внимание, и подумал, что вы сразу же меня узнаете, как только увидите здесь. Но я не знал, что похож на пассажира с пригородного поезда.

— Это все из-за газеты. Мы окрестили вас рассерженным папашей.

— Иногда я им бываю. Хотя не часто. Моей дочке всего семь лет.

— Давайте начнем,— сказал Силфонт.— Кстати, Джеймс, я рад, что вы проявляете понимание.

— Я проявляю лишь любопытство. И в известной мере страх. Сказать по правде, я до смерти напуган.— Мэтлок неуверенно улыбнулся.— Так в чем же дело?

— Выпьем чего-нибудь и поговорим.— Адриан Силфонт тоже улыбнулся и направился к бару в углу комнаты.— Джеймс, насколько я знаю, вы любите бурбон[1] с водой? А вам, Сэм, двойное виски со льдом, правильно? А вы что будете пить, мистер Лоринг?

— Виски с водой, пожалуйста.

— Вы меня поражаете, Адриан,— сказал декан, опускаясь в кожаное кресло.— Как это вам удается запомнить, что пьют ваши подчиненные?

Силфонт рассмеялся.

— Этому есть вполне логичное объяснение. И я помню о вкусах не только моих... коллег. Мне удалось добыть куда больше денег для университета с помощью алкоголя, чем с помощью сотен докладов и отчетов, подготовленных лучшими специалистами по созданию фондов.— Адриан Силфонт усмехнулся. Усмешка эта могла относиться как к присутствующим, так и к нему самому.— Однажды мне пришлось выступать в Ор-

[1] Кукурузное или пшеничное виски.

ганизации университетских ректоров. Когда стали задавать вопросы, меня спросили, чем я объясняю, что наш университет так хорошо обеспечен... Я ответил, что это заслуга тех древних народов, которые научились делать из винограда вино...

Мэтлок, Крессел и Лоринг рассмеялись.

— Ваше здоровье!— Ректор поднял стакан. Это и был весь тост.— Попробую начать, Джеймс... и Сэм. Несколько недель назад начальник мистера Лоринга попросил меня приехать в Вашингтон по делу чрезвычайной важности, имеющему отношение к университету. Я поехал и узнал такое, чему до сих пор не могу поверить. Информация, которую сообщит вам мистер Лоринг, на первый взгляд неоспорима. Но только на первый взгляд: слухи; вырванные из контекста заявления, как письменные, так и устные; тщательно подобранные свидетельские показания — все это может ничего и не значить. С другой стороны, тут может быть рациональное зерно. Потому-то я и согласился на эту встречу. Однако должен со всей ясностью заявить, что ни в коем случае не могу принимать в этом участия. Университет не будет принимать в этом участия. До чего бы мы сейчас ни договорились, это получит мое личное одобрение, но не официальное разрешение. Вы будете действовать как частные лица, а не как штатные сотрудники университета. Если, конечно, вы вообще сочтете необходимым действовать... Ну, а теперь, Джеймс, если то, что я сказал, вас не испугало, значит, вас вообще ничем не испугаешь.— Силфонт снова улыбнулся, но все было ясно.

— Меня это испугало,— просто сказал Мэтлок.

Крессел поставил стакан и наклонился вперед.

— Значит ли это, что вы не даете «добро» на присутствие Лоринга и на то, ради чего он сюда приехал?

— Трудно сказать. Если его утверждения имеют под собой почву, я, конечно, не могу отвернуться от них. С другой стороны, никакой ректор в наши дни не станет открыто сотрудничать с правительственным учреждением на основе одних лишь умозрительных заключений. Вы меня извините, мистер Лоринг, но слишком многие в Вашингтоне пользовались в своих интересах учебными заведениями. Я имею в виду прежде всего Мичиганский университет, Беркли, Колумбийский. Обычная полицейская работа — это одно, а внедрение... это, скажем прямо, совсем другое.

— Внедрение? Это серьезно,— заметил Мэтлок.

— Может быть, даже слишком серьезно. Подробнее вам расскажет мистер Лоринг.

Крессел снова взял свой стакан.

— Могу я узнать, почему выбор пал на нас — на Мэтлока и на меня?

— И это вы тоже узнаете от мистера Лоринга. Однако, Сэм, поскольку вас пригласил сюда я, могу дать вам свое объяснение. Как декан, вы, конечно, лучше, чем кто-либо другой, знаете, что происходит в университетском городке. Вы также сразу почувствуете, если мистер Лоринг и его помощники перейдут дозволенные границы... Вот, пожалуй, и все, что я имею сказать. А сейчас я вас покину.— Силфонт снова подошел к бару и поставил стакан на поднос. Остальные трое поднялись.

— Еще один вопрос, прежде чем вы уйдете,— сказал Крессел, наморщив лоб.— А что, если мы оба или один из нас не захотим участвовать в... деле мистера Лоринга?

— В таком случае откажитесь.— Адриан Силфонт направился к двери.— Вы вовсе не обязаны соглашаться — я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Мистер Лоринг это понимает. Всего доброго, джентльмены.

Силфонт вышел в коридор и закрыл за собой дверь.

3

Мэтлок, Крессел и Лоринг продолжали молча стоять. Они слышали, как открылась и закрылась входная дверь. Крессел повернулся и посмотрел на Лоринга.

— По-моему, вас поставили в затруднительное положение.

— Я привык. Сейчас вы поймете, чем вызвана наша встреча. Дело в том, что я работаю в министерстве юстиции, в бюро по борьбе с наркотиками.

Крессел опустился на стул и стал потягивать виски.

— Вряд ли вы приехали сюда, чтобы рассказать нам, что сорок процентов студентов употребляют марихуану и кое-что другое. Ибо если так, то ничего нового вы нам не сообщите.

— Нет, я не за тем приехал сюда. Я полагаю, вам это известно. Это всем известно. Только процент, пожалуй, сильно занижен.

Мэтлок допил бурбон, подошел к бару и налил себе еще.

— Занижен или нет, но если сравнивать с другими университетами, у нас нет оснований для паники,— заметил он.

— Из-за этого — никаких, но речь идет не об этом.

— А о чем-то другом?

— И весьма серьезном.— Лоринг подошел к письменному столу Силфонта и нагнулся за стоявшим на полу чемоданчиком. Он явно уже побеседовал с ректором до прихода Мэтлока и Кресселя. Положив чемоданчик на письменный стол, Лоринг открыл его. Мэтлок тем временем вернулся к своему стулу и сел.— Я хотел бы вам кое-что показать.

Лоринг вытащил из чемоданчика толстый лист серебристой бумаги, неровно разрезанный по диагонали чем-то вроде садовых ножниц. Бумага была грязная и захватанная. Лоринг протянул ее Мэтлоку. Крессел встал и подошел к ним.

— Это какое-то письмо. Или объявление. С цифрами,— сказал Мэтлок.— Написано по-французски, нет, скорее по-итальянски. Что-то не могу понять.

— Браво, профессор,— сказал Лоринг.— И на том и на другом языке. А вообще-то на корсиканском диалекте. Называется он олтремонтанским, и говорят на нем в горной части страны, на юге. Как и этрусский, он очень плохо изучен. Но код настолько прост, что его даже кодом не назовешь. В общем, информации вполне достаточно.

— А именно?— спросил Крессел, беря у Мэтлока странную бумагу.

— Прежде всего я хотел бы объяснить, как она к нам попала. Без этого объяснения вы ничего не поймете.

— Мы слушаем.— Крессел вернул бумагу Лорингу, и тот бережно положил ее в чемоданчик.

— Курьер торговцев наркотиками — то есть человек, который едет в страну или регион, поставляющий наркотики, с инструкциями, деньгами, письмами, — отбыл полтора месяца назад. Но это был не просто курьер, а достаточно влиятельная фигура в иерархии, занимающейся распределением товара. Его убили горцы в Торос Даглари — это в Турции, в районе, где выращивают сырье. Судя по всему, он отказался там от поставок, после чего его убрали. Мы принимаем эту версию: действительно торговцы наркотиками уходят из Средиземноморья, перемещаются в Южную Америку... Бумага была найдена на теле убитого, в кожаном поясе. Как видите, она побывала во многих руках. И цена на нее от Анкары до Марракеша росла. Наконец, тайный агент Интерпола приобрел ее и передал нам.

— Да, далекое путешествие. Из Торос Даг... как вы там сказали... в Вашингтон,— заметил Мэтлок.

— И к тому же дорогостоящее,— добавил Лоринг.— Только она сейчас не в Вашингтоне, а здесь. Из Торос Даглари в Карлайл, штат Коннектикут.

— Полагаю, это не случайно.— Сэм Крессел сел, не сводя с Лоринга настороженного взгляда.

— Конечно. Информация, содержащаяся в этом документе, имеет отношение к Карлайлу.— Лоринг говорил спокойно, опершись на письменный стол; голос его звучал обыденно. Он производил впечатление учителя, объясняющего ученикам скучную теорему, которую, однако, надо знать.— Здесь говорится, что десятого мая, то есть через три недели, считая с завтрашнего дня, состоится конференция или совещание. Цифры соответствуют географическим координатам района Карлайла — долгота и широта по Гринвичу с точностью до минут. Эта бумага — одновременно приглашение и пропуск на конференцию. У каждого такого листа есть вторая половина, или же он имеет определенную форму и его можно сравнить с образцом — простейшая мера предосторожности. Нам не хватает лишь точного места встречи.

— Одну минуту,— негромко, но резко произнес Крессел.— Не забегаете ли вы вперед, Лоринг? Вы еще не изложили нам своей просьбы, а уже сообщаете информацию, причем явно закрытую. Администрация университета не имеет ни малейшего желания превращаться в сыскную службу правительства. Так что для начала будьте любезны сказать, чего вы от нас хотите.

— Прошу извинить меня, мистер Крессел. Вы сказали, что я попал в затруднительное положение, и вы правы. Я действую крайне неумело.

— Как бы не так! Вы же профессионал.

— Подождите, Сэм.— Мэтлок поднял руку, удивленный необъяснимой враждебностью Кресселя.— Силфонт сказал, что мы вправе отказаться от любого предложе-

ния. И если мы откажемся,— а скорее всего мы так и сделаем,— то хотелось бы принять это решение осознанно, а не импульсивно.

— Не будьте наивным, Джим. Стоит вам узнать закрытую или секретную информацию и вы мгновенно становитесь причастны к делу. Вы же не можете отрицать, что получили определенные сведения.

Мэтлок взглянул на Лоринга.

— Это правда?

— До некоторой степени да. Не стану вас обманывать.

— Тогда почему мы должны вас слушать?

— Потому что это связано с университетом Карлайла. Уже в течение многих лет. И положение критическое. Предельно критическое, так как у нас всего три недели, чтобы предпринять какие-то шаги на основе этой информации.

Крессел поднялся, глубоко вдохнул и медленно выдохнул воздух.

— Создается кризис — без доказательств,— и навязывается участие. Кризис рассасывается, но остаются документы, которые показывают, что университет был молчаливым соучастником федерального расследования. Так было в Висконсинском университете.— Крессел повернулся к Мэтлоку.— Помните, Джим? Шесть дней беспорядков в городке, а потом полсеместра студенческих собраний.

— Это было затеяно Пентагоном,— сказал Лоринг.— Те обстоятельства не имели ничего общего с нынешними.

— Вы считаете, что если расследование ведет министерство юстиции, то это легче проглотить? Почитайте университетские газеты.

— Ради бога, Сэм, дайте же человеку договорить. Если не хотите слушать, отправляйтесь домой. А я выслушаю до конца.

Крессел презрительно посмотрел на Мэтлока.

— Хорошо, понимаю. Валяйте, Лоринг. Но помните: никаких обязательств. И мы не связаны обещанием хранить тайну.

— Что ж, я ставлю на ваш здравый смысл.

— Можете ошибиться.— Крессел подошел к бару и плеснул себе еще виски.

Лоринг присел на край письменного стола.

— Я начну с вопроса — слышали ли вы когда-нибудь слово «нимрод»?

— Нимрод — это древнееврейское имя,— ответил Мэтлок.— Ветхий Завет. Потомок Ноя, правитель Вавилона и Ниневии. Был прославленным охотником, что заслонило более существенные обстоятельства, а именно, что он основал или построил большие города в Ассирии и Месопотамии.

— Еще раз браво, профессор,— улыбнулся Лоринг.— Значит, охотник и строитель. Но я имею в виду более современное значение этого слова.

— Более современного я не знаю. А вы, Сэм?

Крессел вернулся к своему стулу со стаканом в руке.

— Я понятия не имел даже о том, что вы сказали. Я думал, «нимрод» — это блесна для рыбной ловли. Специально для форели.

— В таком случае разрешите мне несколько расширить ваши познания... Не стану утомлять вас статистикой, связанной с наркотиками: я уверен, что вас постоянно бомбардируют этими данными.

— Постоянно,— подтвердил Крессел.

— Однако существует особая географическая статистика с которой вы, может быть, и не знакомы. Торговля наркотиками в штатах Новой Англии развивается быстрее, чем в любом другом районе страны. Это страшноватая тенденция. Для сравнения: в Калифорнии, Иллинойсе, Луизиане борьба с наркотиками стала настолько успешной что уже можно говорить о снижении кривых роста. На большее трудно надеяться, пока международные соглашения не обретут реальной силы. Однако в Новой Англии дело обстоит иначе. Здесь торговля наркотиками расширяется со скоростью степного пожара. И особенно поражены университеты.

— Откуда вы это знаете? — спросил Мэтлок.

— Для этого существует много способов, но данные приходят всегда поздно, и предотвратить распространение наркотиков не удается. Осведомители, меченые документы из средиземноморских, азиатских и латиноамериканских источников, вклады в швейцарских банках — но это все секретная информация.— Лоринг взглянул на Крессела и улыбнулся.

— Теперь я вижу, что вы там просто рехнулись,— неприязненно заметил Крессел.— Но если вы можете чем-то подкрепить свои обвинения, то, по-моему, вы должны сделать это публично и во всеуслышание.

— У нас есть причины не делать этого.

— Тоже секретные, я полагаю,— сказал Крессел с легким презрением.

— Есть тут одно обстоятельство,— продолжал Лоринг, не обращая на него внимания.— В привилегированных университетах Восточного побережья, больших и маленьких, таких как Принстон, Амхерст, Гарвард, Вассар, Уильямс и Карлайл, немалый процент студентов составляют сыновья и дочери людей, работающих в правительстве и в промышленности. Тут есть потенциальная возможность шантажа, и мы думаем, что к нему уже прибегали. Такие люди ведь особенно уязвимы и не хотят попасть в скандал, связанный с наркотиками.

— Предположим, что это правда,— перебил его Крессел,— хотя я сильно сомневаюсь; но у нас-то здесь всегда было гораздо меньше неприятностей, чем в других университетах на Северо-Востоке.

— Мы это знаем. И даже думаем, что знаем, почему это так.

— Это лишь предположения, мистер Лоринг. Переходите к делу.— Мэтлоку не нравилось, когда разговор шел вокруг да около.

— Любая сеть по распространению и сбыту наркотиков, которая систематически обслуживает клиентов, расширяется и держит под контролем целый район страны, должна иметь какую-то базу для своих операций. Короче говоря, единый центр. Так вот такой базой, таким центром по распространению наркотиков в Новой Англии является Карлайлский университет.

Стакан выпал из рук Сэмюела Крессела и разбился на паркетном полу Адриана Силфонта.

Ральф Лоринг продолжал свой удивительный рассказ. Мэтлок и Крессел буквально приросли к стульям. Несколько раз Крессел пытался прервать Лоринга, пытался возразить, но слишком убедительны были доводы Лоринга. Оспаривать их было бесполезно.

Карлайлским университетом занялись полтора года тому назад. Толчком послужила бухгалтерская книга, обнаруженная французской службой безопасности во время одного из многочисленных рейдов в марсельском порту. Когда было установлено американское происхождение книги, ее отправили, как и требовало соглашение с Интерполом, в Вашингтон. В книге то и дело попадалась запись «К — 22° — 59°», за которой неизменно следовало имя «Нимрод» Цифры, как выяснилось, соответствовали географическим координатам северной части штата Коннектикут, но более точные указания места — в минутах — отсутствовали. После проверки сотни возможных маршрутов переброски груза с Атлантического побережья и из аэропортов, связанных с Марселем, за районом Карлайла началось усиленное наблюдение.

Постепенно выяснилось одно удивительное обстоятельство. Карлайлская группа действовала независимо; она не была связана абсолютно ни с кем. Она использовала известные преступные элементы, но они не использовали ее. Это была хорошо организованная группа, сумевшая проникнуть в большинство университетов Новой Англии. И по всей видимости, наркотиками дело не ограничивалось.

Имелись доказательства того, что группа, орудовавшая в Карлайле, держала под контролем и азартные игры, и проституцию, и даже устройство выпускников на работу. Кроме того, похоже было, что у нее есть какой-то интерес, какая-то цель помимо обычной погони за прибылями. Карлайлская группа могла бы зарабатывать куда больше и легче, если бы напрямую имела дело с известными преступниками — признанными поставщиками товара во всех областях. Она же тратила деньги на совершенствование собственной организации. Она никому не подчинялась, имела свои источники и свою сеть распространения. Но в каких целях все это делалось, было неясно.

Карлайлская группа стала такой мощной, что угрожала подорвать основы организованной преступности на Северо-Востоке страны. Это побудило заправил преступного мира потребовать встречи с теми, кто руководил операциями в Карлайле. Главную роль здесь играла группа или человек по имени Нимрод.

Цель такого совещания, судя по всему,— достичь соглашения между Нимродом и королями преступного мира, которые в расширении сферы деятельности Нимрода по-

чувствовали угрозу своему бизнесу. На этом совещании будут десятки известных и неизвестных преступников со всей Новой Англии.

— Мистер Крессел! — нерешительно обратился Лоринг к декану.— Я думаю, у вас есть списки людей — студентов, преподавателей, служащих,— которые, по вашим предположениям, имеют отношение к наркотикам. Я не могу этого утверждать, но в большинстве университетов такие списки имеются.

— Я не стану отвечать на этот вопрос.

— Тем самым вы на него ответили,— спокойно и даже сочувственно заметил Лоринг.

— Ничего подобного! Люди вашей профессии имеют привычку делать выводы, какие им выгодны.

— Хорошо, принимаю ваш упрек. Но даже если бы вы ответили утвердительно, я не собирался у вас ничего просить. Я просто хотел сказать, что такой список есть у нас. Я хотел, чтобы вы об этом знали.

Сэм Крессел понял, что попал в западню. Находчивость Лоринга лишь еще больше разозлила его.

— Я и не сомневался, что он у вас есть.

— Стоит ли говорить, что мы готовы передать вам копию.

— В этом нет необходимости.

— Вы ужасно упрямы, Сэм,— сказал Мэтлок.— Не будьте страусом.

— Декан знает, что он может изменить свое решение,— опережая Крессела, сказал Лоринг.— К тому же, как выяснилось, положение вовсе не критическое... Удивительно, сколько на свете людей, которые только тогда попросят о помощи или примут ее, когда крыша свалится им на голову!

— Зато, когда ваша организация превращает трудную ситуацию в катастрофу, это уже никому не кажется удивительным,— враждебно парировал Сэм Крессел.

— Мы тоже иногда ошибаемся.

— Раз у вас есть конкретные имена,— продолжал Сэм,— почему бы вам не заняться этими людьми? Оставьте нас в покое и не втягивайте в свою грязную работу. Производите аресты, выдвигайте обвинения. Но не пытайтесь подменять нас.

— Мы и не собираемся... Кроме того, по большей части наши материалы не могут быть предъявлены в суд.

— Так я и думал,— заметил Крессел.

— Ну, а что мы выиграем? Что вы выиграете? — Лоринг в упор посмотрел на Сэма.— Арестуем сотню-другую наркоманов, мелких торговцев и их клиентов. Неужели вы не понимаете, что это ничего не решает?

— Вот наконец мы и подошли к тому, чего вы действительно хотите.— Мэтлок выпрямился и внимательно посмотрел на агента.

— Да,— ответил Лоринг тихо.— Мы хотим взять Нимрода. Мы хотим знать место проведения совещания десятого мая. Это может быть где угодно в радиусе от пятидесяти до ста миль. Мы хотим сломать хребет Нимроду по причинам, которые касаются далеко не только Карлайлского университета. И не только торговли наркотиками.

— Каким же образом вы намерены действовать? — осведомился Джеймс Мэтлок.

— Доктор Силфонт сказал — «внедрением»... Профессор Мэтлок, на жаргоне разведки вы человек «исключительно контактный» в своих кругах. Вас приемлют самые разные, даже конфликтующие между собой группы — как среди преподавателей, так и среди студентов. У нас есть имена, у вас — возможности контактов.— Лоринг снова полез в свой чемоданчик и вытащил разрезанный лист серебристой бумаги.— Где-то есть информация, которая нам необходима. Где-то есть человек с такой же бумагой. Он знает то, что нам нужно.

Джеймс Барбур-Мэтлок неподвижно сидел на стуле, не сводя глаз с агента. Ни Лоринг, ни Крессел не знали, о чем он думает, но догадывались. Если бы мысли можно было слышать, в этой комнате наступило бы полное согласие. Джеймс Мэтлок унесся мыслями на три, почти четыре года назад. Ему вспомнился белокурый девятнадцатилетний юноша. Быть может, немного незрелый для своего возраста, но добрый и хороший.

Они нашли его, как находили тысячи таких же юношей в тысячах городов по всей стране. Другие Нимроды, в другие времена.

Дэвид, брат Джеймса Мэтлока, воткнул иглу шприца в правую руку и ввел в себя тридцать миллиграммов белой жидкости. Произошло это на маленькой яхточке в спокойных водах залива Кейп-Код. Яхточка застряла у берега в камышах. Когда ее нашли, брат Джеймса Мэтлока был мертв.

Мэтлок принял решение.

— Вы мне можете дать имена?

— Списки со мной.

— Стойте! — Крессел поднялся на ноги и продолжал, но уже не сердито, а испуганно: — Вы понимаете, о чем вы его просите? У него же нет никакого опыта. Он не имеет специальной подготовки. Используйте одного из ваших сотрудников.

— Нет времени. Нет времени на то, чтобы внедрить нашего человека. А мистера Мэтлока будут охранять, да и вы поможете.

— Я могу не допустить этого.

— Нет, Сэм, не можете,— сказал Мэтлок, продолжая сидеть.

— Джим, поймите же: если в его словах есть хотя бы доля правды, он ставит вас в чудовищное положение. В положение доносчика.

— Вы можете уйти. И мое решение не будет иметь к вам никакого касательства Почему бы вам не отправиться домой? — Мэтлок поднялся и медленно направился к бару со стаканом в руке.

— Сейчас это уже невозможно,— сказал Крессел, поворачиваясь к агенту.— И он это знает.

Лоринг почувствовал что-то вроде грусти Этот Мэтлок оказался хорошим человеком: он соглашался из чувства долга. Профессионалы холодно рассудили, что если Джеймс Мэтлок согласится, его, скорей всего, ждет верная смерть. Это была страшная цена. Но конечная цель стоила того. Совещание стоило того.

Нимрод стоил того.

Так считал Лоринг.

И благодаря этому мог выполнить задание.

4

Записывать ничего было нельзя; инструктаж проходил медленно, со множеством повторений. Но Лоринг понимал, как важно делать перерывы, чтобы инструктируемый мог отдохнуть от потока информации, которую ему надо было вобрать в себя за короткое время. Во время этих перерывов Лоринг пытался разговорить Мэтлока, побольше узнать об этом человеке, чьей жизнью так легко пожертвовали чужие люди. Было около полуночи; Сэм Крессел ушел еще до восьми. Ему не следовало — да и незачем было — присутствовать во время этого детального инструктажа Он мог быть помощником, но не активной фигурой в игре. И Крессел не стал возражать против такого решения.

Ральф Лоринг быстро выяснил, что Мэтлок — человек скрытный. Его ответы на самые невинные вопросы были короткими, небрежными, свою персону он оценивал весьма скромно. Через какое-то время Лоринг отказался от первоначального плана действий. В конце концов Мэтлок согласился выполнить задание, но не излагать свои мысли или побуждения. Последние Лоринг понимал, а это главное. Он даже был рад, что не слишком хорошо знает Мэтлока.

А Мэтлок, запоминая сложную информацию, тоже думал о своей жизни. Почему все-таки выбор пал именно на него? Его интриговало определение «контактный». Дурацкое слово — «контактный»!

И все же Мэтлок знал, что он как раз такой человек. Он действительно контактен. Профессиональные исследователи, или психологи, или как там их называют, нашли точное слово Но он сомневался, что они понимают причины его... «контактности».

Научный мир был для него прибежищем, своего рода храмом. Не средством удовлетворения закоренелого честолюбия. Он ушел в этот мир чтобы выиграть время, организовать жизнь, которая никак не складывалась, и понять, что к чему.

Он пытался объяснить это своей жене, своей очаровательной, умной, живой и абсолютно пустой жене, которая считала, что он сошел с ума Что там понимать — ведь у него такая прекрасная работа, такой прекрасный дом, такой прекрасный клуб и такая прекрасная жизнь в таком прекрасном с точки зрения общественной и финансовой мире. Больше она ничего понимать не желала. И он это понимал.

Но для Мэтлока этот мир потерял значение. Он начал отходить от него уже в двадцать с небольшим, на последнем курсе Амхерста, и окончательно порвал с прошлым после службы в армии.

Трудно назвать что-то конкретное, что привело Мэтлока к неприятию своего мира Все началось еще дома, где обычно человек и становится приверженцем или противником образа жизни своих родителей. Старик отец считал, что он вправе требовать от своего первенца большей активности. У сына должна быть цель в жизни и целеустремленность, чего пока не видно. Обо всем этом, к неудовольствию Мэтлока, говорилось не раз и не два. Отец напоминал ему доброго правителя, для которого отказ законного наследника от трона означает конец династии, правившей в течение многих поколений Старик Мэтлок просто не мог представить себе, что его сын не будет руководить семейным делом. Вернее, делами.

Но для Мэтлока-младшего это было совершенно ясно. Перспектива вступления в финансовый мир не радовала его, напротив — пугала. К тому же он понимал, что вместе с богатством и ненужной роскошью придет и оправдание деятельности, ведущей к этой роскоши и богатству. А он такого оправдания не находил.

Он пытался объяснить это отцу. И если жена считала, что Мэтлок сошел с ума то старик объявил его человеком неприкаянным.

Что не так уж сильно расходилось с мнением, которое составили о нем в армии Армия.

Служба была катастрофой. Тем большей, что Мэтлок понимал: он сам навлек ее на себя. В армии он обнаружил, что тупая дисциплина и слепое повиновение ему отвратительны. о чем, не стесняясь, ставил в известность всех окружающих. Разумеется, это оборачивалось против него.

Определенные шаги, осторожно предпринятые дядей, привели к досрочной демобилизации, за что он был по-настоящему благодарен этой влиятельной семье.

Итак, на данном этапе жизни Джеймс Барбур-Мэтлок Второй находился в полном смятении чувств. Он бесславно окончил службу в армии, жена его бросила, семья — пусть символически — лишила всего, он был удручен своей неприкаянностью, отсутствием назначения и цели в жизни.

В поисках ответов на мучившие его вопросы он поступил в аспирантуру. И, как бывает в любовных связях, которые начинаются с постели, а затем перерастают в психологическую зависимость, он полюбил этот мир; он нашел здесь то, что ускользало от него почти все эти пять столь важных для человека лет. Впервые в жизни он был по-настоящему предан своему делу.

И был свободен.

Свободен наслаждаться тем, что жизнь бросила ему серьезный вызов; свободен радоваться, что задача ему по плечу. Годы ученичества пролетели быстро; он был всецело поглощен делом и приятно удивлен выявившимися у него способностями. Выйдя на профессиональную арену, он впустил струю свежего воздуха в душную атмосферу архивов. Он взорвал доселе казавшиеся единственно правильными методы исследования Его докторская диссертация о влиянии двора на английскую литературу эпохи Возрождения отправила на историческую свалку несколько солидных трудов о некоей благодетельнице по имени Елизавета.

Он был ученым нового типа. Беспокойный, неудовлетворенный скептик, он вечно искал и тотчас делился своими находками с другими. Через два с половиной года после получения докторской степени его выдвинули на штатную должность адъюнкт-профессора. За всю историю Карлайлского университета ни один преподаватель не занимал ее в таком молодом возрасте.

Джеймс Барбур-Мэтлок Второй наверстывал упущенное за те ужасные годы. Пожалуй, самым замечательным было сознание, что он может заражать своей увлеченностью других. Он был достаточно молод, чтобы получать от этого удовольствие, и достаточно зрел, чтобы руководить поиском...

— Для вас это неожиданность? — спросил Лоринг, закончив изложение фактов, связанных с закупкой наркотиков.

— Просто мне все стало яснее,— ответил Мэтлок.— Известные, давно существующие студенческие братства или клубы — члены их в основном белые и богатые — получают товар из Хартфорда. Черные же братства вроде Лумумба-Холла ориентируются на Нью-Хейвен. У них разные источники.

— Совершенно верно. Студенты не покупают у карлайлских поставщиков. То есть у Нимрода.

— Это вы мне уже сказали. Людям Нимрода не нужна реклама.

— Но они существуют. И их услугами пользуются.

— Кто же?

— Преподаватели и сотрудники,— невозмутимо ответил Лоринг, перевернув страницу.— А вот это действительно может быть для вас неожиданностью. Мистер и миссис Арчер Бисон.

Мэтлок мгновенно представил себе молодого преподавателя истории и его жену. Насквозь фальшивые, высокомерные, эстетствующие снобы. Арчер Бисон спешил сделать научную карьеру; его жена была классическая университетская инженю, всегда восторженная и не скрывающая своего интереса к сексу.

— Они на ЛСД и метедрине.

— О боже! Вот уж никогда бы не подумал. Откуда вы знаете?

— Долгая история, к тому же эта информация тоже секретная. В двух словах: они, вернее он, покупали очень много в Бриджпорте. После этого Бисон ни в каких списках не фигурировал, однако из игры не вышел. Мы думаем, что он стал посредником в Карлайле. Однако доказательств у нас нет... Вот вам еще один.

Это был тренер университетской футбольной команды. Распространитель наркотиков, но сам не наркоман. Он специализировался на марихуане и амфетамине. Раньше он получал их из Хартфорда. Сейчас он в Хартфорде ничего не покупал, но его банковские счета продолжали расти. Благодаря чему? Очевидно, благодаря Нимроду.

А вот еще один. Тут Мэтлок уже не на шутку испугался. Заместитель декана по приемной комиссии. Окончив Карлайлский университет, он попытал счастья на поприще торговли и довольно скоро вернулся обратно. Жизнерадостный, широкий человек. Он тоже только распространял наркотики, но сам их не употреблял. Действовал всегда через вторых и третьих лиц.

— Мы думаем, что он вернулся сюда не без помощи нимродовской организации. Нимрод неплохо придумал — посадить его на такое место.

— Но это же ужасно. Ведь родители студентов считают этого сукина сына чем-то средним между астронавтом и капелланом.

— Я и сказал, что неплохо придумано. Помните, я говорил вам и Кресселу: люди Нимрода интересуются не только наркотиками.

— Но вы не знаете, чем еще.

— Именно это нам и надо выяснить... А вот информация об учащихся.

В списке значилось пятьсот шестьдесят три фамилии, а всего студентов в Карлайле насчитывалось чуть больше тысячи двухсот. Впрочем, как признал агент, многие попали в этот список не потому, что были наркоманами, а потому, что состояли в студенческих клубах и братствах, известных крупными закупками наркотиков.

— У этого списка,— сказал Лоринг,— есть одна особенность — не знаю, заметили вы ее или нет.

— Думаю, что заметил. Здесь десятка два-три очень громких фамилий — дети весьма влиятельных, высокопоставленных родителей. Промышленность, правительство. Вот этот, например,— Мэтлок ткнул пальцем в список.— Кабинет президента, если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь.

— Да, вы заметили,— улыбнулся Лоринг.

— И уже есть от них отдача?

— Мы не знаем. Возможно. Нимрод времени зря не теряет. Вот почему забили тревогу. Говоря официально, могут быть такие последствия, которые даже представить себе трудно... Вплоть до вынужденных назначений на государственные должности.

— О господи,— тихо произнес Мэтлок.

— Вот именно.

Они услышали, как открылась и закрылась входная дверь. Словно повинуясь условному рефлексу, Лоринг спокойно взял бумаги из рук Мэтлока и быстро положил их обратно в свой чемоданчик. Закрыл его и вдруг молча, как бы между прочим, распахнул пиджак и схватился за рукоятку револьвера, висевшего в небольшой кобуре у него под мышкой. Мэтлок вздрогнул.

В библиотеку вошел Адриан Силфонт. Лоринг небрежным жестом вынул руку из-под пиджака.

— Я не буду мешать вам, джентльмены,— мягко произнес Силфонт.— Однако мне хотелось бы знать, какова позиция Крессела, мистер Лоринг. Джеймс, конечно, принял ваше предложение.

— Мистер Крессел также принял его, сэр. Он будет действовать в качестве связного между нами.

— Понимаю.—Силфонт посмотрел на Мэтлока. Во взгляде его было облегчение.— Я очень благодарен вам за то, что вы решились помочь, Джеймс.

— Сейчас ведь нет выбора.

— Вы правы. И самое ужасное, что в это дело может быть втянуто такое множество людей. Мистер Лоринг, прошу уведомить меня, как только у вас появится что-то конкретное. Тогда я сделаю все, что вы захотите, выполню любую инструкцию. Единственное, чего я прошу,— это доказательств, и тогда вам будет обеспечено мое полное и официальное содействие.

— Понимаю, сэр. Вы и так нам помогли больше, чем можно было рассчитывать. Примите нашу благодарность.

— Выбора у нас действительно нет. Но я обязан поставить определенные условия, ибо превыше всего для меня интересы Карлайла. Университеты сейчас напоминают сонное царство, но это только на первый взгляд... Ну, вам надо еще поработать, а мне — кое-что почитать. Спокойной ночи, мистер Лоринг. Спокойной ночи, Джеймс.

Мэтлок и агент поклонились, и Адриан Силфонт закрыл за собой дверь библиотеки.

К часу ночи Мэтлок уже перестал что-либо усваивать. Главное — фамилии, источники, предположения — прочно отпечаталось у него в памяти, этого он уже не забудет. Естественно, он не мог бы повторить все наизусть, да этого и не требовалось. Но стоит ему увидеть кого-то из перечисленных в списке, память тотчас откликнется. Вот почему агент настоял, чтобы он произнес все фамилии вслух, по нескольку раз. Тогда все будет в порядке.

— Теперь еще одна вещь,— сказал Лоринг.— Это недолго, но очень важно.— Он вытащил из чемоданчика разрезанный кусок серебряной бумаги.— Вот, возьмите.

— Спасибо, хоть и не знаю за что.— Мэтлок взял некогда блестящий лист и принялся рассматривать странный текст.

— Я говорил вам, что это олтремонтанско-корсиканский диалект, и за исключением двух слов так оно и есть. Внизу написано: «Venerare Omerta». Это уже не по-корсикански, а по-сицилийски.

— Я где-то видел эти слова.

— Наверняка видели. В газетах, в романах, в кино. Но от этого они не утратили своего значения для тех, кому адресованы.

— Что же они означают?

— Что-то вроде «Уважайте закон Омерты». Омерта — клятва в верности и молчании, нарушение которой карается смертью.

— Мафия?

— Без нее тут не обошлось. Скорее всего она и есть вторая договаривающаяся сторона. Не забудьте, что это объявление принято совместно двумя группами, пытающимися прийти к соглашению. «Омерта» имеет одинаковую силу для них обеих.

— Не забуду, а что дальше?

— Просто имейте в виду.

— О'кей.

— И последнее. Мы сегодня говорили только о наркотиках. Но если наша информация верна, люди Нимрода действуют и в других сферах. Вымогательство, проституция, азартные игры... Возможно также — но, повторяю, лишь возможно,— контроль над муниципальными властями, законодательными органами штатов и даже федеральным правительством... Насколько нам известно, наркотики — их слабое место, тут у них больше всего проколов, поэтому-то мы на наркотиках и сосредоточились. Другими словами, занимайтесь наркотиками, но не забывайте, что у этой организации есть и другие области деятельности.

— Это не секрет.

— Для вас, возможно, и не секрет. Ну ладно, на сегодня хватит.

— Не дадите ли вы мне номер, по которому я могу вам звонить?

— Ни в коем случае. Только через Крессела. Мы будем связываться с ним по

нескольку раз в день. Как только вы начнете задавать вопросы, вас посадят под колпак. Не звоните в Вашингтон. И не потеряйте корсиканское приглашение. Ваша конечная цель — найти другое такое же.

— Я попытаюсь.

Под внимательным взглядом Мэтлока Лоринг закрыл свой чемоданчик, надел тонкую черную цепочку на запястье и защелкнул замок.

— Прямо как в детективных романах! — рассмеялся Лоринг.

— Зато впечатляет.

— Началась такая практика с дипломатических курьеров — если они погибали, то и диппочта с ними, ну, а сейчас это просто защита от воров... Во всяком случае они так думают.

— Что вы мне морочите голову! Такой чемоданчик, если надо, может выпустить дымовую завесу, послать радиосигнал и взорвать бомбу на расстоянии.

— Вы правы. Все это тут есть. Кроме того, есть еще потайные отделения для бутербродов, для белья и так далее.— Лоринг сдернул чемоданчик с письменного стола.— Давайте выйдем отсюда порознь. Желательно один — через парадную дверь, а другой — через черный ход. С интервалом в десять минут.

— Вы думаете, это необходимо?

— Откровенно говоря, нет, но таковы инструкции.

— О'кей. Я знаю этот дом. Я уйду черным ходом через десять минут после вас.

— Прекрасно.— Лоринг протянул правую руку, левой придерживая чемоданчик.— Не стану говорить, как мы благодарны вам за то, что вы для нас делаете.

— Я полагаю, вы знаете, почему я это делаю.

— Да, мы знаем. Честно говоря, мы на это и рассчитывали.

Лоринг вышел из библиотеки. Открылась и захлопнулась входная дверь. Мэтлок посмотрел на часы. Он еще успеет выпить перед уходом.

В двадцать минут второго Мэтлок медленно шел на запад по направлению к своему дому и размышлял, не прогуляться ли ему на сон грядущий. Во время прогулки хорошо думается, да и заснуть потом легче. Он уже решил повернуть в обратную сторону и пойти на север по Хай-стрит, как вдруг услышал сзади шаги, а затем хриплый шепот:

— Мэтлок! Не оборачивайтесь. Это я, Лоринг. Продолжайте идти и слушайте меня.

— Что случилось?

— Кто-то пронюхал, что я здесь. Мою машину обыскали...

— Черт подери! Откуда вы знаете?

— Следы по всей машине. Спереди, сзади, на багажнике. Очень тщательная, очень профессиональная работа.

— Вы уверены?

— Настолько уверен, что не собираюсь включать мотор.

— Ну и ну! — Мэтлок чуть не остановился.

— Продолжайте идти! На случай если за мной следят — а можно не сомневаться, что это так,— я сделал вид, что потерял ключ от зажигания. Я спросил у нескольких прохожих, где здесь телефон-автомат, а затем подождал, пока вы отойдете подальше.

— Что я должен делать? Там, на следующем углу, есть телефон-автомат...

— Я знаю. По-моему, вам ничего не надо делать, и хорошо — для нас обоих,— если я не ошибаюсь. Я сейчас толкну вас, когда буду проходить мимо. Сильно толкну. Покачнитесь, а я громко извинюсь. Сделайте вид, будто у вас подвернулась нога, рука — словом, потяните время! Держите меня в поле зрения, пока за мной не придет машина и я не кивну вам, что все о'кей. Поняли? Сейчас я побегу к автомату.

— А если вы будете еще разговаривать, когда я подойду?

— Продолжайте идти, но не переставайте наблюдать за мной. Машина ездит тут вокруг.

— Но почему все это?

— Из-за чемоданчика. Все дело в нем. Только за одним Нимрод — если это Нимрод — будет охотиться больше, чем за чемоданчиком. Это за бумагой, которая лежит у вас в кармане. Так что берегитесь!

И без дальнейших предупреждений он промчался мимо Мэтлока и столкнул его с тротуара.

— Извините, дружище! Я ужасно спешу.

Мэтлок взглянул на Лоринга с земли и подумал, что ему незачем притворяться. Лоринг так его толкнул, что необходимость в этом исчезла. Он выругался, с трудом поднялся и медленно захромал к телефонной будке. С минуту он простоял, закуривая сигарету. Тем временем Лоринг зашел в будку и, опустившись на пластмассовое сиденье, сгорбился над телефонной трубкой.

Мэтлок ждал, что вот-вот появится машина, о которой говорил Лоринг.

Но машина не появлялась. Шума мотора не было слышно.

Вместо него в гамме весенних звуков послышалось как бы легкое дуновение. Словно ветер зашелестел листвой. А может быть, хрустнул камешек под ногой или надломилась веточка, не выдержав тяжести молодых листочков. Или ему показалось?

Он подошел к будке. Лоринг все еще сидел, согнувшись над трубкой; чемоданчик стоял на полу, и цепочка была хорошо видна. Человек в будке молчал и не двигался. Мэтлок снова услышал какой-то звук. Это был телефонный гудок.

Невзирая на полученные инструкции, Мэтлок подошел к телефонной будке и открыл дверцу. Иначе поступить он не мог. Агент даже не начал набирать номер.

И Мэтлок мгновенно понял почему.

Лоринг был мертв. Глаза его были широко раскрыты, по лбу струилась кровь. В стекле Мэтлок увидел маленькую круглую дырочку, окруженную сеткой мелких трещин.

Мэтлок в ужасе смотрел на человека, который не один час накачивал его информацией и с которым он расстался всего несколько минут назад. Этот человек, который только что благодарил его, шутил с ним, напоследок предостерег его, был теперь мертв.

Мэтлок отступил к крыльцу ближайшего дома. Инстинкт подсказывал ему, что надо отойти, но не бежать. Здесь, на улице, кто-то был. Кто-то с винтовкой.

Потом он понял, что кричит, хотя и не помнил, когда начал кричать. Просто закричал, не отдавая себе отчета.

— На помощь! На помощь! Тут человек! Убитый!

Мэтлок взбежал на крыльцо и что было сил начал колотить в дверь. В нескольких домах зажегся свет. Мэтлок продолжал кричать:

— Да вызовите же кто-нибудь полицию! Человека убили!

Неожиданно он услышал рев мотора, затем визг шин. Длинный черный автомобиль вынырнул из темноты и понесся к перекрестку. Мэтлок попытался разглядеть номер, но понял, что это бесполезно, и сделал шаг вниз, чтобы хоть увидеть, какой марки машина. Неожиданно его ослепил свет фар. Мэтлок поднял руки, прикрывая глаза, и услышал звук, похожий на легкое дуновение, как несколько минут назад.

В него выстрелили из винтовки с глушителем.

Он бросился со ступенек в кусты. А черный автомобиль умчался прочь.

5

Он ждал один в небольшой комнате с окном, затянутым проволокой. Участок был забит полицейскими и агентами в штатском, спешно вызванными на службу: никто не понимал, что означает это убийство. И не исключалось, что за ним могут последовать другие.

Боевая готовность. Типично для Америки середины века, подумал Мэтлок.

Винтовка.

У Мэтлока хватило присутствия духа позвонить из полицейского участка Сэму Кресселу. Потрясенный Крессел сказал, что попробует связаться с кем надо в Вашингтоне, а затем приедет в полицию.

Они решили, что в ожидании дальнейших инструкций Мэтлок сделает лишь краткое заявление о том, что обнаружил труп и видел автомобиль. Он вышел поздно ночью прогуляться — вот и все.

Ничего больше.

Его показания отпечатали. Спросили, как он оказался в этом районе, как выглядел «автомобиль предполагаемого преступника», в каком направлении он ехал, с какой приблизительно скоростью. Вопросы были традиционные, ответы были выслушаны без комментариев.

Ответ на один из этих вопросов — безоговорочно отрицательный — не давал Мэтлоку покоя.

— Вы когда-нибудь раньше видели убитого?

— Нет.

Это его мучило. Лоринг не заслуживал такой продуманной, преднамеренной лжи. Мэтлок вспомнил, как агент говорил ему о своей семилетней дочери. Жена и девочка; убили мужа и отца, а он даже не может признаться, что знает его имя.

Он не понимал, почему это его так терзает. Возможно, потому, подумал он, что это начало длинной вереницы лжи.

Он подписал свои показания, и его уже собирались отпустить, когда где-то рядом зазвонил телефон. Почти тут же вышел полицейский в форме и громко произнес его фамилию, словно желая убедиться, что он еще здесь.

— Да?

— Вам придется подождать. Пройдите со мной, пожалуйста.

Мэтлок просидел в маленькой комнатке почти целый час. Было без четверти три, и у него кончились сигареты. В самое неподходящее время.

Открылась дверь, и в комнату вошел высокий, худощавый человек с большими серьезными глазами. В руках у него был чемоданчик Лоринга.

— Извините, что пришлось задержать вас, доктор Мэтлок. Вы ведь доктор?

— Можно просто «мистер».

— Разрешите представиться. Моя фамилия Гринберг, Джейсон Гринберг. Федеральное бюро расследований. Дьявольски сложная ситуация, верно?

— «Дьявольски сложная ситуация»? И это все, что вы можете сказать?

Агент испытующе посмотрел на Мэтлока.

— Это все, что я намерен сказать,— ответил он тихо.— Если бы Ральф Лоринг сумел набрать номер, он говорил бы со мной.

— Извините.

— Да ладно. Я недостаточно информирован; конечно, я кое-что знаю о Нимроде, но лишь в общих чертах; надеюсь, к утру меня нашпигуют. Кстати, ваш Крессел едет сейчас сюда. Он знает, что я здесь.

— Теперь что-то изменится?.. Впрочем, глупый вопрос. Человека убили, а я вас спрашиваю... Еще раз извините.

— Не надо извиняться: вы такое пережили... Мы понимаем, что смерть Ральфа могла изменить ваше решение. Просим вас только помалкивать о том, что вам стало известно.

— Вы даете мне возможность отказаться от моего решения?

— Конечно. У вас нет перед нами никаких обязательств.

Мэтлок подошел к небольшому квадратному окну. Полицейский участок находился на южной окраине Карлайла, примерно в полумиле от университета, в той части города, которая считалась промышленной. Тем не менее вдоль улиц росли деревья. Карлайл был очень чистый, аккуратный городок. Деревья возле полицейского участка стояли подстриженные, ухоженные.

Но это был не весь Карлайл.

— Разрешите задать вам один вопрос,— сказал Мэтлок.— То, что я нашел тело Лоринга, привязывает меня к этой истории? Иными словами — будут ли меня считать его сообщником?

— Не думаем. То, как вы вели себя, исключает какую-либо связь между вами.

— Что вы имеете в виду? — Мэтлок повернулся к агенту.

— Вы же, откровенно говоря, ударились в панику. Вы не побежали, не постарались удрать подальше — просто начали орать во все горло. Никакой подготовленный человек, выполняющий задание, не повел бы себя так.

— Но я и не был подготовлен к такому.

— Это не меняет существа дела. Вы его нашли и потеряли голову. Даже если Нимрод подозревает, что тут замешаны мы...

— Подозревает?! — прервал Мэтлок.— Они убили его!

— Кто-то его убил. Едва ли Нимрод. Может быть, другие группы. Никакая «крыша» не дает стопроцентной гарантии — даже такая, как у Лоринга. А у него была отличная «крыша».

— Я вас не понимаю.

Гринберг прислонился к стене и скрестил на груди руки; его большие печальные глаза были задумчивы.

— Из всех агентов министерства у Ральфа была самая лучшая «крыша». Почти пятнадцать лет без сучка без задоринки.— Агент посмотрел себе под ноги и глухо, с легкой горечью закончил: — Великолепная «крыша», которая работает особенно хорошо, когда она человеку уже больше не нужна. И когда ее наконец используют, все теряются от неожиданности. А родным больно и обидно.— Гринберг поднял взгляд и попытался улыбнуться, но улыбки не получилось.

— Я все-таки вас не понимаю.

— А это и не нужно. Главное, что вы оказались там случайно и чуть не спятили со страху. Так что, мистер Мэтлок, вас можно заменить... Что вы на это скажете?

Мэтлок не успел ответить: дверь распахнулась, и вошел взволнованный и испуганный Сэм Крессел.

— О боже! Это же ужасно! Просто ужасно! Вы Гринберг?

— А вы — мистер Крессел.

— Да. Что же будет?— Крессел повернулся к Мэтлоку и спросил:— Вы целы, Джим?

— Конечно.

— Итак, Гринберг, что все-таки происходит?! Я звонил в Вашингтон, и мне сказали, что вы нас проинформируете.

— Я беседовал с мистером Мэтлоком и...

— Вот что,— неожиданно перебил Крессел.— Мы с Силфонтом придерживаемся единого мнения. То, что произошло,— это ужасно... трагично. Мы выражаем наше соболезнование семье покойного, но мы настаиваем, чтобы все связанное с Карлайлским университетом предварительно согласовывалось с нами. Мы считаем, что теперь многое предстает совсем в ином свете, и потому требуем, чтобы вы нас в это дело не впутывали. Надеюсь, вам понятно.

На лице Гринберга появилось неприязненное выражение.

— Вы врываетесь сюда, спрашиваете меня, что происходит, и, не дав мне ответить, говорите, что должно произойти. Как в связи с этим прикажете действовать? Хотите, чтобы я сразу позвонил в Вашингтон и сообщил вашу точку зрения? Или сначала выслушаете меня? Мне абсолютно все равно.

— Не будем ссориться. Мы ведь никого не просили втягивать нас в это дело.

— А никто вас и не втягивает,— усмехнулся Гринберг.— Разрешите мне, пожалуйста, закончить. Я предложил Мэтлоку выйти из игры. Он мне пока еще не ответил, и потому я не могу ответить вам. Тем не менее, если он ответит так, как я предполагаю, «крыша» Лоринга будет немедленно использована. Она и так будет использована, но если профессор остается, мы эту «крышу» немножко раскроем.

— О чем вы? — Крессел изумленно уставился на агента.

— В течение целого ряда лет Ральф был компаньоном чуть ли не в самой низкопробной адвокатской конторе в Вашингтоне. Список ее клиентов выглядит как справочник членов мафии... Сегодня рано утром произошла первая подмена машин. В Элмвуде, пригороде Хартфорда, Лоринг оставил свою машину с вашингтонским номерным знаком около дома известного капо. В двух кварталах оттуда его ждал прокатный автомобиль. Лоринг приехал на нем в Карлайл и остановился напротив дома двести семнадцать по Кресент-стрит в пяти кварталах от особняка Силфонта. В доме двести семнадцать по Кресент-стрит живет доктор Ролстон...

— Я его знаю,— вмешался Мэтлок.— Говорят, он...

— ...делает нелегальные аборты,— закончил за него Гринберг.

— Он никак не связан с университетом! — возмутился Крессел.

— В университете бывали и похуже,— спокойно парировал Гринберг.— Зато доктор по-прежнему связан с мафией. Итак, Ральф оставил машину и пошел дальше пешком. Я прикрывал его — ведь в этом чемоданчике бесценный материал. Ральфа подобрал грузовик «Белл телефон компани», который после нескольких остановок — в частности, в ресторане под названием «Чеширский кот» — наконец и доставил его к Силфонту. Никто не мог знать, что он там, иначе его бы перехватили у выхода: за его машиной на Кресент-стрит вели наблюдение.

— Да, он мне так и сказал,— кивнул Мэтлок.

— Он знал, что такая возможность не исключается, и специально оставил след на Кресент-стрит. Убедившись, что за ним следят, он времени терять не стал. Не знаю, что он делал,— очевидно, использовал случайных прохожих, пока не увидел вас.

— Совершенно верно.

— И все же он действовал недостаточно быстро.

— Но к нам-то какое это имеет отношение? — чуть не закричал Крессел.

— Если мистер Мэтлок согласен продолжать наше сотрудничество, смерть Лоринга будет изображена в газетах как убийство в преступном мире. Юрист с плохой репутацией, возможно даже — разъездной агент по торговле запрещенным товаром; подозрительные клиенты. К этому делу будут притянуты и капо и доктор; ими можно пожертвовать. Такую устроим дымовую завесу, что всех со следа собьем. Даже убийц. О Мэтлоке забудут. Это сработает — всегда срабатывало.

— Складно у вас выходит,— поразился Крессел.

— А я очень умный.

Мэтлок невольно улыбнулся. Ему нравился Гринберг, несмотря на то что они встретились при таких печальных обстоятельствах, а может быть, именно благодаря этому. Агент хорошо говорил и быстро соображал. Человек он был действительно умный.

— А если Джим скажет, что он умывает руки?

Гринберг пожал плечами:

— Я не хочу зря тратить слова. Послушаем, что он скажет.

Оба посмотрели на Мэтлока.

— Я не собираюсь умывать руки, Сэм. Я остаюсь.

— Вы серьезно? Ведь этого человека убили!

— Я знаю. Я его нашел.

Крессел положил руку на локоть Мэтлока. Это был жест друга.

— Я вряд ли похож на истеричного пастуха, который дрожит за свое стадо. Но я обеспокоен. Я напутан. На моих глазах человека, едва умеющего плавать, бросают в воду на глубоком месте.

— Это субъективное мнение,— спокойно возразил Гринберг,— нас это тоже беспокоит. И если бы мы не считали, что он выплывет, мы бы к нему никогда не обратились.

— Обратились бы,— сказал Крессел.— Не думаю, чтобы такие соображения вас остановили. Вы слишком легко пользуетесь выражением «можно пожертвовать», мистер Гринберг.

— Жаль, что вы так считаете, потому что это неверно. Я не получил еще полной информации, Крессел, но разве не вы должны быть нашим связным? Ибо если да, то я предложил бы вам выйти из игры. Мы найдем кого-нибудь другого.

— Выйти из игры и дать вам полную свободу действий? Позволить вам творить в университете суд и расправу? Никогда в жизни!

— Тогда давайте работать вместе. Как бы это ни было неприятно и вам и мне... Вы настроены враждебно — может быть, это и хорошо. Придется мне быть повнимательнее. Слишком много у вас возражений.

Мэтлока встревожили слова Гринберга. Одно дело — сотрудничать с человеком, к которому ты не питаешь дружеских чувств, и совсем другое — бросать в лицо завуалированные обвинения, или, как пишут в романах, «оскорблять».

— Я требую объяснений,— вспыхнул Крессел.

Гринберг ответил тихо и рассудительно — тоном, никак не соответствовавшим произнесенным словам:

— Больше вам ничего не надо, мистер? Сегодня я потерял очень хорошего друга. Двадцать минут назад я разговаривал с его женой. При таких обстоятельствах я объяснений не даю. В этом вопросе мы с моим начальством расходимся. А теперь помолчите, и я напишу, в какое время мы будем связываться, и номера оперативных телефонов, которыми вы будете пользоваться в случае необходимости. Если же они вам не нужны, можете убираться отсюда.

Гринберг положил чемоданчик на стол и открыл его. Сэм Крессел, несколько ошарашенный, молча подошел к агенту.

А Мэтлок смотрел на видавший виды кожаный чемоданчик, который всего несколько часов назад был прикован цепочкой к руке мертвеца. Он знал, что пляска смерти началась.

6

Надпись на табличке под дверным звонком гласила: «Мистер и миссис Арчер Бисон». Мэтлоку не составило труда получить приглашение к ним на ужин. Преподаватель истории Бисон был польщен, когда Мэтлок предложил ему провести совместный семинар. Бисон был бы польщен, даже если бы кто-то из коллег уровня Мэтлока спросил, какова в постели его жена (это интересовало многих). А поскольку Мэтлок был явно настоящий мужчина, Арчер Бисон счел, что выпивка и болтовня с его женой в мини-юбочке могут способствовать укреплению отношений с этим уважаемым профессором английской литературы.

— Одну секундочку! — донесся сверху женский голос.

Дверь открылась, и миниатюрная жена Бисона — как и следовало ожидать, в мини-юбке и прозрачной шелковой блузке, свободными складками лежавшей на ее высокой груди,— улыбнулась ему бесхитростной улыбкой.

— Привет, я Джинни Бисон. Мы с вами встречались на нескольких вечеринках. Я так рада, что вы пришли. Арчи дочитывает курсовые. Пойдемте наверх.— И, не дав Мэтлоку ответить, она повела его по лестнице.— Жуткая лестница, но что поделаешь — такова цена, которую приходится платить, когда начинаешь с самого низа.

— Я думаю, это ненадолго,— сказал Мэтлок.

— Арчи тоже так говорит. Хорошо бы, а то у меня на ногах такие разовьются мускулы!

— Я уверен, что Арчи не ошибается,— сказал Мэтлок, посмотрев на мелькавшие перед его глазами вовсе не мускулистые, щедро выставленные для обозрения ноги.

В гостиной на причудливом кофейном столике стояло блюдо с кубиками сыра и миска с соусом, а под лампой с украшенным кистями абажуром лежала вытащенная напоказ книга Мэтлока «Интерполяции в «Ричарде II». Ее невозможно было не заметить.

Не успела Джинни закрыть дверь, как в гостиную влетел Арчи. В левой руке он держал пачку бумаг, правую протянул гостю.

— Отлично! Я так рад, старина!.. Садитесь, садитесь. Давным-давно пора выпить. Господи, совсем в горле пересохло. Сейчас прочел двадцать различных версий Тридцатилетней войны.

— Бывает! Вчера один парень сдал мне работу о «Вольпоне»[1] с невероятным концом. Оказалось, он не читал пьесы, а видел фильм в Хартфорде.

— И там другой конец?

— Совершенно.

— Вот это да! — взвизгнула Джинни.— Что вы будете пить, Джим? Можно мне называть вас Джим, доктор?

— Бурбон с водой. Конечно, называйте меня по имени, Джинни. К «доктору» я так и не привык. Мой отец считает, что это обман. У докторов должны быть стетоскопы, а не книги.— Мэтлок уселся в кресло, покрытое индейским серапе[2].

— Кстати, о докторах. Я как раз сейчас пишу диссертацию. Нынешние летние каникулы да еще парочка — и все будет в порядке.— Бисон взял у жены ведерко со льдом и подошел к длинному столу возле окна, где стояли бутылки и стаканы

— Но ради этого стоит потрудиться,— с чувством сказала Джинни Бисон.— Правда, Джим?

— Это очень важно и даст свои дивиденды.

— Да. И возможность публиковаться... Кстати, о публикациях. Я на днях купила ваши «Интерполяции». Потрясающе интересно. Честное слово!

— А я уже о них почти забыл. Ведь четыре года прошло.

— Арчи говорит, их надо включить в список обязательной литературы.

— Еще бы! — сказал Бисон и подал Мэтлоку стакан.— У вас есть литературный агент, Джим? Это я из чистого любопытства. Сам-то я еще не скоро что-нибудь напишу.

— Ну уж неправда, и ты это знаешь,— надула губки Джинни.

— Да, у меня есть агент. Ирвинг Блок в Бостоне. И я с удовольствием покажу ему вашу рукопись.

---

[1] Комедия английского драматурга Бена Джонсона (1573—1637).

[2] Шаль или плед ярких расцветок.

— Нет-нет, что вы... Это было бы страшным нахальством с моей стороны...— с притворным смущением забормотал Бисон. Он сел на диван рядом с женой, и они — сами того не замечая, подумал Мэтлок,— обменялись довольными взглядами.

— Будет вам, Арчи. У вас отличная голова. Настоящая находка для нашего университета. Иначе зачем бы мне предлагать вам совместный семинар? Наоборот, может быть, это вы делаете мне одолжение. Ведь если я приведу Блоку беспроигрышного клиента, это потом и мне принесет пользу.

На лице Бисона отразилась искренняя благодарность. Мэтлок даже почувствовал некоторую неловкость, но тут он уловил в глазах Бисона что-то еще. Он не мог определить, что именно, но что-то было. Какая-то встревоженность, легкий испуг.

Это был взгляд человека, чей мозг и тело привыкли к наркотикам.

— Джим, вы очень добры. Я страшно тронут. Правда.

К одиннадцати часам вечера, когда было уже выпито немало вина под «телятину-приготовленную-по-рецепту-из-старой-итальянской-поваренной-книги» и обсуждена последняя из тем будущего семинара, Мэтлок понял, что пора начинать. Он не знал, как это делается, и счел за благо довериться инстинкту.

— Послушайте, друзья... Надеюсь, я вас не слишком шокирую... понимаете, я давно уже хожу без «костыля»[1].— Мэтлок достал из кармана плоский портсигар и открыл его. Чувствовал он себя ужасно глупо, но знал, что должен это тщательно скрывать.— Между нами говоря, я не сторонник законов о наркотиках и никогда их не выполнял.

Мэтлок взял сигарету и оставил открытый портсигар на столе. Правильно ли он поступил? Неизвестно. Арчи и Джинни переглянулись. Сквозь пламя зажигалки Мэтлок наблюдал за их реакцией. Осторожничают, но не осуждают. Джинни — возможно, под воздействием алкоголя — неуверенно улыбнулась, будто обрадовалась, увидев друга. Муж ее, однако, не раскрывался.

— Конечно, конечно, старина,— сказал он с некоторым налетом снисходительности.— Мы ведь работаем не в министерстве юстиции.

— Еще не хватало! — хихикнула Джинни.

— Эти законы давно устарели,— продолжал Мэтлок, глубоко затянувшись.— Во всех областях. Контроль и чувство меры — вот что необходимо. А запрещать человеку даже попробовать — настоящее преступление. Лишать разумного индивида права удовлетворять свои желания — это уже черт знает что!

— Я думаю, Джим, главное, чтобы индивид был разумный. Беспорядочное употребление наркотиков неразумными людьми ведет к хаосу.

— По Сократу, вы лишь наполовину правы. Другая половина — контроль. Эффективный контроль над «железом» и «медью» высвобождает «золото» — помните «Государство»? Если бы интеллектуалов все время сдерживали, все время запрещали им думать и экспериментировать только потому, что их мысли недоступны пониманию сограждан,— великих достижений в искусстве, технике, политике не было бы вообще. Мы до сих пор жили бы в средневековье.

Мэтлок затянулся и закрыл глаза. «Интересно,— подумал он,— не перестарался ли я?» Он ждал, но ждать пришлось недолго.

— Старина, мы с каждым днем прогрессируем. Можете мне поверить,— спокойно сказал Арчи, но в этом спокойствии улавливалась напряженность.

Мэтлок с облегчением приоткрыл глаза и сквозь дым сигареты посмотрел на Бисона. Посмотрел в упор, затем перевел взгляд на его жену.

— Вы — дети,— только и сказал он.

— В данных обстоятельствах это весьма спорное утверждение,— заметил Бисон, по-прежнему не повышая голоса и четко произнося слова.

— Это все разговоры.

— Напрасно вы так думаете! — Джинни Бисон уже достаточно выпила и забыла о всякой осторожности. Муж предостерегающе сжал ей руку повыше локтя.

— Кажется, мы с вами работаем на разных частотах...— произнес он, отводя взгляд от Мэтлока.

— Возможно. Забудьте об этом... Сейчас докурю и пойду. А насчет семинара — будем держать связь,— добавил Мэтлок как можно равнодушнее.

---

[1] Доза наркотика.

Арчи Бисон, спешивший сделать академическую карьеру, не мог смириться с таким равнодушием.

— Разрешите попробовать?

— Если это ваша первая, то не разрешаю... Не пытайтесь произвести на меня впечатление. Это все неважно.

— Первая?.. В каком смысле? — Бисон поднялся с дивана и подошел к столику, где лежал открытый портсигар. Нагнувшись, он взял его в руки, понюхал.— Травка вполне подходящая... для начинающих.

— Для начинающих?

— Ценю вашу чистосердечность, но, простите, вы немножко отстали.

— Отстал? От чего?

— От сегодняшнего уровня.— Бисон вытащил две сигареты и лихо раскурил их. Он затянулся, одобрительно кивнул и передал одну жене.— Назовем это закуской.

Он ушел к себе в кабинет и вернулся с китайской лакированной коробочкой, затем показал Мэтлоку небольшой выступ и нажал на него. Дно коробочки отскочило, открыв второе дно, где лежало дюжины две белых таблеток, завернутых в прозрачный целлофан.

— Вот главное блюдо... если вы проголодались.

К счастью, за последние двое суток Мэтлок успел неплохо подготовиться и уже кое-что знал. Он улыбнулся, но его голос звучал твердо:

— Я путешествую в белое царство только в двух случаях. Либо у себя дома со старыми добрыми друзьями, либо со старыми добрыми друзьями — у них дома. Я недостаточно хорошо знаю вас, Арчи. Осторожность прежде всего... Однако я ничего не имею против небольшого путешествия в красное царство. Но я не захватил с собой горючего.

— Это не страшно. У меня что-нибудь найдется.— Бисон унес китайскую коробочку и вернулся с небольшим кожаным мешочком, похожим на кисет для табака. Глаза Джинни Бисон широко раскрылись; она расстегнула еще одну пуговицу на блузке и вытянула ноги.

— Лучший продукт «Данхилла» [1].— Бисон протянул мешочек Мэтлоку. Эти таблетки, тоже завернутые в прозрачный целлофан, были темно-красные и немного крупнее белых. По меньшей мере пятьдесят — шестьдесят доз секонала.

Джинни вскочила с кресла и заверещала:

— Обожаю! Розовый кайф!

— Бренди после этого может идти ко всем чертям,— добавил Мэтлок.

— Поехали. Но не слишком увлекайтесь, старина. Предел — пять таблеток. Это наше правило для новых старых друзей.

Следующие два часа Джеймс Мэтлок провел как в тумане, но менее густом, чем тот, в котором находились Бисоны. Преподаватель истории и его жена быстро достигли «вершины» после пяти таблеток; это произошло бы и с Мэтлоком, но он сумел спрятать последние три таблетки в карман и остаться на первой стадии, так что ему нетрудно было подражать Бисонам, а затем и убедить Арчи принести еще одну дозу.

— А как насчет всемогущей осторожности, доктор? — ухмыльнулся Бисон, сидя на полу у дивана и время от времени поглаживая ноги жены.

— Вы же оказались настоящими друзьями.

— Это лишь начало поистине прекрасной, прекрасной дружбы.— Джинни медленно откинулась на спинку дивана и захихикала. Извиваясь, как змея, она положила правую руку на голову мужа и спустила ему челку на лоб.

Бисон рассмеялся, явно уже не так владея собой, как раньше, и поднялся с пола.

— Сейчас я принесу это чудо.

Когда Бисон вышел, Мэтлок перевел взгляд на его жену. Она приоткрыла рот и высунула язык. Это было достаточно красноречиво. Мэтлок понял, что таково побочное действие секонала и основное — Вирджинии Бисон.

Вторая доза составила, с общего согласия, три таблетки. На этот раз Мэтлоку легко удалось провести Бисонов. Арчи включил стереосистему — зазвучала «Кармина

---

[1] Английская табачная фирма.

Бурана»[1]. Через пятнадцать минут Джинни Бисон уже сидела на коленях у Мэтлока, а ее муж лежал на полу перед динамиками, стоявшими по обе стороны от проигрывателя.

— Такого я, пожалуй, еще не пробовал, Арчи...— выдохнул Мэтлок, однако достаточно громко, чтобы его услышали.— Откуда? Где вы это берете?

— Наверно, там же, где и вы, старина,— засмеялся Бисон, глядя на Мэтлока и свою жену.— Только о чем вы? О чуде или о бабенке, которая сидит у вас на коленях? Осторожно с ней, доктор. Она жутко развратная.

— Нет, серьезно. Ваши таблетки гораздо лучше моих, да и травка у меня не очень... Где вы их берете? Будьте другом.

— Смешной вы человек. Все вопросы задаете. Разве я вас о чем-нибудь спрашиваю? Нет... это невежливо... Поиграйте с Джинни. А я хочу послушать.— И Бисон перевернулся на живот.

Джинни, сидевшая у Мэтлока на коленях, неожиданно обвила его шею руками и прижалась к нему грудью. Она дотянулась губами до его лица и стала целовать мочки ушей. Мэтлок подумал: а что будет, если взять ее на руки и отнести в спальню? Он только подумал, но не собирался это выяснять. По крайней мере сейчас. Ральф Лоринг погиб вовсе не ради того, чтобы интимная жизнь Мэтлока стала богаче и разнообразней.

— Дайте мне попробовать вашу сигаретку. Посмотрим, насколько изощренный у вас вкус. А то ведь, может, вы только прикидываетесь.

Бисон вдруг сел и уставился на Мэтлока. На жену он не обращал внимания. Что-то в голосе Мэтлока заставило Бисона насторожиться. Или он не те употребил слова? Или слишком складно изложил свою мысль? Во всяком случае Арчи Бисон неожиданно встревожился, и Мэтлок не понимал почему.

— Конечно, старина.... Джинни, не надоедай Джиму.— Бисон стал подниматься с пола.

— Розовый кайф...

— У меня есть несколько штук на кухне... Не помню, где точно, но я поищу. Джинни, я тебе сказал, не дразни Джима... Будь мила с ним, ласкова.— Продолжая разглядывать Мэтлока расширенными от секонала глазами, Бисон попятился к открытой кухонной двери. И тут он повел себя довольно странно. Во всяком случае, так показалось Мэтлоку.

Он медленно прикрыл створки двери и придержал рукой, чтобы они не открылись.

Мэтлок быстро спустил Джинни с колен, она тихо легла на пол и с ангельской улыбкой протянула к нему руки. Он улыбнулся в ответ и перешагнул через нее.

— Я сейчас,— прошептал он.— Мне надо кое-что спросить у Арчи.

Джинни перевернулась на живот, а Мэтлок осторожно подошел к кухонной двери. Он взъерошил себе волосы и, нарочно покачнувшись, ухватился за обеденный стол. Если Бисон вдруг выйдет оттуда, он подумает, что его гость одурманен наркотиками и уже ничего не соображает. Стереопроигрыватель гремел вовсю, однако Мэтлок расслышал голос Арчи, тихо, но возбужденно говорившего по телефону.

Он оперся о стену возле кухонной двери и попытался понять, что так испугало Арчи Бисона, заставило его срочно дозваниваться кому-то.

Неужели он так плохо сыграл? Неужели первая попытка окончилась неудачей?

Если так, то нужно хотя бы узнать, с кем говорит перепуганный Бисон, к кому он кинулся за помощью.

Ясно одно: к кому-то, кто стоит выше Арчера Бисона. Даже охваченный паникой наркоман не станет искать спасения у человека менее значительного, чем он сам.

Возможно, вечер и не провалился — именно потому, что провалился он, Мэтлок. Обезумевший от страха, одурманенный наркотиками Бисон может сболтнуть что-нибудь важное — такое, о чем он в спокойном состоянии молчит как рыба. Неожиданный поворот, но не исключено, что он окажется весьма результативным. С другой стороны, он же и самый рискованный. Если неумелого дилетанта Мэтлока и здесь ждет неудача, все кончится, не успев начаться: он уже ничего не сможет сделать, и весь подробнейший инструктаж Лоринга окажется ни к чему.

Значит, надо приложить все усилия, чтобы узнать, кому звонит Бисон, и рас-

---

[1] Сценическая кантата немецкого (ФРГ) композитора Карла Орфа (1895—1982).

сеять его подозрения. Почему-то Мэтлоку вспомнился чемоданчик Лоринга с тонкой черной цепочкой, и он вдруг почувствовал себя увереннее — ненамного, но все-таки увереннее.

Он принял такую позу, чтобы со стороны казалось, будто он вот-вот рухнет, и, прижавшись головой к косяку, медленно приоткрыл дверь. Он ожидал встретить немигающий взгляд Бисона, но вместо этого увидел его спину. Бисон стоял скрючившись, как мальчишка, который, того и гляди, описается, и крепко прижимая головой телефонную трубку к тонкой жилистой шее. Бисон явно считал, что «Кармина Бурана» заглушит, перекроет его голос. Но секонал сыграл с ним дурную шутку. Ухо уже не улавливало того, что произносил язык. Бисон говорил не просто четко, а еще и разделяя слова паузами и по нескольку раз повторяя многие фразы:

— ...Вы не понимаете. Да поймите же! Поймите! Он все время расспрашивает. Он не из наших. Не из наших. Голову даю на отсечение, что он подставной. Ради бога, найдите Херрона. Пусть Херрон до него дозвонится. Пусть дозвонится. Пожалуйста! Я могу все потерять!.. Нет. Нет, я же вижу! Если я говорю «вижу»— значит, вижу! Когда эта сука входит в раж, мне с ней не сладить. Она такое вытворяет, старина... Свяжитесь с Лукасом... Я вас умоляю, свяжитесь с ним!

Потрясенный Мэтлок тихо закрыл дверь. То, что он услышал, было не менее страшно, чем вид безжизненного тела Ральфа Лоринга в будке телефона-автомата.

Херрон. Лукас Херрон!

Человек-легенда! Тихий семидесятилетний старик. Выдающийся филолог. Чудесный человек, чуткий, отзывчивый, всеми уважаемый и почитаемый. Не может быть! Это какая-то ошибка.

Но сейчас некогда ломать голову.

Арчер Бисон считает его подставным. И теперь кто-то еще будет так считать. А этого допустить нельзя. Надо что-то придумать.

Внезапно он сообразил. Сам Бисон подсказал ему, что надо делать.

Ни один стукач — да и вообще ни один человек, если он не одурманен наркотиками,— не сделал бы ничего подобного.

Мэтлок посмотрел на Джинни, лежавшую на полу гостиной лицом вниз. Он быстро обогнул обеденный стол и устремился к ней, на ходу расстегивая пояс. Быстрым движением он сбросил брюки и, наклонившись, перевернул Джинни на спину. Она застонала и захихикала.

— Розовый кайф! Розовый кайф!..— Часто дыша, она прижалась к Мэтлоку и ласково поглаживала его ногу.

А Мэтлок смотрел на кухонную дверь и молил бога, чтобы она открылась.

И когда она открылась, он закрыл глаза.

Арчи Бисон остановился у обеденного стола, глядя на жену и гостя. Мэтлок при звуке шагов Бисона вскинул голову и изобразил страшное смущение. Он приподнялся, но встать не сумел. Вторая попытка была более удачной, но он не удержался на ногах и тут же упал на диван.

— О господи! Арчи... Я и не думал, что так наглотался... совсем поплыл... Что же я наделал! Какой ужас! Извините, дружище, я уже по ту сторону! Ради бога извините!..

Бисон подошел к дивану. У ног его лежала полуголая жена. По его лицу трудно было сказать, что он думает о случившемся. Или — насколько он зол.

Да и зол ли вообще.

Однако такой реакции Мэтлок никак не ожидал: Бисон засмеялся. Сначала тихо, а затем все громче и громче, пока смех не перерос в истерический хохот.

— О господи, старина... Я же говорил... Я же говорил, что она — развратная бабенка... Не волнуйтесь... Все тихо и спокойно. Никаких обвинений в изнасиловании, никто не станет болтать, что на факультете завелся грязный развратник. А семинар мы проведем. Еще бы! Это будет семинарчик что надо! И вы им всем скажете, что сами меня выбрали!

Мэтлок смотрел в дикие глаза наркомана, стоявшего над ним.

— Конечно, конечно, Арчи. Все так и будет.

— Еще бы, старина. И не извиняйтесь. Не нужно никаких извинений! Это я должен извиниться! — И Арчер Бисон в припадке хохота рухнул на пол. Затем протянул руку и погладил жену — она застонала и пронзительно захихикала.

Мэтлок понял, что выиграл.

7

Он еле передвигал ноги от усталости — сказывалось напряжение целого вечера, да и вообще было уже десять минут четвертого. В ушах еще гремела «Кармина Бурана», а перед глазами то и дело вставала эта женщина с обнаженной грудью. Он мысленно слышал воющий шакалий хохот ее мужа, вспоминал их извивающиеся на полу тела, и во рту у него становилось еще противнее.

Но больше всего не давало покоя имя Лукаса Херрона.

Непостижимо.

Лукас Херрон. Великий старец, как его называли. Заведующий кафедрой романских языков. В голове не укладывалось, что он может быть связан с миром наркотиков, а тем более обладать в нем какой-то властью. Это было выше понимания Мэтлока.

Объяснение, видимо, следовало искать в необъятном сострадании Лукаса Херрона. Он был другом для многих, к нему обращались, когда попадали в беду. Под спокойной, безмятежной внешностью старика скрывался сильный человек, прирожденный лидер. Четверть века назад, немолодым уже офицером, он провел не один месяц в аду Соломоновых островов. В страшные времена беспощадной войны на Тихом океане Лукас Херрон был настоящим героем. Теперь же, когда ему перевалило за семьдесят, он был живой легендой.

Мэтлок повернул за угол и увидел свой дом. В одном из окон его квартиры горел свет. Неужели он забыл его выключить? Вспомнить он не мог.

Он прошел по дорожке к своей двери и вставил ключ в замочную скважину. Одновременно с поворотом ключа в доме раздался грохот. Мэтлок испугался, но первой его реакцией было любопытство. Наверное, это кошка разбила стакан или свалила одного из глиняных уродцев, которых ему дарила Патриция Бэллентайн.

Нет, вряд ли. Слишком сильный был грохот.

Он вбежал в небольшой холл, и тут с него мигом слетела вся усталость. Он замер, не веря своим глазам.

В гостиной царил хаос. Столы были перевернуты, книги сброшены с полок, страницы из них вырваны и разбросаны по полу. Стереосистема вдребезги разбита. Подушки с дивана и с кресел вспороты, ковры свалены в кучу, занавески сорваны с карнизов и брошены на перевернутую мебель.

Наконец он взглянул на большое окно и понял причину грохота. Окно представляло собой сейчас лишь изуродованные свинцовые переплеты с остатками выбитых стекол. Мэтлок прекрасно помнил, что, уходя к Бисонам, оставил его открытым. Он любил весенний ветер, а комариный сезон еще не начался.

Так что разбивать окно не было никакой необходимости. Его разбили совершенно преднамеренно.

За ним следили, и это был сигнал.

Предупреждение.

И Мэтлок понимал: он не должен показывать, что догадался. Сделав это, он бы признал, что в его квартире произошло не просто ограбление, а к такому шагу он не был готов.

Он быстро подошел к двери в спальню и заглянул туда. В спальне царил еще больший хаос. Изрезанный в клочья матрас валялся у стены. Ящики комода были выдернуты, а их содержимое разбросано по всей комнате. Не в лучшем состоянии был стенной шкаф: костюмы и куртки сорваны с вешалок, ботинки вытащены из углублений.

Еще не зайдя на кухню, он уже знал, что она выглядит не лучше остальной квартиры. Продукты в банках и коробках не стали вываливать на пол. Их просто сдвинули в кучу, но все, что не требовало консервного ножа, было изрезано на мелкие кусочки.

Это было, конечно, предупреждением, но ясно и то, что у него что-то искали.

Он догадался, что именно, и снова понял: он не должен показывать, что догадался. От его поведения сейчас, как и от поведения у Бисона, зависит, какие будут сделаны выводы; он должен отвести от себя подозрения, найти самые убедительные доказательства своей непричастности. Это он истинктивно понимал.

Но прежде чем начать эту игру, надо выяснить, успешен ли был обыск.

Усилием воли он стряхнул с себя оцепенение. Снова оглядел — внимательнейшим образом — свою гостиную. Занавески с окон были сорваны, и в комнате было достаточно света, так что любой человек, вооруженный сильным биноклем, мог из сосед-

него дома или с противоположной стороны улицы следить за каждым его движением. Если же он погасит свет, не приведет ли столь противоестественный поступок как раз к тем выводам, которых он хочет избежать?

Без сомнения. Человек, в чьем доме учинили такой разгром, не станет выключать свет.

Тем не менее ему необходимо было добраться до ванной, которая в данный момент являлась самым важным местом в квартире. При этом все должно выглядеть вполне естественно и никого не навести на мысль, будто он чем-то обеспокоен. Если, конечно, за ним наблюдают.

Надо что-то изобразить, подумал он. Ближе всего к двери в ванную стоял стереопроигрыватель. Мэтлок подошел к нему, наклонился, поднял с пола несколько деталей, в том числе звукосниматель. Он повертел его в руках, затем вдруг уронил на пол и поднес палец ко рту, сделав вид, будто укололся. Он бросился в ванную, быстро открыл аптечку и схватил коробку с пластырем. Затем так же быстро нагнулся к унитазу, где слева стояла желтая пластмассовая коробка с песком для кошки, и приподнял краешек газеты. Под газетой лежало два слоя брезента — он снова приподнял уголок.

Разрезанный лист был на месте. Серебряную корсиканскую бумагу с текстом, который оканчивался страшной фразой «Venerare Omerta», не нашли.

Значит, поиски не увенчались успехом. Теперь надо сделать вид, будто ты не понял, что это — предупреждение. Он подошел к телефону и набрал номер полиции.

— Можете вы дать мне список пропавших вещей?

Посреди разгрома стоял полицейский в форме. Второй полицейский ходил по квартире и составлял протокол.

— Пока нет. Я не успел проверить.

— Это и понятно. Ишь, как все перевернули. Но вы проверьте. И чем быстрее мы получим список, тем лучше.

— Вряд ли что-то пропало. У меня ведь нет ничего особо ценного. Разве что вот стереосистема — но и ее разбили. Телевизор в спальне не тронули. Конечно, есть книги, которые кое-что стоят, но теперь они в таком виде...

— У вас не было наличности, драгоценностей, часов?

— Я держу деньги в банке, а наличность — в бумажнике. Часы всегда на руке, а драгоценностей у меня нет.

— А экзаменационные работы? У нас с ними было много неприятностей.

— Они у меня в кабинете. На кафедре английской литературы.

Полицейский что-то записал в небольшой черной книжечке и окликнул коллегу, зашедшего в спальню.

— Эй, Лу, как там насчет эксперта по дактилоскопии?

— Они связались с ним. Он сейчас приедет.

— Вы ни до чего не дотрагивались, мистер Мэтлок?

— Не знаю. Возможно, и дотрагивался. Я был слишком потрясен.

— А до разбитых вещей, например до стереосистемы? Было бы хорошо показать специалисту по дактилоскопии вещи, которые вы не трогали.

— Я держал в руках звукосниматель, но до самого проигрывателя не дотрагивался.

— Отлично. С него и начнем.

Полиция провела в квартире полтора часа. Прибыл специалист по дактилоскопии, сделал свое дело и уехал. Мэтлок подумал, что надо бы позвонить Сэму Кресселу, но потом решил, что Крессел сейчас ничем ему не поможет. А если все-таки кто-то наблюдает за домом с улицы, то не надо, чтобы видели Кресселa. Проснулись соседи и спустились, чтобы выразить свое участие, предложили помощь, кофе.

Перед отбытием высокий полицейский сказал:

— Простите, что отняли у вас столько времени, мистер Мэтлок. Мы обычно не ищем отпечатки пальцев, когда взлом и проникновение, вот если кто-то пострадал или ограбили, тогда другое дело. Но в последнее время очень много таких случаев. Лично я думаю, что это дело рук длинноволосых выродков с бусами. Или ниггеров. У нас никогда не было ничего подобного, пока эти выродки и ниггеры здесь не появились.

Возражать не имело смысла. К тому же Мэтлок слишком устал.

— Спасибо, что помогли мне навести порядок.

— А как же иначе.— Полицейский пошел было по цементной дорожке, но обернулся.— Кстати, мистер Мэтлок!

Мэтлок приоткрыл дверь.

— Кстати, нам пришло в голову: может, у вас что-то искали? Смотрите, как изрезали мебель и что сделали с книгами... вы меня понимаете?

— Да.

— Вы, конечно, сказали бы нам, если бы это было так?

— Конечно.

— Глупо скрывать такую информацию.

— Я же не круглый идиот.

— Не обижайтесь. Просто, когда голова занята другим, можно что-то забыть.

— Я не рассеянный. У нас мало таких.

Полицейский рассмеялся не без издевки.

— Я просто так, на всякий случай. А то трудно работать, если не знаешь всех фактов.

— Я понимаю.

— Ну вот и хорошо.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи, доктор.

Мэтлок закрыл дверь и вернулся в гостиную. Он присел на изуродованный диван и оглядел комнату. Она все еще была в жутком состоянии. Потребуется немало времени, чтобы все подобрать и привести в порядок мебель. Предупреждение было сделано недвусмысленно, жестко.

Больше всего пугал сам факт.

Почему его предупреждают? И кто предупреждает?

Из-за истерического телефонного звонка Арчера Бисона? Возможно; даже хорошо, если так. Тогда это может не иметь никакого отношения к Нимроду. Вполне возможно, что наркоманы, окружающие Бисона, и те, у кого он покупает наркотики, решили напугать его, чтобы он оставил Арчи в покое. Всех их оставил в покое; кстати, Лоринг говорил, что доказательств связи Бисонов с Нимродом нет.

Правда, нет и доказательств обратного.

Так или иначе, если это исходит от Бисона, отбой дадут уже утром. Самая обычная история: развратный тип, одурев от наркотиков, чуть не изнасиловал Бисонову жену. Можно не сомневаться, что недавнее происшествие будет трактовано именно так. Ведь Бисон считает, что первый шаг к академической карьере ему поможет сделать Мэтлок.

С другой стороны,— и это гораздо хуже — не исключено, что предупреждение и поиски имеют прямое отношение к корсиканской бумаге. Что́ тогда Лоринг шепнул ему в спину на тротуаре?

«...Только за одним Нимрод будет охотиться больше, чем за чемоданчиком,— это за бумагой, которая лежит у вас в кармане».

Значит, его могли связать с Ральфом Лорингом.

А в Вашингтоне считали, что испуг Мэтлока при виде убитого Лоринга снимает с него всякие подозрения. И Джейсон Гринберг тоже так считал. Но все они ошибались.

И тем не менее вполне возможно — как и предполагал Гринберг,— что его просто проверяют.

Предположения.

Нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Нужно прикидываться простачком — если он хочет принести пользу.

Мэтлок растянулся на изуродованном до неузнаваемости диване, расстегнул пояс и сбросил ботинки. Надо поспать несколько часов, а затем он поговорит с Кресселом. Попросит Кресселa и Гринберга разработать для него легенду, чтобы он мог как-то объяснить, почему к нему вломились в квартиру. Легенду, согласованную и одобренную в Вашингтоне и, возможно, в карлайлской полиции.

В полиции.

Он вдруг сел. Раньше он как-то об этом не задумывался. Глуповатый, но в то же время безукоризненно вежливый полицейский, давно сосредоточивший свои подозрения на «этих выродках и нигерах», на протяжении почти двух часов обращался к нему «мистер»... А перед уходом, оскорбительно намекнув на то, что Мэтлок, возможно,

чего-то недоговаривает, назвал его «доктором». «Мистер» — общепринятое обращение. А вот «доктор» прозвучало необычно. Никто вне университета не называл его доктором, да и там редко; вообще доктора философии никто доктором не называет.

Почему же полицейский так назвал его? Ведь они никогда прежде не встречались. Откуда он знает, что Мэтлока положено называть доктором?

Мэтлок сидел и думал, уж не стало ли сказываться на нем напряжение последних часов. Не ищет ли он скрытый смысл там, где его нет? В полиции наверняка есть список сотрудников университета, и, разумеется, дежурный полицейский проверил его имя по списку, а там указана и ученая степень.

Вполне вероятно. Как и многое другое.

И, как многое другое, вызывает тревогу.

Мэтлок повалился на диван и закрыл глаза.

Сначала звук дошел до него, точно слабое эхо из дальнего конца длинного узкого тоннеля. Затем он стал отчетливей — кто-то стучал в дверь, торопливо, настойчиво.

Мэтлок открыл глаза. Напротив дивана тускло светили две настольные лампы. Ноги у Мэтлока были подогнуты, шея взмокла от пота, хотя в разбитое окно задувал прохладный ветер.

Стук продолжался — кто-то стучал рукой по дереву. Звук доносился из холла, от входной двери. Мэтлок спустил затекшие ноги с дивана и с трудом встал.

Стучали все громче и громче. Затем он услышал голос:

— Джеми, Джеми!

Мэтлок заковылял к двери.

— Иду! — Он подошел к двери и распахнул ее. В квартиру влетела Патриция Бэллентайн, она была в плаще, наброшенном на шелковую пижаму.

— Джеми, что случилось? Я никак не могла дозвониться.

— Я никуда не уходил. Звонка не было.

— Я знаю, что не было. Телефонистка сказала, что телефон не работает. Я взяла у знакомых машину и примчалась сюда и...

— Он работает, Пэт. Здесь была полиция — посмотри, и ты поймешь почему. Полицейские много раз звонили отсюда.

— О боже! — Девушка шагнула в разгромленную гостиную. Мэтлок подошел к телефону, снял трубку и тотчас отвел ее от уха, услышав пронзительные короткие гудки.

— Что-то со вторым аппаратом.— Он положил трубку и направился в спальню.

Второй аппарат стоял на кровати, на остатках вспоротого матраса. Трубка была снята и накрыта подушкой. Кому-то понадобилось, чтобы телефон не звонил.

Кто же тут был? Мэтлок попытался вспомнить. Пятеро или шестеро полицейских в форме и без формы, соседи, несколько запоздалых прохожих, которые увидели полицейские машины и зашли. Но лиц он почти не запомнил.

Он поставил телефон обратно на прикроватный столик и почувствовал взгляд Пэт. Интересно, видела она, как он положил на место подушку?

— Кто-нибудь, наверное, нечаянно сбросил трубку, пока наводил здесь порядок,— с наигранным раздражением сказал он.— Но неприятно, что тебе пришлось у кого-то брать машину... Зачем? Что-нибудь случилось?

Не отвечая, она повернулась и снова оглядела гостиную.

— Что здесь произошло?

— Ко мне впервые в жизни залезли воры. Ощущение не из приятных. Эти бедняги, наверное, здорово разозлились, потому что ничего ценного не нашли,— вот и решили все расколошматить... Почему ты приехала?

Она заговорила очень спокойно и тихо, но Мэтлок понял, что она на грани истерики.

— Часа два назад — если точно, без четверти четыре — позвонил какой-то мужчина и попросил тебя. Не помню, что я ему ответила спросонья, но во всяком случае изобразила возмущение — кому это пришло в голову искать тебя у меня в такое время!.. Я просто не знала, что делать. Растерялась...

— Ясно. Дальше?

— Он сказал, что я лгу. А я... я никак не могла понять, кто же это звонит без четверти четыре да еще обзывает меня лгуньей. Я растерялась.

— Что ты все-таки сказала?

— Неважно, что я сказала. Важно, что сказал он. Он просил передать тебе, чтобы

ты... не «скрывался за горизонтом» и не освещал «другое полушарие земли». Он повторил это дважды! Он сказал, что это такая шутка, но ты ее поймешь. Мне стало страшно!.. Ну, а ты понимаешь?

Мэтлок, стараясь сохранять спокойствие, вернулся в гостиную. Пэт последовала за ним.

— Что это значит?

— Я не знаю.

— Это имеет какое-то отношение к... к тому, что случилось? — Она широким жестом обвела квартиру.

— Не думаю.— Он закурил, размышляя, что ей сказать. Людям Нимрода не пришлось долго искать выразительное сравнение. Если это Нимрод.

— Что это значит — «не скрывался за горизонтом»? Похоже на загадку.

— Наверное, какая-то цитата.

Но Мэтлоку не надо было гадать. Он хорошо помнил это место из Шекспира: «Ужели / Не знаешь ты, что в темноте ночной, / Когда пытливый глаз небес сокрылся / За горизонтом, озаряя светом / Другое полушарие земли,— / Под кровом тайны воры и убийцы / Снуют, творя бесчинства и разбой» [1].

— Какая?

— Не знаю. Не могу вспомнить... Меня с кем-то спутали. Это единственное объяснение... А как он говорил?

— Нормально. Он был зол, но не кричал и не ругался.

— Ты его не узнала? Не конкретно, но, может, ты уже слышала этот голос?

— По-моему, нет, но...

— Но — что?

— У него... поставленный голос. Немного похож на актерский.

— Голос человека, привыкшего читать лекции.— Мэтлок сказал это не вопросительно, а утвердительно. Во рту у него вдруг стало кисло, и он потушил сигарету.

— Да, пожалуй.

— Круг подозреваемых человек сужается до восьмидесяти.

— Ты делаешь какие-то предположения, которых я не понимаю. Значит, этот телефонный звонок все-таки имел отношение к тому, что произошло здесь?

Он понял, что сболтнул лишнее. Он не хотел впутывать в это дело Пэт; он не имел права. Но кто-то решил по-другому, и это очень все осложняло.

— Возможно. Если верить телевизионным детективам,— а чему же еще верить! — перед ограблением воры должны убедиться, что дома никого нет. Возможно, меня таким образом и проверяли.

Девушка впилась в него глазами, не давая ему отвести взгляд.

— Тебя, что же, ночью не было дома? Без четверти четыре?.. Не подумай, что я сую нос в твои дела, мой дорогой, просто мне хотелось бы знать.

Он мысленно обругал себя. Начинает сказываться усталость, и «вечер» у Бисонов, и потрясение при виде разгромленной квартиры. Конечно, Пэт и не думает совать нос в его дела. Он же человек свободный. И конечно, он был дома без четверти четыре.

— Не помню. Я как-то не думал о времени.— Он неуверенно рассмеялся.— Застрял у Арчи Бисона на целый вечер. Когда предлагаешь молодому преподавателю провести совместный семинар, без выпивки не обойтись.

— Мне кажется, ты не понимаешь меня,— улыбнулась Пэт.— Я вовсе не спрашиваю, что делал папа-медведь... То есть мне, конечно, хотелось бы знать, но главное сейчас — я не понимаю, почему ты мне врешь... Ты же был здесь два часа назад, и звонил мне вовсе не вор, и ты это прекрасно знаешь.

— Мама-медведица лезет куда не следует. Это не ее территория.— Грубость, как и ложь, прозвучала фальшиво. Несмотря на все свои домашние и армейские бунты, несмотря на свой нелегкий характер, он был человек очень добрый, и она это знала.

— Хорошо. Извини. Еще один вопрос, и я ухожу. Что значит «Омерта»?

Мэтлок замер.

— Что?

— Этот человек, который звонил мне, сказал: «Омерта».

— Как он это сказал?

— Так, между прочим. Сказал, что просто хочет напомнить.

---

[1] «Ричард II», перевод Н. А. Холодковского.

— Ну и загоняли же вы себя, доктор Мэтлок,— сказал Джейсон Гринберг, выходя с корта для игры в сквош.

— Это была ваша идея. Меня бы вполне устроил кабинет Кресселa или даже встреча где-нибудь в центре.

— Здесь удобнее... Нам надо очень быстро все обсудить. Я записался в регистрационной книге как страховой инспектор. Проверяю в коридорах огнетушители.

— Их действительно надо проверить.— Мэтлок направился в угол, где лежал его серый спортивный свитер, завернутый в полотенце. Он развернул его и натянул через голову.— Ну, что вам удалось установить? Ночка у меня была, прямо скажем, жутковатая.

— Ни к каким выводам мы не пришли. Во всяком случае, ни к чему конкретному. Есть, правда, кое-какие предположения, но не более того... Мы считаем, что вы держались очень хорошо.

— Благодарю. Так что же это за догадки? Вы говорите как-то слишком отвлеченно.

За стеной справа послышались глухие удары. Гринберг резко повернул голову.

— Там что, еще один корт?

— Целых пять. Это тренировочные корты, без мест для зрителей.

Гринберг взял мяч и с силой бросил его в стену. Мэтлок понял; он поймал отскочивший мяч и бросил обратно. Гринберг принял его. Они продолжали перебрасываться мячом, медленно продвигаясь вдоль стены.

— Мы считаем, что вас проверяют,— тихо, монотонно заговорил Гринберг.— Это самое логичное предположение. Ведь вы же нашли Ральфа и заявили, что видели машину. Ваша попытка объяснить свое появление в этом районе была настолько беспомощной, что мы решили — поверят. А они хотят знать точно. Вот почему и притянули девушку. Они все делают очень тщательно.

— О'кей. Предположение номер один. Номер два?

— Я сказал, что это предположение — самое логичное... А в общем-то никакого другого и нет.

— Ну, а что насчет Бисона?

— А что насчет Бисона? Кто там был — я или вы?

Мэтлок несколько секунд подержал мяч в руке, потом свечой пустил его в боковую стену, на которую Гринберг не смотрел.

— Неужели Бисон оказался хитрее, чем я думал, и поднял тревогу?

— Возможно. Однако мы сомневаемся. По крайней мере то, что вы рассказывали...

Но Мэтлок рассказал Гринбергу не все. Он умолчал о телефонном звонке Бисона— без всякого умысла, просто из чисто эмоциональных побуждений. Лукас Херрон был человек старый, мягкий и необычайно доброжелательный. Он всегда приходил на помощь попавшим в беду студентам, опекал молодых, неопытных и нередко по-юношески заносчивых преподавателей и столько раз примирял враждующие стороны в различных факультетских конфликтах... Мэтлок считал, что не имеет права упоминать имя Херрона всуе на основании одного лишь телефонного звонка перепуганного наркомана. Он сам встретится с Херроном где-нибудь за чашкой кофе или на соревнованиях по бейсболу — Херрон любил бейсбол. Он поговорит со стариком, посоветует держаться подальше от Арчера Бисона.

— ...о Бисоне?

— Что? — не расслышал Мэтлок.

— Я спросил: вы не изменили своего мнения о Бисоне?

— Нет. Он не фигура. Я думаю, он забудет и о травке, и о таблетках — разве только я составлю ему компанию,— если ему покажется, что меня можно использовать.

— Я даже не пытаюсь вас понять.

— И не надо. Просто я какое-то время сомневался... Но я поверить не могу, чтобы у вас была только одна версия. Ну, выкладывайте, что там еще?

— Хорошо. Есть еще две, и обе притянуты за уши: они вылупились из одного яйца. Первая: утечка информации в Вашингтоне. Вторая: утечка в Карлайле.

— А почему вы считаете, что они притянуты за уши?

— Начнем с Вашингтона. Там об этой операции знает меньше десятка людей.

Министерство юстиции, министерство финансов, Белый дом. На этом уровне утечка исключается.

— А здесь?

— Здесь — вы, Адриан Силфонт и этот отвратительный тип Сэмюел Крессел. У меня так и чешутся руки указать на Крессела — он сволочь, но он тоже исключается. Конечно, я бы с восторгом сбросил с пьедестала многоуважаемого мистера Силфонта, но опять же ничего не выходит. Остаетесь вы. Так, может быть, это вы и есть?

— Потрясающе остроумно.— Мэтлок поймал отскочивший мяч и посмотрел на агента.— Поймите меня правильно: мне нравится Сэм. По крайней мере, мне так кажется. Но почему вы его исключаете?

— По той же причине, что и Силфонта. В операциях подобного рода мы начинаем копать с самого начала. Подчеркиваю: с самого начала. Мы не принимаем во внимание ни должность, ни общественное положение, ни репутацию. Крессел чист, как Иоанн Креститель. Сволочь, но чист. С Силфонтом еще хуже. Он такой, как о нем говорят. Итак, остаетесь только вы.

Мэтлок резко послал мяч в левый верхний угол. Гринберг шагнул назад и, перехватив мяч в воздухе, послал его в правую стену. Мяч отскочил и пролетел у Мэтлока между ног.

— А вы, оказывается, умеете играть.— Мэтлок смущенно улыбнулся.

— Был когда-то грозой Брандайса [1]. А что с девушкой? Где она?

— У меня дома. Я велел ей не уходить до моего возвращения. Во-первых, для безопасности, а во-вторых, надо же навести в квартире какой-то порядок.

— Я прикреплю к ней человека. Не думаю, что в этом есть необходимость, но вам будет спокойнее.— Гринберг взглянул на часы.

— Да, спасибо.

— Нам надо спешить... Значит, так. Мы пускаем все на самотек. Полицейских, газеты и прочее. Никаких «крыш», никаких контрлегенд, ничего, что мешало бы удовлетворению естественного любопытства и проявлению вашей вполне естественной реакции. Кто-то вломился к вам в квартиру и устроил дикий погром. Вот и все, что вы знаете... И еще. Возможно, вам это не понравится, но мы считаем, что так будет лучше... и безопаснее.

— Что именно?

— Нам кажется, что мисс Бэллентайн должна заявить в полицию о телефонном звонке.

— Да бог с вами! Ведь звонивший предполагал найти меня у нее в четыре часа утра. А о таких вещах не сообщают. Особенно если ты получаешь стипендию и собираешься работать в музейном фонде.

— Все зависит от точки зрения, доктор Мэтлок... Кто-то позвонил ей, попросил вас, процитировал Шекспира и произнес какое-то иностранное слово или название города. Она была вне себя от возмущения. Это не заслуживает и пяти строчек в газете; но поскольку в вашу квартиру вломились, то, разумеется, она сообщила об этом звонке.

Мэтлок молча прошел в угол корта, где лежал мяч, и подобрал его.

— Мы просто парочка запуганных идиотов. Мы не знаем, что произошло; мы только знаем, что нам это не нравится.

— Вот-вот. Что может быть убедительнее, чем возмущение растерявшегося бедняги, который всем подряд рассказывает о своих несчастьях. Кстати, обязательно получите страховку за ваши старые книги... Мне пора. Здесь не так уж много огнетушителей. Мы ничего не упустили? Что вы сейчас собираетесь делать?

Мэтлок ударил мячом об пол.

— У меня есть одно неожиданное приглашение. Неожиданно полученное после нескольких кружек пива в «Африканском содружестве». Меня пригласили на театрализованное представление подлинных обрядов, которые совершаются в племенах мау-мау при достижении мальчиками половой зрелости. Сегодня в десять вечера в подвалах Лумумба-Холла... Когда-то он принадлежал братству Альфа-Дельта. Думаю, что немало белых епископалианцев жарятся за это в аду.

— Я вас снова не понимаю, доктор.

— Так-то вы готовите домашнее задание! Ведь Лумумба-Холл идет в вашем списке первым номером.

---

[1] Известный частный университет в Новой Англии.

— Виноват. Вы мне утром позвоните?

— Позвоню.

— Я буду называть вас Джим, если вы будете называть меня Джейсон.

— Согласен, только без поцелуев.

— О'кей. Потренируйтесь здесь некоторое время. Я с удовольствием сыграю с вами, когда мы закончим это дело.

— Договорились.

Гринберг вышел. Он взглянул направо и налево. В узком коридоре никого не было. Никто не видел, как он входил или уходил с корта. За стенами слышались глухие, непрерывные удары мяча. Все корты были заняты. Сворачивая в главный коридор, Гринберг подивился, почему это в спортивном корпусе Карлайлского университета сейчас так многолюдно. Ведь одиннадцать часов утра — это время занятий.

Он услышал какой-то новый звук, не похожий на удар мяча о дерево, и быстро обернулся.

Никого.

Выйдя в главный вестибюль, он снова обернулся. Никого. Он быстро покинул помещение.

Между тем странный звук — это был звук с трудом открываемой задвижки — прекратился, дверь соседнего корта распахнулась, и в узкий коридор вышел человек. Он, как и Гринберг, посмотрел направо и налево, но, обнаружив, что в коридоре никого нет, не обрадовался, а явно забеспокоился. Упрямая задвижка помешала ему увидеть того, кто встречался с Джеймсом Мэтлоком.

Вместо этого он увидел вышедшего в коридор самого Мэтлока, испуганно поднес к лицу полотенце и, закашлявшись, быстро пошел прочь.

Но все же недостаточно быстро. Мэтлок узнал его.

Это был полицейский, который приезжал к нему по вызову в четыре часа утра.

Полицейский, который назвал его доктором. Человек в форме, решительно утверждавший, что все неприятности в университете происходят от этих «длинноволосых и нигтеров».

Мэтлок пристально смотрел ему вслед.

9

Если подойти достаточно близко или если солнце светит под определенным углом, то над большими, как в соборе, дверями можно различить полустертые буквы греческого алфавита: «альфа», «дельта», «фи». Этим выпуклым буквам было уже много десятилетий, и ни пескоструйкой, ни стараниями студентов не удалось до конца их стереть. Дом студенческого братства Альфа-Дельта-Фи постигла та же судьба, что и другие подобные здания в Карлайле. Он был продан черным со всеми потрохами, включая дырявую крышу и невыгодную страховку.

Черные привели дом в порядок, насколько позволяло его плачевное состояние. Они полностью его отремонтировали внутри и снаружи. И всюду, где было возможно, стерли и уничтожили все, что напоминало о бывших владельцах. Вместо поблекших фотографий досточтимых выпускников появились яркие, как театральные афиши, портреты новых революционеров — африканцев, латиноамериканцев, «черных пантер». В старых залах висели новые заповеди, кричащие плакаты, выполненные адептами психоделического искусства[1]: «Смерть свиньям!», «Вперед на белых!», «Малькольм жив!», «Лумумба — черный Христос!».

Не успел Мэтлок взяться за тяжелый бронзовый молоток, висевший возле гротескной металлической маски, как большая дверь открылась и навстречу ему вышел улыбающийся студент.

— Я был уверен, что вы придете! Это будет настоящий кайф!

— Спасибо, Джонни. Как же можно такое пропустить.— Мэтлок вошел, и его поразило множество зажженных свечей в холле и прилегающих комнатах.— Точно бдение у гроба. А где же сам гроб?

— Это потом. Подождите, сами увидите!

К ним подошел черный студент, в котором Мэтлок узнал Адама Уильямса — одного из университетских экстремистов. Длинные волосы Уильямса были подстрижены на африканский манер и правильным полукругом обрамляли голову. Мэтлок подумал, что если бы они встретились в вельде, он принял бы Уильямса за вождя племени.

[1] Художники этого направления «творят» под влиянием наркотиков.

— Здравствуйте,— сказал Уильямс, широко улыбаясь.— Добро пожаловать к истокам революции.

— Большое спасибо.— Они обменялись рукопожатиями.— Правда, впечатление не столько революционное, сколько похоронное. Я даже спросил у Джонни, где гроб.

— О боже! — захохотал Уильямс.— Значит, мы все делаем неправильно. Это же день ликования. Немного мрачного, пожалуй, но все же ликования.

— Я не совсем понимаю,— улыбнулся Мэтлок.

— Мальчишка из племени достигает рубежа, за которым для него начинается активная жизнь взрослого мужчины. Значит, это повод для радости. Никаких гробов, никаких рыданий и траурных покрывал.

— Правильно! Правильно, Адам! — подхватил Джонни.

— Брат, почему бы тебе не принести доктору Мэтлоку что-нибудь выпить? — Адам повернулся к Мэтлоку.— До окончания церемонии мы будем пить только пунш «Суахили». Не возражаете?

— Нет, конечно.

Джонни исчез в толпе.

— Прекрасно,— улыбнулся Адам.— Это легкий напиток из рома, лимонада и клюквенного сока. Очень вкусный... Спасибо, что пришли.

— Для меня ваше приглашение было неожиданностью. Я полагал, что это очень «закрытое» мероприятие — только для своих, из одного племени... Ох, простите!.. Я не хотел вас обидеть...

— А вы и не обидели,— рассмеялся Уильямс.— Я же сам употребил это слово. Хорошо чувствовать себя племенем. Хорошо для братьев.

— Да, вероятно, племя — это...

— Коллектив, общественная группа, способная защитить себя. Имеющая свое лицо.

— Ну, если такова цель — конструктивная цель,— то я ее одобряю.

— Именно такова. Ведь там, в буше, племена не всегда воюют друг с другом. И занимаются не только воровством, грабежом и похищением женщин. Это из дешевых голливудских фильмов. Они торгуют, вместе охотятся, вместе обрабатывают землю и сосуществуют лучше, чем народы и политические группы!

— Хорошо, профессор,— в свою очередь рассмеялся Мэтлок.— Я все это запишу после лекции.

— Извините. Такая уж у меня привычка.

— Привычка или профессия?

— Время покажет... Но мне хотелось бы, чтобы одно было ясно. В вашем одобрении мы не нуждаемся.

Вернулся Джонни со стаканом пунша для Мэтлока.

— Мистер Мэтлок, а брат Дэвис, то есть Билл Дэвис, говорит, что вы грозились его завалить, а потом на промежуточных вдруг взяли и поставили ему зачет с отличием!

— Брат Дэвис наконец решил взяться за ум и немножко поработать.— Мэтлок взглянул на Адама Уильямса.— Против такого рода одобрения вы не возражаете? Нет?

Уильямс улыбнулся и положил руку на локоть Мэтлока.

— Нет, сэр, бвана [1]... В этой сфере вы управитель копей царя Соломона [2]. Брат Дэвис здесь для того, чтобы работать не покладая рук и реализовать заложенные в нем возможности. Здесь я не спорю. Делайте с братом что хотите.

— А вы человек страшноватый,— беспечно заметил Мэтлок, хотя ему стало не по себе.

— Ничего подобного. Просто прагматик... Мне нужно проследить за последними приготовлениями. Мы еще увидимся.— Уильямс окликнул проходившего мимо студента, и они начали пробираться к лестнице.

— Пойдемте, мистер Мэтлок. Посмотрите, какие у нас тут перемены.— И Джонни повел Мэтлока в зал, который раньше был главным залом братства Альфа-Дельта.

В море темных лиц Мэтлок уловил всего несколько настороженных, враждебных взглядов. Наверное, в другом месте университетского городка он услышал бы больше приветственных возгласов, но в целом встретили его вполне нормально. Мелькнула мысль: а что, если бы братья знали, зачем он пришел,— как бы на него набросились все обитатели Лумумба-Холла! Он ведь здесь единственный белый.

---

[1] Вежливое обращение у африканцев, соответствующее английскому «сэр».

[2] Имеется в виду приключенческий роман английского писателя Р. Хаггарда «Копи царя Соломона».

Перемены в зале произошли радикальные. Не было больше широких панелей темного дерева, тяжелых дубовых скамей под огромными, точно в соборе, окнами и массивной мебели с темно-красной кожаной обивкой. Все преобразилось до неузнаваемости. Исчезли стрельчатые окна — их спрямили и превратили в прямоугольные. Стены покрывал орнамент, выложенный из тонких лакированных пластинок бамбука. На потолке орнамент образовывали тысячи блестящих тростинок, сходившихся к центру, где из большого отверстия — фута три в диаметре,— закрытого толстым неровным стеклом, лился желтовато-белесый свет. Мебели как таковой не было. Куски толстых бревен на невысоких ножках, по-видимому, заменяли столы. Вместо стульев вдоль стен лежало множество ярких подушек.

Мэтлок быстро понял смысл всех этих перемен.

Зал братства Альфа-Дельта-Фи превратился в великолепную копию большой африканской хижины. Тут было даже ослепительное экваториальное солнце, светившее через отверстие в крыше.

— Здорово! Просто здорово! У вас ушел на это, наверно, не один месяц.

— Почти полтора года,— сказал Джонни.— Здесь очень уютно, хорошо отдыхается. Знаете, ведь сейчас многие ведущие дизайнеры отдают предпочтение стилю «назад к природе». Это очень рационально, и легко поддерживать порядок.

— Вы словно оправдываетесь. А зачем? Это же полный блеск.

— Да нет, я вовсе не оправдываюсь.— Джонни решил прекратить пояснения.— Адам говорит, что в примитиве есть своего рода величие. Это наследие, которым можно гордиться.

— Адам прав. Хотя он не первый, кто это сказал.

— Не надо нас ставить на место, мистер Мэтлок...

Мэтлок взглянул на Джонни поверх стакана с пуншем. «О господи,— подумал он,— чем больше все меняется, тем больше остается по-прежнему».

Зал для собраний братства Альфа-Дельта-Фи был вырублен из погребов, расположенных в дальнем конце дома. Это произошло в самом начале столетия, когда богатые выпускники не жалели денег на тайные общества и балы для дебютанток, что, естественно, способствовало распространению определенного образа жизни, но, естественно, лишь среди избранных.

Тысячи молодых людей в накрахмаленных воротничках прошли церемонию посвящения в члены братства в этом помещении, напоминающем часовню, где они шептали тайные клятвы и обменивались необычными рукопожатиями согласно наставлениям суровых старших братьев — таких же детей, как они сами. А потом напивались и их тошнило по углам.

Мэтлок думал обо всем этом, наблюдая за разворачивавшимся перед ним обрядом. Не менее детским, подумалось ему, и не менее нелепым, чем то, что происходило здесь раньше. Возможно, более жестоким, но ведь он брал свое начало не в плавных фигурах котильона, а в звериных мольбах — мольбах о том, чтобы боги дали силы выжить, а не о сохранении своей исключительности.

Обряд состоял из песнопений, обращенных к черному юноше — по всей вероятности самому молодому брату Лумумба-Холла,— лежавшему на бетонном полу в одной лишь красной набедренной повязке. По окончании каждого песнопения четверо рослых, голых по пояс студентов в черных ритуальных поясах поднимали юношу над толпой. Зал освещали десятки толстых свечей на подставках, и по стенам и потолку плясали тени. Театральный эффект усиливался разрисованными лицами и лоснящейся от масла кожей пятерых главных участников. Чем громче становилось пение, тем выше поднимали юношу, и вот его напряженно застывшее тело стало уже взлетать в воздух и снова опускаться на вытянутые руки студентов под неистовые гортанные крики толпы.

До сих пор Мэтлок довольно безучастно наблюдал за происходящим, но тут ему вдруг стало страшно за маленького негра. К четверым студентам в центре зала присоединились еще двое. Они сели на корточки в квадрате, образуемом четырьмя студентами, и вытащили по два длинных ножа. Продолжая сидеть на корточках, они вытянули вверх руки — лезвия ножей стояли прямо, застывшие и неподвижные, как юноша над ними. И каждый раз, когда маленький негр падал, четыре острия придвигались

к нему все ближе. Один просчет, одно неточное движение скользкой от масла руки — и обряд окончится смертью маленького студента. Убийством.

Видя, что обряд переходит все допустимые границы, Мэтлок начал пробиваться к Адаму Уильямсу, стоявшему в первом ряду зрителей. Его остановили — спокойно, но твердо. Мэтлок зло посмотрел на негра, державшего его за локоть. А тот даже не повернул головы, загипнотизированный тем, что происходило в центре зала.

Мэтлок сразу понял почему. Теперь юношу подбрасывали то вниз лицом, то вверх. Возможность ошибки возросла в десять раз. Мэтлоку удалось высвободиться, но Адама Уильямса уже не было на прежнем месте. Мэтлок не знал, что делать. Если крикнуть, воспользовавшись паузой, это может отвлечь тех, кто подбрасывал юношу. Так рисковать нельзя, и все же он не мог допустить, чтобы эта нелепая опасная игра продолжалась.

Неожиданно Мэтлок почувствовал на плече чью-то руку. Он обернулся и увидел Адама Уильямса. Он вздрогнул от удивления. Неужели сработала какая-то первобытная племенная сигнализация?

— Не надо волноваться,— сказал Уильямс.

— Как не надо! Мальчика могут убить!

— Никогда. Братья репетировали много месяцев... Видите? Глаза у парня открыты. Сначала он смотрит в небо, затем на острия ножей И все время, каждую секунду чувствует, что его жизнь в руках братьев-воинов. Он не может, не должен выказывать страха. Если он это сделает, то предаст своих сородичей. Предаст доверие, которое он должен питать к ним, ибо со временем и они доверят ему свою жизнь...

— Но это же ребячество, нелепая, опасная игра, и вы это понимаете! Вот что, Уильямс, немедленно прекратите это, или я сам прекращу, черт бы вас побрал! — Мэтлок схватил Уильямса за ворот. Его тотчас окружили и отсекли от Уильямса.

Внезапно в призрачно освещенном зале воцарилась тишина. Мэтлок резко повернулся и увидел, как лоснящееся от масла черное тело с головокружительной высоты падает на вытянутые руки.

Нет, не может быть! И однако, это было на самом деле.

Четверо студентов, словно по команде, стали на колени спиной к центру, прижав руки к бокам. Юный студент падал лицом вниз на острия ножей Раздалось два вскрика. Студенты с ножами мгновенно скрестили их и лихо поймали юношу на повернутые плашмя лезвия.

Толпа неистовствовала.

Церемония была окончена.

— Теперь вы мне верите? — спросил Уильямс.

— Не важно, верю я вам или нет. Вы не имеете права устраивать такие вещи. Это слишком опасно!

— Вы преувеличиваете... Вот, разрешите представить вам еще одного гостя.— Уильямс приветственно поднял руку, и к ним подошел высокий худой чернокожий, коротко остриженный, в очках, в дорогом коричневом костюме — Это Джулиан Дюнуа, мистер Мэтлок. Брат Джулиан — наш эксперт. Наш хореограф, если хотите.

— Очень приятно.— Дюнуа протянул руку Говорил он с легким акцентом.

— Брат Джулиан с Гаити. В свое время он прямо с Гаити приехал на юридический факультет Гарварда. Очень необычный скачок, вы не находите?

— Конечно...

— Многим гаитянцам, даже тонтон-макутам, становится не по себе, когда они слышат его имя.

— Вы преувеличиваете, Адам,— улыбнулся Джулиан Дюнуа.

— Именно это я только что сказал мистеру Мэтлоку. Он преувеличивает. Я имею в виду опасность этой церемонии.

— Опасность, конечно, есть, мистер Мэтлок... Но безопасность гарантируется тем, что эти двое с ножами внимательно следят за происходящим. При подготовке главное внимание уделяется тому, чтобы они умели не только держать ножи острием вверх, но и мгновенно опускать их.

— Хорошо,— согласился Мэтлок.— Но уж очень мал допуск для ошибки.

— Не так мал, как вам кажется.— Голос гаитянца звучал приятно, успокаивающе.— Между прочим, я ваш поклонник. Мне очень нравятся ваши работы о елизаветин-

цах. Разрешите добавить, что я не совсем таким вас себе представлял. То есть вы намного, намного моложе, чем я думал.

— Вы мне льстите. Я не знал, что известен на юридических факультетах.

— На последнем курсе я специализировался по английской литературе.

— Ну, вы поговорите в свое удовольствие,— вежливо прервал Адам,— через несколько минут наверху будут подавать напитки — идите, куда пойдут все. А мне нужно кое-чем заняться... Я рад, что вы встретились. Вы ведь оба здесь в своем роде чужаки. А чужаки должны встречаться на незнакомой почве. Так легче.

Он многозначительно посмотрел на Дюнуа и быстро пошел прочь.

— Почему Адам считает, что нужно разговаривать языком загадок, которые ему кажутся неразрешимыми? — заметил Мэтлок.

— Он очень молод. И все время старается поучать. Очень умен, но очень молод.

— Извините, но вы тоже, насколько я понимаю, не старик. Ну, на год-два старше Адама.

Черный в дорогом коричневом костюме посмотрел в глаза Мэтлоку и мягко рассмеялся.

— Теперь вы мне льстите,— сказал он.— Если уж говорить правду — а я не вижу оснований ее скрывать,— то лишь моя кожа обитателя тропиков, которая так хорошо скрадывает возраст, мешает вам понять, что я ровно на год четыре месяца и шестнадцать дней старше вас.

Мэтлок молча уставился на негра. Прошла целая минута, прежде чем он сумел переварить его слова и то, что за ними скрывалось. Глаза черного смотрели не мигая. Он выдержал взгляд Мэтлока и ответил на него. Наконец Мэтлок обрел дар речи.

— Мне такие шутки не нравятся.

— Да ведь мы здесь оба по одной и той же причине. У вас свой интерес, а у меня свой... Пойдемте наверх и выпьем... Вы пьете бурбон с содовой, если не ошибаюсь? И кажется, предпочитаете кислый?

И Дюнуа двинулся сквозь толпу впереди Мэтлока, которому ничего не оставалось, как последовать за ним.

Дюнуа оперся спиной о кирпичную стену.

— Итак,— сказал Мэтлок,— обмен любезностями окончен. Я полагаю, вам пора объясниться.

Они стояли одни на крыльце со стаканами в руках.

— Хотите сигару? Настоящая гаванская.

— Никаких сигар. Давайте поговорим. Я сегодня пришел сюда, потому что это мои друзья. Мне оказали честь, пригласив меня... Теперь же вы припутываете что-то еще, и мне это не нравится.

— Браво! Браво! — сказал Дюнуа, поднимая стакан.— Прекрасно исполнено... Не волнуйтесь, они ничего не знают. Возможно, подозревают что-то, но, поверьте, ничего конкретного.

— Да о чем вы?

— Допивайте и пойдем на лужайку.— Дюнуа допил свой ром, а Мэтлок проглотил остатки бурбона. Они спустились с крыльца Лумумба-Холла и подошли к большому развесистому дереву. Дюнуа неожиданно повернулся и схватил Мэтлока за плечи.

— Отпустите!

— Послушайте! Мне нужна эта бумага. И вы должны сказать мне, где она!

Мэтлок хотел высвободиться из хватки Дюнуа, но не мог поднять руки — они неожиданно стали ужасно тяжелыми. Потом он услышал свист. Громкий пронзительный свист в голове.

— Что? Что?.. Какая бумага? У меня нет никакой бумаги...

— Не упрямьтесь. Мы же ее все равно добудем... Ну скажите, где она?

Мэтлок почувствовал, что его кладут на землю Огромный развесистый вяз над ним закружился, а свист в голове становился все громче и громче. Это было невыносимо.

— Что вы делаете? Что вы со мной делаете?

— Бумага, Мэтлок! Где корсиканская бумага?

«Оставьте меня»,— попытался крикнуть Мэтлок, но с губ его не сорвалось ни звука.

— Бумага, серебряная бумага, черт бы вас побрал!

— Никакой бумаги нет. Нет у меня! Нет!

— Слушайте меня! Вы только что выпили, помните? Теперь вам нельзя оставаться одному. Вы не смеете оставаться один.

— Что?.. Что?.. Оставьте меня! Мне больно!

— Я даже не прикасаюсь к вам... Это ваш бурбон! Вы только что проглотили три таблетки ЛСД! Вы попали в беду, доктор!.. Ну, говорите же! Где бумага?!

Из крутящихся спиралей, разрывающих мозг вспышками разноцветных молний, выплыл силуэт склонившегося над ним человека. Мэтлок ухватил белую рубашку между темными бортами пиджака, рванул ее на себя и ударил кулаком вверх, прямо в лицо. Потом безжалостно замолотил по горлу. Он почувствовал, как разбились очки Дюнуа...

Сколько времени это продолжалось, Мэтлок не мог бы сказать точно. Когда он пришел в себя, Дюнуа без сознания неподвижно лежал рядом с ним.

Мэтлок понял, что надо бежать. Бежать немедленно! Что сказал Дюнуа? «Вы не смеете оставаться один... Не смеете...» Он должен найти Пэт. Она знает, что надо делать. Он должен ее найти, пока наркотик не начал действовать по-настоящему. Да беги же!

Но куда? В какую сторону? Он не знал дороги! Он увидел, что стоит на какой-то улице; он побежал по ней, но в ту ли сторону? И та ли это улица?

Он услышал звук мотора. Машина подъехала к самому тротуару, и водитель всмотрелся в Мэтлока. Мэтлок побежал быстрее, споткнулся, упал на тротуар, снова поднялся. Он бежал, пока совсем не выдохся и ноги не перестали слушаться. Остановиться он не мог, только чувствовал, как его заносит в сторону широкого пролива улицы — она неожиданно стала рекой, черной зловонной рекой, в которой он и утонет.

Он смутно услышал скрежет тормозов. Свет фар ослепил его; какой-то человек наклонился к нему и ткнул пальцами ему в глаза. Ему было все равно. Он лишь расхохотался, глотая кровь, хлынувшую по лицу ему в рот.

Он все еще истерически хохотал, когда Джейсон Гринберг потащил его в машину.

А потом земля, весь мир, вся галактика, вся солнечная система погрузились в безумие.

10

Ночь была страшной.

Утро принесло некоторое ощущение реальности — не столько для Мэтлока, сколько для двух людей, сидевших по обе стороны его кровати. Джейсон Гринберг сидел пригнувшись, скрестив руки на коленях, и смотрел на Мэтлока своими большими печальными глазами. Патриция Бэллентайн держала салфетку, смоченную холодной водой, на лбу Мэтлока.

— Эти свиньи хорошо вас угостили, дружище.

— Ш-ш-ш,— прошептала девушка.— Не трогайте его.

Мэтлок обвел глазами комнату. Он был в квартире Пэт, в ее спальне, на ее постели.

— Они мне дали ЛСД.

— Это вы нам рассказываете? Мы вызвали врача — настоящего врача из Литчфилда. Милейший человек, которому вы все пытались выдавить глаза... Не волнуйтесь, он наш сотрудник. Никаких имен.

— Пэт? Как же я...

— Ты такой милый наркоман, Джеми. Ты все время выкрикивал мое имя.

— И очень кстати,— прервал ее Гринберг.— Никаких больниц, никаких историй болезни. Самый лучший вариант. Кстати, когда вы буйствуете, вас трудно урезонить. Вы намного сильнее, чем я ожидал. Это странно, учитывая, что вы так плохо играете в сквош.

— Черт бы вас побрал, Гринберг! Зачем вы меня сюда привезли?

— Вы ведь сами предложили — уже не помните?..

— Я же ничего не соображал.

— Это была прекрасная мысль. А что бы вы предпочли? «Скорую помощь»?.. «Кто там на носилках, доктор? Что он такое выкрикивает?..» — «А-а, это адъюнкт-профессор Мэтлок, сестра. Он наглотался ЛСД»

— Вы же понимаете, что я хочу сказать! Могли отвезти меня домой. Привязали бы к кровати.

— Я рад, что вы не слишком осведомлены об ЛСД,— сказал Гринберг.

— Понимаешь, Джеми...— Пэт взяла его руку.— Когда тебе по-настоящему плохо, надо, чтобы рядом был близкий человек... Это очень помогает.

Мэтлок взглянул на девушку, затем на Гринберга.

— Что вы ей рассказали?

— Что вы вызвались помочь нам, что мы вам благодарны. С вашей помощью нам, возможно, удастся поставить заслон в одном серьезном деле, пока оно не переросло в нечто совсем скверное.— Гринберг говорил монотонно. Было видно, что ему не хочется развивать эту тему.

— Это было очень загадочное объяснение,— сказала Пэт.— Пришлось пригрозить ему, а то бы я и такого не добилась.

— Она собиралась вызвать полицию.— Гринберг вздохнул, и его печальные глаза стали еще печальнее.— Хотела посадить меня за то, что я вас одурманил. У меня не было выхода.

Мэтлок улыбнулся, но Пэт не увидела в этом ничего смешного.

— Зачем ты согласился, Джеми?

— Но он же сказал: дело очень серьезное.

— Но почему именно ты?

— Потому что я могу это сделать.

— Что? Сдавать ребят в полицию?

— Я же сказал вам,— вмешался Джейсон.— Нас не интересуют студенты...

— А что же такое Лумумба-Холл? Отделение «Дженерал моторс»?

— Одно из мест, где происходят контакты. Есть и другие. Честно говоря, лучше было бы нам не связываться с ними — штука очень щекотливая. К сожалению, выбирать не приходится.

— Это звучит оскорбительно.

— Боюсь, мисс Бэллентайн, что бы я ни сказал, все покажется вам оскорбительным.

— Очень может быть. Ибо я считала, что у ФБР есть более важные задачи, чем преследовать черных. Очевидно, я ошибалась.

— Ну ладно, хватит! — Мэтлок сжал руку девушки. Она высвободила ее.

— Да нет, Джеми, я серьезно! Нет там никаких далеко идущих планов, никаких игр в радикализм. Одни наркотики. Иногда это принимает уродливые формы, в большинстве же своем — обычные. Мы оба это знаем. Так почему вдруг такое внимание к ребятам из Лумумба-Холла?

— Да мы этих ребят и пальцем не тронем. Мы хотим им помочь.— Гринберг устал после бессонной ночи и уже не скрывал раздражения.

— Мне не нравится, как вы и ваши коллеги помогаете людям, и то, что произошло с Джеми, мне тоже не нравится! Зачем вы его послали туда?

— Он меня не посылал. Я сам пошел.

— Но зачем?

— Это очень сложно, у меня сейчас нет сил объяснять.

— Мистер Гринберг мне уже все объяснил. Тебе оказано большое доверие. Сами они ничего не могут, вот и нашли человека, который вместо них все сделает. Ты принимаешь на себя весь риск, а когда все кончится, тебе в этом университете уже никто не будет верить. Джеми, подумай, это же твой дом, твоя работа!

Мэтлок поймал взгляд девушки, стараясь ее успокоить.

— Я это знаю лучше, чем ты. Моему дому нужна помощь, и это не игра, Пэт. Я думаю, что стоит рискнуть.

— Я даже не хочу притворяться, что понимаю.

— Вы и не можете понять, мисс Бэллентайн потому что для этого мы должны рассказать вам все, а мы не имеем права.

— Ах вот как?

— Прошу тебя,— сказал Мэтлок.— Ведь он же спас мне жизнь.

— Не преувеличивайте, профессор.— Гринберг пожал плечами.

Пэт поднялась.

— По-моему он сначала выкинул тебя за борт, а потом, подумав, бросил тебе канат... Как ты себя чувствуешь?

— Ничего,— ответил Мэтлок.

— Мне надо уходить, но я не уйду, если я тебе нужна.

— Нет-нет, иди! Я позвоню тебе позже. Спасибо за первую помощь.

Девушка неприязненно взглянула на Гринберга и направилась к туалетному столику. Взяв щетку, она быстро расчесала волосы и надела оранжевый обруч. Все это время она наблюдала за Гринбергом в зеркало, а он смотрел на нее.

— Это ваш человек ходит за мной, мистер Гринберг?

— Да.

— Мне это не нравится.

— Ничего не могу поделать.

Пэт повернулась:

— Пожалуйста, уберите его!

— Это невозможно. Я скажу ему. чтобы он не слишком высовывался.

— Ясно.— Она взяла сумочку с туалета, подобрала с полу портфель и молча вышла из спальни. Через несколько секунд хлопнула дверь.

— С характером она у вас,— сказал Джейсон.

— Это можно понять.

— А что такое?

— Я думал, вы все знаете про людей, с которыми имеете дело...

— Меня еще не до конца накачали Я ведь только дублер.

— В таком случае я сэкономлю вам время. В конце пятидесятых годов ее отца маккартировали из госдепартамента. Конечно, он был очень опасный человек. Консультант по иностранным языкам. Имел допуск к секретной информации — переводил газетные материалы.

— Черт знает что!

— Вот именно. Больше он туда уже не вернулся. Она всю жизнь жила на стипендию; так что в буфете у нее не густо. И к вашему ведомству она относится вполне однозначно.

— Где только вы ее выискали?

— Зато вы выискали меня.

Мэтлок открыл дверь и вошел в переднюю. Пэт не пожалела сил, чтобы привести квартиру в порядок; он знал, что именно так она и поступит. Даже занавески были повешены. Стрелки часов показывали начало четвертого — большая часть дня пропала. По настоянию Гринберга они поехали в Литчфилд для повторного осмотра. «Досталось здорово, но работать может»,— таков был приговор врача.

Они остановились пообедать в «Чеширском коте». Во время еды Мэтлок то и дело посматривал на столик, где четыре дня назад Ральф Лорини сидел со сложенной газетой. Обед прошел спокойно, без напряженности. ибо они чувствовали себя хорошо друг с другом; говорили мало; каждому было о чем поразмыслить.

На обратном пути в Карлайл Гринберг попросил Мэтлока побыть дома и дождаться его звонка. Из Вашингтона никаких новых инструкций еще не пришло. Там анализировали новую информацию, и впредь до дальнейших распоряжений Мэтлоку надлежало оставаться «ВО» — «вне операции».

Тем лучше. Надо продумать собственную операцию, связанную с Лукасом Херроном. «Великим старцем», старейшиной университета. Настало время связаться с ним и предупредить. Старик явно запутался, и чем быстрее он выпутается, тем лучше для всех, включая и Карлайл. Однако Мэтлок не хотел звонить ему по телефону, не хотел договариваться о встрече по всем правилам — надо действовать тоньше. Он не хотел пугать старика Лукаса, не хотел, чтобы тот говорил с ненадежными людьми.

Мэтлок подумал, что он действует совсем как ангел-хранитель Херрона. Следовательно, он исходит из того, что Лукас далек от какого-либо серьезного участия в этом деле. Но имеет ли он право так считать? С другой стороны, живя в цивилизованном обществе, он не имеет права думать иначе.

Зазвонил телефон. Вряд ли это Гринберг. Они ведь только что расстались. Мэтлок надеялся также, что это не Пэт: он еще не был готов говорить с ней. Нехотя поднес он трубку к уху.

— Алло!

— Джим! Где вы были? Звоню вам с восьми утра! Я уже два раза приезжал к вам. — Это был Сэм Крессел. Голос его звучал так, будто университет Карлайла закрыли.

— Я сейчас не могу вам всего объяснить, Сэм. Давайте попозже встретимся. Я заеду к вам после ужина.

— Я бы не стал это надолго откладывать. Господи! Что на вас нашло?

— Не понимаю...

— Да вчера вечером, в Лумумбе!

— О чем вы? Вы что-то слышали?

— Да эта черная скотина Адам Уильямс подал мне рапорт... обвиняет вас во всех смертных грехах — чуть ли не в пропаганде рабства. Он пишет, что не заявил в полицию только потому, что вы были мертвецки пьяны! Конечно, под влиянием алкоголя вы сбросили маску и всем показали, какой вы оголтелый расист.

— Что?!

— Вы ломали мебель, колотили студентов, били стекла...

— Вы же понимаете, что это чушь!

— Я-то понимаю.— Крессел понизил голос. Он явно стал успокаиваться.— Я-то понимаю, но что это меняет? Мы должны избегать поляризации. А как только правительство вмешивается в дела университета, начинается поляризация.

— Послушайте меня. Заявление Уильямса — это лишь отвлекающий маневр. Камуфляж. Они мне вчера подсыпали наркотиков. Если бы не Гринберг, мы бы с вами сейчас не разговаривали.

— О господи! Лумумба-Холл тоже в вашем списке? Только этого не хватало! Черные поднимут крик, что их преследуют. И тогда бог знает что начнется.

— Я приеду к вам около семи.— Мэтлок пытался говорить спокойно.— Ничего сейчас не предпринимайте, ни с кем не говорите. Мне нужно освободить телефон. Я жду звонка Гринберга.

— Одну минуту, Джим! Вот еще что. Этот Гринберг... Я ему не верю. Никому из них не верю. Запомните: прежде всего мы обязаны сохранять лояльность Карлайлу...— Крессел замялся. Мэтлок понял, что он подбирает слова.

— Странно слышать это от вас.

— Вы же понимаете, что я хочу сказать.

— Не уверен. Я полагал, мы должны работать вместе...

— Но не ценой гибели университета! — Голос декана звучал почти истерически.

— Не волнуйтесь,— сказал Мэтлок.— Он не погибнет. До встречи.— И Мэтлок повесил трубку, не дав Кресселу ничего добавить. Ему необходимо было немного отдохнуть, а Крессел никому не давал покоя, когда дело касалось его царства. Сэм Крессел был по-своему таким же воинственным, как любой экстремист,— только, пожалуй, раньше других начинал возмущаться.

Эти соображения привели Мэтлока еще к одному, вернее, даже к двум. Четыре дня назад он сказал Пэт, что не хочет отменять поездку на Сент-Томас. Короткие апрельские каникулы начнутся после занятий в субботу, через три дня. При сложившихся обстоятельствах поездка на Сент-Томас исключается, если только Вашингтон не решит, что ему нужно выйти из игры, а он в этом сомневался. Он использует своих родителей в качестве предлога. Пэт, конечно поймет, даже одобрит. Второе соображение касалось его собственных преподавательских дел. Его рабочий стол был завален студенческими работами, которые еще предстояло прочесть. Сегодня утром он пропустил два занятия. Но сейчас он думал не столько о студентах, сколько о том, чтобы не давать лишнего повода для жалоб; хватит с него рапорта Уильямса. Профессор-прогульщик — хорошая мишень для сплетен. На его занятиях в оставшиеся до каникул три дня должно быть немного студентов — трое, двое и еще двое. Работу он наладит позже. А пока нужно до семи часов найти Лукаса Херрона. Если Гринберг позвонит в его отсутствие, он свалит все на конференцию аспирантов, о которой забыл предупредить.

Он решил принять душ, побриться и переодеться. В ванной он проверил коробку с песком для кошки. Корсиканская бумага была на месте — он знал, что она там.

Побрившись и приняв душ, Мэтлок пошел в спальню и стал одеваться, одновременно обдумывая дальнейшие действия. Он не знал, есть ли у Лукаса Херрона сегодня после обеда лекции или семинары, но это нетрудно будет узнать. Если нет, придется ехать к нему домой — на машине туда можно добраться минут за пятнадцать. Херрон жил в восьми милях от университета. Дом его — перестроенный каретный сарай — стоял на отшибе, но, как любил говорить Лукас, «попав туда, понимаешь, что путешествие стоило того».

Быстрый стук в дверь прервал его мысли. Ему вдруг стало трудно дышать.

— Иду, иду,— крикнул он, натягивая через голову белую спортивную рубашку. Он прошел босиком к входной двери, открыл ее и не сдержал удивленного возгласа. В дверях стоял Адам Уильямс — один.

— Здравствуйте!

— О господи!.. Не знаю, что лучше — сразу съездить вам по физиономии или сначала вызвать полицию! Что вам надо? Крессел мне уже звонил. Вы ведь именно это хотели узнать?

— Мне нужно с вами поговорить. Я быстро,— произнес черный; Мэтлоку показалось, что он чем-то испуган, но старается это скрыть.

— Заходите. Только действительно быстро.— Мэтлок пропустил Уильямса в переднюю и захлопнул дверь. Тот попытался улыбнуться, но глаза у него были невеселые.

— Я очень сожалею об этом рапорте. В самом деле сожалею. Это была неприятная необходимость.

— Со мной такой номер не пройдет, и не надейтесь! Чего вы добивались? Чтобы Крессел осрамил меня на весь университет и выжил отсюда? Думали меня с грязью смешать? Да вы просто ненормальный!

— Мы думали, все будет тихо и спокойно. Иначе мы бы вообще ничего не устраивали... Мы не могли понять, куда вы отправились. Вы же просто исчезли. В таких случаях надо переходить в атаку, а потом признавать, что произошло досадное недоразумение... Тактика не новая. Я пошлю Кресселу другой рапорт, в котором частично сниму обвинения. Недели через две об этом забудут.

Внутри у Мэтлока все кипело — так возмутила его «тактика» Уильямса и этот бессовестный прагматизм,— но голос его звучал ровно:

— Убирайтесь. Вы мне отвратительны.

— Неужели только сейчас? Бросьте! Мы всегда были вам отвратительны! — Мэтлок задел за живое, и Уильямс соответственно отреагировал, но тут же взял себя в руки.— Давайте не будем спорить на житейские темы. Разрешите мне перейти к делу и уехать.

— Я этого и жду.

— Хорошо. Послушайте. Отдайте Дюнуа то, что ему нужно. Вернее, отдайте мне, а я передам ему. Я не веду двойной игры — я вынужден пойти на это.

— Избитый прием. Он уже не срабатывает. И почему вы считаете, будто у меня есть то, что нужно брату Джулиану? Он что, вам об этом сказал? Почему он сам сюда не пришел?

— Брат Джулиан не сидит подолгу на одном и том же месте. Его таланты требуются повсюду.

— Для постановки ритуальных церемоний племен мау-мау?

— Он, видите ли, на самом деле этим занимается. Это его хобби.

— Пришлите его ко мне.— Мэтлок подошел к кофейному столику и взял пачку сигарет.— У меня великолепная коллекция народных танцев шестнадцатого века.

— Будьте серьезны. У нас же нет времени!

Мэтлок закурил сигарету.

— У меня полно времени. Просто я хочу еще раз повидать брата Джулиана: я хочу упрятать его за решетку.

— Не выйдет! Не выйдет! Я пришел сюда ради вашего же блага! И если я уйду от вас с пустыми руками, то уже не смогу ничего предотвратить!.. Да вы понимаете, кто такой Джулиан Дюнуа?

— Отпрыск семьи Борджиа? Эфиопская ветвь?

— Хватит, Мэтлок! Сделайте, как он говорит. Иначе могут пострадать люди. А этого никто не хочет.

— Я не знаю, кто такой Дюнуа, и мне на это наплевать. Я только знаю, что он подмешал мне наркотики и нанес оскорбление действием; знаю, что он имеет опасное влияние на большую группу молодежи Кроме того, я подозреваю, что это по его указанию вломились ко мне в квартиру и испортили много моих личных вещей. Я хочу, чтобы его арестовали и убрали подальше. От вас и от меня.

— Перестаньте же, прошу вас!

Мэтлок быстро подошел к занавескам и резким движением сорвал их.

— Это что — одна из визитных карточек брата Джулиана?

Адам Уильямс ошеломленно уставился на разбитое стекло и изуродованные свинцовые переплеты.

— Нет! Ни в коем случае. Джулиан так не делает... Даже я так не делаю. Это кто-то другой.

11

Дорога к дому Лукаса Херрона вся была изрыта выбоинами — зимой от сильных морозов земля потрескалась. Но по этой дороге почти никто не ездит, так что вряд ли власти Карлайла скоро приведут ее в порядок — слишком много таких же следов суровой зимы в самом городе, на улицах с оживленным движением. Приближаясь к старому каретному сараю, Мэтлок сбавил скорость почти до десяти миль в час, чтобы машина не грохотала на выбоинах: он хотел подъехать как можно тише.

Полагая, что Джейсон Гринберг мог устроить за ним наблюдение, Мэтлок выбрал кружной путь — проехал четыре мили на север, по параллельной дороге, затем вернулся обратно по основной. За ним никто не следовал. Ближайшие дома с обеих сторон находились примерно в ста ярдах от «Гнезда Херрона», а напротив не было вообще ни одного. Поговаривали, что этот район скоро будут застраивать жилыми домами, как говорили и о расширении Карлайлского университета, но пока ничего из этих проектов не получалось. Первый проект зависел от второго, а любые мало-мальски серьезные перестройки Карлайла встречали сильное сопротивление бывших его студентов. С бывшими студентами имел дело Адриан Силфонт — это был его крест.

Мэтлока поразила какая-то особая безмятежность, царившая вокруг дома Херрона. Раньше он никогда как следует не рассматривал его. Он часто подвозил Лукаса домой после заседаний ученого совета, но при этом всегда спешил и ни разу не воспользовался приглашением Лукаса зайти и выпить, так что внутри дома он еще не был.

Он вышел из машины и направился к старому кирпичному строению, увитому плющом. Перед домом, на просторной лужайке, буйно цвели две японские ивы — их лиловые цветки каскадом ниспадали на землю. Трава была подстрижена, как и кустарник; на дорожках поблескивал белый гравий. Видно было, что за домом и территорией любовно ухаживают, однако чувствовалось, что все здесь делается одним человеком и для одного человека. Не для двоих и не для семьи. И тут Мэтлок вспомнил, что Лукас Херрон не был женат. Ходили, разумеется, слухи о первой любви, о трагической смерти, даже о бегстве невесты, но когда эти романтические легенды достигали ушей Лукаса Херрона, он с усмешкой замечал, что был «чертовски эгоистичным».

Мэтлок поднялся по ступенькам и позвонил. Он попытался изобразить на лице улыбку, но ничего не получалось. Ему было страшно.

Дверь распахнулась, и на пороге появился Лукас Херрон — высокий, седой, в помятых брюках и наполовину расстегнутой темно-синей рубашке. Секунду он молча смотрел на гостя, но за это время Мэтлок успел понять, что ошибался. Лукас Херрон знал, зачем он приехал.

— А-а! Джим! Заходите, заходите, мой мальчик! Какая приятная неожиданность.

— Я вам не помешал?

— Нисколько. Вы как раз вовремя. Я занимаюсь алхимией. Изобретаю фруктовый «Коллинз» на джине. Теперь мне не придется экспериментировать в одиночку.

— Это любопытно.

Внутри дом оказался в точности таким, как представлял себе Мэтлок,— таким будет и его собственный дом лет через тридцать, если он проживет всю жизнь холостяком. Жилище Херрона напоминало магазин случайных вещей, скопившихся чуть не за полвека. Никаким стилем здесь, разумеется, и не пахло; все объединялось лишь стремлением к удобству. Вдоль одних стен тянулись книжные полки, а на других висели увеличенные фотографии с видами мест, где побывал хозяин — по всей вероятности, во время академических отпусков. Кресла были тяжелые и мягкие; куда бы вы ни сели, под рукой оказывался стол — верный признак холостяцкого быта, подумал Мэтлок.

— Вы ведь у меня в доме никогда не были?

— Нет, не был. Здесь очень мило. И очень удобно.

— Да, вы правы. Садитесь, пожалуйста, а я сейчас закончу коктейль, и мы с вами выпьем.— Херрон подошел к двери, ведущей, как решил Мэтлок, на кухню, но на пороге остановился и обернулся:— Я ведь прекрасно понимаю, что вы приехали в такую даль не для того, чтобы помочь старику скоротать время. Однако у меня правило:

перед любым серьезным разговором надо непременно чего-нибудь выпить, если, конечно, религия и принципы позволяют.— Он улыбнулся, и густая сеть морщинок вокруг глаз и на висках стала еще заметнее.— Кроме того, у вас такое серьезное лицо... Уверен, что от моего «Коллинза» вы развеселитесь.

И, не дожидаясь ответа, Херрон исчез за дверью. Вместо того чтобы сесть, Мэтлок направился к ближайшей стене, возле которой стоял небольшой письменный стол, а над ним — полдюжины фотографий, развешанных без всякой системы. На четырех был запечатлен Стоунхендж — с одной и той же точки, но в разное время, судя по высоте заходящего солнца. На пятой — скалистый берег, привязанные к причалам рыбацкие баркасы, вдали — горы. Наверное, Средиземноморье. И вдруг нечто совершенно неожиданное — небольшая фотография высокого, стройного офицера, стоящего возле дерева в джунглях. Офицер был без шлема, в рубашке, пропитанной потом; правой рукой он сжимал автомат. В левой руке офицер держал сложенный лист бумаги, похожий на карту,— он явно только что принял какое-то решение. Он смотрел вверх — очевидно, там ему предстояло вести бой. Лицо у него было напряженное, но спокойное. Хорошее, волевое лицо. Со снимка глядел темноволосый, еще не старый Лукас Херрон.

— Я храню этот снимок, ибо он напоминает мне, что время не всегда было так разрушительно.

Мэтлок вздрогнул. Вернувшийся Лукас застал его врасплох.

— Хорошая фотография. Теперь я понимаю, кто на самом деле выиграл войну.

— Ну, тут нет никакого сомнения. К сожалению, я никогда об этом острове не слышал ни до, ни после. Кто-то сказал, что это один из Соломоновых островов. По-моему, его взорвали в пятидесятые годы. Для этого много не потребовалось. Две-три хлопушки и все. Пожалуйста.— Херрон подошел к Мэтлоку и протянул ему стакан.

— Благодарю вас. Вы скромничаете. Я ведь кое-что слышал.

— И я тоже. Сделали из меня бог знает какого героя. И чем старше я становлюсь, тем больше придумывают... Что, если мы выйдем на задний двор? Слишком хороший день, чтобы сидеть в доме.— И Херрон направился к двери; Мэтлок последовал за хозяином.

За домом, как и перед ним, все было идеально ухожено. На выложенном камнем внутреннем дворике стояли удобные пляжные кресла, и подле каждого — небольшой столик. В середине дворика стоял большой чугунный стол с зонтом от солнца. Дальше простиралась хорошо подстриженная лужайка. То тут, то там росли аккуратно окопанные кизиловые деревья, а по краям лужайки тянулись цветы, в основном розы. Однако в дальнем конце лужайки этот пасторальный пейзаж неожиданно обрывался. Там среди густого непроходимого кустарника высились огромные деревья. Справа и слева — такая же картина. Лукас Херрон как бы воздвиг вокруг себя неприступную зеленую стену.

— Хороший коктейль, вот увидите.

— Не сомневаюсь. Чего доброго, вы сделаете из меня поклонника джина.

— На здоровье, но только весной и летом. Зимой и осенью джин не пьют... Итак, молодой человек, правила этого дома соблюдены. Что же вас привело сюда?..

— А вы не догадываетесь?

— Нет.

— Арчи Бисон.— Мэтлок внимательно наблюдал за стариком, но Херрон не отрывал взгляда от стакана. Никакой реакции.

— Этот молодой историк?

— Да.

— Когда-нибудь из него выйдет отличный преподаватель. И жена у него — симпатичная кобылка.

— Симпатичная... и развратная, по-моему.

— Вот уж не думал, что вы такой викторианец...— усмехнулся Херрон.— Когда стареешь, становишься терпимее к чужим аппетитам. А также к невинному их возбуждению. Сами убедитесь.

— В этом секрет? В терпимости к аппетитам?

— Секрет чего?

— Да ведь он же пытался с вами связаться вчера вечером.

— Он и связался. Вы были у него... Насколько я понимаю, ваше поведение оставляло желать лучшего.

— Я сознательно вел себя именно так.

Впервые Херрон встревожился. Это было едва заметно — лишь затрепетали веки.

— Не одобряю,— сказал он негромко и, приподняв голову, посмотрел на внушительную стену зелени. Солнце опускалось за высокие деревья, их длинные тени легли наискось на лужайку и внутренний дворик.

— Это было необходимо.— Лицо старика исказила гримаса боли, и Мэтлок вспомнил собственную реакцию на слова Адама Уильямса, когда тот сказал о «неприятной необходимости», вынудившей его направить Сэму Кресселу ложный рапорт о поведении Мэтлока в Думумба-Холле. Обидная параллель.

— Молодой человек попал в беду. Он болен. Это самая настоящая болезнь, и он пытается вылечиться. А это требует мужества... Так что сейчас не время насаждать в нашем университете методы гестапо.— Херрон сделал большой глоток и крепче ухватился свободной рукой за ручку кресла.

— А как вы об этом узнали?

— Неважно. Скажем, от одного коллеги-медика, который заметил некоторые симптомы и встревожился. Не все ли равно? Главное, я попытался помочь парню и снова с удовольствием помогу.

— Я бы очень хотел этому верить.

— А почему это для вас так трудно?

— Не знаю... Возможно, что-то меня смутило у двери несколько минут назад... А может быть, в самом доме. Я не могу объяснить... Я с вами совершенно откровенен.

Херрон рассмеялся, по-прежнему не глядя на Мэтлока.

— Вы погрязли в своих елизаветинцах. Главная и побочная интрига в «Испанской трагедии» [1]... Пора бы вам, молодым преподавателям, строящим из себя крестоносцев прекратить эти любительские игры в Скотленд-Ярд. Я думаю, вы сильно преувеличиваете серьезность ситуации.

— Я вовсе не строю из себя крестоносца. Я не из таких, и, полагаю, вы это знаете.

— Что же тогда это было? Проявление личного интереса? К Бисону? Или к его жене?.. Простите, не стоило мне это говорить.

— Я рад, что вы это сказали. Меня нисколько не интересует Вирджиния Бисон — ни в сексуальном плане, ни в каком-либо другом. Хотя едва ли она может интересовать кого-то в ином плане.

— В таком случае вы хорошо сыграли.

— Конечно. Я сделал все возможное, чтобы Бисон не понял, зачем я приходил к нему. Это было очень важно.

— Для кого?— Херрон медленно поставил стакан, продолжая другой рукой сжимать ручку кресла.

— Для тех, кто не имеет отношения к университету. Для людей из Вашингтона. Для федеральных властей...

Лицо Херрона на глазах начало бледнеть.

— Что вы сказали? — прошептал он еле слышно.

— Ко мне обратился человек из министерства юстиции. Он рассказал страшные вещи. Никаких выдумок, никаких преувеличений. Мне предоставили самому решать, буду я сотрудничать с ними или нет.

— И вы приняли это предложение? — тихо, с изумлением произнес Херрон.

— Я не мог иначе. Мой младший брат...

— Вы не могли иначе? — Херрон поднялся с кресла, руки его дрожали, голос зазвучал громче:— Вы не могли иначе?!

— Нет, не мог.— Мэтлок по-прежнему держался спокойно.— Вот почему я приехал предупредить вас. Все намного серьезнее... намного опаснее...

— Вы приехали предупредить меня?! Что вы наделали?! Что вы наделали?! — Шагнув назад, Херрон опрокинул столик и он с грохотом упал на камень.— Возвращайтесь обратно и не смейте ничего им говорить! Ничего нет! Это все... все в их воображении! Оставьте это, слышите?

— Я не могу,— мягко сказал Мэтлок: он вдруг испугался за старика.— Даже Силфонту придется согласиться. Он уже не может противиться. Факты есть факты, Лукас...

— Адриану тоже сказали!.. О боже! Вы понимаете, что вы делаете? Вы все раз

---

[1] Пьеса английского драматурга Томаса Кида (1558—1594).

рушите! Столько людей погибнет... Убирайтесь отсюда! Убирайтесь! Я не хочу вас знать! О господи! Господи!

— Лукас, что с вами? — Мэтлок встал и сделал несколько шагов к старику.

— Не подходите! Не прикасайтесь ко мне!

Херрон повернулся и побежал. Споткнулся, упал, поднялся. Ни разу не посмотрел назад. Добежав до леса, он нырнул в чащу и исчез.

— Лукас! Стойте! — Мэтлок кинулся за стариком и достиг леса лишь несколькими секундами позже. Но старика нигде не было видно. Раздвигая густую растительность, Мэтлок вошел в лес. Ветви стегали его по лицу, травы капканом хватали за ноги, но он продолжал пробиваться в глубь дремучего леса.

Херрон исчез.

— Лукас! Где вы?!

Ответа не было — слышался лишь шелест потревоженных ветвей за спиной. То пригибаясь, то чуть не ползком Мэтлок продвигался вперед. Никаких признаков Лукаса Херрона.

— Лукас! Ради бога отзовитесь!

Ответа не было. Лукас как сквозь землю провалился, испарился, перестал существовать.

И тут Мэтлок услышал неясное эхо — стон, вопль, шедший из глубины души. Он раздался где-то близко и в то же время далеко. Затем кто-то всхлипнул всего один раз и отчетливо, с ненавистью произнес одно-единственное слово.

И слово это было —

«Нимрод...»

12

— Черт возьми, Мэтлок! Я же вам сказал — никуда не уходите, пока я не позвоню!

— Черт возьми, Гринберг! Как вы попали в мою квартиру?!

— Вы не починили окно.

— Я не знал, что вы готовы заплатить за починку.

— Один — один, боевая ничья. Где вы были?

Мэтлок бросил ключи от машины на кофейный столик и взглянул на изуродованный стереопроигрыватель.

— Это запутанная история и, как мне кажется, печальная. Я все вам расскажу, но сначала выпью.

— Дайте и мне чего-нибудь. У меня тоже есть что вам рассказать, но мой рассказ уж точно печальный.

— Что вам налить?

— Все равно, только совсем немного.

Мэтлок выглянул в окно. Солнце почти село. Весенний день кончался.

— Я сейчас выжму несколько лимонов и сделаю оригинальный фруктовый «Том Коллинз».

— Согласно вашему досье, вы пьете бурбон. Предпочтительно кислый.

Мэтлок взглянул на агента.

— Разве?

Гринберг последовал за Мэтлоком в кухню и молча смотрел, как тот делает коктейль. Мэтлок протянул ему стакан.

— Так кто будет первым рассказывать свою печальную историю?

— Мне бы хотелось, конечно, сначала выслушать вас, но при сложившихся обстоятельствах первым буду рассказывать я.

— Вы очень зловеще это сказали.

— Нет. Просто печально... После того как мы с вами расстались, я отправился в аэропорт «Брэдли Филд» и ждал там самолета, посланного сюда министерством юстиции из аэропорта имени Даллеса. С самолета сошел человек, который выдал мне под расписку два запечатанных конверта. Вот они.— Гринберг вынул из кармана пиджака два продолговатых служебных конверта. Он положил один на бар и стал вскрывать второй.

— Вид у этих конвертов сугубо официальный.— Мэтлок сел на кухонный стол рядом с раковиной, свесив свои длинные ноги и касаясь ими дверцы шкафчика.

— И не только вид... В этом конверте — выводы, к которым мы пришли на основе информации, полученной от вас нами — точнее, мной. В конце содержатся особые рекомендации. Мне разрешено пересказать вам это своими словами при условии, что я не упущу ни одного факта... А вот со вторым конвертом вы должны ознакомиться лично. Вы должны прочесть все очень внимательно — в случае надобности,— и если то, что там говорится, для вас приемлемо, должны подтвердить это своей подписью. Начну, как предписано инструкцией.— Гринберг взглянул на развернутый лист бумаги, затем на Мэтлока.— Джулиан Дюнуа из Лумумба-Холла — он же Жак Деверо, Жезю Дамбер и, возможно, еще многое другое — является адвокатом и стратегом черных левых активистов. Как адвокат он выступает под именем Дюнуа, в других случаях пользуется псевдонимами. Действует он в самых неожиданных местах. В Алжире, в Марселе, в Карибском бассейне... В Штатах у него юридическая контора в Гарлеме с филиалом в Сан-Франциско... Обычно он остается за кулисами, но если сам выходит на сцену, за этим, как правило, следуют дурные вести. Стоит ли говорить, что его имя находится в списке нежелательных лиц, подписанном министром юстиции, а в наши дни это уже не то, чем можно гордиться...

— В наши дни,— прервал его Мэтлок,— вы найдете в этом списке почти всех, кто левее АТТ[1].

— Не спорю. Продолжим. Появление Дюнуа придает всему делу новый, совершенно неожиданный поворот, о котором мы раньше и не думали. Тут речь идет уже не о взломе, а о нарушениях закона в международном масштабе или подрывной деятельности. Может быть, даже о том и другом сразу. Учитывая, что вам подмешали наркотики, что в вашу квартиру вломились и устроили погром, что вашей приятельнице мисс Бэллентайн угрожали, хотя и не впрямую,— и не обольщайтесь, ей именно угрожали,— учитывая все это, вам рекомендуется прекратить участие в расследовании, ибо сейчас оно переходит границы разумного риска.— Гринберг положил бумагу на бар и сделал несколько глотков из стакана. Мэтлок медленно болтал ногами, слегка ударяя по дверце кухонного шкафчика.— Итак, что вы на это скажете? — спросил Гринберг.

— Не знаю. Мне кажется, вы еще не закончили.

— Очень бы хотелось поставить на этом точку. Сейчас я все изложил предельно точно, и мне кажется, вам следует согласиться с рекомендацией. Выходите из игры, Джим.

— Сначала вы должны закончить. Что в другом письме? В том, которое я должен прочесть лично.

— Это лишь при условии, что вы отвергаете рекомендацию. Но не надо ее отвергать. У меня нет инструкции говорить вам то, что я сейчас сказал, поэтому мой совет «не для печати».

— Вы прекрасно знаете, что я его отвергну,— так зачем же нам попусту тратить время?

— Я этого не знаю. Я не хочу этому верить.

— Отступать поздно.

— Через какой-нибудь час я смогу выдать необходимые объяснения. Отцепляйтесь и исчезайте.

— Теперь уже поздно.

— Но почему?

— А это уже моя печальная история. Так что продолжайте.

Гринберг внимательно посмотрел Мэтлоку в глаза, словно ища объяснения, и, не найдя его, взял второй конверт и вскрыл.

— В том невероятном случае, если вы не последуете нашему совету и отвергнете нашу рекомендацию выйти из игры, вы должны знать, что действуете вразрез с пожеланиями министерства юстиции. Мы обеспечим вам по мере возможности защиту — как обеспечили бы ее любому гражданину. Но вы будете действовать на собственный страх и риск. Мы не отвечаем за увечья или неприятности, которые могут быть вам причинены.

— Там это написано?

— Нет, не написано, но подразумевается именно это,— сказал Гринберг, разворачивая бумагу.— Здесь все очень просто, но исчерпывающе. Вот пожалуйста. — И агент вручил Мэтлоку бумагу.

---

[1] Американская телеграфная и телефонная компания.

Она была подписана помощником министра юстиции; внизу было оставлено место для подписи Мэтлока.

Отдел расследований министерства юстиции принял предложение Джеймса Б. Мэтлока о проведении ограниченного расследования некоторых нарушений закона, якобы имевших место в районе Карлайлского университета. Однако в данное время, по мнению министерства юстиции, ситуация приобрела характер, требующий профессионального подхода, и дальнейшее участие профессора Мэтлока в этом расследовании нежелательно. Настоящим министерство юстиции благодарит Джеймса Б. Мэтлока за сотрудничество и просит устраниться от дальнейшего участия в интересах его личной безопасности и для облегчения расследования. Министерство считает, что дальнейшие шаги со стороны профессора Мэтлока могли бы помешать ведению расследования в районе Карлайла. Мистер Мэтлок получил оригинал этого письма, что он и подтверждает своей подписью ниже.

— Что вы мне говорите, черт побери? Здесь же сказано, что я согласен выйти из игры.

— Юрист из вас никудышный.

— Что?

— Нигде — понимаете, нигде! — в этой бумаге не сказано, что вы согласны выйти из игры. Сказано лишь, что министерство юстиции просит вас об этом.

— Тогда на кой черт мне ее подписывать?

— Великолепный вопрос. Вы должны подписать бумагу лишь при условии, что отказываетесь выйти из игры.

— О господи! — Мэтлок слез со стола и бросил бумагу Гринбергу.— Я, может быть, и не разбираюсь в юриспруденции, но язык-то я знаю. Так вот: вы противоречите сами себе!

— Это только кажется.... Разрешите задать вам вопрос. Предположим, вы продолжаете играть роль тайного агента. Разве не может так случиться, что вы попросите помощи? Даже срочной?

— Конечно, может. Наверняка.

— Вы не получите никакой помощи, если не подпишете это письмо и не отправите его обратно... Что вы на меня так смотрите? Меня через несколько дней заменят. Я и так уже засиделся в этом районе.

— Ну и ну! Значит, чтобы получить помощь, надо подписать бумагу, в которой сказано, что мне эта помощь не потребуется.

— После этого мне остается лишь заняться частной практикой... Сейчас для таких вещей есть новый термин — «безопасное продвижение». Используйте что хотите, кого хотите. Но не берите вину на себя, если ваш оперативный план провалится. Не берите на себя ответственность.

— В общем, если я не поставлю здесь своей подписи, это равносильно прыжку без парашюта.

— Я уже сказал. Можете получить у меня бесплатную консультацию. А юрист я хороший. Выходите из игры. Бросьте все это. Но бросьте совсем.

— Я вам говорю, что не могу.

— Поймите же,— мягко сказал Гринберг, беря стакан,— что́ бы вы ни предпринимали, вашего брата из могилы не вернешь.

— Я знаю.— Мэтлок был тронут, но голос его звучал твердо.

— Возможно, вам удалось бы спасти других младших братьев — или не удалось. В любом случае для этого можно найти профессионала. Как ни обидно признаваться, но Крессел прав. А если мы не схватим этих торговцев наркотиками, которые встречаются через пару недель, то будут и другие.

— Я полностью с вами согласен.

— В таком случае чего же медлить? Выходите из игры.

— Почему?.. Я ведь еще не рассказал вам мою печальную историю. Помните? Вы решили рассказать первым, а теперь моя очередь.

— Давайте.

И Мэтлок рассказал ему все. Все, что знал о Лукасе Херроне, человеке-легенде, гиганте, «великом старце» Карлайла. Об этом скелете, который в ужасе бежал к себе в лес, откуда донеслось одно-единственное слово: «Нимрод». Гринберг слушал, и чем дальше Мэтлок рассказывал, тем печальнее становились глаза Гринберга. Когда Мэтлок кончил, Джейсон осушил свой стакан и мрачно покачал головой.

— Значит, вы все ему рассказали? Ко мне вы прийти не могли — отправились к нему. К этому вашему университетскому святому, у которого руки по локоть в крови... Лоринг был прав: нам недоставало только совестливого дилетанта... Дилетанты впереди и дилетанты позади. Но могу засвидетельствовать, что совесть у вас есть. Для арьергарда это немало.

— Так что же мне делать?

— Подпишите эту вонючку.— Гринберг взял с бара письмо министерства юстиции и передал его Мэтлоку.— Вам понадобится помощь.

Патриция Бэллентайн прошла в сопровождении Мэтлока к столику в дальнем конце «Чеширского кота». По дороге Мэтлоку основательно досталось за сотрудничество с правительственными учреждениями, в частности и прежде всего с Федеральным бюро расследований. Она говорила, что дело вовсе не в ее либеральных взглядах — просто подобные организации превратили страну почти в полицейское государство.

Она знает это не понаслышке — работу ФБР она видела собственными глазами, и таких случаев, как с ее отцом, было много.

Мэтлок сел напротив Патриции и взял ее за руку.

— Я не собираюсь извиняться за то, что я делаю. Я уверен, что так надо. Я не герой и не осведомитель. Меня никто не просит быть героем, а информация, которая им нужна, в конечном счете поможет многим людям. Людям, которые нуждаются в помощи. Отчаянно нуждаются.

— Но получат ли эти люди помощь? Или на них просто заведут дело? И вместо больниц и клиник... они окажутся в тюрьме?

— Министерство юстиции не интересует больная молодежь. Они хотят найти тех, кто ее заражает. И я тоже хочу.

— А тем временем все это ударяет по ребятам.

— По некоторым — возможно. Их не так много.

— Как ты снисходительно о них говоришь! — Пэт высвободила руку из руки Мэтлока.— Кто же принимает эти решения? Ты?

— У тебя уже какая-то навязчивая идея.

— Я была там. Это малоприятно.

— Но теперь совсем иначе. Я видел всего двоих: один... отошел от дела, другой — это Гринберг. Ничего общего с теми жуткими типами пятидесятых годов. Можешь поверить мне на слово.

— Хотелось бы.

К их столику подошел управляющий.

— Вас к телефону, мистер Мэтлок.

Что-то неприятно шевельнулось у него под ложечкой. Страх. Лишь один человек знал, где он, и это был Джейсон Гринберг.

— Спасибо, Гарри.

Мэтлок встал и посмотрел на Пэт. Он уже давно водил ее в рестораны, на ужины, на вечеринки, но никто ему ни разу не звонил. Он понял по ее взгляду, что она тоже об этом подумала, и быстро направился к телефону.

— Слушаю!

— Джим? — Это, конечно, был Гринберг.

— Джейсон?

— Простите, что беспокою вас. Я бы не стал, если бы не обстоятельства.

— Господи, что случилось?

— Лукас Херрон мертв. Он покончил с собой. Алло! Что с вами?

— Ничего.— Мэтлоку вдруг вспомнилась небольшая фотография в черной рамке — темноволосый офицер с автоматом в одной руке и картой в другой; лицо худощавое, волевое, взгляд обращен вверх.

Четверть века назад.

— Возвращайтесь-ка к себе...— Это был приказ, хотя у Гринберга хватило ума произнести это достаточно мягко.

— Кто его нашел?

— Мой человек. Еще никто не знает.

— Ваш человек? Где?

— В ванной комнате — он вскрыл себе вены.

— О боже, что я наделал!

— Прекратите! Возвращайтесь к себе. Нам необходимо связаться кое с кем... Давайте, Джим.

— Что я скажу Пэт? — Мэтлок тщетно пытался собраться с мыслями.

— Чем меньше, тем лучше. И не задерживайтесь.

Мэтлок повесил трубку и несколько раз глубоко вздохнул. Поискал в карманах сигареты и вспомнил, что оставил их на столике.

Столик. Пэт. Надо возвращаться, а по пути придумать, что ей сказать.

Правду. Черт подери, только правду.

Мэтлок обогнул две античные колонны и направился в дальний конец зала, к столику у окна. Он был потрясен сообщением Гринберга, но когда он решил ничего не скрывать от Пэт, ему стало легче. Должен же у него быть еще кто-то, помимо Гринберга и Кресселя, с кем можно откровенно поговорить.

Кресселя! Ведь он же должен быть у Кресселя в семь часов. Он совершенно забыл об этом!

Но мысль о Сэме Кресселе тотчас вылетела у него из головы. За столиком у окна никого не было.

Пэт исчезла.

— И никто не видел, как она ушла? — Гринберг вслед за расстроенным Мэтлоком прошел из передней в гостиную. Из спальни доносился голос Сэма Кресселя: он что-то возбужденно кричал в трубку.

— Это Сэм?— спросил Мэтлок.— Он знает о Херроне?

— Да. Я позвонил ему после того, как поговорил с вами... Ну, а официантки? Вы спросили их?

— Конечно. Но никто из них не мог сказать ничего определенного. Они все были заняты. Одна сказала, что, возможно, Пэт пошла в дамскую комнату. Другая — что она уехала с парочкой, сидевшей за соседним столиком.

— Разве они не должны были бы пройти мимо вас? Неужели вы бы ее не заметили?

— Не обязательно. Мы сидели в глубине зала. Оттуда на террасу ведут две или три двери. Летом, особенно когда много народу, столики выносят и на террасу.

— А знакомых в ресторане не было?

— Я не смотрел вокруг. У меня голова была... занята другим.— Мэтлок закурил сигарету. Рука его, державшая спичку, дрожала.

— Наверное, она увидела кого-то из знакомых и попросила подбросить ее домой. Такую девушку, как она, не очень-то увезешь, если ей этого не хочется.

— Я знаю Мне это тоже пришло в голову.

— Вы поссорились?

— Можно сказать, что ссора была на исходе, но не совсем. Возможно, ее разозлил телефонный звонок. Преподавателям старой английской литературы редко звонят в рестораны

— Простите.

— Да вы-то чем виноваты? Я говорил вам, что она всегда на пределе. Без конца думает об отце. Попробую позвонить ей домой, когда Сэм освободит телефон.

— Странный он человек. Я ему рассказываю о Херроне, он, само собой, приходит в страшное волнение. Объявляет, что должен конфиденциально поговорить с Силфонтом, идет в спальню и орет так, что его можно услышать на Луне.

Мысли Мэтлока тотчас вернулись к Херрону.

— Его смерть — вернее, самоубийство — будет самым большим потрясением для университета за последние двадцать лет. Такие люди, как Лукас, не умирают. И уж конечно не умирают та́к... Сэм знает, что я был у Лукаса?

— Знает. Я не мог это от него скрыть. Я сказал ему примерно то, что рассказали мне вы,— конечно, вкратце. Он отказывается этому верить.

— Ничего удивительного. Этому нелегко поверить. Итак, что мы будем делать?

— Будем ждать. Рапорт я представил. Двое из лаборатории криминалистики хартфордского бюро сейчас уже там. Кроме того, вызвали местную полицию.

При слове «полиция» Мэтлок неожиданно вспомнил полицейского в коридоре

возле корта. Он рассказал об этой встрече Гринбергу, но Гринберг так ничего и не объяснил ему — если, конечно, мог объяснить. Сейчас Мэтлок снова спросил его:

— А как насчет того полицейского в спортивном корпусе?

— Пока все нормально. Полиция Карлайла имеет право заниматься в спортивном корпусе по утрам три раза в неделю. Это входит в систему отношений между городом и университетом. Так что просто совпадение.

— И вы на этом успокаиваетесь?

— Я ведь сказал — пока. Мы проверяем этого человека. На сегодня — ничего, кроме безукоризненного послужного списка.

— Он расист, мерзавец.

— Вы, наверное, удивитесь, но это не преступление. Вспомните Билль о правах..

Из спальни быстро вышел Сэм Крессел. Он ступал подчеркнуто твердо, но сразу чувствовалось, что он до смерти перепуган.

Мэтлоку стало не по себе: такое же помертвевшее лицо было у Лукаса Херрона, когда старик бросился в лес.

— Я слышал, как вы пришли,— сказал Крессел.— Что же нам делать? Что нам делать, черт побери?.. Адриан не верит в эту бредовую историю, как, впрочем, и я. Лукас Херрон! Это же немыслимо!

— Возможно. Но это правда.

— Это потому, что вы так говорите? Откуда вы знаете? Вы ведь не профессионал в этих делах. Насколько я понимаю, Лукас признал, что он помогал одному студенту-наркоману.

— Он... они не студенты.

— Ясно.— Крессел умолк и посмотрел на Мэтлока, затем на Гринберга.— В таком случае я требую, чтобы мне сообщили имена.

— Вы их узнаете,— спокойно сказал Гринберг.— Продолжайте. Я хотел бы услышать, почему Мэтлок ошибается, а вся эта история — бредовая.

— Потому что Лукас Херрон не единственный... не был единственным среди преподавателей, который этим занимался. Многие из нас помогают как могут!

— Я не совсем вас понимаю.— Гринберг в упор посмотрел на Крессела.— Итак, вы помогаете. Но вы же не кончаете жизнь самоубийством, когда один из ваших коллег узнает об этом.

Сэм Крессел снял очки — вид у него сразу стал задумчивый, печальный.

— Есть еще один аспект, о котором никто из вас не подозревает. Я уже некоторое время об этом знаю, но куда меньше Силфонта... Лукас Херрон был очень больной человек. Прошлым летом ему удалили почку. Другая также была поражена раком, и он знал это. По-видимому, он очень страдал. Жить ему оставалось недолго.

Гринберг внимательно смотрел на Крессела, пока тот надевал очки. Мэтлок нагнулся к кофейному столику и потушил в пепельнице сигарету. Наконец Гринберг заговорил:

— Вы полагаете, что между самоубийством Херрона и визитом к нему Мэтлока нет никакой связи?

— Я ничего не полагаю. Я уверен, что есть какая-то связь... Но вы ведь не знали Лукаса. Вся его жизнь, почти полстолетия, не считая военных лет, прошла в Карлайлском университете. Он целиком посвятил себя университету. Он любил Карлайл больше, чем можно любить женщину или ребенка. Конечно, Джим говорил вам об этом. И если он вдруг понял, что этот его мир рушится, разваливается на части, это наверняка причинило ему куда большую боль, чем та физическая пытка, которой подвергалось его тело. Разве можно выбрать лучший момент, чтобы свести счеты с жизнью?

— Черт бы вас побрал!— взорвался Мэтлок.— Вы же говорите, что это я его убил!

— Возможно,— тихо произнес Крессел.— Я просто не думал об этом в таком плане. И Адриан, я уверен, тоже.

— Но именно это вы говорите! Вы говорите, что я, не зная броду, полез в воду и убил его, как если бы сам вскрыл ему вены... Но вы-то там не были. А я был!

— Я вовсе не сказал, что вы, не зная броду, полезли в воду,— мягко заметил Крессел.— Я сказал только, что вы дилетант. Дилетант с наилучшими намерениями. Я думаю, Гринберг меня понял.

Джейсон Гринберг взглянул на Мэтлока.

— Есть старая словацкая пословица: «Когда старики себя убивают, города умирают».

Неожиданно раздался пронзительный телефонный звонок; все трое вздрогнули. Мэтлок снял трубку, затем повернулся к Гринбергу:

— Это вас.

— Благодарю.— Агент взял у Мэтлока трубку.— Гринберг... О' кей. Понимаю. Когда вы будете знать?.. Скорей всего к тому времени я уже буду в пути. Я вам позвоню. Поговорим потом.— Он положил трубку на рычаг и встал у письменного стола спиной к Мэтлоку и Кресселу.

— В чем дело? — не выдержал декан.— Что случилось?

Гринберг повернулся и посмотрел на них. Мэтлоку показалось, что глаза его стали еще печальнее. Мэтлок уже знал, что это признак беды.

— Мы обращаемся в полицию и в суд за разрешением на вскрытие.

— Зачем?!— закричал, подскочив к агенту, Крессел.— Бога ради, зачем?! Он же покончил самоубийством. Он страшно страдал!.. О боже! Вы не должны этого делать! Если только это станет известно...

— Все будет шито-крыто.

— Ничего не выйдет, и вы это знаете. Все равно станет известно, и здесь начнется ад кромешный! Я не позволю!

— Вы не можете этому помешать. Даже я не мог бы. Достаточно фактов, указывающих на то, что Херрон не совершал самоубийства. Он был убит.— Гринберг взглянул на Мэтлока и криво усмехнулся.— И не словами.

Крессел спорил, угрожал, снова позвонил Силфонту и, наконец, когда увидел, что все это ни к чему, в ярости покинул квартиру Мэтлока.

Не успел Крессел захлопнуть за собой дверь, как снова зазвонил телефон. Гринберг заметил, что это выводит из себя Мэтлока — и не просто выводит из себя, а вызывает тревогу, возможно даже пугает.

— Прошу извинить... Ваша квартира становится сейчас чем-то вроде базы разведывательного отряда. Но ненадолго. Может быть, это ваша девушка?

Мэтлок снял трубку, послушал и, повернувшись к Гринбергу, сказал только одно слово:

— Вас.

Гринберг взял трубку, тихо произнес свою фамилию и затем с минуту смотрел прямо перед собой. Мэтлок понаблюдал за Гринбергом, затем прошел на кухню. Ему не хотелось стоять точно идиоту и слушать, как агент получает инструкции.

Когда он снял трубку, голос на другом конце провода сказал:

— Говорят из Вашингтона.

На кухонном столе лежал пустой конверт, в котором ему прислали откровенно лицемерную бумагу из министерства юстиции. Похоже, что самые мрачные его фантазии постепенно материализуются. Мэтлок начал понимать, что страна, где он вырос, превращается во что-то уродливое, несущее разрушение, совсем не похожее на то, чем она обещала, должна была стать. Граали [1] оказались пустыми сосудами из-под безвкусного вина, выглядевшими внушительно лишь потому, что их считали священными.

— Я уже поговорил. Может, попробуете позвонить мисс Бэллентайн?

Мэтлок взглянул на Гринберга, стоявшего в проеме кухонной двери. Вот ходячее противоречие — агент ФБР, знаток пословиц и поговорок, притом весьма критически относящийся к системе, на которую он работает.

— Да, да, конечно позвоню.— Гринберг посторонился, пропуская его. Мэтлок прошел в гостиную и остановился.— Потрясающая пословица: «Когда старики себя убивают, города умирают».— Он повернулся и взглянул на агента.— И какая печальная.

— Если вдуматься, ни один настоящий философ не счел бы ее печальной...

— Почему? Она ведь действительно печальная.

— Это истина. А истина не бывает радостной или печальной, хорошей или плохой. Она просто истина.

— Когда-нибудь, Джейсон, мы это обсудим.

Мэтлок снял трубку, набрал номер Пэт и услышал длинные гудки. Ответа не было. Мэтлок перебрал в уме нескольких друзей Пэт — звонить им или нет? Когда Пэт злилась или была расстроена, она обычно делала одно из двух. Либо гуляла в одино-

---

[1] По преданию, чаша, из которой пили вино Иисус Христос и апостолы во время Тайной вечери; после распятия Христа в грааль собрали его кровь.

честве час-другой, либо ехала с друзьями в Хартфорд. Прошел примерно час. Он подождет еще пятнадцать минут, а потом начнет обзванивать знакомых. Конечно, ему приходило в голову, что ее могли увезти насильно. Но в ресторане было много народу, столики стояли очень близко. Гринберг прав. Если она куда-то и поехала, то по доброй воле.

Гринберг неподвижно стоял возле двери на кухню и наблюдал за Мэтлоком.

— Через четверть часа я снова попытаюсь. А если не будет ответа, позвоню некоторым ее друзьям. Как вы правильно заметили, она девица с характером.

— Надеюсь, вы сделаны не из одного теста.

— То есть?

Гринберг сделал несколько шагов по гостиной и, глядя в глаза Мэтлоку, сказал:

— Вы выхóдите из игры. Баста. Забудьте про письмо, забудьте про Лоринга, забудьте про меня... Так надо. Мы знаем, что на субботу у вас забронированы места на самолет до Сент-Томаса. Отдыхайте. Так будет намного лучше.

Мэтлок в свою очередь посмотрел в упор на агента.

— Любое решение такого рода буду принимать я сам. У меня на совести — добрый славный старик, а у вас в кармане эта вонючая бумажонка. Я ведь ее подписал, помните?

— Вонючая бумажонка больше ничего не значит. Вашингтон хочет, чтобы вы вышли из игры. И вы выйдете из игры.

— Почему?

— Из-за доброго славного старика. Если его действительно убили, то и вас могут убить. А если это случится, следствие может затребовать кое-какие протоколы, а кое-какие люди, которые возражали против вашего участия в операции, могут сообщить об этом прессе. Вас втянули. Да вы и сами знаете.

— Ну и что?

— Боссы в министерстве не желают, чтобы их называли палачами.

— Понятно.— Мэтлок оторвал взгляд от Гринберга и подошел к кофейному столику.— А если я откажусь?

— В таком случае я убираю вас с поля действия.

— Каким образом?

— Арестую по подозрению в убийстве.

— Что?

— Вы ведь, как известно, были последним, кто видел Лукаса Херрона живым. Вы сами признали, что отправились к нему домой, чтобы пригрозить ему.

— Чтобы предупредить его!

— Ну, это можно толковать по-разному.

Раздался оглушительный грохот, и Мэтлок с Гринбергом бросились на пол. Казалось, полдома рухнуло. В воздухе стояла пыль, мебель падала, куски дерева и штукатурки разлетались во все стороны, пахло горящей серой. Мэтлок уцепился за низ дивана и ждал, зная, что при взрыве с детонатором повторного действия погибает тот, кто встанет раньше времени. Сквозь пелену пыли он увидел Гринберга, который начал было подниматься. Он прыгнул и ударил агента по ногам.

— Лежите! Не...

Раздался второй взрыв. На потолке появились черные пятна. Но Мэтлок чувствовал, что это взрыв не с целью убийства; скорее всего он имел другую цель — отвлечь внимание. Этакая огромная хлопушка.

Со всех сторон слышались испуганные крики. В квартире наверху, судя по топоту, люди в панике бежали к выходу.

Затем к этим звукам прибавился еще один. Он несся из-за входной двери. Крик ужаса — протяжный, бесконечный. Это было так страшно, что Мэтлок и Гринберг вскочили и бросились к двери.

На пороге лежала Патриция Бэллентайн, завернутая в мокрую от крови простыню. Из ран на груди и из полуоткрытого рта текла кровь. Спереди голова была выбрита, вся кожа — в кровавых рубцах. Разбитые губы вспухли. Из обведенных синевой глазниц смотрели глаза — они двигались! Двигались!

В уголках ее губ появилась слюна. Патриция явно пыталась заговорить.

— Джеми...— только и сумела она произнести, и голова ее упала.

Гринберг бросился на Мэтлока, отшвырнул его в собравшуюся толпу и закричал:

— Полицию! «Скорую»!

Несколько человек бросились выполнять его приказания. Тотда он прижал губы к губам девушки, чтобы наполнить воздухом слабеющие легкие, но понял, что это излишне. Патриция Бэллентайн была жива; ее пытали с большим знанием дела. Каждая рана, каждый рубец, каждый синяк причинял нестерпимую боль, но не мог повлечь за собой смерть.

Он хотел было поднять Пэт, но Мэтлок остановил его. В глазах Мэтлока стояли слезы ненависти. Он мягко отстранил Гринберга и поднял Пэт. Он внес ее в квартиру и положил на растерзанный диван. Гринберг прошел в спальню и вернулся с одеялом. Затем принес из кухни миску с теплой водой и несколько полотенец. Приподнял одеяло и приложил полотенце к ранам на груди. Мэтлок в ужасе смотрел на окровавленное лицо, затем взял край другого полотенца и начал стирать кровь с головы и со рта.

— Все будет в порядке, Джим. Я такое уже видел. Все будет в порядке.

Мэтлок, не зная, чем помочь Пэт, продолжал вытирать ей лицо.

— Теперь никто меня не выведет из игры,— произнес он, сдерживая рыдания.— Пусть только попробуют — я их убью.

— А я им и не позволю,— просто сказал Гринберг.

Послышался визг тормозов на улице, и фары полицейских машин и «скорой помощи» полоснули по окну.

Мэтлок ткнулся лицом в подушку возле лежавшей без сознания девушки и заплакал.

14

Он проснулся в стерильно-белой палате. Жалюзи были подняты, и яркое солнце, отражаясь от стен, слепило ему глаза. У него в ногах медицинская сестра деловито писала что-то на толстом куске картона, свисавшем на тоненькой цепочке со спинки кровати. Он потянулся и тотчас опустил левую руку, почувствовав острую боль ниже локтя.

— Эта боль обычно появляется на следующее утро, мистер Мэтлок,— прогудела сестра, не отрываясь от картонки.— Большие внутривенные дозы успокаивающего,— это, скажу я вам, штука убийственная. Мне-то самой никогда не делали, но я достаточно повидала.

— А Пэт... мисс Бэллентайн здесь?

— Естественно, не в этой палате! О боже! Ну и нравы у вас в университете!

— Она здесь?

— Конечно. В соседней палате. Под замком. Да, нравы у вас там на холме!.. Ну вот вам полный отчет.— Сестра выпустила из рук картонку, и та несколько раз ударилась о спинку кровати.— Так Вам назначен особый режим. Разрешено позавтракать, хотя время завтрака давно прошло. Это, наверно, потому, что хотят предъявить вам счет за целые сутки... Вас могут выписать в любое время после двенадцати.

— А сколько сейчас времени? Кто-то забрал мои часы.

— Без восьми девять,— сказала сестра, взглянув на свои часики.— И никто ваши часы не забирал. Они находятся вместе с другими вещами, которые были при вас, когда вас привезли в приемный покой.

— Как себя чувствует мисс Бэллентайн?

— Мы не обсуждаем с больными состояние других больных, мистер Мэтлок.

— А где ее врач?

— Врач у вас один и тот же, насколько я понимаю. Но он не из этой больницы.— Сестра произнесла это не слишком одобрительным тоном.— Он здесь будет в девять тридцать, если мы не вызовем его раньше.

— Вызовите, пожалуйста. Я хотел бы видеть его как можно скорее.

— Послушайте, нет же никакой срочности...

— Черт бы вас подрал, немедленно вызовите его сюда!

Как только Мэтлок повысил голос, дверь палаты открылась и вошел Джейсон Гринберг.

— Я услышал вас из коридора. Это хороший признак.

— Как Пэт?!

— Одну минуту, сэр. У нас существуют правила...

Гринберг вытащил свое удостоверение и показал сестре.

— Этот больной находится на моем попечении, мисс. Можете справиться в приемном отделении, если хотите, но оставьте нас наедине.

Сестра, ни на секунду не теряя профессиональной выправки, внимательно изучила удостоверение и быстро вышла из палаты.

— Как Пэт?

— Она в плохом состоянии, но держится. Ночь прошла неважно, утром будет еще хуже, когда она попросит зеркало.

— Черт с ним, с зеркалом! Что с ней?

— Двадцать семь швов — на теле, на голове, на губах и для разнообразия один на левой ноге. Но она поправится. Рентген показывает лишь ушибы. Ни переломов, ни разрывов связок, ни внутренних кровоизлияний. Эти сволочи профессионально ее обработали.

— А говорить она может?

— Нет. И врач не советует. Ей в первую очередь необходим сон... И вам тоже нужно отдохнуть. Вот почему мы поместили вас вчера вечером сюда.

— Никого не ранило?

— Нет. Мы думаем, что эти взрывы имели другую цель. Первый заряд — небольшой, сантиметров пять — был укреплен снаружи под подоконником; второй детонировал после первого; этот как для фейерверка на Четвертое июля. Вы ведь ожидали второго взрыва?

— Да. Пожалуй, да... Запугивают.

— Мы тоже так считаем.

— Можно мне повидать Пэт?

— Мне бы хотелось, чтобы вы воздержались от этого. Врач говорит, что она будет спать до вечера. При ней сестра, которая меняет пузыри со льдом и когда нужно дает обезболивающее. Пускай она отдыхает.

Мэтлок осторожно сел. Он начал разминать ноги, руки, массировать шею и кисти рук и обнаружил, что в общем чувствует себя не намного хуже обычного.

— Ощущение точно с похмелья, только голова не болит.

— Вам дали большую дозу. Вы... понятно... несколько разволновались.

— Я все помню. Сейчас я спокойнее, но я не собираюсь брать назад ни одного слова... Сегодня у меня два занятия. В десять и в два часа дня. Мне нужно быть на занятиях.

— Это вовсе не обязательно. Вас хочет повидать Силфонт.

— Я поговорю с ним после занятий... А потом поеду к Пэт.— Мэтлок встал и медленно подошел к большому больничному окну. Было яркое солнечное утро; в Коннектикуте стояла отличная погода. Глядя в окно, Мэтлок вспомнил, как пять дней назад, когда он впервые встретился с Джейсоном Гринбергом, он смотрел в другое окно. Тогда он принял решение; сейчас — тоже.— Вчера вечером вы сказали, что не дадите им вывести меня из игры. Надеюсь, вы не передумали. Я не полечу завтра на Сент-Томас.

— Вас не арестуют. Это я вам обещал.

— Вы можете это предотвратить? Вы также сказали, что вас заменят.

— Я могу это предотвратить... Могу возражать по моральным соображениям — загадочная формула, которая означает, что я могу поставить людей в неловкое положение. Однако должен вас предупредить: если вы будете создавать осложнения, вас могут арестовать — разумеется, для вашей же безопасности.

— Да, конечно. Если меня найдут.

— Это мне не нравится.

— Забудьте, что вы это слышали. Где моя одежда?— Мэтлок подошел к шкафу и открыл его. Его брюки, пиджак и рубашка висели на вешалках; мокасины стояли на полу, и в них были аккуратно вложены носки. На полке лежали трусы и больничная зубная щетка.— Сходите, пожалуйста, вниз и скажите, чтобы меня отсюда выпустили и вернули бумажник, деньги и часы.

— Что значит: «Если меня найдут?» Что вы собираетесь делать?— Гринберг и не думал уходить.

— Землетрясения я не устрою. Просто буду продолжать... ограниченное расследование, как выразились ваши работодатели. Лоринг сказал, что где-то должна быть вторая половина этого серебряного листа. И я ее найду.

— Сначала выслушайте меня! Я не отрицаю, что у вас есть основание...

— Ах, вы не отрицаете!— взорвался Мэтлок.— Это не то, что мне нужно. Вы нехотя соглашаетесь. А у меня есть много оснований. Мой погибший младший брат,

этот сукин сын Дюнуа или как его там зовут, Херрон и девушка, лежащая в соседней палате. По-моему, и вы и врач знаете, что произошло с ней прошлой ночью, но я тоже догадываюсь! Так что можете не говорить мне, что у меня есть основание!

— В принципе мы с вами мыслим одинаково. Я просто не хочу, чтобы ваши «основания» уложили вас рядом с братом. Это работа для профессионалов. Не для дилетанта! И если вы не бросите все, я хочу, чтобы вы работали с тем, кто займет мое место. Это важно. Дайте мне слово.

Мэтлок снял пижамную куртку и смущенно улыбнулся.

— Даю. Я вовсе не собираюсь изображать из себя этакого «рейнджера» [1]-одиночку. Вы знаете, кто займет ваше место?

— Еще нет. Скорей всего кто-то из Вашингтона. Они не станут рисковать и брать людей из Хартфорда или из Нью-Хейвена... Дело в том... они же не знают, кто подкуплен. Но этот агент с вами свяжется. Я сам введу его в курс дела. Никто ведь другой не может. Давайте договоримся о пароле — что бы вы хотели?

— Скажите ему, пусть использует вашу пословицу: «Когда старики себя убивают, города умирают».

— Вам она нравится?

— Не то что нравится или не нравится. Просто это истина. Так и должно быть.

— И вполне применимая к случаю. Я вас понимаю.

— Очень даже применимая.

— Джим, я дам вам телефон моих родителей в Бронксе [2]. Они не будут знать, где я, но я буду им звонить каждый день. Звоните и вы, если понадобится.

— Спасибо, непременно.

— Дайте мне слово.

— Даю.— Мэтлок рассмеялся коротким благодарным смешком.

— Конечно, при сложившихся обстоятельствах я могу и сам оказаться на другом конце провода, когда вы позвоните.

— Возвращаетесь к частной практике?

— Это куда вероятнее, чем вы думаете.

15

В перерыве между занятиями Мэтлок съездил в небольшую маклерскую контору и вышел оттуда с чеком на 7312 долларов. Маклер говорил, что сейчас не время продавать акции, особенно по нынешним ценам. Но Мэтлок принял решение. Кассир нехотя выписал ему чек.

Оттуда Мэтлок отправился в банк и перевел все свои сбережения на текущий счет. Он добавил 7312 долларов и взглянул на общую сумму.

Она составляла 11 501 доллар 72 цента.

Мэтлок смотрел на эту цифру со смешанным чувством. С одной стороны, ясно, что он кредитоспособен; с другой — страшновато думать о том, что, прожив на свете тридцать три года, он может так точно определить, сколько он «стоит». У него ни дома, ни земли, ни тайных капиталовложений. Автомобиль, кое-какие не слишком ценные вещи да несколько очень специальных опубликованных работ, которые вряд ли могут представлять коммерческий интерес.

И тем не менее это большая сумма.

Хотя далеко не достаточная. Это он понимал. Вот почему у него была намечена поездка в Скарсдейл.

Встреча с Силфонтом очень расстроила его. Мэтлок по-настоящему испугался, когда Силфонт, не отрывая взгляда от окна, выходящего на самую красивую в университетском городке лужайку, сказал, что ему, наверное, следует подать в отставку.

— Если вся эта отвратительная, невероятная история правда — а кто же может сомневаться? — то я не имею права занимать свой пост.

— Ну что вы! — возразил Мэтлок.— Если это правда, то университет будет нуждаться в вас больше, чем когда-либо.

— В слепце? Никому не нужен слепец. По крайней мере в ректорском кабинете.

— Вы не слепец. Просто вы были вне всего этого.

---

[1] Солдат диверсионно-разведывательного отряда.

[2] Район Нью-Йорка.

Силфонт резко повернулся в своем вращающемся кресле и с силой ударил кулаком по столу.

— Но почему здесь?! Почему именно здесь?!

Лицо Силфонта исказилось от боли. На секунду Мэтлоку показалось, что ректор сейчас зарыдает.

Приехав в Скарсдейл, Мэтлок сказал отцу как можно проще и спокойнее, что ему нужна крупная сумма денег; при этом он не может гарантировать, что вернет ее. Эти деньги пойдут на то, чтобы в конечном счете помочь таким, как его погибший брат.

Погибший сын.

— Каким образом? — тихо спросил Джонатан Мэтлок.

— Я не могу тебе это сказать.— Он посмотрел отцу в глаза, и тот понял, что сын говорит правду.

— Отлично. А ты достаточно подготовлен для такого предприятия?

— Да. Достаточно.

— Кто-то еще в этом участвует?

— Да, по необходимости.

— Ты им веришь?

— Верю.

— Это они попросили у тебя деньги?

— Нет. Они не знают о них.

— Эти деньги будут в их распоряжении?

— Нет. Во всяком случае, я постараюсь, чтобы этого не случилось... Я бы даже сказал больше: они не должны об этом знать.

— Я не ограничиваю тебя, я просто спрашиваю.

— Таков мой ответ.

— И ты полагаешь, то, что ты делаешь, способно каким-то образом помочь юношам вроде Дэвида? Я говорю о практической помощи, а не теоретической, не выдуманной, не о благотворительности.

— Да. Должно помочь.

— Сколько тебе нужно?

Мэтлок глубоко вздохнул.

— Пятнадцать тысяч долларов.

— Подожди здесь.

Через несколько минут отец вышел из своего кабинета и вручил сыну конверт.

Сын понял, что лучше не вскрывать его.

Через десять минут после состоявшегося обмена — а Мэтлок сознавал, что это был обмен,— он простился; родители стояли на огромном крыльце и глядели ему вслед, пока он не выехал из ворот.

Мэтлок подъехал к своему дому, выключил фары и мотор и устало вылез из машины. В квартире везде горел свет. Джейсон Гринберг явно не хотел рисковать, и Мэтлок решил, что часть молчаливой, невидимой армии Гринберга, расположившись где-то поблизости, внимательно наблюдает за его квартирой.

Он отпер дверь и толкнул ее. В квартире никого не было. Во всяком случае, он никого не увидел. Даже кошки.

— Эй! Джейсон!.. Есть кто-нибудь? Это я, Мэтлок.

Ответа не последовало, и Мэтлок обрадовался. Ему хотелось поскорее забраться в постель и заснуть. По пути он заехал в больницу, чтобы повидать Пэт, но ему не разрешили. Зато он узнал, что «она отдыхает и ее состояние считается удовлетворительным...». Это уже прогресс. Днем она еще была в списке тяжелых больных. Он проведает ее в девять утра.

А сейчас спать — и хорошо бы спокойно выспаться. Утром у него много дел.

Он прошел в спальню мимо все еще непочиненного окна и стены. Плотницкие и малярные инструменты аккуратно лежали в углу. Он снял пиджак и рубашку и тут подумал — не без легкой насмешки,— что стал слишком уверен в себе. Зайдя в ванную комнату, он закрыл за собой дверь, нагнулся к коробке с песком для кошки и приподнял газету. Корсиканская бумага была на месте.

Мэтлок вернулся в спальню, вынул из карманов бумажник, деньги, ключи от машины, положил их на бюро и тут вспомнил про конверт.

Он не обманулся в отце. Он знал старика, пожалуй, лучше, чем тот думал. Мэтлок предполагал найти вместе с чеком короткую записку, где будет сказано, что деньги ему подарены, а не даны взаймы и что возвращать их не придется.

В конверте действительно была записка, но Мэтлок прочел в ней совсем другие слова — не те, которых он ожидал.

«Верю в тебя. Всегда верил.

С любовью.

Отец».

С обратной стороны к записке был прикреплен чек. Мэтлок открепил его и посмотрел на цифру.

Там значилось пятьдесят тысяч долларов.

16

Припухлость на лице и вокруг глаз несколько спала. Мэтлок взял руку Пэт и пригнулся к самому ее лицу.

— Все будет хорошо,— только и смог он выдавить из себя. Он еле сдерживался, чтобы не закричать. В голове не укладывалось, что есть на свете люди, которые могут сделать такое с другим человеческим существом! И ведь все это из-за него.

— Джеми... Джеми? — Голос ее был еле слышен, губы почти не шевелились.

— Ш-ш-ш... Не говори, если больно.

— За что?

— Не знаю. Но мы выясним.

— Нет!.. Нет, не смей! Они... они...— У нее перехватило дыхание. Она указала на стакан с водой. Мэтлок быстро взял его и, поддерживая Пэт за плечи, поднес стакан к ее губам.

— Как это случилось? Ты можешь мне рассказать?

— Рассказала... Гринбергу. Мужчина и женщина... подошли к столику. Сказали... ты ждешь... на улице.

— Ладно, не надо, я потолкую с Джейсоном.

— Я... чувствую себя лучше. Больно... но лучше... правда... Я поправлюсь?

— Конечно поправишься. Я говорил с врачом. Ты вся в синяках, но ничего не сломано, ничего серьезного. Он говорит, что ты начнешь ходить через несколько дней.

Глаза Патриции Бэллентайн засветились, и Мэтлок увидел, что она силится улыбнуться, несмотря на швы на губах.

— Я боролась с ними... боролась, пока... больше я ничего не помню.

Мэтлок с трудом подавил подступавшие к горлу рыдания.

— Я знаю. А сейчас не говори больше. Отдыхай, расслабься. Я просто посижу здесь, и мы поговорим взглядами... Помнишь? Ты говорила, что на людях мы всегда разговариваем взглядами... Я сейчас расскажу тебе неприличный анекдот.

Она улыбнулась — улыбнулась взглядом.

Он сидел у нее до тех пор, пока его не выгнала сестра. Тогда он нежно поцеловал ее в губы и вышел с чувством облегчения и ярости.

— Мистер Мэтлок? — Молодой гладко выбритый врач подошел к нему у лифта.

— Да?

— Вас к телефону. Можете поговорить на втором этаже у сестринского поста. Я провожу вас.

Голос в трубке был незнаком Мэтлоку.

— Мистер Мэтлок, моя фамилия Хьюстон. Я друг Джейсона Гринберга. Мне надо с вами встретиться.

— Да? Как Джейсон?

— Отлично. Мне необходимо как можно скорее увидеться с вами.

Мэтлок уже хотел было назвать место встречи, но прикусил язык.

— Джейсон ничего мне не передавал? Насчет того, где он сейчас и вообще?

— Нет, сэр. Сказал только, чтобы я связался с вами — и срочно.

— Понимаю.— Почему же он не произносит пароль? — Гринберг говорил, что непременно сообщит мне, где его найти. Я точно помню.

— Это против правил нашего ведомства, мистер Мэтлок. Ему не разрешили бы это сделать.

— Вот как?.. Значит, он вообще ничего не просил мне передать?

— Он, может быть, забыл...— неуверенно ответил человек на другом конце провода.— Дело в том, что я с ним сам не разговаривал. Я получил указания прямо из Вашингтона. Так где же мы встретимся?

В голосе Хьюстона звучала тревога. Слово «Вашингтон» он произнес чуть громче, на нерве.

— Я вам позвоню попозже. Дайте мне ваш номер!

— Послушайте, Мэтлок. Я звоню из автомата, и нам надо встретиться. У меня же есть указания!

— Ну, еще бы...

— Что?

— Нет, ничего. Вы где — в центре? В Карлайле?

— Я в этом районе.— Снова как-то неуверенно.

— Скажите, мистер Хьюстон... Город умирает?

— Что? О чем это вы?

— Я опаздываю на занятия. Позвоните мне позже.— Мэтлок повесил трубку. Левая рука его дрожала, на лбу выступил пот.

Он понял, что Хьюстон — враг.

Кольцо врагов сжималось.

В субботу первое занятие начиналось в одиннадцать, так что у Мэтлока оставалось около часа на решение вопросов, связанных с деньгами. Ему не хотелось думать, что в понедельник утром придется быть в Карлайле, идти в банк. Он не был уверен, что это удастся. Вообще не знал, где он будет в понедельник.

Как всякий университетский городок Новой Англии, Карлайл жил по собственным законам. Каждый здесь знал по имени всех, кто своим трудом делал повседневную жизнь легкой и неторопливой. Механика в гараже звали «Джо» или «Мак»; управляющего книжным магазином — «Эл»; зубного врача — «Джон» или «Уоррен»; девушку в чистке — «Эдит»; банкира, с которым имел дело Мэтлок,— «Алекс». Алекс Андерсон, сорокалетний уроженец и выпускник Карлайла. Мэтлок позвонил ему домой и объяснил, в чем дело. Отец дал ему чек на большую сумму. Поскольку у него в квартире устроили погром, он хочет немедленно избавиться от этого чека. Что Алекс ему посоветует? В понедельник его, наверное, не будет в Карлайле. Не отправить ли чек по почте, чтобы деньги поскорее оказались на счете и чтобы в любой момент можно было получить наличные. Алекс Андерсон посоветовал самое простое. Мэтлоку надо сделать на чеке передаточную надпись, положить его в конверт, адресованный Андерсону, и бросить в специальный почтовый ящик возле банка. А в понедельник с самого утра Алекс займется этим делом.

Затем Алекс Андерсон спросил, в каких купюрах Мэтлоку нужны деньги, и тот сказал.

Решив проблему денег, Мэтлок сосредоточился на том, что должно было стать для него отправной точкой. Другого определения он не мог придумать, а обойтись без определения тоже не мог: определение как-то дисциплинирует. Вначале нужно действовать по правилам — ведь потом все может пойти вкривь и вкось и от дисциплины, планов и устоявшихся представлений не останется и следа. Ибо он принял решение.

Он войдет в мир Нимрода. Строителя Вавилона и Ниневии, охотника на диких зверей, убивающего детей и стариков, уродующего женщин.

Он найдет Нимрода.

Как и большинство взрослых, не считающих все приятное безнравственным, Мэтлок знал, что в Коннектикуте и в соседних штатах существует целая сеть людей, готовых обеспечить всех желающих теми развлечениями, на которые так неодобрительно смотрит церковь и суды. Кто из солидных служащих хартфордских страховых компаний не слышал, например, об «антикварных магазинах» на Нью-Британ авеню? Кто из жителей Олд-Гринвича ни разу не бывал в огромных поместьях к северу от Грин-Фармз, где ставки часто выше, чем в Лас-Вегасе? Многие ли жены усталых бизнесменов из Нью-Хейвена и Уэстпорта незнакомы с хамденскими и фэрдилдскими «бюро найма спутников»? А на «исконных землях», в окрестностях Норфолка? Среди ветшающих

дворцов, построенных во славу настоящих денег и настоящих аристократов, лишь немного передвинувшихся на запад, чтобы избежать соседства с нуворишами? Там, на «исконных землях», если верить слухам, люди предавались самым удивительным забавам. А те, кому уже все наскучило, могли взбодриться, наблюдая при свечах жуткие сцены, в которых участвовали женщины, мужчины, животные...

Мэтлок понимал, что именно там надо искать Нимрода. Он должен быть там. Ибо, хотя наркотики были всего лишь одной из второстепенных услуг, оказываемых в этом мире, там они были доступны, как и все остальное.

Но ни одна из этих игр, придуманных для ублажения пресыщенной плоти, не имела колдовской притягательной силы игорных домов, где люди, у которых нет времени на увеселительные командировки в Сан-Хуан, Лондон или на Парадайс-Айленд, могли на несколько безумных часов забыть повседневную скуку, не слишком удаляясь от дома. За столами, покрытыми зеленым сукном, по прихоти костей и карт мгновенно создавались репутации. Здесь и будет отправная точка Мэтлока. Здесь молодой человек тридцати трех лет намеревался играть на большой проигрыш, пока его не спросят, кто он такой.

Подходя к дому, Мэтлок услышал чей-то кашель — кашель запыхавшегося курильщика.

— Мистер Мэтлок?

Мэтлок повернулся и увидел человека лет тридцати — тридцати пяти.

— Да?

— Никик вас не могу поймать,— сказал человек, с трудом переводя дыхание.— Приехал в больницу, а вы только что уехали; потом ждал вас совсем не в том месте — думал, у вас занятия. Там какой-то глупый преподаватель биологии, почти ваш однофамилец. Он на вас даже немного похож. Такого же роста, сложения, такие же волосы...

— Это Мэрдок. Эллиот Мэрдок. А в чем дело?

— Он никак не мог понять, почему я все твержу ему: «Когда старики себя убивают, города умирают».

— Вы от Гринберга!

— Вот именно. Извините, но уж очень мрачный пароль. Продолжайте идти. Мы разойдемся в конце дорожки. Встретимся через двадцать минут в «Гриль-баре Билла», возле склада. Это в шести кварталах к югу от железнодорожной станции. О' кей?

— Никогда не слышал о таком.

— Только, пожалуйста, снимите галстук. Я буду в кожаной куртке.

— Шикарные места вы выбираете.

— Старая привычка. Подправляю цифры в своем финансовом отчете.

— Гринберг сказал, что я буду работать с вами.

— Еще как будете! Он за вас готов в огонь и в воду. Кажется, его отправляют в Каир... Отличный парень. Не подведите его.

— Я не успел спросить, как вас зовут.

— Хьюстон. Фред Хьюстон. Увидимся через двадцать минут. И снимите галстук.

17

«Гриль-бар Билла» находился в той части Карлайла, где Мэтлок никогда раньше не бывал. Клиентуру его составляли в основном железнодорожные и складские рабочие. Мэтлок внимательно осмотрел грязный зал; Хьюстон сидел в одной из дальних кабинок.

— Ну и местечко.

— Именно в этом его преимущество. Подойдите к стойке и возьмите чего-нибудь выпить. Девочки сюда приходят только вечером.

Мэтлок подошел к стойке и заказал себе самый лучший бурбон. Ничего подобного он не пил с тех пор, как его заработок достиг прожиточного минимума.

— Хочу сразу вам сказать. Кто-то звонил в больницу и назвался вашим именем.

Хьюстона словно ударили под ложечку.

— Ну и ну,— тихо произнес он.— Что же он сказал? Как вы повели себя?

— Я ожидал услышать от него пароль — пословицу Гринберга. Даже подвел его к этому, но он не отреагировал. Тогда я попросил его позвонить позже и повесил трубку.

— Он назвался моим именем? Хьюстон? Вы уверены?

— Абсолютно.

— Ерунда какая-то. Это просто невозможно!

— И тем не менее.

— Но никто не знал, что заменой буду я... Я сам узнал только в три часа ночи.

— Кто-то это выяснил.

Хьюстон отпил пива из кружки.

— Если то, что вы говорите,— правда, меня отзовут через два часа. Кстати, это неплохо, учитывая... Тем не менее разрешите дать вам дополнительный совет. Никогда не вступайте в контакт по телефону.

— Почему?

— Если бы, предположим, звонил я, как бы я узнал, что у телефона именно вы?

— Понимаю...

— Это лишь здравый смысл. Большая часть того, что мы делаем, основана на здравом смысле... Сохраняем старый пароль. Насчет «стариков» и «городов». Следующий свяжется с вами сегодня вечером.

— Вы наверняка уедете?

— Меня же засекли. Я вовсе не собираюсь оставаться здесь. Вы что, забыли Ральфа Лоринга?.. У нас был большой шум по этому поводу.

— Хорошо. Вы с Джейсоном говорили? Он вас ввел в курс дела?

— Вводил в течение двух часов. С четырех до шести сегодня утром. Моя жена сказала, что он выпил тринадцать чашек кофе.

— А что вы можете сказать мне про Пэт? Патрицию Бэллентайн? Что с ней случилось?

— Вы же знаете результаты медицинского обследования...

— Не все.

— Я их тоже не все знаю.

— Неправда.

Хьюстон взглянул на Мэтлока без обиды. Когда он заговорил, в голосе его звучало сострадание:

— Ладно. Обнаружены следы изнасилования. Ведь именно это вы хотите знать?

Мэтлок сжал стакан.

— Да,— тихо сказал он.

— Она об этом не знает. По крайней мере ничего не помнит.

— Животные... Грязные животные...— Мэтлок оттолкнул от себя стакан. Мысль о том, чтобы притупить чувства, была ему отвратительна.

— Сейчас мне приходится «играть по слуху», так что, если я вас неправильно понял, приношу свои извинения... Будьте при ней, когда она начнет вспоминать. Вы ей будете очень нужны.

Мэтлок оторвал взгляд от стола, от своих напряженно сцепленных рук.

— Это было очень скверно? — еле слышно спросил он.

— Предварительные лабораторные исследования — следы ногтей, волосы и так далее — указывают на то, что там был не один человек.

Мэтлок закрыл глаза и с такой силой ударил ребром руки по стакану, что тот отлетел к стойке бара и разбился на мелкие кусочки. Бармен отбросил грязную тряпку и пошел вдоль стойки, глядя в упор на человека, швырнувшего стакан. Хьюстон жестом остановил бармена и быстро достал из кармана деньги.

— Возьмите себя в руки!— сказал Хьюстон.— Никому вы этим не поможете. Только привлекаете к нам внимание... А теперь слушайте. Вы получили «добро» на проведение дальнейшего расследования, но при двух условиях. Первое: никаких контактов без согласования с нашим человеком — предполагалось, что им буду я. И второе: проводить расследование среди студентов — только среди студентов. Не преподаватели, не сотрудники, не люди со стороны — только студенты... Информацию будете давать по вечерам, от десяти до одиннадцати. Человек на связи с вами будет каждый раз говорить вам, где вы встречаетесь. Усвоили?

Мэтлок в изумлении уставился на агента. Он понимал, что и даже почему сказал Хьюстон, но не мог поверить, что этот человек явился к нему с подобными инстукциями после разговора с Джейсоном Гринбергом.

— Вы что, серьезно?

— Приказ абсолютно ясен. Никаких двойных смыслов. Как в священном писании.

И снова Мэтлок понял. Еще один знак, еще один компромисс. Еще один гибкий приказ от невидимых гибких руководителей.

— Иначе говоря, я тут, но меня тут нет, так? Я хожу по обочине, и это всех устраивает?

— Вы сумасшедший! — сказал агент. — Я вовсе не жалею, что сматываюсь отсюда... Поверьте моему слову, так было бы лучше. И последнее: мне нужна бумага, которую дал вам Лоринг. Это однозначно.

— Неужели?— Мэтлок начал подниматься с грязной, обитой ледерином банкетки.— Мне это представляется по-другому. Отправляйтесь в Вашингтон и скажите им, что для меня это не однозначно. Будьте здоровы, священное писание.

— Вы играете с огнем — можете доиграться до превентивного заключения!

— Посмотрим, кто играет,— сказал Мэтлок; он отодвинул столик, заблокировав выход агенту, и направился к двери. Хьюстон тихо окликнул его, словно не знал, как быть: хотел, чтобы Мэтлок вернулся, и в то же время боялся, что кто-нибудь услышит его имя. Мэтлок вышел на улицу и со всех ног бросился бежать. Ему попался узенький проулок, он свернул туда, пробежал немного и остановился, прижавшись к какой-то двери. В начале проулка он увидел взволнованного Хьюстона; тот быстро шел вдоль склада, мимо спокойно обедавших рабочих. Мэтлок понял, что путь домой ему закрыт.

Смешно, подумал он, сидя в кабинке «Гриль-бара Билла». Вернуться туда, откуда двадцать минут назад он не знал, как уйти. Но он смутно чувствовал, что в этом есть смысл,— если сейчас вообще можно говорить о смысле. Ему необходимо побыть одному и подумать. А на улице его могут заметить люди из невидимой армии Гринберга — Хьюстона. Как ни парадоксально, бар — самое безопасное место.

Он извинился перед настороженным барменом, предложил заплатить за разбитый стакан. Объяснил, что человек, с которым он только что разговаривал, должен ему деньги, много денег, а отдать не может. Это объяснение было не просто принято барменом — оно подняло его в собственных глазах до высот, почти неведомых в «Гриль-баре Билла».

А Мэтлоку нужно было собраться с мыслями. Он думал о том, что прежде всего должен обеспечить полную безопасность Пэт, должен быть спокоен за нее. Это, сам того не зная, подсказал ему Хьюстон. Все остальное в его списке второстепенно. Одежда, наличные деньги, прокатный автомобиль — все это подождет. Сначала Пэт. Он должен организовать ей круглосуточную охрану. Пусть ее охраняют открыто, без всякой таинственности. Охраняют так, чтобы обе невидимые армии поняли: она вне игры. Деньги теперь не проблема. А в Хартфорде есть люди, которые профессионально занимаются тем, что ему нужно. Он это знал. Большие страховые компании все время прибегают к их услугам. Он вспомнил об одном бывшем преподавателе кафедры математики, который променял Карлайл на более выгодный страховой бизнес. Работал он в компании «Этна». Мэтлок поискал глазами телефон.

Одиннадцать минут спустя Мэтлок вернулся в свою кабинку. Он обо всем договорился с компанией «Блэкстоун сикьюрити инкорпорейтед» на Бонд-стрит и Хартфорде. Трое людей будут, сменяя друг друга, дежурить по восемь часов каждый; стоит это триста долларов в сутки. Конечно, возможны дополнительные расходы, в том числе плата за пользование «телектроником», если оно будет признано необходимым. Телектроник — это маленький приборчик, который короткими сигналами дает знать своему обладателю, что он должен позвонить по определенному телефону. На этот случай Блэкстоун, естественно, предложил Мэтлоку другой номер; они могут включить его в течение двенадцати часов — естественно, за дополнительную плату.

Мэтлок с благодарностью согласился и сказал, что приедет после обеда в Хартфорд подписать бумаги. Ему хотелось встретиться с Блэкстоуном — теперь уже по другой причине. Но Блэкстоун заявил, что, поскольку руководитель отдела компании «Этна» лично связался с ним по поводу мистера Мэтлока, с формальностями можно не спешить. В течение часа он направит свою бригаду в больницу. Кстати, мистер Мэтлок случайно не родственник Джонатана Манро Мэтлока?.. Руководитель отдела компании «Этна» вроде бы обмолвился...

Мэтлоку сразу стало легче. Кажется, Блэкстоун — это именно то, что требуется. Руководитель отдела компании «Этна» заверил его, что лучше Блэкстоуна ему не найти. Дорого, конечно, зато лучше некуда. Работали у Блэкстоуна в основном бывшие

офицеры отрядов особого назначения и морской разведки. Это было не просто коммерческое предприятие. Блэкстоун подобрал себе умных, находчивых и крепких ребят, с которыми считалась как полиция штата, так и местная полиция.

Дальше в его списке стояла одежда. Он собирался поехать к себе и уложить костюм, несколько пар брюк, одну-две куртки. Но теперь это исключено. Он купит себе одежду по дороге. Куда сложнее с деньгами. Он не хотел пропускать субботний вечер. Но в субботу банки закрыты, и крупную сумму получить негде.

Алекс Андерсон должен помочь ему. Он соврет: скажет, что Джонатан Манро Мэтлок будет благодарен — чрезвычайно благодарен!— Андерсону, если банкир сегодня после обеда выдаст ему, Мэтлоку-младшему, крупную сумму наличными. Естественно, об этом никто не должен знать. И естественно, за такой важной услугой, оказанной в неурочное время, последует вознаграждение. Конечно, в абсолютно корректной форме. И опять-таки строго конфиденциально.

Мэтлок поднялся с рваной, засаленной ледериновой банкетки и снова подошел к телефону.

У Андерсона возникли лишь мимолетные сомнения, в основном связанные с тем, как соблюсти конфиденциальность операции. Но как только эти сомнения рассеялись, стало ясно, что он окажет помощь. Любой банк заинтересован в том, чтобы выполнять просьбы лучших клиентов. Ну, а если кто-то из них хочет выразить благодарность... это его личное дело.

Алекс Андерсон выдаст Джеймсу Мэтлоку пять тысяч долларов наличными. Он привезет их в три часа дня к кинотеатру «Плаза».

Наиболее легкой проблемой будет, пожалуй, автомобиль. В городе было две прокатных конторы: «Баджет нэшнл» и «Луксор элит». Первая обслуживала студентов, вторая — богатых родителей. В «Луксоре» он возьмет напрокат «кадиллак» или «линкольн», затем поедет в хартфордский «Луксор» и обменяет машины, а затем повторит эту же операцию в Нью-Хейвене. Когда есть деньги, никто ни о чем не спрашивает, а если даешь приличные чаевые, то еще и помогут.

Значит, теперь уже можно действовать.

— Эй, мистер! Это вы Мэтлок?— Волосатый бармен с грязной тряпкой в правой руке навис над столиком.

— Да.— Мэтлок вздрогнул от неожиданности и судорожно втянул в себя воздух.

— Какой-то человек сейчас просил передать вам, что вы там на улице что-то забыли. На тротуаре. Он сказал, чтоб вы поторопились.

Мэтлок не мигая смотрел на бармена. Под ложечкой у него заныло. Он полез в карман и вытащил несколько банкнотов. Отделив пятерку, он протянул ее бармену.

— Подойдите со мной к двери. Только к стеклу. Скажете мне, там ли он.

— Само собой... К стеклу.— Волосатый бармен переложил тряпку в левую руку и взял деньги. Мэтлок вышел из кабинки и подошел вместе с барменом к наполовину занавешенному грязному стеклу.

— Нет. Его там нет. Там никого нет... Там только мертвая...

— Ясно,— сказал Мэтлок, прервав его. Выходить на улицу не было необходимости.

На тротуаре, свисая в сточную канаву, лежала его кошка.

Голова ее была рассечена. По тротуару расплывалась кровавая лужа.

18

Убитая кошка долго не давала покоя Мэтлоку. Что это — еще одно предупреждение? Или они нашли бумагу? Если нашли, тогда зачем предупреждать — для большей убедительности? Он подумал было, не попросить ли кого-нибудь из бригады Блэкстоуна побывать на его квартире и проверить коробку для кошки. Он сам не понимал, почему колеблется. Отчего бы сотруднику Блэкстоуна не проверить? За три сотни в день плюс дополнительные расходы такое поручение — не такая уж большая нагрузка. Он будет просить «Блэкстоун инкорпорейтед» о гораздо большем, только они об этом еще не знают. И тем не менее он медлил. Если бумага в целости и сохранности, посылать туда человека — значит обнаружить ее местонахождение.

Он уже почти решился рискнуть, когда снова заметил в зеркале коричневую легковую машину. Другие автомобили сворачивали, обгоняли его или отставали, а эта ма-

шина уже полчаса — с тех пор как он выехал на шоссе № 72 — упорно следовала за ним. Сейчас он узнает, совпадение это или нет. У въезда в город есть узкая улочка, которую даже и улочкой-то не назовешь — скорее узкий проулок, вымощенный булыжником; пользовались им исключительно для подвоза товаров в магазины. Они с Пэт однажды решили сократить путь и минут на пять застряли в этом проулке среди машин.

Он доехал по главной улице до проулка, затем резко повернул влево. Время было послеобеденное, суббота, никаких грузовиков, подвозивших товары, и проезд был свободен. Мэтлок промчался по проулку и выехал на забитую машинами стоянку. Найдя свободное место, выключил мотор, сполз с сиденья как можно ниже и повернул зеркало так, чтобы видеть въезд в проулок. Почти тут же в зеркале появилась коричневая машина.

Человек за рулем был явно сбит с толку. Он ехал медленно, оглядывая десятки автомобилей. Неожиданно за коричневой машиной кто-то засигналил. Водитель нехотя прибавил скорость; при этом он повернул голову вправо, и Мэтлок узнал его.

Это был полицейский. Тот самый, который появился в его разгромленной квартире после истории с Бисоном; тот, что, закрывая лицо полотенцем, бежал вдоль кортов для игры в сквош два дня тому назад.

«Совпадение»,— сказал тогда Гринберг.

Мэтлок ничего не понимал. А главное — испугался.

Коричневая машина медленно двинулась к выезду со стоянки; полицейский в штатском явно продолжал кого-то высматривать. Потом машина влилась в поток движения и исчезла.

Агентство «Блэкстоун инкорпорейтед» больше напоминало процветающую страховую компанию, чем сыскное агентство. Тяжелая мебель в колониальном стиле, обои мягких тонов, в полоску. Дорогие гравюры с охотничьими сценами, мягкий свет бронзовых настольных ламп. Судя по всему, агентство было организацией солидной, мощной и богатой. Вполне естественно, подумал Мэтлок. Получая триста долларов в день с клиента, «Блэкстоун инкорпорейтед» по соотношению между капиталовложениями и прибылью, наверное, может конкурировать со страховым гигантом «Пруденшл».

Наконец Мэтлока пригласили в кабинет. Майкл Блэкстоун поднялся с кресла и, обогнув письменный стол вишневого дерева, подошел поздороваться. Блэкстоун был невысокий, крепкий человек лет пятидесяти с небольшим, в скромном, но хорошем костюме спортивного типа, очень живой и, по всей вероятности, очень жесткий.

— Добрый день,— сказал он.— Надеюсь, вы приехали сюда не только для того, чтобы оформить бумаги. Они могли бы и подождать. Если мы работаем семь дней в неделю, это еще не значит, что и весь мир должен так же поступать.

— Мне все равно нужно было в Хартфорд. Так что пусть это вас не волнует.

— Садитесь, садитесь. Выпьете чего-нибудь?

— Нет, спасибо.— Мэтлок опустился в огромное кресло, обитое черной кожей; такие кресла обычно бывают в самых старых и уважаемых мужских клубах. Блэкстоун снова сел за письменный стол. — Дело в том, что я немножко спешу. Мне хотелось бы подписать наше соглашение, расплатиться и бежать дальше.

— Все документы готовы.— Блэкстоун взял со стола папку с бумагами и улыбнулся.— Как я говорил вам по телефону, мы хотели бы получить ответ на несколько вопросов. Это помогло бы нам выполнить ваши распоряжения. Я постараюсь вас не задержать.

Для Мэтлока это не было неожиданностью. Именно потому он и хотел повидать Блэкстоуна. Он предполагал, что Блэкстоун, войдя в игру, способен помочь ему быстрее продвинуться к цели. Возможно, не по велению души — придется «дополнительно раскошелиться»... Вот почему ему необходимо было поговорить с Блэкстоуном с глазу на глаз. Если его можно купить, это сэкономит уйму времени.

— Я отвечу на те вопросы, на какие смогу. Как вы уже сами наверняка убедились, мисс Бэллентайн жестоко избили.

— Мы это знаем. Но никто не говорит почему, и мы не понимаем, в чем дело. Ведь ради удовольствия не избивают. Бывает, конечно, но в таких случаях, как правило, оперативно вмешивается полиция и в нас нет необходимости... Очевидно, у вас есть информация, которой полиция не располагает.

— Да. Есть.

— Тогда почему вы ее не сообщили им? Почему вы наняли нас?.. Местная полиция охотно обеспечит охрану, если для этого есть разумные основания, и это обойдется гораздо дешевле.

— Вы так говорите, словно хотите отказаться от хорошего заработка.

— Мы часто это делаем,— улыбнулся Блэкстоун.— И никогда не испытываем удовольствия, если приходится так поступать.

— Тогда почему же...

— Вы не случайный клиент,— прервал его Блэкстоун.— Вас нам рекомендовали, к тому же вы сын весьма известного человека. Мы хотим, чтобы вы знали, что у вас есть выбор.

— Спасибо за откровенность. Иными словами, вы заботитесь о своей репутации.

— Да, вы меня поняли.

— Отлично. И я тоже забочусь о репутации. Только не о своей, а о репутации мисс Бэллентайн... Проще всего объяснить случившееся неудачным выбором друзей. Она женщина блестящего ума, с большим будущим, но, к сожалению, в житейских вопросах она не сильна.— Мэтлок умолк, достал пачку сигарет и не спеша закурил. Пауза произвела свое действие. Блэкстоун заговорил:

— Она имела какую-то материальную выгоду от этих знакомств?

— Никакой. Наоборот: мне кажется, это ее использовали для получения материальной выгоды. Но я понимаю, почему вы спросили. Ведь в наши дни в университетских городках можно неплохо заработать.

— Откуда мне знать. Университеты — не наша сфера.— Блэкстоун снова улыбнулся, и Мэтлок понял, что он лжет. Из профессиональных соображений, конечно.

— Понятно.

— Итак, мистер Мэтлок, почему же ее избили? И что вы намереваетесь в связи с этим предпринять?

— По-моему, ее избили, чтобы запугать — чтобы она не разгласила информацию, которой она не располагает. Я намерен найти тех, кто это сделал, и сказать, чтобы они оставили ее в покое.

— А если вы обращаетесь в полицию, то ее друзья — бывшие друзья — попадают в полицейские протоколы, и это ставит под удар ее блестящее будущее.

— Вот именно.

— Ну что ж, звучит вполне убедительно... Так кто же эти лица?

— Я не знаю их по фамилиям... Однако знаю, чем они занимаются. По-видимому, их главное занятие — азартные игры, и я подумал, что тут вы могли бы мне помочь. Естественно, я готов заплатить дополнительно за услуги.

— Все ясно.— Блэкстоун встал и обошел свое кресло, потом зачем-то покрутил регуляторы выключенного кондиционера.— Слишком много вы от нас хотите.

— Имен я не жду. Я бы, конечно, не возражал против них и хорошо бы за них заплатил... Но мне достаточно знать местонахождение. Я могу и сам их отыскать. Но вы сэкономили бы мне время.

— Насколько я понимаю, вас интересуют... частные клубы, где люди могут встречаться и заниматься тем, что им по вкусу?

— Не на глазах у закона. Там, где частные лица могут следовать своим вполне естественным склонностям — играть в азартные игры. С таких мест мне бы хотелось начать.

— А мог бы я отговорить вас от этого? Мог бы убедить вас обратиться в полицию?

— Нет.

Блэкстоун подошел к картотеке, которая находилась у левой стены, достал ключ и открыл один из шкафов.

— Как я уже сказал, вы придумали неплохую историю. Звучит вполне убедительно. И тем не менее я не верю ни одному вашему слову... Однако вы как будто настроены решительно, и, следовательно, я должен браться за дело.— Он вытащил плоский металлический ящик из картотечного шкафа и перенес его на письменный стол. Другим ключом он открыл ящик и извлек оттуда какую-то бумагу.— Здесь есть ксерокс,— сказал Блэкстоун, указывая на большой копировальный автомат в углу — Количество копий устанавливается вот этим регулятором. Мы редко делаем больше одной... Извините, я вас покину минуты на две, мистер Мэтлок: мне нужно позвонить из другой комнаты.

Блэкстоун взял бумагу и положил ее текстом вниз на папку с документами Мэтлока. Затем выпрямился и обеими руками одернул пиджак, как обычно делают мужчины, когда хотят привлечь внимание к своему дорогому костюму. Улыбаясь, обошел письменный стол и направился к двери, но на пороге обернулся:

— Возможно, это то, что вы ищете, а может быть, и нет. Не знаю. Я просто оставляю секретную записку на столе. В счете это будет обозначено как... дополнительные расходы по наблюдению.

Он вышел, плотно закрыв за собой дверь. Мэтлок поднялся с черного кожаного кресла и подошел к письменному столу. Перевернув бумагу, он прочел отпечатанный на машинке текст:

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ: ЧАСТНЫЕ КЛУБЫ МЕЖДУ ХАРТФОРДОМ И НЬЮ-ХЕЙВЕНОМ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОСРЕДНИКИ (УПРАВЛЯЮЩИЕ). ДАННЫЕ НА 15 МАРТА. НЕ ВЫНОСИТЬ.

Дальше следовало двадцать с лишним адресов и фамилий.

Это уже были подступы к Нимроду.

19

Хартфордское агентство по прокату автомобилей «Луксор элит» охотно пошло навстречу. Управляющего удовлетворило объяснение, что «линкольн» слишком похож на катафалк, а так как все бумаги были в полном порядке, то обмен одного автомобиля на другой не вызвал возражений.

Как и двадцать долларов на чай.

Мэтлок внимательно изучил список Блэкстоуна. Он решил сосредоточить внимание на клубах к северо-западу от Хартфорда по той простой причине, что они ближе к Карлайлу. К тому времени, когда он туда доберется — если вообще туда поедет,— администрация клубов уже должна знать, что он азартный игрок. Не «снайпер» — просто игрок. Об этом уж позаботятся сплетники, если он правильно себя поведет.

Он начал с частного плавательного клуба к западу от Эйвона. Посредником там был человек по имени Джакопо Бартолоцци.

В половине десятого Мэтлок подъехал ко входу в Эйвонский плавательный клуб. Швейцар в ливрее подал знак дежурному на автомобильной стоянке — тот возник как из-под земли и, лишь только Мэтлок вышел из машины, сел за руль. Талонов на парковку здесь явно не выдавали.

Шагая ко входу, Мэтлок оглядывал главное здание клуба — приземистое, одноэтажное, белое кирпичное строение. Справа от него, судя по зеленовато-голубому мерцанию и плеску воды, находился плавательный бассейн, а слева под огромным навесом располагалось нечто вроде ресторана. Откуда-то доносилась приглушенная музыка.

Эйвонский плавательный клуб был, бесспорно, роскошным заведением.

Внутри, в холле, это впечатление только усиливалось. Толстый ковер на полу, обитые штофом стены, дорогие старинные кресла и столики. Слева большая гардеробная, а справа белая мраморная стойка, за какими обычно сидят администраторы в отелях. Из общего стиля выпадала лишь кованая железная решетка, закрытая и даже, кажется, запертая. За ней — уже на открытом воздухе — начиналась слабо освещенная дорожка под навесом на тонких ионических колоннах. Кроме решетки выход преграждал плотный человек в смокинге.

Мэтлок подошел к нему.

— Ваша членская карточка, сэр?

— К сожалению, у меня ее нет.

— Извините, сэр, это частный плавательный клуб. Посторонние сюда не допускаются.

— Мне нужен мистер Бартолоцци.

Человек по ту сторону решетки внимательно оглядел Мэтлока.

— Обратитесь вон туда, сэр.

Мэтлок вернулся к стойке, за которой стоял администратор — немолодой, уже с животиком. Когда Мэтлок вошел, его там не было.

— Могу я быть вам полезен?

— Можете. Я не так давно в этих краях. Хотел бы стать членом вашего клуба.

— Очень сожалеем. Сейчас у нас нет свободных мест. Однако если вы заполните заявление, мы вам позвоним, когда места появятся... Вы хотите оформить членство на всю семью или только на себя? — Администратор профессиональным жестом запустил руку под стойку и вытащил два бланка.

— Только на себя. Я не женат... Мне посоветовали обратиться к мистеру Бартолоцци.

Администратор лишь едва заметно дал понять, что это имя ему знакомо.

— Вот, пожалуйста, заполните это заявление, и я положу его на стол мистера Бартолоцци. Он утром рассмотрит его. Возможно, он вам позвонит, но не знаю, сумеет ли он что-нибудь сделать. У нас большая очередь.

— А сейчас его разве нет? — спросил Мэтлок с оттенком недоверия.

— Скорее всего нет, сэр.

— А почему бы вам не узнать? Скажите ему, что у нас с ним общие друзья по Сан-Хуану.— Мэтлок достал из бумажника пятидесятидолларовую купюру и положил ее перед администратором; тот бросил на него острый взгляд и не спеша забрал деньги.

— По Сан-Хуану?

— По Сан-Хуану.

Мэтлок прислонился к белой мраморной стойке и увидел, что человек по ту сторону железной решетки наблюдает за ним. Он понял, что, если ссылка на Сан-Хуан сработает и для него откроют решетку, ему придется расстаться еще с одной купюрой. А ссылка на Сан-Хуан должна сработать, подумал Мэтлок. Все было логично до наивности. Два года назад он отдыхал с девушкой в Пуэрто-Рико и проводил немало времени в местных казино, хотя сам почти не играл. Там он познакомился с несколькими хартфордцами, хотя сейчас не мог вспомнить ни одного имени

Железная решетка открылась, и в холл вошли две пары. Женщины хихикали, мужчины сдержанно посмеивались. Женщины, наверно, выиграли двадцать или тридцать долларов, подумал Мэтлок, а мужчины, наверно, проиграли несколько сотен. Ну что ж, хоть на один вечер восстановлена справедливость. Решетка закрылась за ними; Мэтлок услышал щелчок электрического замка.

— Пройдите, пожалуйста, сэр,— сказал администратор с животиком.— Мистер Бартолоцци примет вас.

— Куда? Где? — Никаких дверей, кроме железной решетки, здесь не было, а администратор указывал левой рукой куда-то в сторону.

— Вот сюда, сэр.

Неожиданно в гладкой стене справа от стойки открылась дверь. Закрытая, она была совершенно незаметна. Мэтлок вошел, и администратор провел его в кабинет Джакопо Бартолоцци.

— У нас есть общие друзья по Сан-Хуану? — хрипло спросил маленький тучный итальянец, откинувшись в кресле за письменным столом. Он не сделал никакого приветственного жеста и даже не попытался привстать. Наверное, не достает ногами до пола, хотя кто его знает...

— Что-то в этом роде, мистер Бартолоцци,— ответил Мэтлок.

— Что значит — в этом роде? Кто они такие?

— Один — зубной врач в Западном Хартфорде. У другого бухгалтерская контора на Конститьюшн-плаза.

— Ага...— Бартолоцци помолчал, пытаясь сообразить, о ком говорит Мэтлок.— Как их фамилии? Они члены нашего клуба?

— Думаю, что да. Это они назвали мне вас.

— У нас тут плавательный клуб. Частный... Так кто же они такие?

— Послушайте, мистер Бартолоцци, это была совершенно сумасшедшая ночь в казино «Кондадо». Мы все здорово поддали и...

— В Пуэрто-Рико не пьют в казино. Таков закон! — оборвал итальянец и ткнул в Мэтлока толстым указательным пальцем.

— Это не тот закон, который стоит соблюдать.

— Что?

— Во всяком случае мы пили. Поэтому пусть вас не удивляет, что я не помню их фамилий... Если надо, я отправлюсь в понедельник на Конститьюшн-плаза и найду эту бухгалтерскую контору. Или обойду всех зубных врачей в Западном Хартфорде. Но что это меняет? Я хочу играть, и у меня есть деньги.

— Я вас не понимаю,— улыбнулся Бартолоцци.— Вы пришли в плавательный клуб.

— О'кей,— сказал Мэтлок с оттенком разочарования в голосе.— Просто мне здесь было бы удобнее, но после такого приема я лучше поищу что-нибудь другое. Мои друзья из Сан-Хуана говорили мне о заведении Джимми Лакаты в Мидлтауне и Сэма Шарпа в Виндзор-Шоулз... Можете подавиться своими фишками.— И он направился к двери.

— Стойте! Подождите минуту! — Толстый итальянец слез с кресла. Мэтлок не ошибся: сидя Бартолоцци явно не доставал до пола.

— Зачем? У вас, наверно, ставки тут ограниченные.

— Вы знаете Лакату и Шарпа?

— Я знаю о них, я же вам сказал... Ладно, бог с вами. Вам действительно нужно соблюдать осторожность. Я отыщу в понедельник своего приятеля из бухгалтерской конторы, и мы вместе как-нибудь к вам заедем... Мне просто сегодня захотелось поиграть.

— О'кей! О'кей! Вы правы, нам необходимо соблюдать осторожность.— Бартолоцци открыл средний ящик стола и вытащил оттуда какие-то бумаги.— Идите сюда. Подпишите вот это. Вы хотите попытать счастья. А я, может, заберу ваши денежки. А может, вы заберете мои.

Мэтлок подошел к столу.

— Что это такое?

— Просто пара формуляров. Вступительный взнос — пятьсот долларов. Наличными. У вас есть при себе? Никаких чеков, никаких кредитных карточек.

— Есть. Так что это за формуляры?

— В первом вы своей подписью подтверждаете, что вам известно: данное учреждение является некоммерческой корпорацией и поступления от азартных игр идут на благотворительные цели... Что вы смеетесь? Я в центре Хамдена построил церковь Пресвятой Девы.

— А второй? Очень уж длинный.

— Это для нашей картотеки Свидетельство о вашем членстве. За пятьсот долларов вы становитесь партнером. Здесь все партнеры... На всякий случай.

— На какой случай?

— На тот случай, что если нам повезет, то и вам повезет. Особенно если что-то попадет в газеты.

Мэтлоку показалось, что он снова в сан-хуанском казино — собственно, ни в каком другом игорном заведении он и не бывал. Толстый ковер поглощал практически все звуки. Слышалось лишь пощелкивание фишек да приглушенное отрывистое бормотание игроков. Вдоль стен стояли столы для крепса[1], в центре — рулетки и стойки для игры в двадцать одно и тут же на возвышении касса.

Служащий у железной решетки, с благодарностью принявший от Мэтлока хрустящую пятидесятидолларовую купюру, провел его к полукруглой стойке перед кассой и сказал человеку, который пересчитывал какие-то бумажки:

— Это мистер Мэтлок, личный друг... Прошу любить и жаловать.

— Само собой разумеется,— улыбнулся тот.

— Извините, мистер Мэтлок,— тихо произнес служащий.— На первый раз никаких чеков.

— Естественно. Но я хочу сначала осмотреться...

— Конечно. Освоиться, так сказать, с обстановкой.... Прямо вам скажу: это не Вегас. По большей части — между нами, конечно,— это детские игры. Я имею в виду — для такого человека, как вы. Ну, вы меня понимаете.

Мэтлок его прекрасно понимал. В Эйвоне пятидесятидолларовые бумажки на чай обычно не дают.

За три часа двенадцать минут он проиграл четыре тысячи сто семьдесят пять долларов. (Правда, один раз пришлось поволноваться — ему вдруг повезло в крепс, и он

---

[1] Азартная игра в кости.

выиграл около пяти тысяч.) Именно такое начало и могло привести его к цели. Он достаточно часто подходил к кассе и заметил, что здесь покупают фишки в среднем на двести — триста долларов. В его же планы такие «детские игры» не входили. Поэтому в первый раз он купил фишек на полторы тысячи долларов, потом — на тысячу и в третий раз — на две тысячи.

Около часа ночи он сидел в баре и со смехом рассказывал Джакопо Бартолоцци о своем проигрыше.

— Ну, вы молодчина,— сказал Бартолоцци.— Другой, если бы просадил такую кучу денег, уже небось вопил бы, что его ограбили. Пришлось бы показать ему кое-какие бумаги, которые лежат у меня в кабинете.

— Не волнуйтесь. Я все отыграю... Может быть, я завтра снова приду.

— Давайте в понедельник. Завтра у нас только плавают.

— Почему это?

— Воскресенье. Святой день.

— Ах ты черт! А у меня как раз приятель из Лондона прилетает. В понедельник его здесь уже не будет. Очень серьезный игрок.

— Тогда я позвоню Шарпу в Виндзор-Шоулз. Для него святых дней не существует.

— Буду очень благодарен.

— Я, может, и сам туда подскочу.

Мэтлок взглянул на часы. Вечер прошел хорошо. Первый шаг сделан. Стоит ли испытывать судьбу?

— Единственное затруднение: когда приезжаешь куда-то, долго приходится искать.

— В смысле?

— Я ведь с девушкой приехал. Она сейчас спит: устала с дороги. Так вот у нее травка кончилась — самая обычная травка. И я ей обещал достать.

— Ничем не могу помочь, Мэтлок. Я здесь ничего не держу — у нас днем бывает много детей, так что сами понимаете. Правда, есть несколько пилюлек. Но иголок никаких. Пилюльки хотите?

— Нет, только травку. Другого я ей не разрешаю.

— И правильно делаете... Вы сейчас куда?

— Обратно в Хартфорд.

Бартолоцци щелкнул пальцами, и возле них немедленно появился огромный бармен. Мэтлок подумал: до чего нелепо, когда такой коротышка командует людьми. Бартолоцци велел бармену принести бумагу и ручку.

— Вот, возьмите адрес. А я позвоню. Они открыты всю ночь, к тому же это у самого шоссе. Второй этаж. Спросите Рокко. У него есть все, что вам нужно.

— Ну вы просто гений,— искренне восхитился Мэтлок.

— За четыре косых в первый же вечер вам полагаются льготы... Да, вы ведь так и не заполнили заявление о приеме. Перебрали малость, а?

— Вам же не нужны сведения о моей кредитоспособности. Я плачу наличными.

— Интересно, где вы держите свои денежки?

— В тридцати семи банках — отсюда до Лос-Анджелеса.— Мэтлок поставил стакан и протянул Бартолоцци руку.— Неплохо я у вас развлекся. Завтра увидимся?

— Конечно, конечно! Я вас провожу. Не забывайте нас. Не оставляйте все у Сэмми. Возвращайтесь к нам.

— Даю слово.

Они пошли по дорожке под навесом, и толстый итальянец положил руку на поясницу Мэтлока — в знак дружбы. Ни один из них не заметил за ближайшим столиком хорошо одетого человека, тщетно щелкавшего пустой зажигалкой. Когда они прошли мимо его столика, он сунул зажигалку в карман, и женщина, которая сидела напротив, поднесла к его сигарете спичку. Спокойно улыбнувшись, она спросила:

— Ну что, снял?

— И даже крупным планом! — тихо рассмеялся человек.— Не хуже самого Карша![1]

(Окончание следует)

---

[1] Карси Юсуф — известный американский фотограф-портретист.

Критика

ВСТУПАЯ В НОВОЕ ПОЛУСТОЛЕТИЕ

В сентябре прошлого года торжественно отмечалось 50-летие одного из важнейших событий в истории советской культуры — Первого всесоюзного съезда советских писателей и создания Союза писателей СССР. Выступавшие на юбилейном пленуме правления СП зарубежные писатели высоко оценили роль советской литературы и в наши дни, литературы, которая, по словам Любомира Левчева, «впервые в истории... так глубоко и беззаветно посвящала себя революционному преобразованию мира». Председатель Союза болгарских писателей подчеркнул, что «ни одна другая литература никогда не оказывала такого всеобщего обновляющего воздействия на все народы»; он назвал нашу литературу «освободительницей душ».

О подлинном величии нашей многонациональной литературы образно говорил Алекс Ла Гума, Генеральный секретарь Ассоциации писателей стран Азии и Африки: «Если сложить вместе все написанные и изданные в СССР книги, получилась бы вершина ничуть не ниже Памира».

Немало интересных мыслей о жизни нашей литературы в разных уголках земного шара находим мы в поступивших к нам в редакцию высказываниях друзей советской литературы — писателей Фаиза Ахмада Фаиза и Джеймса Олдриджа, Эктора Мухики и Василе Никоровича, писателя и переводчика Ганга Прасада Вимала, переводчиков и литературоведов Ярмилы Фромковой и Душана Слободника. С ними нам хочется сегодня познакомить читателей «Иностранной литературы»[1]

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

(Пакистан)

Достояние общества

Пятьдесят лет назад, собравшись на свой первый съезд, советские писатели представляли не малочисленный привилегированный класс, а весь многонациональный советский народ, и творчество их было обращено к народу. И вот, полвека спустя, собравшись на юбилейный пленум правления своего союза, они вновь продемонстрировали преданность народу, единство творческих устремлений, в основе которых лежит единство социальных, моральных и политических ценностей.

Великая Октябрьская социалистическая революция дала писателю большую свободу, но возложила на него отнюдь не меньшую ответственность. Особенно велика она в наши дни. Именно об этом говорил в речи на пленуме Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета Константин Устинович Черненко. Огромное впечатление произвели на меня, как и на всех участников пленума, высказанные им мысли о роли деятелей культуры в решении сложных проблем, стоящих сегодня перед человечеством, о месте литературы и искусства в жизни СССР, об общественном призвании литературы, о новых формах связи писателя с народом и новых путях творчества, открытых перед ним Великой Октябрьской социалистической революцией. Убедительный и достойный ответ был дан в речи К. У. Черненко тем, кто пытается оклеветать советское искусство, утверждая, будто советские деятели культуры подвергаются нажиму, а их талант подавляется: «...свобода творчества — это не привилегия для избранных. Партия относится к таланту бережно, видит в нем ценнейшее достояние общества. Но никто и ничто не может освободить человека от обязательных для всех требований общества, его законов... И конечно же, никому народ не простит перехода на сторону наших идейных противников в той острейшей борьбе, которая идет сегодня в мире».

А теперь позволю себе небольшое личное отступление. Советская литература особенно дорога мне тем, что сумела накопить огромный опыт художественного

[1] От редакции. Когда верстался этот номер, пришла печальная весть из Лахора: скончался Фаиз Ахмад Фаиз... Тем более дороги для нас строки этого выдающегося поэта наших дней, которые здесь публикуются.

осмысления самых сложных реальностей нашей эпохи. С советскими писателями у меня давно установились прочные и весьма плодотворные творческие контакты, дружеские связи. Большую радость постоянно доставляла мне работа над переводами из современной советской литературы, богатой яркими, своеобразными талантами, такими, например, как Василий Шукшин и Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев и Олжас Сулейменов... Я упоминаю, разумеется, лишь тех, кого мне довелось переводить. Мне могут не поверить, но стихи Гамзатова я переводил без усилий, почти незаметно для себя — столь близка его поэзия нашей,— прежде всего по образному строю. Такое же чувство близости, родства испытал я и тогда, когда принялся за перевод прозы Шукшина. Мне казалось, что в его деревне я узнаю нашу, пакистанскую,— при всем их огромном несходстве.. Не все, однако, в переводческом труде идет гладко. Случались неудачи и у меня. Я взялся было за перевод стихов Андрея Вознесенского и вынужден был отступить. Оказалось — трудно, во всяком случае пока. Но встреча с поэзией Вознесенского не прошла даром: я написал свои собственные стихи, посвященные ему,— «Дай мне подумать»... Как хотелось бы мне, чтобы и мой скромный труд помогал сближению наших народов, наших культур.

Перевод с английского Н. СТЕПАНОВОЙ

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
(Великобритания)

Верность дружбе

Союз советских писателей и немало его членов знакомы мне вот уже более сорока лет. Я состарился вместе со многими писателями — участниками юбилейного пленума[1] — и со многими из тех, кого уже нет с нами. Наше поколение было конечно поколением войны, поэтому, когда я встречаю кого-нибудь из той дюжины советских писателей, которых знаю на протяжении последних сорока лет, мне кажется, мы смотрим друг на друга с позиций людей прошедших уникальную школу войны и мира которая, возможно, умрет вместе с нами.

В знаменательный для ССП 1984 год (он же — зловещий, по г-ну Оруэллу) я хотел бы подчеркнуть, что наше поколение унаследовало мощную, практически ни с чем не сравнимую традицию, не только от тех, кто дал жизнь Союзу советских писателей, но и от таких людей на Западе, которые активно поддерживали советское общество своим пониманием и дружеским отношением к нему. У колыбели Союза стояли Горький и Маяковский Блок и Федин, Леонов и Катаев, Гладков, Панферов, Фадеев, Эренбург, Есенин и, конечно, Шолохов, чья недавняя кончина всех нас опечалила. Но у нас на Западе была и своя традиция. Так, среди основателей Общества культурных связей с СССР, созданного шестьдесят лет назад, были Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Э. М. Форстер, Комптон Маккензи, Вирджиния Вулф, Олдос Хаксли, Хью Уолпол и многие другие видные литераторы.

Оглядываясь сейчас на наше общее наследство, мы можем спросить себя, что же сделало наше поколение, отнюдь не обделенное литературными талантами, не только в области собственно литературы, но и в области социально-политической. Я говорю «политической», и именно политически многие из писателей Запада сбились с пути после войны. Не собираюсь нападать с обвинениями на своих западных коллег. Скорее я буду обвинять условия, в силу которых многие талантливейшие писатели оказались на обочине дороги. «Холодная война» 50-х годов ставила перед писателями лишь один вопрос, от ответа на который часто зависело все их будущее: «Как вы относитесь к Советскому Союзу?» Для многих это стало поистине трагическим камнем преткновения, о который разбивалось не только их мировоззрение, но и литературный талант — его жестоко насиловали лишь для того, чтобы выжить.

У вас были свои проблемы в эти годы, и я слушал на ваших съездах, как вы их обсуждали, спорили, даже ссорились.

Для меня ясно одно: мы всегда должны были оставаться стойкими, несмотря на характер проблем или оказываемое на нас давление, и именно в этом проявлялась наша верность людям, которым грозило уничтожение. Я имею в виду не только ядерную войну. Во многих точках земного шара народы боролись за новую жизнь так же, как народы России боролись в 1917 году. Боролись, чтобы восстать из тьмы, невежества, страданий бед, избавиться от эксплуатации, насилия, жестокости и нечеловеческого высокомерия умирающей, но опасной системы. Если мы, делая выбор, оказываемся не на стороне жизни и сопротивления — то невелика нам цена как писателям, сколь бы талантливы мы ни были. Так стоял вопрос для нашего поколения.

Он и сейчас актуален. Мы на стороне либо правых, либо неправых. Перед нами вновь стоит вопрос о выборе, ибо во все времена мало быть просто писателем — одним из интеллектуальных детей господа бога, созданных его супервоображением, или членом элитарного клуба, лояльным только по отношению к своим стенам. Наша писательская верность — это верность всеобщей правде о человеческой борьбе и вместе с тем верность своей родине. Я люблю свою страну так же сильно, как люблю и вашу. Но я социалист, а это тоже требует верности. Одно не исключает другого. Напротив, все, чего я хочу для своей страны, и все чему я верен, вписано в верность или, если хотите, веру, завещанную нам Шоу, Уэллсом, Форстером и многими другими. Я этим живу всю свою жизнь.

Быть может, именно это передают наши глаза, мои и моих советских современников, когда мы обмениваемся взглядами,

---

[1] Имеется в виду юбилейный пленум правления СП СССР, посвященный 50-летию его основания. Дж. Олдридж был его участником. *(Прим. ред.).*

встречаясь в коридорах, на улице, в квартирах,— двуединую веру, оставленную нам основателями этого союза, а в моей стране оставленную нам славными и знаменитыми друзьями вашей молодой социалистической страны.

Разрешите сказать еще одно слово о верности. Когда солдат переходит линию фронта и присоединяется к врагу — это акт предательства. Единственное, что писателю надо сделать, чтобы интеллектуально перейти на другую сторону,— это написать всего одну фразу, которая поставит его на сторону врага, но после этого он кончен. Речь, разумеется, не о частных разногласиях или различиях во мнениях. Где бы мы были без споров? Я говорю о конечном человеческом выборе, который стоит перед всеми нами. И если писатель не способен осознать это и сделать достойный выбор, тогда он недостоин великой традиции честной борьбы и верности, доставшихся нам в наследство. Давайте жить во имя достойного выбора, пусть это будет выбор солдата разума, и, если потребуется, отдадим за него свои жизни без остатка. Таков должен быть голос моего поколения, поколения «войны и мира». Я счастлив, что к нему принадлежу.

Перевод с английского С. ПРОХОРОВОЙ

ЭКТОР МУХИКА
(Венесуэла)

Книги, которые потрясли души

«Идет направо — песнь заводит,
Налево—сказку говорит...»—
писал когда-то Пушкин. Мне кажется, что это сказано о русском народе. Мечтая, он может распевать песни, смеяться от души, восторгаться самыми обыденными вещами: распустившейся березой, сосной, гордо поднимающей свое зеленое знамя, первым нежным весенним цветком, могучим дубом, который, едва кончится зима, вновь становится царем лесов. Русские смеются и поют, радуясь приходу весны — заре жизни. Немного найдется народов, на чьей земле зимы долгие, холодные и столь же бескрайние, как море, а весны столь же скоротечны, как первая любовь...

Да, русский и советский человек любит петь, смеяться, рассказывать. Но он способен, собрав все духовные силы, своими руками переделать жизнь и грудью стать на ее защиту, как это было во время Великой Отечественной войны.

Обо всем этом мне подумалось, когда осенью прошлого года я перечитывал «Цемент» Федора Гладкова, вышедший в свет шестьдесят лет назад, когда революции исполнилось всего семь лет. Опубликованный в совсем еще юной Стране Советов, этот роман, каковы бы ни были его слабости или недостатки, поразительно — и с каждым днем все более, in crescendo — созвучен сегодняшнему дню Советского Союза. Вот почему книга и ее создатель Федор Гладков и сейчас рядом с нами.

Тем латиноамериканцам, которые, подобно мне, приобщились к литературе, журналистике, политике в середине 40-х годов, довелось жить в памятные дни, когда СССР и его Красная Армия наносили последний смертельный удар нацистскому коричневому зверю; нам посчастливилось испытать огромное воздействие этих событий, в нас родилась горячая любовь к родине социализма.

В конце 40-х — начале 50-х годов нам, еще зеленым юношам, мир представлялся окрашенным всего в два цвета. И мы очень мало знали о Советской стране. Но в сердцах у нас жили имена Жукова, Василевского, Тимошенко, Ворошилова, Конева, которые пересекли наши границы вместе со сводками западных информационных агентств, пришли к нам со страниц фронтовых статей Ильи Эренбурга. Именно в то время мы начали осознавать значение таких книг, как «Мать» Горького, «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, «Цемент» Гладкова. Они сделались настольными книгами тех, кто в свои неполные двадцать лет видел в Октябрьской революции, ее вожде Ленине, ее символе — «Авроре» — зарю нового мира. Так мы вступали в могучий поток, имя которому — Революция. Книги Горького, Джона Рида, Гладкова, «Как закалялась сталь» Островского, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Подпольный обком действует» Федорова — все они потрясли не только мир, но и души человеческие. Вместе со многими я стал коммунистом.

Но вернемся к «Цементу». Я считал и считаю, что «Цемент» был первым крупным советским романом, созданным в послереволюционную пору. Разумеется, у него были предшественники, прежде всего «Мать» Горького, вдохновлявшая многих советских писателей. Но среди них Федор Гладков, на мой взгляд, выделяется ярким своеобразием. Со слов Берты Брайниной я знаю, что, выступая на II съезде советских писателей, Гладков сказал, что «Цемент» — горячий след его юности. Как хотелось бы, чтобы и нынешнее молодое поколение читало и перечитывало это произведение, как читали и перечитывали его мы.

Это суровая, честная книга, и прежде всего — это р о м а н. Стремясь проникнуть в недра души своих персонажей, автор опирался на опыт Достоевского, у Толстого учился он любви к родной русской природе, у Горького — великому умению поставить каждого своего героя в контекст Революции.

Думаю, что, если создадут социологию литературы, то в год, когда будет отмечаться столетие Октябрьской революции, этой науке придется прибегнуть к изучению романа Гладкова, чтобы лучше понять трудное и славное время — 20-е годы. «Цемент» я бы сравнил с древнегреческим фризом или, если хотите, с муралем 20-х годов. Это больше чем роман, больше чем поэма. Это живое свидетельство Глеба Чумалова, первостроителя социализма на одной шестой земного шара, и еще многих мужчин и женщин победивших голод, холод и неимоверные трудности, лишь понаслышке знакомые последующим поколениям советских людей. Оттуда, из далеких

20-х годов, Гладков протягивает руку сыновьям, внукам и правнукам Революции, словно напоминая им, что она живет, продолжается, развивается, что ей необходимо личное участие каждого из них. Вот почему они и сегодня с нами — Глеб Чумалов и «Цемент».

Перевод с испанского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ

ГАНГА ПРАСАД ВИМАЛ (Индия)

Литература, зажигающая сердца людей

Довольно часто приходится слышать вопрос: насколько популярна в Индии советская литература? Формулировка вопроса не кажется мне удачной. Ведь слово «популярна» отнюдь не отражает значения этой литературы для нас, индийцев. Советская литература носит такой характер, что словом «популярна» объяснить ее большое, глубинное воздействие на нас нельзя. Думаю, по двум причинам. Основная состоит в том, что Страна Советов интересует нас во многих аспектах, ибо здесь создан мир, где судьбы людей, населяющих его, определяются ими самими. Для традиционного склада ума индийца это нечто поразительное. Дело в том, что с точки зрения индийского сознания есть такое высшее существо, которое предопределяет ход жизни каждой отдельной личности. Советская действительность, советская литература показывают нам, что может быть и по-другому. Впервые на всем протяжении истории Индии разум убеждается в том, что не обязательна зависимость от некоего высшего существа, что человек своими силами может перестроить мир, и перестроить его наилучшим для себя образом Поэтому, когда мы говорим о популяризации в Индии, скажем, произведений Горького, это не означает, что мы хотим создать им «популярность», отнюдь нет Нам хотелось бы воспитать интерес к литературе, зажигающей сердца людей. Ибо то, что принято считать «популярным» в литературе,— это чтение, которое не делает человека активным. Но существует и подлинная, большая литература, пафос и содержание которой заставляют человека пытаться изменить свою судьбу.

С другой стороны, хочу напомнить и о том, что художественная мысль России весьма существенно повлияла на настроения в среде индийской интеллигенции. Через русскую литературу индийская интеллигенция познакомилась с совершенно новыми для себя концепциями. После того как Индия вошла в соприкосновение с русской классической литературой, у нас начался процесс демократизации литературы Еще более наглядные результаты принесло знакомство с советской классикой.

Марксистская мысль заставила нас взглянуть на реальность новыми глазами. Марксистская литературная критика заставила нас подобным же образом, под новым углом зрения, по-новому оценить нашу литературу. Приведу один недавний пример. В Индии вышла небольшая книга, посвященная творчеству Хариваншрая Баччана, одного из наших выдающихся поэтов, пишущего на хинди. Автор исследования молодой советский критик Александр Сенкевич объективно проанализировал творчество Баччана, его поэтический мир, по-новому подошел к оценке творчества поэта в целом. Таких примеров немало. И за все это мы искренне благодарны советской литературе. Читая советские книги, мы учимся понимать и оценивать свое прошлое, свои древние традиции в контексте мировой культуры.

Перевод с английского М. САЛГАНИК

ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ (Румыния)

Возведение мостов

Мне часто случается мысленно обращаться к тем дням, когда в Москве проходила VI Международная встреча переводчиков. Для многих ее участников перевод советской литературы на свои родные языки стал главным делом жизни. «Скажи мне, кого ты переводишь,— и я скажу тебе, кто ты»... Выступавшие порой весьма афористично, порой не без самоиронии, но всегда полностью осознавая меру своей ответственности, стремились определить смысл труда переводчика советской литературы в наш сложный век, который заслуживал бы названия «век коммуникации», не будь вызванного бряцанием оружия и зойнополобными инсценировками весьма прискорбного обратного процесса. затрудняющего то самое человеческое общение, которому достижения индустриальной цивилизации, казалось бы, открыли безграничный простор. В таких условиях переводчика, конечно же, нельзя заменить компьютером, пусть даже самым совершенным, и уж ни в коем случае, когда речь идет о художественной литературе. Ибо труд его требует привлечения всех человеческих потенций.

Порой переводчика называли скромным или даже невидимым слугой оригинала А над переведенной книгой, мол, неизбежно тяготеет противоречие, выраженное французами в поговорке: «Если женщина верна, значит, некрасива, если же она красива, то неверна». Иные, вслед за Робертом Фростом, утверждали, будто поэзия — как раз то, что улетучивается при переводе. Многие находили, что драматическая ситуация разрешается, если переводная литература органически вливается в литературу национальную. И это вполне реально. заявляют ученые, рассматривающие художественный перевод с точки зрения теории коммуникации.

На московской встрече прозвучали очень верные, по-моему, слова о том, что переводчик — это pontifex, то есть в первичном,

древнем значении этого латинского слова — строитель мостов. Любопытно, что латинское «pons-pontis» (мост) созвучно древнему русскому слову «путь» Труд переводчика я бы назвал «rabota pontificum» — возведением мостов Он укрепляет мощь всемирного разума Ибо перевод всегда был, а в наше время особенно является орудием мира. Вот почему переводчик обязан быть не только писателем, но и *ученым,* способным познать чужой мир, проникнуть в него настолько, чтобы сделать его родным для своих соотечественников.

Воистину сложна работа, которую на сложной нашей планете вершат переводчики, посвятившие жизнь благородному делу сближения и взаимопонимания народов. Нельзя забывать, что многие народы обрели свой голос лишь в течение последнего столетия, порой — в его последние десятилетия. Обобщая, можно сказать, что эта высокая миссия возложена не только на собственно переводчиков-профессионалов, но и на каждого жителя планеты, на всех, стремящихся к единению не только в области обмена информацией, но и во всю ширь духовности человеческой, а это требует чуткости в восприятии прекрасного, в распознавании чувств, углубления в труднодоступную область нравственных устремлений.

Многонациональная литература Советского Союза всегда была благодатной почвой для переводческого творчества, темой плодотворного диалога переводчиков, ибо *в этой литературе нет ни единой страницы, которая служила бы милитаризму или ненависти между народами.* Напротив, твердо отстаиваемые ею мирные цели — прочная основа для обмена мнениями тех, кто посвятил себя «rabota pontificum», иными словами — укреплению мира, возведению надежных мостов взаимопонимания.

Перевод с румынского А. КОВАЧА

ЯРМИЛА ФРОМКОВА (ЧССР)

Высочайшая гуманистическая миссия

Человечество переживает тревожное время. Причины известны, и вряд ли стоит здесь о них говорить.

Гораздо важнее, по-моему, говорить о том, что могут сделать литературы и литераторы для того, чтобы не сбылось давнишнее изречение: inter arma silent musae (когда звенит оружие, музы молчат), а напротив, еще громче и проникновеннее звучал голос настоящего гуманизма, зовущего к защите жизни, к дружбе, творчеству и сотрудничеству всех жителей общего дома — нашей маленькой планеты.

Именно эту высочайшую гуманистическую миссию выполняет все то лучшее, что создано русской и советской многонациональной литературой. И именно это мы должны нести все более широкому кругу людей как своего рода противоядие, спасительное средство от душевного смятения и отчаяния, инертного фатализма и равнодушия, с помощью которых темные силы и сейчас пытаются порой ослабить нас.

Сама я открыла это «противоядие» в годы гитлеровской оккупации нашей страны. Первую «ориентацию» по советской литературе дали мне составленные гитлеровцами списки запрещенных у нас тогда советских авторов. Именно с тех пор я взялась изучать русский язык, читать сначала в переводе, а потом и в оригинале советскую литературу, которую мы, кружок молодежи лет семнадцати-двадцати, ухитрялись добывать из запломбированных ящиков публичных библиотек и тайников частных лиц, сочувствовавших Советскому Союзу.

Какие же книги, отображающие революционную и послереволюционную Советскую Россию, оказались в этих ящиках и тайниках? Практически все, что в Чехословакии было переведено еще до войны: «Тихий Дон» Шолохова, «Мать» Горького, «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Фурманова, «Я люблю» Авдеенко, «Время, вперед!» Катаева, «Не переводя дыхания» Эренбурга и многое другое.

Вскоре нашлись у меня и хорошие учителя русского языка, русской и советской истории, культуры и литературы из среды антифашистской чешской интеллигенции. Незабвенные частные лекции, которые подвели меня к переводческой работе! Первые переводы я сделала уже во время войны ну и с тех пор вот уже сорок лет иду по тому же самому пути. К самым дорогим мне авторам принадлежит Максим Горький — я люблю его и за науку постоянного сопротивления злу, и за прекрасные, сочные портреты русских женщин. Ценю рассказы А. Н. Толстого 20-х годов, в которых он сумел убедительно показать смятение и моральную гибель эмигрантов, трагедию неустроенных судеб интеллигенции в первые годы советской власти. Атмосферу первой половины 20-х годов убедительно, исторически и психологически правдиво, с неповторимой оригинальностью отобразили молодой Шолохов, Фадеев, Федин, Артем Веселый — их рассказы и повести я также переводила (кстати, они у нас часто переиздаются).

Я, конечно, много переводила из так называемой военной прозы — «Весну на Одере» Казакевича, «Ивана» и «Зосю» Богомолова, произведения Веры Пановой, Бакланова, Конецкого. В последние годы меня все больше привлекают своеобразные по содержанию и художественной форме книги советских авторов, которые представляют национальные литературы. Меня прямотаки заворожила повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова и проза одного из его талантливых соратников по литературе, узбеко-таджикского писателя Тимура Пулатова — в прошлом году у нас в Чехословакии вышло (в моем переводе) его «Жизнеописание строптивого бухарца» и года три тому назад — пять его повестей под общим названием «Владения».

Своими переводами я пытаюсь в меру моих скромных возможностей приблизить к нашим читателям неисчерпаемое богатство советской литературы, уникальной как по идейному содержанию, емкости и глубине

раздумий о судьбах человека и человечества нашего века, так и по завидному разнообразию их художественного воплощения. А что касается пути, каким переводчик должен идти к этой цели, я лично убеждена, что самое главное тут — быть верным и скромным, но не слугой, а *другом* своего автора, относиться к нему любовно и бережно и вместе с тем с критической требовательностью. Но это уже другой разговор — о какой-то конкретной книге конкретного автора.

И все-таки хочется привести хотя бы один маленький пример. У Сергея Залыгина безусловно была причина назвать свой роман о любви «Южноамериканским вариантом». Но сколько мне встречалось читателей, которые, пока не прочитали роман, спрашивали: «А что это — путевые записки или политическая публицистика?» Я набралась смелости и поговорила на эту тему прямо с автором. Оказалось, что не я первая высказывала подобные сомнения насчет заглавия романа в оригинале и что сам автор — за какой-нибудь другой вариант своего «варианта» в переводе на язык другой страны: «Ну, например, «Любовь как мечта»... как немцы хорошо придумали...» Вот вам маленький образчик «взаимовыгодного сотрудничества» автора с переводчиком!

ДУШАН СЛОБОДНИК (ЧССР)

Составная часть нашей культурной жизни

Советская литература стала неотъемлемой составной частью нашей культурной жизни. Этому предшествует своя, довольно давняя история. Еще дореволюционная русская проза глубоко воздействовала на развитие словацкой реалистической прозы, а русская поэзия, например, решающим образом повлияла на самое изменение метрико-ритмической структуры словацкой поэзии.

Но речь здесь не о прошлом. Мне важно подчеркнуть, что интерес к советской литературе был и остается для нас не только сугубо литературным актом. Это прежде всего *отождествление с системой идейных, этических и познавательных ценностей*, составляющих одно из главных достижений социалистического общественного развития — и его литературного отражения.

Следует особо отметить, что благодаря взаимодействию и «взаимодополнению» деятельности чешских и словацких издательств у нас знают советскую литературу так хорошо, как, пожалуй, ни в одной другой стране мира — за исключением, конечно, Советского Союза. У нас переводятся прежде всего произведения, завоевавшие широкую известность в Советском Союзе.

Советская литература — а в настоящее время, на мой взгляд, прежде всего проза — выдвигает и решает этические, идейные, познавательные и, естественно, эстетические проблемы, которые важны не только для советского общества, но и для всего социалистического содружества; в ней налицо ритм времени, позиция писателя, в лучших произведениях соответствующая уровню развития социалистических общественных отношений. В силу этого и, конечно, благодаря мастерству таких прозаиков 70—80-х годов, как Залыгин, Белов, Абрамов, Марков, Распутин, Бондарев, Астафьев, Гранин, Бакланов, Носов, Трифонов, Айтматов, Слуцкис, Бубнис, Кросс, Беэкман, Эзера, Матевосян, Петросян, Адамович, Быков, Гончар, Загребельный, Думбадзе, Панджикидзе и многие другие (перечень мог бы быть поистине бесконечным), советская проза не только находит у нас на родине вдумчивых читателей, но и активно влияет на наш собственный литературный процесс.

Сказанное в полной мере относится и к советской поэзии — она привлекает четкостью мысли, актуальностью тем, ясно выраженной авторской позицией.

Мне, не только переводчику, но и литературоведу, хочется напомнить и о *формирующем значении* трудов многих советских литературоведов, чьи книги у нас известны в переводах. Храпченко, Лихачев, Шкловский, Д. Марков, Суровцев, Озеров, Ал. Михайлов — вот лишь несколько из весьма ценимых у нас современных теоретиков и критиков[1].

[1] Статьи из Чехословакии присланы в «ИЛ» на русском языке.

◆

Критика

МЭРИ КРУС

КУБА И ХЕМИНГУЭЙ

Перевод с испанского и вступление ЮРИЯ ПАПОРОВА

Когда в сентябре 1952 года Эрнесту Хемингуэю вручали почетную грамоту и памятную медаль Кубинского института туризма, один из кубинских знакомых писателя сказал: «Куба остается в долгу перед Эрнестом Хемингуэем за его любовь к нашим обычаям, нашей жизни, нашим гражданам, прежде всего к людям моря...»

После гибели Хемингуэя под Гаваной, там, где он жил, был открыт музей. Рыбаки Кохи́мара, поселка, у причалов которого стоял катер писателя «Пилар» и каждый житель которого лично хорошо знал Хемингуэя, у самого моря под белоснежной ротондой установили бронзовый бюст «Старика». Теперь у памятника в Кохимаре кубинские спортсмены, рыбаки и общественность столицы Кубы ежегодно проводят традиционное состязание ловцов марлина имени Эрнеста Хемингуэя.

И все же, на мой взгляд, «долг» не был «погашен» до конца. Поясню. Кубинский период жизни Хемингуэя — почти сплошные «дыры» в работах его биографов. Он оказался (несправедливо, по моему убеждению) гораздо менее изученным, чем, скажем, тема «Хемингуэй и Испания». А между тем Куба, архипелаг, окружающее его морское пространство, климат, тамошний образ жизни и люди заняли в бытии и книгах писателя весьма важное место. С другой стороны, Хемингуэй, хотя и избрал Кубу новым постоянным местожительством, все же оставался иностранцем с туристским удостоверением № 373793. Все двадцать лет, проведенные (пусть с перерывами) на Кубе, он пребывал в противоречии с политикой, как внутренней, так и внешней, тогдашних антинародных правительств, принял и горячо приветствовал народную революцию 1959 года.

Какую же роль сыграла Куба в писательской судьбе Хемингуэя? В какой степени жизнь его там, земля, люди и все кубинское влияли на его творчество? Кому как не кубинцам наших дней надлежало дать ответ на эти вопросы? Ответ этот можно найти в недавно вышедшей книге Мэри Крус «Куба и Хемингуэй в великом голубом течении Гольфстрим».

В свое время мне самому посчастливилось писать о жизни Хемингуэя на Кубе. Естественно поэтому, что моему знакомству с исследованием Мэри Крус предшествовали разные ощущения. Помимо обычного — «получилось или не получилось?» — волновали проблема выбора автором точки зрения и внутренний настрой исследователя.

Опасения оказались напрасными. Мэри Крус создала правдивый, предельно объективный труд, сумев уйти от влияния наносного, субъективного, сохранить беспристрастность ученого во всем, исключая лишь одно — ее собственную любовь к Кубе.

Мэри Крус — литератор, давно отточивший свое перо, автор книг «Мои стихи», «Камагуэй, биография одной провинции», «Ренато Гитарт», «Майор» (изыскания о жизни и деятельности национального героя Кубы Игнасио Аграмонте) и многих других[1]. По образованию и опыту более чем тридцатилетней работы она преподаватель литературы, литературовед, критик.

Интересный, биографический штрих, а возможно, и грань своей биографии Мэри Крус обнажает перед нами сама в предисловии к упомянутой книге: «Должна признаться, что поначалу, не приняв распространенный образ-штамп — хемингуэевскую «легенду» мачизма[2] и авантюризма... я вместе с ними не приняла, еще не зная его, и самого писателя Хемингуэя. Любознательность, однако, вещь трудно преодолимая. И я, хоть и с опаской, приступила к знакомству с его произведениями.

---

[1] «ИЛ» познакомила читателей с исследованием Мэри Крус «Хемингуэй — навсегда», 1976, № 8. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[2] Мачизм (от испанского macho — букв. «самец») — гипертрофированное стремление культивировать в себе мужское начало.

И тут мне открылась глубокая, искренняя озабоченность писателя судьбами мира... во мне родились любовь и восхищение перед ним. Примечательно, что вождь Кубинской революции Фидель Кастро, разглядев в Хемингуэе нечто большее, чем просто «плейбоя», определил многие годы тому назад суть гуманизма, присущего писателю, чей труд, как сказал Кастро, «есть защита прав человека».

«Куба и Хемингуэй в великом голубом течении Гольфстрим» — солидный, на 365-ти страницах, аргументированный анализ. Мэри Крус рассматривает, с широким привлечением ранее написанного (библиография в приложении занимает двадцать две страницы), репортерские работы, статьи, рассказы и три крупных произведения Хемингуэя — «Иметь и не иметь», «Старик и море» и «Острова в океане»[1], где Куба в той или иной степени является местом действия, вписывается в сюжет и где появляются кубинские персонажи.

Сосредоточив внимание на роли милой ее сердцу Кубы в творчестве американского писателя, Мэри Крус, естественно, не ставила перед собой задачи изучить все аспекты темы «Куба и Хемингуэй». Вот почему в ее работе не освещена такая интересная проблема, как, скажем, взаимоотношения и взаимовлияние кубинских писателей и Хемингуэя. И это нисколько не умаляет значения ее работы. К достоинствам этой последней следует отнести четкость позиций, с которых Мэри Крус ведет свое исследование. «Хемингуэй всегда пребывал в стороне от какого-либо рода партий или организаций,— пишет она.— Он являлся убежденным индивидуалистом. Всегда оставался североамериканцем из высших слоев... вкусы и увлечения его были под стать вкусам и увлечениям многих богачей любой страны. Однако было в Хемингуэе и другое: всю жизнь он трудился и уважал любую работу, хорошо сделанную другими, почитал справедливость и ненавидел злоупотребления. Был безукоризненно честен в своем деле... Его отношение к реальной жизни всегда было светлым, чистым. В Испании он убедился, что коммунисты — наиболее организованная сила, что только они и могли возглавить борьбу против фашизма. Будучи корреспондентом североамериканского агентства печати НАНА во время Испанской гражданской войны[2], он заявил о своем отношении к коммунистам без обиняков. Вместе с тем марксизма он все же не понял. И не сумел разглядеть диаметрально противоположных различий между диктатурой пролетариата и диктатурой угнетающих классов. Возлагал надежды на новое общество — но не знал, чем заменить изживающий себя капитализм».

Сегодня на Западе, в самих Соединенных Штатах Америки явно просматривается тенденция провести переоценку творчества Хемингуэя. Тем больший смысл и вес обретает книга Мэри Крус — ценный, давно ожидаемый вклад в хемингуэеведение. И значение его, помимо чисто литературоведческого и художественного, находится в прямой зависимости от верного идеологического подхода автора к теме.

Заканчиваешь чтение с чувством радости — на наш суд представлен труд зрелого, талантливого исследователя.

Предлагаемые фрагменты книги Мэри Крус, надеюсь, убедят в этом и советского читателя.

---

[1] «Старик и море» и «Острова в океане» опубликованы в «ИЛ», 1955 № 3 и «ИЛ», 1970, № 11, 12; 1971 № 1.

[2] Имеется в виду национально-революционная война испанского народа против фашизма (1936—1939).

Из главы «Едва ли ты это познаешь...»

Художественно - литературный образ создается на бумаге совсем не так, как скульптура из камня, или живопись на холсте или музыкальная партитура. Вымышленный мир в который окунается читатель, рождается в его сознании благодаря слову и не сразу, а словно в кроссворде: по мере того как на свои места ложатся составляющие его слова, он решается.

Нарушение хронологического порядка нарочитая недостаточность информации смещение во времени — не каприз но технические средства которые отвечают заранее обдуманному намерению достичь определенного эффекта Когда такой эффект достигается, это означает что произведение создано удачно. Поэтому, на мой взгляд «Иметь и не иметь» и является удачей Сам автор, однако, не был удовлетворен тем что создал. И все-таки по прочтении всех трех частей входящих в роман («Один рейс» «Возвращение контрабандиста» прежде опубликованные по отдельности, и часть дающая заглавие книге [1]), возникает полное представление о герое, его психологии и образе жизни, в равной степени как и представление о больном обществе которое породило свою жертву. Читатель оказывается свидетелем сложного процесса становления сознания человека обретает незабываемый опыт

Таким образом роман следует рассматривать как структурно цельное произведе

---

[1] В окончательной редакции эти составные части стали называться: «Гарри Морган (Весна)» «Гарри Морган (Осень)», «Гарри Морган (Зима)».

ние, а не просто как сумму трех отдельных частей, его составляющих. Конфликт между «имущими» и «неимущими» автор обозначает сразу же в шекспировском заглавии (отдельные критики называли его «детски прозрачным», не принимая во внимание его многозначимость), раскрывает его постепенно по мере развития действия, чтобы завершить яркой картиной моральной нищеты «имущих».

Размер каждой части соотносится с географическим понятием границ: Куба, Ки-Уэст и Соединенные Штаты (они в романе символизируют мировую капиталистическую систему).

Во всех частях присутствует постепенно нагнетаемое ощущение реальности. В романе речь идет не о том, что «здоровое животное»— хемингуэевский герой — вдруг превращается в «праздного политика», поскольку действие содержит в себе процесс, в результате которого его невежество сменяется знанием, а обстоятельства вынуждают простого человека решать на практике проблемы, которые философы силятся разрешить в своих кабинетах.

Первая часть —«Один рейс», написанная в 1933 году, в момент революционного подъема на Кубе,— была опубликована в журнале «Космополитэн» в апреле 1934 года, с огромным заголовком и броскими иллюстрациями, но преподнесена довольно тенденциозно.

Стоит вспомнить в этой связи некоторые факты. Хемингуэй явился свидетелем кровавой бойни, устроенной агентами тирании, державшей нашу страну в оковах. Это было 7 августа 1933 года, когда писатель ожидал в Гаване прибытия теплохода, который должен был доставить его в Европу и далее в Африку. Уже в открытом море он узнал о свержении диктатуры Мачадо, в то время как специальный уполномоченный Вашингтона в Гаване Бенджамин Самнер Уэллес прибегал ко всякого рода уловкам, чтобы помешать восстановлению демократического правительства. На короткое время победу одержал народ, но силы реакции взяли верх, и Куба вновь оказалась под сапогом янки, размалеванным в национальные кубинские цвета. Однако к моменту появления в печати первой части народ еще праздновал победу. Отсюда — врезка от издателя, в которой выделяю ядовитую фразу. Перевожу: «У берегов Кубы, *страны насилия*, огромный марлин попадает на крючок рыбака, промышлявшего в глубоких водах, и начинается цепь событий, которые делают данную новеллу, возможно, наиболее эмоциональным произведением автора...»

Как понятны и преднамеренное отсутствие комментария, который бы пояснил, о каком «насилии» идет речь, и акцент на приключенческой линии рассказа, интересной, конечно, но имеющей куда меньшее значение, чем хотя бы эпизод, в котором три кубинских революционера сражаются и отдают свои жизни. Позиция писателя по отношению к главной мысли произведения явно расходилась с позицией издателя.

Что кубинского в этой публикации? На первый взгляд — некоторые места, некоторые блюда и напитки, отдельные персонажи и определенные факты, которые, пусть фрагментарно, но освещают нашу историю и политику. Нечто вроде мазков «местного колорита», декораций.

Но только ли это?

Повествование начинается с импрессионистского описания одного из уголков гаванского порта на рассвете. Рассказ ведется от первого лица, и читатель видит все вокруг как бы глазами автора. Взгляд его скользит по набережной (пристань Сан-Франсиско), пересекает площадь с фонтаном, узнает здания, окружающие ее, хотя подробно описывается только одно из них — кафе «Жемчужина» (чье название соответствует действительному), замирает в ожидании, когда появятся фургоны, развозящие лед,— безошибочно найденная примета раннего утра в столичном порту. Затем снова взгляд на город, в более широкой перспективе, теперь уже со стороны моря,— и снова точный: маяк Морро, отель «Насиональ», Капитолий (наиболее высокие здания в Гаване той поры).

Рассказчик, которого читатель уже воспринимает как главное действующее лицо, находится на борту своей моторной лодки, арендованной одним богачом, и покидает гавань, полную судов, стоящих напротив крепости Кабаньяс, и шлюпок у форта Морро, чтобы выйти в Гольфстрим, чья вода «казалась почти фиолетовой в частых водоворотах». Пассажиры лодки пытаются поймать марлина с бурыми плавниками и полосатым телом, затем другую рыбу, черную. Время действия — вторая половина дня.

На закате — еще одна «гаванская открытка»: башня с маяком Морро на фоне зажигающихся огней города, купол Капитолия. Рассказчик видит Баракоа, Бакуранао и Кохимар, их электрический отсвет. Однако останавливается на описании только селения Бакуранао: словно кинокамера наезжает, показывая крупно первый план, только вместо объектива — человеческий глаз. «Бакуранао — бухта, где прежде была большая пристань для погрузки песка. Там есть небольшая речка, которая вливается в бухту, когда дожди размывают песчаную косу...» До катера доносится запах водорослей и пряный дух прибрежного кустарника. Кругом темень. Рассказчик не может видеть того, о чем говорит, но все это там есть.

Лодка входит в порт, и читатель вместе с автором видит китайский ресторанчик, где хорошо кормят всего за сорок сентаво, и кафе «Жемчужина», где бобовый суп и порция тушеной говядины с картофелем да бутылкой пива «Атуэй» в придачу стоят четверть песо. Все эти детали вполне точны. Хотя, конечно, это описание — художественный прием, если хотите, цветовой эффект.

Как только в рассказе появляются первые кубинские персонажи — даже самые незначительные,— мы сразу же узнаем истинное место действия. Нищий, который пьет воду из фонтана на площади, бродяги, которые спят у стен домов,— не просто выбранные наугад детали. Это свидетельство крайней бедности слаборазвитой и колонизированной страны, какой в те времена являлась Куба.

Возможно, не каждый, кто прочтет роман, обратит внимание на эти два точных

штриха. Однако, вводя их, автор хорошо знает, какую мысль заронит он в сознание читателя. И делает это мастерски.

Когда трое кубинских юношей-революционеров случайно встречаются с героем романа, в самом его начале, ритм повествования тут же ускоряется, что повышает интерес читателя. Автор не вдается ни в детали, ни в анализ. Высвечивает сцену и предлагает нам только то, что видит и слышит его герой. Трое юношей — на одном полюсе борьбы. На противоположном — еще два кубинских персонажа. Один из них негр с автоматом Томпсона, другой — возможно белый — в шоферском пыльнике и с обрезом. Закрытая машина приближается, и эти двое начинают стрелять из нее по юношам. Те героически сражаются, но погибают. Эта сцена — яркое свидетельство хемингуэевской верности деталей и умения экономить изобразительные средства — отнюдь не «местный колорит», приправленный кровью, забрызгавшей тротуар и стены. Не ради декорации появляется и запряженный лошадьми фургон компании «Тропическое пиво», за которым укрывается последний из молодых людей, стреляющий в шофера машины из своего «люгера». За фургоном юноша гибнет, как и двое других его товарищей. Эти реалистические детали подобраны верно и безошибочно.

Упомянутые персонажи — далеко не все действующие в романе лица. Их много. Однако простое перечисление ничего не дало бы нам без разбора их взаимоотношений и связи с событиями и обстановкой, о которых повествует Хемингуэй. Фабула строится на том, что Гарри — твердый человек, крутой малый, занимающийся сдачей внаем своей лодки случайным рыболовам,— обманут богачом и, чтобы возместить финансовые потери, поправить свое материальное положение, идет на незаконную, неприятную ему, но выгодную сделку.

Обнаженная таким образом идея романа, казалось бы, не имеет ни малейшего отношения к чему-либо кубинскому, а следовательно, нет и темы для разговора. Но детали, образующие фон! Они, эти кубинские детали, вовсе не экзотическое приложение.

Никто из писателей не рассказывает историй просто так. «Чистые» приключения и происшествия, какими бы интересными они ни были, сами по себе не складываются в художественное произведение. Для того чтобы повествование оказалось таковым, оно должно быть спаяно неким четким принципом причин и следствий, который и дает окончательный смысл содержанию. Если писатель хочет что-то сказать, он тщательно отбирает материал, из которого выстроятся образы персонажей, действие, обстановка, и в равной степени — композиционные и языковые средства. Только так и может раскрыть свои намерения автор. Многие писатели не осознают этого процесса, однако это не умаляет значения их творчества.

В «Одном рейсе»— как я полагаю, *сознательно* — общая идея произведения сводится к тому, что любое индивидуальное усилие, направленное против капиталистического общества, обречено на провал. Незначительные личные победы эфемерны, а достигаются они непомерно высокой ценой. Эта часть романа повествует о мятеже неимущего североамериканца против системы, которая лишает его возможности удовлетворить свои в общем не такие уж большие потребности и остаться честным человеком. Индивидуальный бунт, по мнению автора, должен стать частью коллективного, общего возмущения — только тогда и можно рассчитывать на успех. Сюжет призван как бы переориентировать сознание читателя *с бунта на революцию*. На ту революцию, которая развернулась на Кубе и превратилась в борьбу с тиранией, с вмешательством империалистического правительства США в дела малой страны.

Сразу после того, как Соединенные Штаты свели на нет победу кубинского народа в борьбе за независимость от Испании, Куба превратилась в первую жертву неоколониализма, став псевдореспубликой, во всем покорной новой метрополии. Кубинское правительство оказалось всего-навсего «канцелярией монополий янки».

Влияние Октябрьской революции в России, недовольство народных масс вызвали развитие революционного процесса на Кубе, обусловили появление коммунистической партии, создание Национальной конфедерации рабочих — словом, сплочение прогрессивных сил. Революционный подъем завершился 12 августа 1933 года свержением реакционной диктатуры Мачадо. Именно эту революцию и противопоставляет Хемингуэй действиям своего героя.

Итак, для меня «кубинское» в первой части романа есть атмосфера, в которой зарождается главная идея произведения: мятеж одиночки против системы капитализма обречен на провал в силу своей индивидуалистической природы, он должен влиться в русло всеобщей революции против всей капиталистической системы...

Во второй части —«Возвращение контрабандиста» — Хемингуэй делает интересную ссылку на Кубу, пусть краткую, но весьма значительную, куда более существенную, чем это может показаться на первый взгляд. Как и в «Одном рейсе», автор изображает реальный мир, из которого рождается повествование. Весь роман представляет собой прекрасную иллюстрацию хемингуэевской техники «айсберга», но во второй его части она просматривается с наибольшей очевидностью. Здесь автор, как и в лучших своих произведениях, достигает высокой цели — изображения мира таким, каков он на самом деле есть.

Тот факт, что в «Иметь и не иметь» социально-экономический стержень ощутим гораздо отчетливее, чем в предыдущих работах писателя, позволил сделать вывод, что Хемингуэй начал интересоваться политикой и связал себя с нею крепко. Безусловно, Хемингуэй с первых же напечатанных им страниц всегда твердо держался принципа изображения жизни без мистификаций. Он избежал ошибок многих других своих современников, которые заигрывали с коммунизмом, чтобы затем отойти от него, как Дос Пассос или Густав Реглер. В творчестве Эрнеста Хемингуэя всегда присутствует постоянная и недвусмысленная критика капиталистического общества с передовых позиций.

К примеру, вспомним промелькнувших на страницах «Иметь и не иметь» четырех кубинских «революционеров» (собственно, правых террористов) во главе с Роберто. Эти, по определению автора предисловия к советскому изданию романа М. Мендельсона, четыре «кубинских бандита» скорее всего являлись членами правой, реакционной организации «АБЦ», которая пропагандировала терроризм на Кубе в противовес политике кубинской компартии. Среди этих кубинцев был и Эмилио, «хороший парень», который инстинктивно ощущал необходимость борьбы за светлое будущее своей страны, но идеологически к этой борьбе не был готов. Меж тем именно в уста Эмилио Хемингуэй вкладывает слова, дорогие сознанию народа: «Мы хотим покончить со всеми прежними политическими руководителями, с американским империализмом, который нас душит, с тиранией военщины. Мы хотим начать все сызнова и дать каждому человеку свой шанс в жизни». При этом Эмилио осуждает терроризм. Он говорит о Роберто в беседе с Гарри: «Видите ли, этот Роберто — дурной человек... Он столько убивал во времена Мачадо, что привык к этому». Образ Эмилио, честного, хотя и совсем неискушенного в политике юноши, который становится глашатаем настоящих революционных идей, представляется мне большой удачей Хемингуэя. Другой удачей считаю то, что автору удалось показать, как в душе его зреет отвращение к терроризму, хотя он и оказался вовлеченным в этого рода деятельность. И наконец, несомненная удача — достоверное, вплоть до мелочей, описание в романе политической ситуации на Кубе: «Там царит кровавая тирания, и нет такой глухой деревушки, которая не испытывала бы гнет этой тирании».

Заканчивая анализ книги «Иметь и не иметь», беру на себя смелость утверждать, что знание Кубы, ее народа, политического и экономического положения, глубокое и верное понимание его помогло Хемингуэю создать то, что советский исследователь Юрий Лидский назвал «лирической эпопеей» — поучительную трагедию, трилогию о Гарри Моргане.

щего наследия автора и невольно заставил нас по-новому взглянуть на его творчество.

Книга была не просто написана на Кубе, с первых же строк в романе идет речь о ней. Замечу, что было бы несправедливо рассматривать роман как произведение, относящееся ко времени его выхода в свет, поскольку в действительности он был написан почти на четверть века раньше.

Заметно соответствие между этой трилогией о Томасе Хадсоне и трилогией о Гарри Моргане, которая открывала собой «кубинский» цикл Хемингуэя. Это соответствие, однако, с еще большей ясностью подчеркивает и различия. Сходство состоит в том, что роман складывается из трех частей (правда, написанных в разное время), каждая из которых имеет законченную структуру и, пожалуй, может быть самостоятельным произведением. Сложенные вместе, они создают новую структуру и обретают новый, более глубокий смысл. Схожи в своем индивидуализме и отдельных чертах личности и судьбы героев, вплоть до их гибели. Сцены их смерти почти идентичны.

Вместе с тем главный герой «Иметь и не иметь» — человек простой, выходец из народа, бедный и малообразованный, а герой «Островов в океане» — буржуазный интеллигент, художник, не нуждающийся ради существования в продаже своих картин и владеющий собственными домами на острове Бимини и на западе США, виллой на Кубе. В то время как Гарри, измочаленный условиями жизни в капиталистическом обществе, ощущает, сколь бесплодны все его усилия вырваться из нищеты, Хадсон в состоянии уединиться и посвятить себя живописи, пока причина, весьма частная, не побуждает его принять участие в войне против нацистов. И все-таки Хадсон выполняет свою миссию скорее как робот. Существует разрыв, расстояние между его «я» и общими проблемами. В Хадсоне нет моральной убежденности другого хемингуэевского героя, Роберта Джордана решившего принять участие в войне в Испании, есть лишь холодное, «головное» понимание грозящей опасности.

Последние слова Гарри Моргана отображают его прозрение, пусть запоздалое, но четкое: борьба против язв общества бессмысленна, пока не примет общего, коллективного характера. Последние же слова Хадсона коротки и ясны: «Я, кажется, понимаю, Вилли». Они менее определенны, но тоже доказывают пусть позднее, но прозрение.

В «Островах в океане» Хемингуэй оставил волнующие свидетельства о близких ему людях и местах, которые любил; похоже, что он стремился оградить их от забвения после смерти — своей смерти,— и думаю, что в этом смысле он достиг цели.

В этом произведении писатель употребляет наибольшее число испанских слов и выражений, бытующих на Кубе. Однако «кубинское» в романе не ограничивается лишь использованием испанских слов и географически точным описанием мест.

Именно здесь Хемингуэй создал блестящий литературный образ, Умницу Лил — портрет кубинской женщины Леопольдины Родригес,— настолько удачный, что сам

Из главы «Ради себя самого!»

Книга «Острова в океане», опубликованная посмертно, замыкает серию «кубинских» романов Хемингуэя.

Автор не смог завершить ее во всех деталях, то есть отредактировать, подготовить к печати с присущей ему скрупулезностью. Места и размеры сокращений, произведенных в ней издателями по собственному усмотрению, определить невозможно. «Острова в океане» не есть и не могут быть образцом хемингуэевской прозы. Однако тому, что в романе мимолетно и поверхностно, с успехом противостоит долговечное и общезначимое.

После публикации роман стал частью об-

прототип кажется менее реальным, чем его воплощение в романе.

На клапане суперобложки первого издания «Островов в океане» предсказывалось, что эта литературная фигура «станет одним из наиболее ярких хемингуэевских образов». Действительно, этот персонаж завоевывает уважение и понимание читателя, оставляет в его памяти сплав жалости и симпатии, вызывает глубокое возмущение по поводу несправедливостей общества, так унизившего Умницу Лил.

Американский исследователь Карлос Бейкер рассказывает, что как-то Хемингуэй пригласил к себе в дом, на ужин, некую «даму полусвета», которую он называл Ксенофобией. Своеобразный прием утверждения неприязни этой женщины к иностранцам и намек, как мне кажется, на тот факт, что, поддерживая дружбу с Хемингуэем, она доказывает, что считает его не иностранцем, а «своим», кубинцем.

Лео — так ласково называл Хемингуэй Леопольдину Родригес. Должно быть, имя героини произошло от английского варианта «Лео», то есть «Лио», отсюда и Лил.

Образ Лил — беспощадное обвинение кубинской действительности того времени. Леопольдину, мулатку бедного происхождения, нищенская жизнь толкнула на путь проституции, путь, который она так просто никогда бы не избрала. Ее, жертву сводников и сутенеров, погибшую от страшной болезни, кончившую жизнь в одиночестве, вне общества, которое и послужило причиной ее падения и гибели, Хемингуэй обессмертил в своей книге. Эта фигура куда более человечна и привлекательна, чем мадам Телье из известного рассказа Мопассана, которым Хемингуэй непрестанно восторгался. (Это как раз тот случай, когда американский писатель смог подняться выше одного из самых любимых им авторов, одновременно являвшегося, как и все великие, кем Хемингуэй восхищался, его вечным соперником.)

Однако Умница Лил — не только незабываемый образ «добродетельной шлюхи». Ее роль в романе куда важнее: она служит своего рода каналом, при помощи которого Хемингуэй вводит в книгу кубинскую информацию, тщательно отобранные элементы, приметы кубинской действительности тех лет. Как и в предыдущих случаях, полагаю, эти моменты необходимо оттенить, чтобы оценить по достоинству все произведение. Их присутствие, даже не слишком заметное иным читателям, влияет на художественную ценность произведения именно в той степени, в какой было писателем задумано. Выявление этих моментов становится подтверждением хемингуэевского метода отбора фактов, изображаемых персонажей, пейзажей, привычек, обычаев, даже идиом. которые точно и безошибочно характеризуют время и место действия и не только не мешают, но прямо способствуют раскрытию главного замысла.

Целиком Кубе принадлежит место действия в третьей части романа — «В море». «Морская погоня» — так поначалу автор назвал ее. Эта часть — образчик обычного для Хемингуэя скрупулезного отношения к использованию реальных, жизненных деталей, даже когда события, описываемые им, являются художественным вымыслом.

Вспомним, что промелькнувшие на страницах «Морской погони» ржавый остов выброшенного на камни судна и обломки потерпевших крушение рыбацких шхун соответствуют действительности. Все списано с натуры, лишь порой, быть может, несколько смещено место действия. Бросив якорь напротив Паредон Гранде, Хадсон улавливает запах гуано. И писатель дает нам словно фотографический снимок островка Кайо Романо.

В точном описании мест не забыты ни морские ласточки с оперением, покрытым сажей от печей, где выжигается древесный уголь, ни высокие белые цапли, ловящие рыбу на мелководье, ни различные виды крабов и моллюсков, ни следы морских черепах, ни рыбы, обитающие в тех водах, ни особая порода уток. Писатель упоминает и «хехена» — американского москита, летающего бесшумно и атакующего внезапно, чей укус, в отличие от укуса обычного москита, немедленно вызывает ощущение жжения и появление инфильтрата.

В мир архипелага Камагуэй входят также и люди. Они также присутствуют в романе: рыбаки и углежоги, женщины с примесью индейской крови, солдаты гарнизона острова Конфитес, чей начальник — лейтенант, обожженный солнцем и дружественно настроенный, — снабдил как положено провиантом экипаж «научно-исследовательского» катера Хадсона.

Лейтенант шутит и вовсю веселится, что можно принять за недостаток ума. Однако когда Хадсон говорит ему: «Большое спасибо за помощь. Весь ученый мир вам благодарен», лейтенант не без яда спрашивает: «И Гуантанамо [1] тоже?»

Во время второй мировой войны немецкие подводные лодки потопили в Мексиканском заливе не одно торговое судно Кубы и других стран. Рыбаки, хорошо знакомые Хемингуэю, доставляли на сушу различные сведения о вражеских подлодках, всплывавших на поверхность, обиравших рыбаков и топивших рыбацкие шхуны Сведения о действиях «волчьих стай», как называли в США соединения нацистских лодок, беспощадно пускавших на дно суда торговых караванов, совпадали с информацией, беспокоившей правительства и общественность стран региона. Рыбаки же рассказывали писателю о нацистских шпионах и «пятиколонниках», действовавших на Кубе, где в те годы проживало немало таких, кто прямо или скрыто симпатизировал Берлину и Риму.

Хемингуэй с присущей ему тщательностью глубоко изучал военное дело и историю войн. В его библиотеке имелось множество самых различных, основательно им проштудированных книг на тему, волновавшую его еще с периода первой мировой войны и военных действий в Италии, в которых он участвовал. Личным вкладом Хемингуэя в борьбу против нацизма во второй мировой войне следует

---

[1] Военно-морская база США на территории Кубы.

считать предисловие к книге «Люди на войне», посвященной трем его сыновьям,— старший Джон, как мы знаем, был активным участником войны. Это сочинение — призыв к войне необходимой и одновременно трактат о мире.

В мае 1942 года Хемингуэй появился в посольстве США на Кубе с предложением вооружить свой спортивный катер и, пригласив в состав экипажа подготовленных должным образом людей, превратить его в боевую единицу, способную вести активную борьбу с фашистскими подлодками. Полковник Джон Томасон, в то время начальник военно-морской разведки района Центральной Америки, высказал сомнения по поводу эффективности этой затеи, однако посол США поддержал Хемингуэя, и катер «Пилар» был вооружен и закамуфлирован под «научно-исследовательское» судно.

Этот факт и то, что еще прежде, чем катер «Пилар» был вооружен, Хемингуэй, с разрешения того же посольства США, организовал у себя на вилле «Ла Вихия» своего рода разведывательный центр, вокруг которого действовала довольно многочисленная группа людей, позволяют нам сделать вывод: «большая книга» о войне «на земле, на море и в воздухе», возможно, замышлялась именно потому, что автор мог использовать в работе над ней собственный опыт. Такая книга не сложилась, однако «Острова в океане», написанные по следам впечатлений, полученных на Кубе, скорее всего являются ее составной частью.

Итак, в романе «Иметь и не иметь» Хемингуэй вскрыл смысл человеческого существования в социальной сфере. В «Старике и море»— смысл связи человека с природой и трудом. В «Островах в океане» он затронул проблему человека и его совести. Эти произведения, рассматривающие три аспекта единой, в сущности, темы, в своей структурной взаимосвязи представляют собой художественное воплощение хемингуэевской философии и кубинской темы.

Если проанализировать фигуры трех главных героев кубинского триптиха, сразу же бросается в глаза, что каждому из них не хватает именно понимания того, чего он должен был бы достичь в своем конкретном случае: сознания социального долга, либо сознания этической ценности борьбы за жизнь, либо сознания диалектики индивидуального и социального. Однако в любом из трех случаев вывод единственный: человек ОДИН не может ни черта.

Уверена, что по поводу всех трех книг можно сказать то же, что в адрес «Островов в океане». Многочисленные кубинские эпизоды, которые присутствуют в них и функционально входят в ткань повествования,— гораздо больше чем просто обозначение места действия. Это лейтмотив, неоспоримое свидетельство того, что в голубых водах Гольфстрима покоится Кубинский архипелаг.

◆

Наш календарь

К 90-летию ДЖОНА БОЙНТОНА ПРИСТЛИ

«Я славлю жизнь...»

15 августа минувшего года из Великобритании пришло горестное известие. Не дожив меньше месяца до своего девяностолетия, умер Джон Бойнтон Пристли, старейший и, как считают британские критики, «самый английский писатель».

Человек с обостренным чувством юмора, мастер парадокса, Пристли успел пошутить и по поводу своего долголетия. Принимая поздравления с восьмидесятипятилетием и выслушивая здравицы коллег и друзей, писатель притворно-ворчливо заметил: «Вот бы не хотел дотянуть до девяноста. Сколько раз мне доводилось наблюдать: стукнет человеку девяносто, и смотришь — он уже не прежний, не тот, кого все знали и любили, а какой-то другой, чужой...»

Пристли отличался феноменальной плодовитостью. Начав писать в 20-е годы, он не выпускал пера, на диво легкого, до последних дней своей жизни. Кажется, нет ни одного литературного жанра, в котором он не попробовал бы себя. Кто-то из его соотечественников остроумно заметил, что для Пристли писать гораздо естественнее, чем дышать. В самом деле, у него, бывало, выходило три, а то и четыре книги в год. А общее количество созданных им книг превышает 120.

Пристли писал стихи, пьесы, романы, повести, рассказы, пародии, сценарии, либретто, книги для детей, автобиографии, мемуары. Он — автор многих критических исследований по английской литературе. Его работа об английском юморе, вышедшая в 1929 году, не потеряла своего значения и сегодня. Пристли был одним из первых, кто обратился к творчеству Томаса Лава Пикока и Джорджа Мередита и посвятил этим писателям обстоятельные монографии. Интересны и глубоки суждения Пристли о русской литературе, особенно о творчестве Чехова, которого в 1945 году, в статье, посвященной его памяти, он назвал «великим мастером».

Неутомимый путешественник, он превращал свои наблюдения в книги. С нашей страной Пристли познакомился в тяжелые послевоенные годы. О впечатлениях он рассказал в сборнике очерков «Поездка в Россию» (1947), полном искреннего уважения к стране, освободившей мир от фашизма [1]. В возрасте восьмидесяти лет, несмотря на запреты врачей и недовольство близких, писатель отважился на путешествие в Новую Зеландию. И вновь появилась книга, которая к тому же раскрыла еще одну грань его щедрого дарования: иллюстрации, сопровождающие текст, выполнены им самим.

Человек пытливого ума, крайне деятельный и доброжелательный, Пристли, как вспоминает известная английская писательница Айрис Мердок, заражал всех своей энергией и поразительным жизнелюбием. «Мне посчастливилось с ним работать над постановкой пьесы по моему роману «Отсеченная голова». У меня ничего не получалось. Сценарий вышел какой-то вялый, безжизненный,— пишет А. Мердок,— но вот за дело взялся Пристли. Он мгновенно понял, в чем суть, вдохнул уверенность и в меня — и текст ожил».

Пристли — старый и добрый знакомый советского читателя. Даже те, кому не довелось познакомиться с русскими, к слову сказать, весьма многочисленными переводами его романов, уж конечно знают Пристли-драматурга, автора пьес «Опасный поворот» (1932), «Время и семья Конвей» (1937), которые начиная с 30-х годов не сходят со сцен наших театров, часто транслируются по радио и телевидению.

Гораздо меньше знаком нашим читателям Пристли-эссеист, хотя этот жанр всегда привлекал писателя и органично связан со всем его творчеством. В его эссе затрагиваются те же проблемы, что нашли художественное воплощение в романах и пьесах писателя.

---

[1] Фрагменты из этого сборника печатались в «ИЛ», 1967, № 5.

В известном смысле эссе — классический жанр в английской литературе. Оно родилось в эпоху Просвещения — в творчестве Аддисона, Стила, Попа, раскованностью формы привлекало романтиков. Отдали ему должное и великие английские реалисты XIX столетия, особенно Теккерей. Писал эссе О. Уайльд, а с именами и деятельностью Честертона и М. Бирбома связан новый взлет эссе в начале XX века. Именно от них принял эстафету Пристли. Размышление, облеченное в легкую форму,— так и кажется, что автор не пишет, а беседует с читателем,— основной закон жанра эссе. Потому такое значение приобретает в нем стиль.

Первые эссе Пристли относятся к 20-м годам. В то время, вспоминает он, западная журналистика была еще не окончательно политизирована, и эссеист мог позволить себе вольный, задушевный разговор с читателем. Беседы о «разных разностях», житейских мелочах и вроде бы пустяках — такими были первые пробы пера Пристли. Здесь и полная доброго юмора жанровая зарисовка попутчиков, и рассуждения о странностях совпадений, которые бывают в жизни каждого человека, и рассказ о фокусниках и циркачах, симпатию к которым Пристли сохранил на всю жизнь, попытка понять самого себя, желание сохранить самые дорогие воспоминания детства и юности и многое-многое другое.

Среди ранних эссе Пристли выделяется одно — «Первый снег», вошедшее впоследствии во все антологии английского эссе. В нем дано лишь поэтическое описание некоего белого чуда: постепенно из изящных, отточенных фраз начинает складываться рисунок. И вдруг как бы невзначай заходит разговор об особенностях английского национального характера, и читатель, подчинившись воле автора, ищет вместе с ним ответ на вопрос, что же составляет его суть.

«Конечно же,— писал много позже Пристли,— все это были лишь литературные упражнения. Мне еще нечего было сказать. И все же эти мелочи сослужили мне хорошую службу — я научился владеть инструментом, что так необходимо профессионалу».

Уже в 30-е годы наряду с легкими, изящными зарисовками появляются и такие эссе, где писатель предстает как критик социальных условий. Например, «Футбольный матч» — не только жанровая картинка соревнований в провинциальном английском городке, но и рассуждения о том, что это событие — единственное светлое пятно в жизни рабочего люда.

Пройдет совсем немного времени, и Пристли начнет настойчиво задавать вопрос: кто виноват в том, что жизнь английского рабочего столь безрадостна и тускла? Все чаще будет размышлять над проблемой духовного здоровья нации.

Умение вести простой, доверительный разговор очень пригодилось Пристли в годы второй мировой войны. Писатель не покинул Англию, он работал радиокомментатором. Выступления его стали устными эссе, которых, как вспоминают те, кому довелось их слышать, с нетерпением ждали соотечественники.

«Не понимаю,— заметил как-то Пристли,— почему мои передачи встречались столь восторженно. Конечно, я знал, как нужно подать материал, как завладеть вниманием слушателей. Но не одному мне это известно. С тех пор прошло немало лет, но до сих пор некоторые пожилые люди, встречая меня на улице, жмут руку и вспоминают, что значили тогда для них мои рассказы об утках на пруду, пирожках в витринах магазинов. Слушая такие слова благодарности, невольно возомнишь, что подарил им по меньшей мере «Короля Лира».

Пристли говорил со своими слушателями вроде бы о пустяках. Но в его рассказах было столько тепла и человечности — именно той духовной энергии, в которой так нуждаются люди во время тяжелых испытаний.

Сурово и решительно звучал голос Пристли, когда в годы второй мировой войны он требовал от британского правительства незамедлительного открытия второго фронта и гневно осуждал фашизм.

Хранящиеся ныне в архиве Союза писателей СССР телеграммы — приветствия советским воинам-победителям, освободителям народов — тоже своеобразные эссе, полные глубокого уважения к скромным, иногда безымянным героям и восхищения перед их мужеством.

В послевоенные годы у Пристли одна за одной выходят книги эссе. Теперь он уже мастер, остроумный, яркий, парадоксальный, превосходно владеющий материалом, блестящий стилист. Правда, подчас его мыслям не хватает глубины, аргументации, достаточной убедительности. Но об этом забываешь, когда Пристли, как опытный актер, завладевает твоим вниманием. Писатель от природы наделен драгоценным даром — умением непредвзято, как будто бы в первый раз, взглянуть на явление — будь то литературный персонаж, знакомый каждому англичанину еще со школьной скамьи, или событие, о котором все уши прожужжали радио- и телекомментаторы. Даже об известном он умеет говорить с такой искренностью и неподдельной заинтересованностью, что заставляет себя слушать,— а это, как известно, удается немногим.

Пристли крайне обеспокоен состоянием современной западной культуры. Он не может смириться с тем, что литературу, источник и сокровищницу духовных ценностей, вытесняют телевидение и другие средства массовой информации, находящиеся на службе общества массового потребления. Ведь именно с легкой руки Пристли вошло в английский язык слово «эдмас» («admass»), гибрид, полученный из двух

слов — «advertisement» и «mass». Два злейших врага Пристли — реклама, отупляющая человека своими навязчивыми штампами, и обыватели, «эти усредненные люди», в душе которых нет места воображению, а без него для Пристли не может быть жив человек.

Пожалуй, особенно часто это слово, а точнее понятие, мелькает в эссе об Америке, отношение к которой у Пристли весьма противоречивое. Он не раз подчеркивал, что американский народ вызывает у него уважение, но при этом с нескрываемым раздражением писал об американских мифах,— например, о пресловутой «американской мечте» и не менее пресловутом американском образе жизни.

И у своих соотечественников видит он штампы, особенно ненавистные ему штампы сознания, и предупреждает, что они — серьезная угроза духовному здоровью нации.

Эссе Пристли проникнуты и заботой о литературе, которая, по его глубочайшему убеждению, должна быть адресована самой широкой аудитории, а не кучке «избранных». Книги должны быть хорошо и просто написаны, должны, как в старые добрые времена, рассказывать интересные истории, а не поражать читателя неудобоваримым блеском интеллекта. Для него самый верный ориентир — национальная классика, живая и животворная традиция, о которой он всегда пишет с огромной любовью, профессиональным знанием и восхищением.

С некоторыми положениями, высказанными Пристли в его эссе, бывает подчас согласиться трудно, особенно когда он впадает в свой ворчливый тон. Тут все становится не по нему. Социализм, капитализм, британская империя, техническая революция — все валится в одну кучу. Раздражают митинги в Гайд-парке, как, впрочем, вообще любые собрания. С его точки зрения, они совершенно бесполезны: болтовня, пустая трата времени — и ни к чему путному привести не могут. Правда, здесь слово у него расходится с делом. Ведь Пристли, несмотря на свой преклонный возраст, был участником многих международных конференций в защиту мира, выступал против гонки вооружений, против всех «технологических чудес», грозящих превратить нашу планету в ад. Несмотря на склонность порой поворчать, в нем всегда побеждал романтик, веривший в братство людей, в силу разумного, доброго слова, в «добрых друзей» — недаром именно так Пристли назвал свой особенно дорогой ему роман, и недаром он столько раз на протяжении долгой жизни славил великого автора «Пиквика». Утопия, конечно. Но в пору засилья пессимистических настроений в кругах западной интеллигенции она не так уж бессмысленна. Впрочем, предоставим слово самому Пристли:

«Пусть другие, у кого, возможно, есть на то основания, решают, славлю я жизнь или нет. Сам же могу сказать лишь одно. Часто я видел в окружающих меня людях и в происходящем вокруг одни недостатки, часто ворчал и брюзжал по поводу или без повода, осуждал и страстно обличал, но тем не менее я никогда не был в рядах того огромного, аморфно-расплывчатого, апатичного по своему духу и конформистски настроенного большинства, которое составляют все эти деятели рекламы, политики-паяцы, продажные газетчики,— иными словами, все те, кто заражен страшными бациллами смерти. Увы, в нашем мире их развелось немало. И по сравнению с ними я, старый ворчун, совсем не пессимист. Нет — я верю в жизнь, люблю ее и славлю».

Это же диккенсовское жизнеутверждающее начало пронизывает и эссе Пристли, с которым журнал знакомит сегодня читателей. Его можно отнести к программным выступлениям писателя — здесь собраны воедино многие проблемы, знакомые по его пьесам, романам, рассказам. И главная из них — как в XX веке на Западе уберечь человека от грозящего ему духовного оскудения, как пробудить в нем заблудившемся в зарослях технических чудес, хотя бы воспоминание о духовности. Как остановить безумный, ускоряющийся с каждым новым десятилетием бег по жизни, как заставить человека хотя бы на минуту заглянуть себе в душу. Правда, горестно вопрошает Пристли, где она, душа, эта частица вечности? Ведь многие западные философы и социологи не устают повторять, что человек не венец творения, а так — случайность, песчинка в хаосе мироздания. О какой же душе можно говорить в обществе, где «единое на потребу», а день ото дня растет лавина насилия, террора, безумия?

Не так уж много прибежищ осталось у современных людей на Западе. Трудно сейчас, на исходе века, говорит писатель, верить в буржуазные политические лозунги. Наука при всех ее дерзаниях, смелых открытиях для скептика Пристли тоже палка о двух концах: именно она повинна в урбанизации жизни, она породила техническую революцию, что повлекло за собой загрязнение окружающей среды. Наука, как ни верти, причастна к трагедии Хиросимы. Религия? Но двери храмов, грустно отмечает Пристли, давно уже закрыты. Вот и получается, что вся надежда Пристли на литературу и на тех, кто сможет привить молодому поколению любовь к красоте слова, а вместе с ним и к благородству поступков. Если с детства, настойчиво повторяет писатель, учить человека любить прекрасное, может быть, удастся заронить в его душу семена добра и мудрости. Придет время — они дадут всходы. Появятся люди нравственно и духовно здоровые. А вместе с ними в общество вольются силы, с которыми Пристли связывал свои надежды и на более серьезные перемены.

Е. ГЕНИЕВА

ДЖ. Б. ПРИСТЛИ

ЖИЗНЬ, ЛИТЕРАТУРА И ШКОЛА

В 1960 году, в День благодарения, в Чикаго состоялся съезд Американского национального совета преподавателей английского языка и литературы, отмечавшего свой золотой юбилей. Меня пригласили выступить с речью, что я и сделал в огромном чикагском Оперном театре. Позволю себе добавить, что мне редко бывало так жарко, как в тот день, когда я почти час простоял на залитой светом сцене Оперного театра, и редко бывало так холодно, как в то время, когда мне после выступления без малейшей передышки, не выпив ни глотка спиртного, не утершись полотенцем и даже не присев на стул, пришлось стоять, обливаясь потом, на сквозняке в коридоре, пожимая руки сотням и сотням людей. Это были милые люди, и я уверен, что они очень бы огорчились, если б узнали, что следующие три дня я был вынужден провести в постели.

Как правило, люди втайне побаиваются учителей. Отчасти по этой причине учителей все больше загружают работой, не платя им при этом все больше денег. Это вынуждает их сидеть дома, мешает ходить по гостям, общаться с людьми и портить всем настроение. Если я не боюсь учителей — а если бы я их боялся, меня бы здесь сегодня не было,— так это потому, что мой отец был учителем и я вырос среди учителей. В доме у нас их всегда бывало множество, они там вечно ели, пили и спорили. (Не забудьте, с тех пор прошло пятьдесят лет, еда и напитки тогда стоили куда дешевле, а споры были куда безопаснее.) Этим и объясняется, почему сам я уклонился от педагогики, хотя в некоторых справочниках сказано, что когда-то я был учителем. Если бы я когда-нибудь преподавал английский язык и литературу, то едва ли принял бы ваше приглашение. Ведь, приняв его, я оказался бы в положении специалиста, обращающегося к сотням других специалистов, а такая ситуация всегда чревата опасностями,— теперь же я могу свободно беседовать с вами, наставлять вас в вашей работе с позиции дремучего невежества. Поэтому вы, надо надеяться, пожалеете меня и не осудите. «Бедняга,— будете вы повторять, наклоняясь друг к другу,— он просто не знает, о чем говорит».

На мой взгляд, лучшее определение того, что такое специалист, найдено в Америке, хотя я, к сожалению, забыл кем. Оно гласит: «Специалист — это человек, который избегает всех мелких погрешностей на пути к Основной Ошибке». Я не сомневаюсь, что в этом своем обращении к вам допущу уйму всяких мелких погрешностей, однако надеюсь, что Основной Ошибки мне удастся избежать. А состоит она, мне кажется, в том представлении, которое владеет сейчас многими умами, хотя вслух его высказывают редко, будто человек — всего лишь случайность в лишенной всякого смысла вселенной. Вот человек и начинает вести себя как случайность, причем слишком часто как несчастная случайность. Уже почти уничтожив своей алчностью и безрассудством одну планету, он мечтает приземлиться на другой, чтобы проверить, нельзя ли изничтожить и ее. Разве не правда, что людям, которые не желают толком вдуматься в то, до какого состояния они довели нашу Землю, уже

ДЖОН БОЙНТОН ПРИСТЛИ — JOHN BOYNTON PRIESTLEY (1894—1984). Английский писатель, драматург, эссеист. В нашей стране Дж. Б. Пристли широко известен по многочисленным переводам его романов: «Улица Ангела», «Затемнение в Гретли», «Дневной свет в субботу», «Трое в новых костюмах», «Сэр Майкл и сэр Джордж», «Тридцать первое июня», «Эта старая, старая страна», пьес «Опасный поворот», «Время и семья Конвей», «Сокровище», «Визит инспектора», «Золотое руно» и другим произведениям.

Эссе «Жизнь, литература и школа» взято из сборника «Мгновения и другие эссе» («The Moments and Other Pieces». London, Heine mann, 1966).

не терпится покинуть ее и отбыть в космос, в ничто, либо причалить к луне, мертвее которой ничего и не придумаешь. И эта жажда променять землю на космос, нечто на ничто, жизнь на смерть — не есть ли это отчаянная попытка убежать от самих себя, убыстрить свое движение до такой степени, чтобы и догнать самих себя стало невозможно? Всем нам сейчас грозит опасность запутаться в погоне за ложными ценностями, и вследствие превратного хода мыслей среди теорий, порожденных превратным ходом мыслей, есть одна, касающаяся нас с вами особенно близко.

Согласно этой теории, нам предлагается поверить, что в младенчестве наше сознание подобно белому листу бумаги и что оно оказывается лицом к лицу с вещественным объективным миром. Тогда воспитание изображается как процесс, сходный с работой гравера, который под сильным давлением накладывает протравленную доску на белые листы бумаги. И самонадеянного школьного учителя можно простить, даже не заподозрив его в каких-либо дурных намерениях, если он попросит женщину — члена педагогического комитета — подойти поближе и посмотреть его гравюры. Но я лично не верю ни в то, что при рождении наше сознание подобно белому листу, ни в то, что нас окружает вещественный объективный мир. Обе эти предпосылки ложны. Точно так же как мы, через тысячи поколений, наследуем наше физическое строение со всеми его сложными функциями, точно так же мы, вероятно, через мозг и симпатическую нервную систему, а возможно, и иными, неведомыми нам путями наследуем духовную жизнь, если хотите — душу, с ее не менее сложными функциями, ее моделями реакций и поведения, с ее эмоциональными требованиями и затаенными страхами и надеждами, с ее запасом снов и мечтаний. Только этим, на мой взгляд, можно объяснить то, что представляется многим необъяснимым, а именно — глубокую неудовлетворенность современного человека, у которого появилось столько новых замечательных приспособлений, экономящих его время и силы и помогающих ему жить, а он никак не может отделаться от чувства тревоги, недовольства, разочарования и, сидя в своем комфортабельном новом особняке, страдает от тоски по дому. Горе в том, что ему предлагают довольствоваться второстепенными благами, такими как собственная машина или телевизор, вместо первостепенных, исконных, отвечающих нашим глубинным потребностям. Словно женщине предлагают обменять хорошего мужа или любовника на стиральную машину, словно мужчине вместо спокойного удовлетворения от хорошо выполненной интересной работы предлагают эрзац-удовольствие — ездить в новом автомобиле более внушительных габаритов. Ибо мы, если можно так выразиться, преисполнены большими надеждами. Если бы мы начинали с нуля, все обстояло бы много проще, хотя и еще плачевнее, в чем можно убедиться, заглянув в ближайший улей или муравейник. Порой мне думается, что если бы мы чаще читали поэтов, мы могли бы обойтись без социологов. В одной строке «Прогулки» Вордсворта больше правды о сути человеческой природы, чем в целых библиотеках нудных социологических рассуждений. «Мы живы восхищением, надеждой и любовью». Я верю в это утверждение, я безоговорочно принимаю его. Оно может служить мерилом любого общества. Там, где восхищение блекнет, надежда умирает, а любовь трудно или невозможно отыскать, там психиатрические больницы переполнены, тюрьмы и концлагери набиты до отказа и разрабатываются планы атомной и биологической войны.

Мы не начинаем с нуля, но с самого начала существуем каждый в своем собственном внутреннем мире, даже если в тайниках его и нет ничего такого, что свойственно лишь кому-то одному. И мы, так сказать, выглядываем из этого своего внутреннего мира наружу. Но что мы там видим? Конечно же, нечто неравнозначное нам самим. Но так ли уж оно объективно? Не мы ли сами поставляем, хотя бы частично, те приборы, чувственные или концептуальные, которыми измеряем этот внешний мир? Если он представляется нам в трех измерениях, а не в двух и не в четырех, так это потому, что мы научились воспринимать его как трехмерный. Если мы не страдаем дефектом зрения, то способны увидеть во внешнем мире широкий диапазон красок, часть которых, надо полагать, люди в давние времена не различали. Открыть же для себя еще более широкий диапазон красок нам помогает как изучение великих живописцев, так и наши собственные скромные упражнения в живописи. А тут Олдос Хаксли рассказывает, как он стал употреблять мескалин и после этого в изумлении глядел на мир, никогда им раньше не виденный, невообразимо преображенный и обогащенный. И бесполезно возражать, что мир, открывающийся под воздействием мескалина, не есть реальный мир. Возможно, в том мире труднее жить и действовать, нежели в мире, который видят большинство людей. Возможно, наркотик снял определенные торможения и запреты, которые мы в себе выработали, потому что людям нужен не мир красоты, чтобы им восхищаться, но такой, который давал бы максимальные возможности для действий. И тут я невольно задаюсь вопросом: а может быть, это наша городская машинная цивилизация сглаживает контуры и гасит краски в том мире, который видит большинство? Может быть, прав был ирландский поэт и мистик А. Е.[1], когда сказал, что мы сами себя обездолили? Этим в свою очередь можно было бы объяснить, почему столько людей в наши дни испытывают недовольство и разочарование и громко требуют все более грандиозных и кричащих зрелищ, полных насилия, жестокости и крови. И наконец, вспомним афоризм Блейка: «Глупец видит не то же дерево, которое видит умный».

---

[1] А. Е. — псевдоним Джорджа Уильяма Рассела (1867—1935) — ирландского поэта, художника, драматурга и издателя. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Вот как далеко мы ушли от представления о белых листах, ожидающих, чтобы на них отпечатался образ объективного вещественного мира. Белый лист оборачивается целым внутренним миром, который мы носим в себе, который придает форму и цвет нашим мыслям и чувствам и порождает наши мечты и сны. И если мы притворяемся, что его нет, тем хуже для нас: он свое возьмет, отомстит нам, как всегда мстил всему нашему поколению. А внешний мир, со своей стороны, хоть и неравнозначен нам, упорно отказывается быть вещественным и объективным, ибо он хотя бы частично есть порождение нашего внутреннего мира, чуть ли не сплошное долгое сновидение. Может показаться, будто этак мы сводим значение внешнего мира к опасному минимуму, а что случается с людьми, которые идут этим путем, показывает медицинская и уголовная статистика. Но если наш внутренний мир — своего рода наследие, тогда, значит, сейчас в жизни этого внутреннего мира чрезвычайно важную роль играет опыт, почерпнутый из внешнего мира нашими неисчислимыми предками на протяжении несчетных тысячелетий. Таким образом, если эти два мира очень несхожи, внешний мир участвует в сотворении внутреннего, а внутренний участвует в восприятии красок и форм внешнего. Глупец и умный у Блейка видят разные деревья, потому что внутренний мир у них неодинаков. Но не настолько он разный, что один видит дерево там, где другой вынужден видеть телеграфный столб, хотя в другом месте Блейк, самый, может быть, бесспорный носитель внутреннего мира, дает понять, что разница в восприятии может быть и больше. Однако в данном случае дерево присутствует безусловно, и я не сомневаюсь, что многие из вас с радостью подвели бы меня к нему и вложили бы мне в руки веревку. Но прошу вас, наберитесь терпения! Туман уже редеет, скоро-скоро начнет вырисовываться мой главный довод.

Итак, мы живем в этих двух мирах, очень разных и предъявляющих к нам очень разные требования, однако в известной мере взаимопроникающих, отчего все становится еще сложнее и труднее для понимания. Это относится ко всем возрастам человека, едва только остается позади раннее детство. Но с годами мы либо приучаемся балансировать между этими двумя мирами. не даем им беспрестанно враждовать друг с другом,— словом, достигаем известной мудрости; либо считаемся с одним из них, а другой игнорируем, но это, будьте уверены, не пройдет безнаказанно, и мы постепенно сойдем с ума или, грубо выражаясь, свихнемся. Замечу, кстати, что следовало бы учредить колледжи для людей, переваливших за сорок, которых необходимо на год-другой изолировать от их работы, повседневных занятий, привычной обстановки и поучить уму-разуму и искусству жить. Это потребовало бы денег, но с лихвой окупило бы те расходы и огорчения, на которые мы теперь идем из-за сумасшедших стариков и старух, не дающих никому покоя и в общественной и в семейной жизни. Но, конечно, не в старости, а много раньше мы вдруг обнаруживаем, что оказались перед ошеломляющей загадкой этих двух миров. Происходит это в последние дни детства и в следующем за ними трудном периоде отрочества, фактически охватывающем почти все наши школьные годы. Вот когда, по выражению Вордсворта, «растущий мальчик не дитя, а узник» [1]. Между прочим, это как будто доказывает, что в виде исключения Вордсворт оказался одного мнения с Бернардом Шоу. Помните, Шоу говорит: «Из всего, что существует на земле, нет для невинных ничего ужаснее школы. Прежде всего это тюрьма. Но в некоторых отношениях школа даже более жестока, чем тюрьма. В тюрьме, например, вас не заставляют читать книги, написанные надзирателями и смотрителем». В раннем детстве, когда мы еще ничего не читали, даже Бернарда Шоу, нам не приходится жить в двух разных мирах, знать, что есть мир внешний и мир внутренний,— они едины. Мы пребываем в состоянии, которое один французский антрополог назвал participation mystique [2], и уподобляемся в этом возрасте первобытным людям. Врата рая еще не закрылись за нами. Луга, где мы резвимся,— и это достаточная причина для того, чтобы не отгораживать маленьких детей от природы целыми милями кирпича и бетона,— все еще чудесные сказочные луга Эдема. И все это — утраченное счастье, исчезнувшая слава, о которой скорбят Вордсворт и многие другие поэты.

Позднее мы уже не живем в едином волшебном мире. В растерянности мы разрываемся между тем миром, что внутри нас, и тем, что снаружи. Это, понятно, те годы, когда мы оказываемся насильственно отделены от родителей и каждый из нас обнаруживает себя, а потом и сознательно утверждает себя как личность. Когда к этому добавляется, так сказать, новое измерение — секс, для нас начинается отрочество. И тут ошеломляющая загадка двух миров, этот конфликт, эта проблема — назовите как хотите — обостряется до предела. В подростках легко усмотреть голенастых, трудных, непослушных детей, незрелые умы и темпераменты, неожиданно обросшие длиннющими руками и ногами. (Будучи отцом пяти сыновей — они уже взрослые и сами имеют детей,— я хорошо помню, как подростками они либо кипели и пенились от избытка энергии, либо, внезапно обессилев, валились на диван, и тогда казалось, что их длинные голые ноги заполняют всю комнату.) Но в подростках можно также усмотреть мужчин и женщин еще не научившихся держать в узде свои чувства, еще не вынужденных договориться с реальной жизнью на условиях, отнюдь не отвечающих их юным представлениям о красоте, добре и правде. Они еще не знают, сколько им предстоит подписать контрактов с мрачными пунктами, набранными неразборчивым мелким шрифтом.

И, вспоминая, с каким восторгом эти подростки смотрели в будущее, раскрывались навстречу жизни, потому что чувствовали инстинктивно, в соответствии с

[1] Строка из оды У. Вордсворта «Приметы бессмертия».

[2] Мистическое участие *(франц.)*.

какой-то мечтой, испокон веков присутствующей в их внутреннем мире, что жизнь эта должна быть прекрасна,— я могу лишь еще раз посетовать на нашу цивилизацию. Ибо, если мы способны обеспечить нашим детям первоклассное образование, мы ничего или почти ничего не делаем для того, чтобы обстановка, в которой им предстоит жить, не была безобразной. Слишком часто случается, что все полученное в школе быстро идет насмарку под влиянием улицы, ради чьей-то гнусной выгоды. Мы допускаем, чтобы этот едва раскрывшийся цветок, надежда подростка на великолепную жизнь, оказался выброшен на помойку. А потом удивляемся, почему, при том что мы столько тратим на образование, в нашем обществе завелась какая-то гниль.

Однако давайте затворим двери школы и останемся в ее стенах. Здесь нас окружают сотни юных созданий, растерянных, но все еще полных надежды, вопреки ощущению, что живут они не в одном, а в двух мирах, хотя сами они, конечно, не сумели бы так описать свое состояние. Я глубоко убежден... что идеальный посредник между нашей сознательной и бессознательной жизнью, нашим внешним и внутренним миром — это религия. Но такая религия должна бы стать основой жизни для всего нашего общества, охватить все наши установления. А сегодня речь у нас не об этом. Мы сейчас в школе и здесь должны оставаться, окруженные сотнями этих растерянных, но не растерявших надежды юных созданий, заблудившихся между двух миров, и нам предстоит выбрать для них если не идеального, то хотя бы приемлемого посредника, хотя бы мыслимого руководителя и друга. А имя ему, конечно же, Литература. И если вы согласитесь со мной, что литература возникает из столкновения между внешним и внутренним миром человека, и если вы до сих пор следили за ходом моих рассуждений, и ни они, ни я сам вам еще окончательно не надоели, тогда, о преподаватели-англисты, вы не сочтете меня льстецом, если я заявлю — а я это заявляю,— что преподавание английской литературы одна из важнейших профессий, какую только может избрать мужчина или женщина в англоязычной стране. Следует, пожалуй, добавить, что, если вы сочтете таки меня льстецом, вы побьете рекорд: ведь меня в течение долгих лет обвиняли, кажется, во всех грехах, только не в подхалимстве и угодничестве.

Сейчас, когда положение наше в общем-то отчаянное, когда нажим и стрессы внешнего мира противостоят таинственным порывам и горьким сновидениям нашего внутреннего мира, мне кажется, что родную литературу нельзя больше рассматривать просто как один из учебных предметов, наряду с географией или историей. Она имеет особое значение, не укладывающееся в школьную программу. Язык и литература могут помочь нам жить в согласии с самими собой, а такая помощь нам сейчас особенно нужна. Современный мир полон людей, которые разучились жить в ладу с самими собой. Поэтому они и жаждут, чтоб их отлучали от самих себя, пусть грубо, насильственно, безобразно. Этим объясняется популярность телевизионных передач, в которых одни люди ради денег поступают по-идиотски, а другие упиваются их конфузом, замешательством, страхом. Мы теперь стравливаем не медведей и быков, а людей. И заметьте, с каким смаком иные органы печати, зная своего читателя, свергают с пьедесталов и вываливают в грязи тех самых идолов, которыми они совсем недавно предлагали нам восторгаться. Порой мне кажется, что еще немного — и наше общество, беспрепятственно продвигаясь по этому пути, возвратится к крови и грязи древнеримской арены. И нужно ли снова и снова напоминать вам, что наиболее уязвимые жертвы — как раз наши нетерпеливые подростки, доверчиво раскрывающиеся навстречу жизни и принимающие как подарок от взрослого мира то, что зачастую заставляет их только зря растрачивать время и ненавидеть друг друга. А раз таково их положение, значит, я не преувеличиваю, когда говорю, что язык и литература — не просто один из предметов обучения, но спасение утопающих.

Здесь, правда, необходима одна оговорка. Мы должны признать, что язык и литература не на всех оказывают свое магическое действие. Все мы пользуемся словами, но не все одинаково на них отзываемся. Человеческие существа, независимо от степени образованности, принадлежат к очень разным типам (забывая подчас об этой истине, мы тратим впустую много времени и нервов), и хотя все мы по необходимости живем в двух мирах, но проблему этих двух миров не все решаем одинаково. Иные впечатлительные юнцы реагируют только на музыку или на изобразительные искусства. Другие считают себя образованными, только если на совесть освоят какое-нибудь ремесло или специальность. Я не помню, чтобы среди хороших ремесленников мне попался дурак, зато у человека, обвешанного, как рождественская елка, орденами, степенями и званиями, может не оказаться ни прозорливости, ни здравого смысла. И сейчас я поступлю наперекор своим интересам — случай в лекторской среде довольно редкий,— я заявлю, что в педагогике мы склонны переоценивать роль книг и бесед о них. Это не значит, что я отрекаюсь от моего главного довода. Я только повторяю, что есть типы, неподвластные воздействию литературы, и что многим из них больше пользы принесло бы образование, вообще не опирающееся на книги.

Не так давно я стал замечать, что мое литературное чутье, эта непосредственная реакция на магию слов, понемногу слабеет, меркнет, угасает. Заметил, что мои дети, хоть они и взращены среди книг и любят читать, все же явно предпочитают слову зрительный образ. То же, по-видимому, можно сказать о большинстве их сверстников. Подтверждением этому служит интерес молодежи к фильмам, выставкам, балету, репродукциям с картин, иллюстрированным журналам и, наконец, телевидению. Эти мои грустные выводы я не замедлил обнародовать в печати (я всегда так поступаю, это одна из моих слабостей). Любовь к литературе, магия книги, волшебная сила слов — всему этому уже нет места в

нашем обществе, утверждал я. Но я поторопился с выводами (это, пожалуй, самый серьезный из моих недостатков) и второпях кое-что проглядел. Молодые, может быть потому, что чувствуют себя новыми, готовы приветствовать все новое, полагая, что оно создано специально для них. А за этот период, скажем за последние тридцать лет, новым, безусловно, было не печатное слово, которое в общем-то выглядело не лучше, а хуже прежнего, но производство и воспроизводство зрительного образа во всевозможных интереснейших видах. Все это было ново, увлекательно, последний крик моды. Юнцов оно привлекало еще и тем, что они, когда не носятся сломя голову, изматывая себя физически, любят принять непринужденную позу и побездельничать. Это легче, не требует усилий. На все эти образы можно глазеть, не выключая радио или проигрывателя, что само по себе уже ново и интересно. Я не хочу сказать, что этот период кончился. Более того, я вижу серьезную опасность в том, что многие подростки, привыкшие к образам, созданным для них телевидением, никогда не разовьют собственной способности создавать образы, читая книги, а это обеднит их духовно, когда они станут взрослыми. Это, на мой взгляд, единственное обвинение, которое можно предъявить телевидению, если рассматривать его просто как средство информации. Если использовать его ответственно и тактично, это прекрасное новое средство массовой информации, ведь не телевидение виновато в том, что его опошляют и проституируют: наше дело освободить телевидение от бесконечной мышиной возни. Но хоть я и не говорю, что период победоносного шествия зрительного образа подходит к концу, я безусловно недооценил непреходящую силу книги. Так, например, массовый выпуск дешевых книг в бумажных обложках, не обязательно повествующих о задушенной блондинке, предполагает столь же массового читателя, причем, разумеется, не только достигшего среднего или преклонного возраста. Упомянув о дешевых изданиях, я не могу не предостеречь вас. Да, они верой и правдой служат читателям и повышают престиж и без того престижных авторов, но до сих пор, насколько я знаю, не продлили жизнь и не дали возможность работать ни одному хорошему, но еще непризнанному писателю, как то не раз делали многие издатели старого закала.

От этих предостережений и отступлений пора вернуться к нашему главному доводу, гласящему, что сейчас, когда наше общество в целом не приемлет религии и в результате современный человек раздваивается между двумя мирами, роль преподавателя литературы в школе невозможно переоценить. Если только ваши ученики не принадлежат к числу тех, кто органически не способен реагировать на слово, эта работа, повторяю, может быть приравнена к спасению на водах. Литература открывает детям и подросткам оба мира. Помогает им жить в ладу с самими собой. Под литературой я подразумеваю не перечень форм и структур, освоенных с большим или меньшим блеском,— этот метод сейчас в моде у тех литературоведов, которые трактуют поэтов и романистов как инженеров, с помощью слов строящих мосты и небоскребы. Для меня литература (настоящая литература!) — это запись человеческого опыта, использующая много различных форм, манер и стилей. Опыт, разумеется, накапливается и внутри и снаружи, и запись его может связать точнейшие и тончайшие впечатления от внешнего мира с самыми туманными и таинственными эмоциями, возникающими в мире внутреннем. Это, как мне кажется, вполне доступно пониманию смышленых и восприимчивых подростков. И объясняется все просто. В юности, когда только что осталось позади раннее детство, именно потому, что в эту пору все так ново, непривычно и увлекательно, мы особенно ощущаем воздействие чужого опыта. А такое воздействие, ощущаемое на разных уровнях личности,— это, на мой взгляд, и есть то, что заставляет прирожденного писателя писать и писать, как бы оно ни было тягостно, как бы мало ни давало удовлетворения. Он должен творчески реагировать на это воздействие, для того чтобы хоть на время от него освобождаться. Всякое зло бьет по нему больнее, чем по большинству людей, и он вынужден как-то с этим справляться.

Среди людей действия, деловых людей, бытует мнение, что писатель — этакий томный, расслабленный субъект, он сидит, и мечтает в своем углу, и, вероятно, ждет, чтобы женщины окружили его нежной заботой. Но если женщины и окружают его заботой, так только потому, что они знают: писатель, как и они сами, человек более активный, более живой, чем большинство их знакомых, этих полусонных, полуживых ходячих чурбанов. И писатель любого калибра не только не расслабленный мечтатель, но по своей душевной энергии, по жизнеспособности уступает, пожалуй, лишь лучшим образчикам других общественных групп. Но именно потому, что он так жадно впитывает в себя жизнь, так живо откликается на все окружающее, он чувствует давление опыта как мало какой другой мужчина. Я говорю — мужчина, потому что женщины, мне кажется, устроены иначе. Среди взрослых мужчин это давление опыта испытывают лишь единицы, тогда как женщины — почти все без исключения, только у них нет столь неотвязной потребности реагировать на него творчески. Почти все женщины преодолевают это давление разговорами.

Вот, скажем, женщина только что провела субботу и воскресенье в деревне, у не совсем обычных людей, о которых и ей и ее знакомым любопытно узнать побольше. Она возвращается в город, через край переполненная смутными впечатлениями, и приятельницы, окружив ее, восклицают: «Ну, дорогая, как там было?» А ей и хочется рассказать, и просто страшно — слов не хватает, чтобы описать все, что она там видела, и слышала, и делала, и думала. И это очень похоже на то, что писатель испытывает почти беспрерывно. Вот он и пишет, чтобы побороть это давление опыта. Раз начав писать, он, несмотря на всякие технические трудности, которые, возможно, его подстерегают, все же чувствует, что бремя уже не так сильно давит на

плечи. Что бы еще ни участвовало в рождении литературы — а все мы знаем, что составных элементов тут множество,— первый толчок всегда дает эта реакция на опыт, а результатом может оказаться и «Король Лир», и «Потерянный рай», и «Тристрам Шенди», и «Наш общий друг». И теперь я возвращаюсь к моему утверждению, что смышленые и впечатлительные мальчики и девочки именно потому, что для них все ново, непривычно и интересно, в чем-то сродни писателю. Пожалуй, никогда они больше не будут к нему так близки, ведь с годами они, возможно, станут и равнодушнее и жестче. Но сейчас они тоже начинают ощущать давление опыта, а бороться с этим так, как борется писатель, не могут. Одна из причин, почему подростки зачастую так трудны в общежитии, заключается в том, что они — творческие натуры, неспособные творить. Но литература (а под ней я по-прежнему разумею все, что хорошо написано) хотя бы показывает им, что мужчины и женщины уже давно вступали в жизнь точно так же, как сами они сейчас готовятся в нее вступить, и что эти мужчины и женщины, каждый по-своему, сумели написать об этом весело, взволнованно, красиво. Пусть это лишь самое начало, но психологически оно очень важно. Вот почему я и говорю, что преподавать литературу не означает просто вести один из многих школьных предметов.

Вся настоящая литература, к которой приобщают ученика — приобщают, надо надеяться, возможно менее формально,— сама по себе уже представляет новый и ценный опыт. И когда юный читатель наслаждается ею, впитывает ее, включает в свой внутренний мир, она начинает окрашивать для него и опыт внешнего мира, который скоро, надо полагать, расширится и обогатится. Непрерывное взаимодействие происходит не только между литературой и жизнью. Чтение должно приблизить нас к жизни, наделить более зорким взглядом, более тонким слухом и повышенной восприимчивостью. Она должна ввести нас в богатый дом, полный нарядных гостей, а не в бомбоубежище. Но позвольте мне выразить мою мысль проще, пока я еще не заблудился в своих метафорах. Не дай нам бог предстать перед юными в обличье уютного книгочея, которому ни до чего нет дела, лишь бы надеть шлепанцы, закурить старую трубку и провести вечер в обществе кого-нибудь из любимых писателей. Это предполагало бы чтение как «одно из лучших удовольствий», выражаясь языком поставщиков рекламы для компаний «Книга почтой», пытающихся сбыть с рук комплекты из ста, или пятисот, или тысячи лучших книг. Некоторые из этих книг вы не читали, есть, вероятно, и такие, которые не читал никто. Помню, примерно полвека тому назад я экономил на завтраках, чтобы купить финский эпос «Калевалу». Эта книга до сих пор у меня хранится, но и до сих пор не прочитана. Надо сказать, что в литературе и в наслаждении ею, несомненно, присутствует элемент ухода от повседневной жизни, элемент облегчения среди ее тревог и суеты. Огюстен Биррел[1] в своем «Назначении литературы» между прочим пишет: «Литература существует, чтобы доставлять людям удовольствие — она облегчает им жизнь, позволяет ненадолго забывать свои грехи и горести, свои опустевшие дома, погибшие надежды, мрачное будущее». Сказано хорошо, но в школе неприменимо.

Я, в сущности, имею полное право подписаться под словами Биррела. Ибо я человек пожилой, страдающий ожирением и подагрой, до сих пор тружусь за письменным столом, хотя мне полагалось бы только подвязывать розы в саду или баловаться акварелью. Я вырастил кучу детей, я участвовал в одной войне и потерпел ущерб от другой. Почти все, что я заработал, у меня отняла неслыханно свирепая система налогов, предназначенных в первую очередь оплачивать ошибки безголовых политиков; поэтому я и считаю себя вправе думать о литературе как о средстве ухода от жизни, об утешительнице, а то и вовсе о ней не думать, а спокойно почитывать детективы вроде «Двухголовой брюнетки». Однако я не разделяю такой позиции, и вы, надеюсь, тоже, и уж конечно это не та грань литературы, которую мы призваны показывать любознательным подросткам, рассчитывающим получить в жизни нечто получше, чем замена виски и нембутала. Помня, что литература не каталог литературных форм, а нечто подлинное и живое, правдивая и волнующая запись человеческого опыта, посредник между внешним и внутренним миром, подумаем о том, как приблизить ее к жизни этих юных созданий. Причем я говорю о том, что они сами считают своей подлинной жизнью, а не о часах, проведенных в классе, которые так медленно тянутся, пока они клюют носом за партой. И позвольте мне, не дав вам времени возмутиться моей последней фразой, присовокупить к ней два признания. В школе я считался очень хорошим учеником, из года в год занимал одно из первых мест в своем классе, но почти все время изнывал от скуки, сравнимой, пожалуй, лишь с той, какую позднее испытывал только на конференциях ЮНЕСКО и на других подобных собраниях. Либо мне говорили то, что я уже знал (это же, но в еще более нудном варианте повторилось затем в армии), либо я не знал и не хотел знать того, что мне старались втолковать. Последнее случалось, например, в физическом кабинете, где два преподавателя, выбиваясь из сил, вколачивали нам в головы теории, уже опровергнутые учеными-физиками. Но к английскому языку и литературе это не относится. Да, это был мой любимый предмет, и могу вам признаться, хотя бы в доказательство того, что наши наклонности часто проявляются сызмальства: в той школе мои сочинения хранились годами как образцы для восхищения и подражания, и это, несомненно, обеспечило мне острую неприязнь нескольких поколений школьников. И еще я помню, что, когда мне было лет двенадцать, я выпустил журнал, старательно переписанный аккуратным почерком и содержавший начало целых четырех рассказов с продолжением, которые сам же я и сочинял.

[1] Огюстен Биррел (1850—1933) — английский юрист, критик, общественный деятель.

С этим связано и мое второе, более отрадное признание. Во время своих литературных запоев я близко соприкасался с одним из тех немногих людей, бесспорное влияние которых вспоминаю с благодарностью. Да, это был наш учитель литературы. Звали его Ричард Пендлтон — хорошее имя, оно до сих пор звенит у меня в ушах, словно золотой, брошенный на мраморную стойку, а сам он уже сорок лет как умер, еще совсем молодым. Он был высокого роста, очень смуглый, красивый и гордый, как испанский гранд, и хотя я выбрал его себе в кумиры — это свойственно мальчикам,— скопировать его внешне мне явно не удалось. Формально он, пожалуй, не имел квалификации, нужной для преподавания литературы в средней школе. У него не было ученой степени, поскольку он не защитил диссертации на тему об употреблении точки с запятой в поздних романах Джордж Элиот; но высшая из всех возможных квалификаций у него была: он любил настоящую литературу и умел привить эту любовь своим ученикам. У меня в то время, думаю, уже появилось собственное отношение к литературе, но в юности немногие люди, которыми мы с готовностью восхищаемся, играют очень важную роль в нашей жизни; поэтому мне сдается, что мое отношение к литературе неотделимо от моего восхищения Пендлтоном. Я, вероятно, смутно чувствовал, что литература, стихи, пьесы и эссе, которые он с нами читал и обсуждал, помогли ему стать тем, чем он был, зажгли огнем его взор, внесли в его обхождение церемонную учтивость, расцветили речь блестками юмора и нотками ледяного сарказма. Так учитель заимствовал широту и блеск у своего предмета, а предмет заимствовал жизненность и конкретный смысл у учителя. И все это, конечно, произошло как раз в нужное время. Говоря это, я вовсе не хочу умалить заслуги Ричарда Пендлтона. Я и через полвека вижу и слышу его как сейчас и понимаю, что он был исключительным педагогом. Но если он оказал на меня куда более сильное влияние, чем все профессора и лекторы, которых я впоследствии слушал в Кембридже, и все критики, с которыми я познакомился в Лондоне, то объясняется это тем, что мне посчастливилось учиться в школе у преподавателя, который любил настоящую литературу. И всем преподавателям литературы, в глубине души не разделяющим такой любви, я хотел бы сказать: «Ради ваших учеников, ради вас самих, да что там — ради создателя откажитесь от преподавания литературы!»

Есть, несомненно, много юношей, которые по окончании школы уже не питают к литературе ничего, кроме неприязни и недоверия. Если человек корпит над книгой, когда можно вопить и хохотать в веселой компании, он, на их взгляд, какой-то недопеченый. Однако даже эти юнцы, презирающие литературу,— великие охотники поговорить. Но умеют ли они говорить? И научатся ли когда-нибудь? Лет тридцать тому назад, когда я только начал наезжать в вашу страну, здесь часто встречалась реклама: «Все удивились, когда я заговорил с официантом по-французски». В наши дни достойно удивления, когда кто-то заговаривает с официантом по-английски. Надо сказать, что в этом смысле и мы в Англии ничуть не лучше, а может быть и хуже. Не так давно я смотрел ряд телепередач, в которых людей останавливали на улице и просили высказаться по разным вопросам. На юге Англии люди говорили из рук вон плохо, словно английский язык был только что изобретен; на севере Англии и в равнинной Шотландии дело обстояло получше; и только в горной Шотландии, где по традиции еще сохраняется уважение к образованности и литературе, люди оказались способны выражать свои мысли толково, приятно и даже убедительно. Ведь не кто иной, как Роберт Льюис Стивенсон, шотландец, сказал: «Литература во многих своих разделах — всего лишь отражение хорошей беседы». Это верно, но верно и то, что умение хорошо вести беседу нам прививает литература. Вот где мы имеем дело с бесподобными собеседниками! Впрочем, нет, как они ни велики, ни знамениты, назвать их бесподобными все же нельзя: ведь бесседуем мы еще и с теми, кого любим, и с близкими друзьями, а многого ли стоит любовь и дружба без задушевной беседы? И мне хотелось бы сказать группе старших школьников: «Я вам открою один секрет. Он касается девушек и женщин, этих загадочных созданий, что живут бок о бок с нами, хоть и представляют собой другую половину человечества. Они, конечно же, ценят и модные наряды, и большие быстрые автомобили, и балы, и званые обеды. Но то, что их действительно завораживает и пленяет, вы можете предложить им, не имея за душой ни цента. Ибо это — беседа, не пустая, косноязычная болтовня, а настоящая беседа». Потом я обратился бы к девушкам и сказал им: «Брак, о котором иные из вас уже подумывают, кто-то недаром назвал одной долгой беседой. И хотя лишь *некоторые* из самых обаятельных женщин в истории были, по словам их современников, хороши собой, зато почти все они, как известно, умели беседовать живо, остроумно, прелестно. Искусство вести беседу не упоминается в рекламах, в которых вас без конца просят и умоляют заботиться о ваших волосах, вашей коже, вашей фигуре и вашей одежде. Дело, понимаете ли, в том, что из вашей беседы никто не может извлечь выгоды — никто, кроме вас самих, ваших друзей, да еще, может быть, некоего ослепленного и очарованного вами молодого человека». Выслушав такое, они, я думаю, не замедлят связать искусство беседы с наслаждением, которое дает литература.

А с чего оно начинается, это наслаждение литературой? Разумеется, с умения оценить то, что хорошо написано, *где бы оно ни встретилось*. Я нарочно подчеркнул эти последние пять слов, потому что считаю их важными, но не уверен, что все преподаватели литературы понимают, в чем их значение. Предположим, что вы преподаете в городе Зените. А в зенитской «Дейли трибюн» имеется спортивный обозреватель, который не довольствуется тем, что втискивает в свою колонку все клише и штампы профессионального жаргона. Он замечает интересные характеры, чувствует драматизм того или иного момента и упор-

но старается найти хорошие слова, чтобы рассказать своим читателям, что видел его глаз и запечатлела память. Человек этот *пишет*, а не просто гонит материал к такому-то сроку. А вы? Вы игнорируете его, чтобы не потратить ни минуты из драгоценного времени, отведенного на Чосера, Мильтона или Чарльза Лэма? Если так, вы, возможно, упускаете случай оказать услугу литературе. Эта хорошо написанная спортивная колонка, горяченькая, прямо из типографии, могла бы ознаменовать для ваших учеников первый шаг в умении оценивать литературу. Правда, сейчас такая возможность представляется реже, чем бывало раньше. Полвека назад, когда я начал читать газеты, в них регулярно сотрудничали такие писатели, как Честертон, Беллок, Т. М. Томлинсон, поставлявшие отличную прозу прямо к утреннему завтраку. А здесь у вас, примерно в те же годы, спортивный отдел мог вести Ринг Ларднер. Как обстоит дело в вашей стране сейчас — не знаю. В том, что у вас пишется, хоть оно и предназначено для очень широкого читателя, присутствует нечто жизнестойкое, что, возможно, поможет пишущим устоять против излишнего редактирования, заглаживания, сведения к шаблону, принятого сейчас не только в редакциях газет и журналов, но и в книжных издательствах. Много ли тут может уцелеть и что именно — этого я не знаю. Но знаю одно: каждый преподаватель, которому попало на глаза что-то актуальное и притом хорошо написанное, оказывает услугу литературе, привлекая к такому материалу внимание своих учеников. И эта услуга тем весомее, что юнцам ничего не стоит вообразить, будто литература имеет к их бурной деятельной жизни не больше отношения, чем стеклянные витрины в местном музее, будто все это — мертвечина на потребу ученым сычам, будто и ваш любимый Чосер, и Мильтон, и Чарльз Лэм — это мумии, а не люди, а ведь они, доведись им встретиться с нашими подростками хоть на полчаса, успели бы пленить их сердца и завладеть их умами. Если подростки любят читать детективы — а кто этого не любит? — не жаль потратить час на то, чтобы показать им, что одни детективы написаны намного лучше других, а затем и подвести к выводу, что все наши детективы и гангстерские фильмы — детский лепет перед кровью, ужасом и безысходным мраком «Макбета»

Боюсь, что в поисках любой хорошей прозы, любой дороги, ведущей к литературе, школьный учитель не дождется ошутимой помощи от профессоров и преподавателей кафедр английской литературы в университетах. Возможно, я ошибаюсь, поскольку не читал научных публикаций на эту тему, но у меня сложилось впечатление, что эти университетские критики выдают нам слишком много книг о маленькой группе избранных писателей и слишком мало книг о великом множестве писателей. Так, например, я легко обошелся бы без иных трудов о Генри Джеймсе, У. Б. Йитсе, Джеймсе Джойсе, Т. С. Элиоте, если бы мог получить взамен еще хотя бы несколько широких критических обзоров, таких как «На родной почве» Альфреда Кейзина или серия статей Максуэлла Гейсмара о современной американской литературе. Мне кажется, что вы, бойцы на передовой линии, имеете все основания сетовать на нехватку боеприпасов. В самом деле, у вас есть причины заподозрить, что многие из генералов и штабных работников отсиживаются в тылу, словно потеряли всякий интерес к битве, в которой вы продолжаете сражаться. Слишком часто кажется, что нынешняя литературная критика пишется членами некоего тайного общества для самих себя. Их труды следовало бы помечать грифом «секретно». Наслаждение хорошей книгой, от чего широкую публику старательно отваживают,— занятие, как видно, более сложное и утонченное, чем участие в японской «чайной церемонии». Литературу ограждают заборами, запирают на замок, а критики берут на себя роль часовых и полиции, следящих, чтобы никто не мог к ней подойти без специального пропуска, и это в то самое время, когда многие из нас убеждены, что ее следует сделать доступной для всех. В наши дни, когда жизнь так часто обходится без литературы, слишком много людей, занимающихся литературой по долгу службы, хотят, чтобы литература обходилась без жизни. Я, конечно, понимаю, что такие люди составляют лишь ничтожное меньшинство, что и на университетских кафедрах ведется немало полезной работы. Однако я, без малейшего желания польстить кому-либо из здесь присутствующих, продолжаю утверждать, что преподавание литературы в средней школе намного важнее. Весь ход моих рассуждений подтверждает эту точку зрения. Битву нужно вести за подростка, еще только готовящегося к жизни. Именно в эти годы литература не просто один из многих предметов в программе. Она имеет особое значение, так как неразрывно связана с жизнью. Применительно к учащимся постарше, к студентам, ситуация уже не столь драматична. Специализация в области языка и литературы — для студента один из многих возможных путей. Невольно вспоминается, что в моей молодости некоторые из виднейших профессоров английской литературы — такие авторитеты, как Брэдли, Сейнтсбери, Кер, Уолтер Рэли, Квиллер-Куч,— сами не были питомцами факультетов английской литературы, поскольку в их студенческие годы таких факультетов не было. И сомнения у меня вызывают не подробные исследования, которыми приходится заниматься студентам,— это-то в порядке вещей,— а экзамены, где оценки ставятся не только за наличие или отсутствие знаний, но и за вкусы и мнения...

Профессор Снукс, возможно, искренне верит, что ставит высокие оценки за блестящее выполнение задания и за оригинальность мысли, но ведь и он не бог, а человек, и если Джо Докс в экзаменационном сочинении выражает явное несогласие со всем, что слышал на лекциях профессора Снукса, Джо рискует получить низкую оценку за то, что «не усвоил пройденного материала». А между тем возможно, что Джо как критик выше профессора Снукса. Правда, шансов на это немного, этак один на сотни, и все же этот единственный

шанс существует, особенно в наших старых университетах, где студентами могут быть вполне сложившиеся взрослые люди. Не раз я слышал и такой довод: студент, избравший специальностью философию, историю или экономику, больше получает, читая Китса и Шелли для удовольствия, чем получил бы, зубря все, что было о них написано, в виде подготовки к выпускному сочинению в будущем году. В работе со школьниками все эти сомнения начисто отсутствуют. Усомниться в ее ценности так же немыслимо, как остановить спасателя, спешащего на помощь утопающему, чтобы спросить его, считает ли он, что делает нужное дело.

Дабы убедиться, насколько ситуация драматична, достаточно провести, выражаясь языком кино, «обратную съемку», то есть подумать не о настоящей, а о псевдолитературе. Псевдолитература отравляет нас, как смог. Я имею в виду не многочисленные отступления от правил грамматики, а отношение к словам как к мусору. Я имею в виду тексты, предлагающие нам питаться соломой и битым стеклом. Сколько нам пишут и говорят о том, что наши молодые ученые, работающие в области точных наук, слишком часто не умеют отчитаться о проделанной работе не только потому, что их исследования так сложны и узкоспециальны, но и потому, что письменный язык им просто не дается. Это означает, очевидно, что они отделены от нас непроницаемой стеной. Они умеют думать у себя в лабораториях, но не как наши сограждане, не как члены нашего общества; этим, возможно, и объясняется, почему иные из них безропотно берутся за самые чудовищные задания, направленные на умерщвление всего живого на той самой земле, что нас кормит. После этого моего замечания будем держаться подальше от представителей точных наук! Но вот сейчас, когда я пишу эти слова, на столе у меня лежат три новые книги, которые мне недавно прислали. Первая написана философом-дилетантом; он не глуп, у него есть и прозрения, и собственные мысли. Я открываю его книгу и читаю такой пассаж:

«Успех эксперимента будет зависеть от того, насколько успешной окажется установка корреляции. Эта концептуальная биполярность является отношением между наблюдателем и явлением и представляет ситуацию, всегда способную взорвать любой догматический подход к физическому миру и привести к условиям, которые, будучи развиты до предела, должны внести аномалию в теорию относительности, теорию де Ситтера[1], да и в любую основополагающую теорию, которая, опираясь только на отдельные избирательно взятые гипотезы, берется утверждать нечто абсолютно и не парадоксально всеобъемлющее...»

Это, конечно, абракадабра, но не будем забывать: автор-то как-никак философ, и притом дилетант. Стоит, впрочем, вспомнить и то, что Дэвид Юм тоже был философ-дилетант, однако на такие взлеты никогда не отваживался. Автор второй книги, которая лежит у меня на столе, отнюдь не новичок в литературе, его статьи об искусстве и эссе по вопросам эстетики известны во всем мире. И вот я открываю его книгу где-то в середине и нахожу там следующее:

«Мондрианов[1] идеал гармонии, имеющий, по его словам, «огромное значение для человечества», можно отличить от дисгармонии не путем исключения эмоции: все дело в том, что эмоция, вызванная ощущением гармонии, отлична от эмоции, вызванной ощущением дисгармонии. Это позволяет утверждать, что цель нового подъема воли художника состоит в том, чтобы очистить эмоцию, освободить ее от посторонних мешающих примесей; иными словами — привести к единству форму и содержание произведения искусства...»

Беру третью книгу, тоже труд давно известного автора, на сей раз историка и социолога, и вот что мне предлагается на стр. 151:

«Ссылка на «непредвиденную необходимость», обычно чреватая наибольшей опасностью, одновременно с методичным накоплением элементов и районов потенциальной силы для Армагеддона[2] поддерживает «перемирие страха» на краю пропасти в соответствии с афоризмом Элайхью Рута[3], гласящим, что суверенное право государства — «защищать себя, не допуская такого положения вещей, при котором защищать себя будет уже поздно». Пока такая тактика применялась к ограниченным концепциям, таким, как доктрина Монро, она была чревата лишь ограниченной опасностью и казалась вполне осуществимой; теперь же, когда концепция расширилась и охватывает множество непредвиденных обстоятельств на всем земном шаре, мы превратили разумную тактику, ранее лишь время от времени чреватую номинальной опасностью, в чисто умозрительную доктрину, непрерывно чреватую серьезнейшей из опасностей и без разумной надежды на достижение наших целей...»

Автор пытался здесь сказать нечто очень важное, и я с ним согласен, но тем больший протест вызывает у меня этот бесцветный, полумертвый язык, это нагромождение абстрактной терминологии. Это — проза, забывшая, что мы наделены чутким слухом. Такую прозу можно приравнять не к резьбе по дереву или чеканке по металлу, а к изделиям, наштампованным из пластмассы. И парадокс нашего времени заключается отчасти в том, что все эти три автора, ратующие за жизнь в мире, где господствует статистика, машины и смерть, предлагают нам прозу, уже теряющую аромат, ритмичность, энергию, словно статистике, машинам и смерти победа уже обеспечена. Все трое они, думается, были бы очень невысокого мнения о... ну, скажем, о Роберте Льюисе Стивенсоне. Так давайте же заглянем в него, как заглянули в них, причем выберем не зрелого Р. Л. С., а молодого, двадцати с чем-то лет, длинноволосого, в потертом бархатном пиджаке и в

[1] Де Ситтер Виллем (1872—1934) — нидерландский астроном.

[1] Мондриан Пит (1872—1944)—нидерландский художник.

[2] Армагеддон (Библия, Апокалипсис, 16, 16) — место последней битвы между силами добра и зла.

[3] Элайхью Рут (1845—1937) — американский юрист и политический деятель.

своих писаниях еще не изжившего некоторой манерности.

«Правда, цели мы никогда не достигнем; по всей вероятности, такой точки и нет; и даже если бы мы жили веками и были наделены божественной силой, мы и к концу ненамного приблизились бы к тому, чего искали. О прилежные руки смертных! О упрямые ноги, без устали шагающие неведомо куда! Скоро, скоро они вознесут вас на вершину вон того холма, и уже совсем близко, на фоне заходящего солнца, возникнут шпили Эльдорадо. Не знаете вы, какое счастье выпало вам на долю: ибо идти вперед с надеждой в сердце лучше чем добраться до цели, и подлинный успех — в неустанном труде»[1].

Допустим все это нам давно известно, и впоследствии он писал менее подражательно и цветисто изящнее и строже, но все равно и это проза, выполняющая свое исконное предназначение. она волнует сердца, когда ее слышишь. а не кажется мешаниной из случайных слов, которые нам преподносят как несъедобную тюремную баланду. Вы, леди и джентльмены, лучше меня знаете, какой дорогой вы должны идти с надеждой в сердце, какой труд принесет вам настоящий успех. Я только пытался связать эти ваши повседневные задачи с некоторыми явлениями, угрожающими всей нашей цивилизации, и эту связь я установил — пусть и многословно. и с трудом, и с огрехами Мы, я надеюсь, доказали свой тезис, что преподавание литературы — занятие очень важное, насущно необходимое. Но я не прошу вас вспоминать мои рассуждения ни в школе, ни за ее стенами. Вспоминайте лучше ту строку Вордсворта, которую я цитировал, те шесть слов, в которых заключена глубочайшая правда, касающаяся всех нас — гостей и хозяев, ораторов и публики, учителей и учащихся, не в меру худощавых молодых писателей и не в меру располневших писателей старых, и даже директоров школ и политических деятелей:

Мы живы Восхищением, Надеждой и Любовью.

Перевод с английского М. ЛОРИЕ

[1] Отрывок из раннего очерка Стивенсона «Эльдорадо» (1881).

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

«*Террор и репрессии,— отстучал телетайп, — террор и репрессии — вот что заставило наших братьев-писателей покинуть родину*». Эти слова были произнесены Эльдером Сильвой, генеральным секретарем Ассоциации уругвайских писателей, и тут же переданы информационным агентством с пометкой «reportaje exclusivo»— специальное сообщение. «*Но все наши писатели вернутся,— продолжал Эльдер Сильва,— и тогда у нас состоится большой откровенный разговор*».

Проблема, затронутая Эльдером Сильвой, действительно представляет чрезвычайную важность для сегодняшней литературы Уругвая, где, похоже, завершается бесславный период одиннадцатилетнего правления военных. Приведя страну на грань экономической катастрофы, оказавшись в полной политической изоляции, военная диктатура вынуждена была согласиться на проведение выборов, возобновление деятельности представительных органов и передачу власти гражданскому правительству в марте 1985 года. Уже началось возвращение в страну политических эмигрантов.

Для Уругвая процесс реэмиграции имеет особое значение. Дело в том, что в годы военного режима страну покинул каждый пятый ее житель. При этом эмигрировала наиболее активная часть населения — 20% рабочей молодежи в возрасте от 20 до 29 лет, 19% квалифицированных рабочих, прошедших специальное профессиональное обучение, 70% университетской профессуры, большая часть творческой интеллигенции... Невиданный масштаб эмиграции — свыше 600 тысяч человек на 3 миллиона населения — и ее ярко выраженный политический характер дали основание некоторым журналистам окрестить ее «вторым исходом». Подразумевался известный эпизод уругвайской истории: когда в 1810 году во время войны за независимость национальный герой освободительной борьбы генерал Хосе Хервасио Артигас осаждал Монтевидео с запершимися там испанцами, правящая хунта Буэнос-Айреса, желая подчинить себе все провинции Ла-Платы, вступила в предательский сговор с врагами. Генерал Артигас временно снял осаду и увел патриотов — войска и население — за пределы страны; это событие и было впоследствии названо «исходом уругвайского народа».

Уругвайская политическая эмиграция породила, как известно, весьма своеобразный феномен —«культуру в изгнании». Культура в изгнании, опирающаяся на гуманистические национальные традиции,— явление морального, а в большинстве случаев и политического сопротивления диктатуре. Уругвайская культура в изгнании вызвала живой интерес, горячее сочувствие и поддержку мировой общественности, ей было уделено много внимания как в латиноамериканской, так и в европейской прессе. Журнал «Иностранная литература» откликнулся на нее статьей «Культура в изгнании» (1982, № 10), где, в частности, говорилось: «В течение последних десяти лет за пределами небольшой латиноамериканской страны — Уругвая — сформировался культурный поток, который, развиваясь в магистральном направлении традиционной уругвайской культуры, всегда пользовавшейся авторитетом на континенте, намного превзошел ее интенсивностью, актуальностью и международной значимостью».

Следует отметить, однако, что культурная жизнь в самом Уругвае не была окончательно подавлена. Военные власти, печально прославившиеся закрытием всемирно известного театра «Гальпон» (он возобновил свою деятельность в эмиграции и лишь недавно вернулся в Урутвай), отменой решения о присуждении национальной литературной премии за 1981 год одному из старейших писателей Ильдефонсо Переде Вальдесу (по причине «марксистского содержания его творчества») и многими другими аналогичными «подвигами», несмотря на все усилия, не смогли остановить медленное, но неизменно поступательное движение национальной культуры. Сам факт ее существования был вызовом режиму — она же не просто существовала, она выросла в культуру сопротивления и смогла вобрать в себя новое поколение писателей, художников, музыкантов. И вот теперь, когда началась массовая реэмигра-

ция, страна стоит на пороге важного события — встречи двух ветвей прогрессивной национальной культуры. Этот процесс, который, в сущности, уже начался, и стал недавно предметом специального разговора генерального секретаря Ассоциации уругвайских писателей с сотрудниками агентства Прессур, информационного агентства, которое было создано прогрессивными уругвайскими общественными организациями в эмиграции с целью информировать мировое общественное мнение о событиях в стране; Прессур начало функционировать в Италии, в настоящее время имеет отделения во многих странах Европы и Латинской Америки.

«Литература сопротивления внутри страны — сказал Эльдер Сильва,— создавалась писателями различных поколений. Репрессии и ограничения коснулись писателей всех возрастов но главная их тяжесть обрушилась на тех кого Анхель Рама[1] назвал «поколением эпохи кризиса» и на сменяющее его поколение 70-х годов.

Для литературной жизни Уругвая двух последних десятилетий,— продолжал Эльдер Сильва,— характерно создание небольших литературных объединений ведущих самую разнообразную работу: литературные чтения «конференции, дискуссии, пропаганду художественных произведений, издательскую деятельность».

Диктатуре не удалось подавить эти литературные группы которые год от года проявляют все большую активность и занимают все более наступательную позицию Произведения писателей принадлежащих к этим группам как раз и образуют то, что можно назвать основным корпусом современной уругвайской литературы, оазвивающейся в стране. И эта сегодняшняя литература в стране, считает Эльдер Сильва, создается главным образом усилиями молодого поколения.

«Такие журналы, как «32-я параллель», издания «Трегуа» или «Дестабанда», «Куадернос де гран альдеа», «Трова», «Эдисьонес де уно»,— подчеркнул руководитель Ассоциации уругвайских писателей,— представляют первые попытки, предпринятые поколением, сформировавшимся в годы фашистского режима, вновь привлечь внимание к проблеме литературы, к общественной функции писателя.

Литературные группы,— продолжил Эльдер Сильва,— возникновение и деятельность которых обычно осуществляется в рамках рабочего и студенческого движения, подвергаются преследованиям со стороны диктатуры».

Генеральный секретарь Ассоциации уругвайских писателей особо остановился на проблеме предстоящего слияния двух ветвей уругвайской литературы.

«На состоявшейся недавно в Монтевидео встрече писателей,— сообщил он,— была принята резолюция, которая обязывает Ассоциацию незамедлительно принять меры, обеспечивающие распространение в Уругвае литературных произведений, созданных и опубликованных в эмиграции, чтобы таким путем включить эту литературную продукцию в общенациональный литературный поток».

Главной предпосылкой и решающим условием успешного «воссоединения» уругвайской литературы является глубокая идейная общность ее «внутренней» и «внешней» составляющих Что же касается их художественной специфики, здесь пока еще много неясного, и чтобы получить ответ на этот вопрос, полагает Эльдер Сильва, необходимо провести глубокое сопоставительное исследование.

Таким образом уругвайская литература, как и уругвайская культура в целом, стоит на пороге нового этапа своей истории.

Ю. ВАННИКОВ

[1] Известный уругвайский критик принимал активное участие в деятельности Широкого фронта (объединение левых политических партий Уругвая, руководимое Либером Сереньи; в состав Широкого фронта входит Коммунистическая партия Уругвая). Трагически погиб в авиакатастрофе в 1983 г.

КЛУБ КУЛЬТУРЫ ИЛИ ЦЕРКОВЬ ОТРАВЛЕННЫХ УМОВ?

«Клуб культуры»— так именует свой в высшей степени эклектичный по стилистике ансамбль двадцатитрехлетний Бой Джордж урожденный Джордж О'Дауд, выходец из многодетной лондонской семьи ирландцев-католиков «Церковь отравленных умов»— недавно записанная им песня высмеивающая слепую приверженность догмам традиционной религии Оба названия симптоматичны для музыки «новой волны», взмывающей ныне над Британскими островами и готовой по мнению журнала «Ньюсуик» захлестнуть также и Соединенные Штаты. Прецедент уже имел место двадцать лет назад, когда ливерпульская четверка «Битлз» произвела фурор в Новом Свете и стала эталоном для бесчисленных американских рок-групп. Сейчас на очереди новые эталоны внешне совсем иные, но функционально им близкие и опять рожденные туманным Альбионом.

Многое здесь выглядит парадоксальным. Разве не Америка задает тон в музыкальном бизнесе — ведущей индустрии развлечений превратившейся в транснациональный картель с мультимиллионными операциями контролируемыми из Нью Йорка, Лос-Анджелеса и Нашвилла, штат Теннесси? Продукция этого картеля, поставляемая в Западную Европу посредством радиоволн, гастролирующих поп-звезд, но глав-

ное — астрономических тиражей грампластинок, образует ныне львиную долю культурного экспорта США. Настигая своих потребителей дома и на работе, в метро и в автомобиле, кафе, дискотеке и даже во время уединенной прогулки по лесу, поп-музыка безостановочно воздействует на восприятие сотен миллионов людей с раннего утра до поздней ночи; создает немолчный звуковой фон больших городов и недавно еще тихих сельских общин; служит основным средством развлечения молодежи и благодаря карманным магнитофонам «уокмен» обеспечивает индивидуальному слушателю психо-акустический заслон, наглухо отгораживающий его от остального мира

Во всех западноевропейских странах множатся исполнители и сочинители песенно-танцевальных пьес, имитирующих заокеанские образцы, но если спросить, откуда эти образцы взялись и являются ли они чисто американскими, ответ будет далеко не однозначным. Любые чересчур широкие обобщения на сей счет лишь запутывают положение. Массовая музыкальная культура отнюдь не едина и не однородна, она мозаична по составу, качественно дифференцирована, чрезвычайно мобильна и эстетически противоречива. Недостаточно ясное осознание этого обстоятельства не раз приводило к неверным оценкам и прогнозам как отдельных тенденций, так и общего характера художественного взаимовлияния Нового и Старого Света. Более того, это затрудняло для европейской, да и для американской публики понимание существа той разновидности культурного империализма США, которую Пит Сигер, видный фольклорист, исполнитель песен протеста и публицист, назвал «всемирным потопом поп-музыки».

О приливах и отливах этого «потопа» у нас написано довольно много, в частности и на страницах журнала «Иностранная литература»[1]. Обратимся лишь к тем ключевым моментам истории поп-музыки, которые помогают увидеть содержание и эстетические корни современной «новой волны».

Гигантским корпорациям, производящим грампластинки, не нужны были эксперименты и нововведения, покуда на текущую продукцию сохранялся устойчивый спрос. Когда же в начале 80-х наметились признаки спада, дальновидные менеджеры стали подумывать о смене идолов. Не имея в запасе ничего подходящего, они обратили взоры за океан и нашли там желаемое.

«Английские группы моложе наших и звучат более свежо,— свидетельствует на страницах «Ньюсуик» вице-президент «Ар-Си-Эй рекордс» Грег Геллер.— Английская сцена всегда поощряла новации — как в одежде, так и в музыке. К тому времени, когда американское радиовещание окончательно погрузилось в застой, появилось МТВ (канал кабельного телевидения, непрерывно передающий программы так называемого рок-видео — записи популярных ансамблей, сопровождаемые электронно-препарированными изображениями исполнителей и сюрреалистической мультипликацией), а с ним и крайняя нужда в группах, на которые было бы интересно смотреть,— тут открылись огромные перспективы».

В самом деле, покуда остепенившаяся и стареющая Америка неоконсервативных 70-х годов тешилась музыкальными реминисценциями бунтарской юности 60-х, подрастающее ее поколение, скептически относившееся ко вкусам отцов, не находило вокруг себя музыки, которую оно могло бы назвать своей. Слишком уж внутренне успокоенным и самоудовлетворенным при всей его внешней браваде было то, чем продолжали по инерции восхищаться родители и что для их детей было пустым и по сути мертвым.

Но вот осенью 1977 года журнал «Роллинг стоун», претендующий на роль идеологического лидера рок-сообщества, обнародовал сенсационное известие: «Рок жив, болен и обитает в Лондоне», подкрепленное репортажем с места и снабженное эпиграфом из книги пророка Исайи: «И будет вместо благовония зловоние». В репортаже сообщалось о панк-рок-группе «Секс пистолз» и ее солисте по имени Джонни Роттен (то есть Прогнивший — артистический псевдоним Джона Лайдона, афишировавший плачевное состояние его зубов), только что записавших пластинку «Анархия в Британии», на которой сквозь нечеловеческое рычание в ритме «регтей», пришедшем в Англию с Ямайки, можно было разобрать слова:

«Немедленно и сейчас! Аааанаархиииияяя! Я — анархист! Я — антихрист! Я не знаю, чего хочу, но знаю, как это получу,— буду уничтожать прохожих, потому что хочу быть Анархией!»

Этим номером группа начинала свои концерты в сомнительных клубах на окраинах города перед толпой подростков с разноцветными волосами, воткнутыми в щеки булавками и ожерельями из цепочек от сливных бачков, пытавшихся тут же осуществлять вышеупомянутый призыв на практике, а заканчивала собственной версией гимна «Боже храни королеву» с припевом: *«Нет будущего, нет будущего нет будущего у вас»*,— дружно подхватываемым ревущим залом.

«Секс пистолз» не были одиноки в своей анархо-садо-мазохистской устремленности; за ними шли другие исполнители, освоившие на скорую руку пару гитарных аккордов и неукротимые в твердой решимости продемонстрировать все формы антиобщественного поведения, на какие только они могли быть способны. Емкое прилагательное «панк» (испорченный, разложившийся, мерзкий, дрянной, негодный, отвратительный) стало ключевым словом в антиэстетике «новой волны», провозгласившей торжество уродливости, ненависти и безнадежного разочарования в окружающем мире. «Нет будущего и у вас и у нас»— именно об этом кричали, выли и полузадушенно хрипели изнемогающие от бессильной ярости панк-рок-группы, в то время

[1] См. статью Д. Ухова «Рок-музыка: взгляд из 80-х», «ИЛ», 1982, № 4.

как их панк-аудитория предавалась ритуальному антитанцу «пого»— маниакальному прыганию на одном месте с постепенным освобождением от мешающих этому занятию частей туалета.

Сколь разительный контраст идеализму «Битлз» и поклонников поп-музыки 60-х годов, повторявших вслед за своими кумирами: «Все, что вам нужно,— это любовь»! Правда, и тогда не было недостатка в экзальтации и эмоциональных эксцессах со стороны тинэйджеров подростков, но если в массовом ажиотаже вокруг «Битлз», как писал Джеймс Олдридж, отражалась *«личная борьба рабочей молодежи против капитализма.. стремление человека выжить и утвердить себя в обществе, которое вовсе не хочет его утверждения как индивида» и «преувеличенное восхищение тем, чего хотел бы достигнуть каждый рабочий парень»*,—

то истерия панк-рока знаменовала полное крушение былых надежд и категорическое отрицание того что для теперешних рабочих парней было заведомо недостижимо и потому ненавистно в принципе.

В объяснении причин столь крутого поворота во взглядах английские наблюдатели на редкость единодушны. Журнал «Тайм» приводит по этому поводу мнение нескольких крупных авторитетов.

«Послевоенные правительства обещали ребятам их долю власти и право самим распоряжаться своей судьбой,— говорит социолог Пол Корриген из Политехнического колледжа в Северном Лондоне.— Эти обещания были приняты всерьез. Теперь молодые чувствуют себя обманутыми Они не требуют дворцов но хотят получить то, что государство им обещало: работу и немного самостоятельности в устройстве собственной жизни»

Профессор Брадфордского университета Джеффри Пирсон, анализируя молодежные проблемы 80-х годов, приходит к тем же выводам:

«В Великобритании у молодых людей очень мало возможностей для участия в общественном процессе. Кажется почти невообразимым что страна могла бы сказать своему юношеству: вы — часть какого-то более крупного целого».

Однако прогнозы относительно дальнейшего развития сложившегося положения туманны. Так Стюарт Мак-Лир, редактор специального приложения к «Таймс» по вопросам образования, констатируя увеличение разрыва между богатыми и бедными, а также «имеющими работу и лишенными ее» логически допускает возможность грядущих социальных беспорядков, но фактически считает их маловероятными.

«В действительности,— успокаивающе заверял он, выступая в августе 1983 года на собрании Британской ассоциации содействия развитию науки,— наблюдателей гораздо больше поражает реализм восприятия действительности молодыми людьми, испытывающими на себе последствия этих экономических изменений, нежели их воинственность».

Размах рабочего движения в Англии последних лет, особенно забастовка шахтеров, вылившаяся к середине 1984 года в кровопролитные столкновения с полицией, свидетельствует о противоположном, причем музыка «новой волны» если не во всем перекликается с этими событиями, то, во всяком случае, с очевидностью выражает мироощущение тех молодых британцев, которым, как пишет журнал «Тайм», не удается найти себе подходящую нишу в неустойчивой экономике и жесткой кастовой системе их страны.

Именно здесь проходит социальный и эстетический водораздел между «новой волной» и популярной музыкой прошедшего периода. Основной контингент рок-исполнителей 60-х годов и большую часть их аудитории составляли «разгневанные молодые люди»— дети среднего класса, поглощенные прежде всего домашним бунтом против «моральной тирании взрослых», и те равнявшиеся на них подростки из сравнительно благополучных рабочих семей, которые лелеяли мечту подняться хотя бы на одну ступеньку вверх по социальной лестнице.

«Новая волна» зародилась в «низах» пролетарской молодежи, подобных амбиций уже не питавшей и сразу же выражавшей презрение и вражду ко всему, что так или иначе ассоциировалось ими с эстетикой «Битлз» и «Века Водолея».

Как мы уже отмечали, «новая волна» лишена какого-либо внутреннего единства. Кроме того, она непрерывно меняется: панк-рок давно уже не сенсация, «Секс пистолз» в своей жажде саморазрушения просуществовали всего около двух лет, а бешеный Джонни Роттен, ставший опять Джоном Лайдоном и организовавший группу «Паблик имидж лимитед», во многом пересмотрел былые требования немедленной анархии:

Сбавляйте ход, сбавляйте ход,
Разделываясь с альбатросом
И сея недовольства семена.
Я вас узнал доподлинно, и вы
невыносимы.

Группа «Полис» пытается даже посредничать в конфликте между «разгневанной» молодежью 80-х годов и усмиряющими ее властями, обращаясь одновременно и к тем и к другим с предложением

«регуманизировать себя», поскольку *«полицейский надевает мундир и берется за пистолет потому, что насилие здесь — социальная норма. Надо гуманизироваться».*

Но упование на «невидимое солнце, согревающее и вас и меня» лучами небесных мелодий, разделяется далеко не всеми. Элвис Костелло, один из основателей движения «рок против расизма», сочетающий агрессивную напористость с едким самоанализом, иронизирует над эйфорией бездумного погружения в ритмический транс рок-н-ролла, когда

«верится мы идем к блаженству, верится, вот-вот будет рай...».

О суровой действительности, поджидающей счастливых танцоров за стенами субботней дискотеки, не дает забыть уже само название бирмингемской группы «УБ-40»— печально знакомый десяткам

тысяч молодых англичан шифр карточки пособия по безработице:

«Хоть я и не существую и никому неизвестен, я все-таки всегда здесь — статистическая единица в мире, которому до меня нет дела».

Ансамбль, зловеще именующий себя «Стренглерс» (душители), упорно напоминает слушателям, что

«все любят вас, когда вы мертвы», живых же «вас распинают за любую ошибку, а если вы правы — выводят вперед, донага раздевают, оплевывают и забрасывают камнями, метя вам в голову».

С подобной ситуацией не хочет мириться группа «Клэш» (слово, означающее грохот, лязг, гул набатного колокола, столкновение или стычку), настойчиво взывающая к растерянной аудитории: «Поймите, нужно иметь какую-то цель, иначе город раздавит вас — днем раньше, днем позже».

Среди ветеранов панк-рока «Клэш» выделяется максимальным упорством в отстаивании своего права на художественную (и политическую) независимость, отчетливо проявленную в альбоме «Сандиниста!» и следующим за ним диске «Боевой рок», первая вещь которого — «Знай свои права»— начинается так: «У тебя есть право на свободу слова, покуда ты не настолько глуп, чтобы попробовать это на практике». •

«По-видимому, «Клэш» до сих пор не имеет определенного ответа на вопрос, что может сделать ансамбль рок-н-ролла сверх поднятой им тревоги,— пишет рецензент «Роллинг стоун» Дэвид Флик,— и все-таки в то время как большинство лжепророков и нытиков, выметнутых на поверхность «новой волной», пребывают в ожидании Прекрасного Нового Мира, «Клэш» зубами, ногтями и гитарами сражается за наш собственный мир единственно доступным им способом. Пусть «Боевой рок» и не дает ответов, но можно считать, что он шлет нам последнее предупреждение: присоединяйся к борющимся или заткнись и перестань пустословить».

Нельзя, однако, сказать, что подобная установка находит широкую поддержку. Чем ближе к середине 80-х годов, тем заметнее поворот «новой волны» в сторону композиционно более сложных и профессионально отточенных, но гораздо менее содержательных произведений. Сказывается и усталость от тщетности наивных усилий воздействовать на реальную жизнь одними лишь музыкальными заклинаниями, и стремление смыть вызванную этим горечь, и понятное желание компенсировать лишения, связанные с долгой битвой за признание, и, наконец, соблазн массового успеха, возможного лишь на пути компромисса с требованиями коммерческой эстрады. Последняя, впрочем, охотно приветствует весь арсенал панк-рока — при условии, что он используется в декоративно-игровых целях, как, впрочем, и любые средства театрализации музыкального шоу. Уже упомянутый нами Бой Джордж откровенно декларирует главный принцип руководимого им «Клуба культуры»:

«Плагиаризма — принципиальная установка выдавать за свое созданное другими — одно из любимейших моих слов. «Клуб культуры» есть самая искренняя форма «плагиаризма» во всей современной музыке — только мы делаем это лучше большинства остальных».

Во имя чего это делается? Бой Джордж дает простое, отчасти уже знакомое нам объяснение:

«Большинство детей мечтают о том, чтобы стать пилотами или звездами футбола; но к шестнадцати годам реальность наносит им основательный удар, и они понимают, что должны идти работать. Я к таким детям не принадлежал. Я избегал реальности и старался создать себе совершенно иной мир».

Но всякая «иная образность» и «иная реальность»— отыскивается ли она в афро-азиатской «племенной» экзотике, европейской ретро-архаике или стилизованном провинциализме — сходит за таковую лишь на мгновение, а затем тут же обнаруживает зияющую за ней пустоту. Отсюда необходимость непрерывной калейдоскопической смены декораций, грима и амплуа: за свою недолгую пока карьеру Бой Джордж уже фигурировал перед публикой в облике то набриолиненного стиляги 50-х годов, то отрешенной от всего мирского монахини-черницы, то несовершеннолетней «старлетки» с прической «под дикобраза», то фермерской дочери, вырядившейся для деревенской танцульки. (Отметим, что тяга к травестированию, переодеванию, оборотничеству, подчеркивание зыбкости всех видимых форм особенно характерна для сегодняшней «новой волны»— стриженная «ежиком» Энни Ленокс, солистка недавно организованной группы «Эуритмикс», выступает на концертах одетой под бравого флотского офицера в кожаных перчатках и фуражке с кокардой.)

Теоретически подобный подход, наверное, и мог бы привести к чему-то вроде «Клуба культуры»— празднично-карнавального общения и спонтанного взаимодействия разнообразнейших художественных традиций. Однако на практике он почти неизбежно вырождается в массовую распродажу культурных символов одноразового пользования, подверженных ускоренному эстетическому износу, требующих постоянного обновления ассортимента и стимулирующих погоню за все более интенсивными чувственными раздражителями. «Церкви отравленных умов» в виде бесчисленных «фэн-клубов» (клубов поклонников) и отрядов неистовых болельщиков, вступающих в рукопашные схватки с «неверными» — столь же догматичными — приверженцами соперничающего поп-культа, возникают, а часто намеренно инспирируются фирмами грампластинок вокруг каждой эстрадной звезды, способной хотя бы на один сезон удержаться в таблицах популярности — сводках продаваемости наиболее ходких дисков и кассет.

«На низшем ее уровне,— констатирует лондонский корреспондент «Ньюсуик» Джим Миллер,— нынешняя британская сце-

на выглядит словно специально созданной для недоразвитых особей, которым не о чем говорить друг с другом и остается только пускать пузыри из пенящейся жвачки, играть с компьютерами, запрограммированными кем-то извне, и щеголять в одеждах, создающих лишь иллюзию осмысленности».

Судя по рекламным проспектам, это как раз то, что устраивает капитанов индустрии развлечений по обе стороны Атлантики. К высшему же уровню английской «новой волны» приложима взвешенно-объективная оценка данная журналом «Даун бит» группе «Клэш» как одной из лучших ее представительниц:

«В качестве острой рок-музыки она привлекает тех, кто довольствуется горячим звучанием и напористой интонацией, заставляющей раскачиваться, не обращая внимания на слова и отстраняясь от выраженного в них содержания. Даже для вникающих в текст бунтарский «политический» рок способен в равной мере служить и катализатором, и приятно успокаивающим средством. Оставаясь пассивным, слушатель находит в нем подтверждение тому, во что он и так верит но не предпринимает каких-либо ответственных действий. И все-таки песни напоминают нам о проблемах, которые многие пытаются позабыть».

А это не так уж мало, если учесть, какому давлению подвергается каждый честный художник, вынужденный иметь дело с массовой буржуазной культурой, не поощряющей ни преемственности традиций ни стремления к артистическому совершенству. Конечно, суммарное художественное качество произведений «новой волны» довольно низко — чему не приходится удивляться, ибо для большинства ее авторов-исполнителей, равно как и для их слушателей, рок-музыка служит средством решения не столько эстетических, сколько практических жизненных проблем. Но именно поэтому ей никак нельзя отказать в культурном значении, поскольку она знаменует собой пробуждение художественного самосознания у того социально-демографического слоя, который до сих пор вообще не имел представительства в сфере искусства и только теперь впервые пробует свой голос, вырабатывает собственный язык и выдвигает собственных героев, категорически отказываясь принимать то, что издавна навязывалось ему свыше.

Л. ПЕРЕВЕРЗЕВ

Публицистика

МАКСИМИЛИАН БЕРЕЗОВСКИЙ

НЕПРЕМЕННО СКАНДАЛ

Главы из книги

Перевод с польского и вступление А. ЕРМОНСКОГО

Имя Максимилиана Березовского, по-видимому, известно нашим читателям. В 1980 году Политиздат выпустил в русском переводе его книгу «Бог любит Америку» — живо, темпераментно и точно написанное исследование «американизма», того, что принято называть американским образом жизни.

Максимилиан Березовский — опытный польский публицист, журналист-международник, изъездивший, как говорится, полмира. Хорошее, из первых рук, знание Запада, притом не только с фасадной или официальной политико-дипломатической стороны, наблюдательность, умение за пестрыми мелочами и — что еще ценнее — в самих этих пестрых мелочах повседневности буржуазиого общества увидеть подлинную трагедию человека, из которого такое общество не просто выжимает все соки, но и которым оно умело манипулирует, превращая его, по существу, в формально «свободного» робота, — вот что неизмеиио привлекает к написаиному им. А написал он уже немало книг. И одна из последних — «Непременно скандал» (книга вышла в Варшаве в 1982 году), главы из которой предлагаются вниманию читателей «Иностранной литературы».

Проблемам массовой культуры на Западе посвящено — в том числе и у нас в стране — немало основательных научных исследований и популярных публицистических работ. Книга Максимилиана Березовского на первый взгляд не добавляет к ним чего-то принципиально нового. Но только на первый взгляд. Добавляет — и прежде всего именно тем, что показывает, насколько неоднозначно, противоречиво само это явление: массовая культура.

Максимилиан Березовский не пытается объять необъятное. Он нарочито сужает круг вопросов, о которых пишет. Его занимает прежде всего сам механизм, действие (и воздействие на западное общество) массовой культуры, ее органическая связь с крупным бизнесом и так называемой большой политикой.

Автор старается избегать схем, упрощенчества, навязчивой дидактики. Он удивляется увиденному, прочитанному, услышанному, размышляет, побуждая тем самым

© Wydawnictwo «Książka i Wiedza», Warszawa, 1982.

МАКСИМИЛИАН БЕРЕЗОВСКИЙ — MAKSYMILIAN BEREZOWSKI

Польский журналист, публицист. Несколько его книг, вышедших в последние годы, посвящены проблемам современной Америки, в том числе «Смерть сенатора» («Śmierć senatora»), «Карьера Ричарда Никсона» («Kariera Richarda Nixona»), «Три женщины и президент» («Trzy kobiety i prezydent»), «Бог любит Америку» («Bóg kocha Amerykę»), «Моралите с американским ангелом» («Moralitet z amerykańskim aniołem»).
Книга «Непременно скандал» («Koniecznie skandal»), главы из которой предлагаются вниманию читателей, в полном объеме готовится к печати в Политиздате.

и читателя задуматься над десятками, вернее, над сотнями фактов (курьезных, нелепых, трагических), которые как-то незаметно, как будто бы сами собой складываются в картину духовно больного мира, где высшим, непререкаемым законом бытия остается «право» на эксплуатацию человека человеком.

Максимилиан Березовский предпочитает обращать наше внимание на парадоксы поп-культуры.

Скажем, она расцветает в обществах, где уровень образованности и культуры весьма и весьма высок. Каково взаимоотношение между двумя этими очевидными обстоятельствами? Не означает ли это, резонно спрашивает автор, что во многих отношениях система образования приспосабливается к вкусам и законам массовой культуры? И куда это может привести?

Или еще один вопрос. В самой массовой культуре мирно уживаются дешевый сентиментализм, низкопробная мелодрама, ханжеское пуританство в том, что касается норм человеческого поведения и общежития, с культом силы, жестокости и разнузданности во всех мыслимых (а по большей части немыслимых) формах. Что это, задается вопросом Максимилиан Березовский, «плюрализм», терпимость, нивелировка противоположных когда-то позиций — или хаос, потеря ориентира, непоследовательность и неуравновешенность?

В высокоразвитых, «цивилизованных» странах Запада все больше утверждается серьезное отношение к шарлатанству. Отчего это происходит, где корни этого очередного парадокса? Не в том ли, подводит читателя к мысли автор, что в капиталистическом мире эпоха компьютеров, гороскопов, рекламы и экзальтации, спешки и внешнего благополучия вносит в сознание человека хаос? И если так, то в чем именно дело?

Почему президентом США в наш век не может стать человек, по натуре своей неспособный выступать в амплуа «звезды», в данном случае «звезды» не столько кино, театра, рекламы, сколько «звезды» того специфического шоу, в которое в США намеренно пытаются превратить (в глазах избирателя) выборы? Останавливаясь именно на этой внешней стороне президентских выборов в США, автор подчеркивает: «Дабы быть избранным, надо приспосабливаться к вкусам и предпочтениям аудитории, воспитанной поп-культурой, соответствовать выработанным ею стандартам». В этом смысле избрание Рейгана, актера, пришедшего в политику из кино, было одним из самых больших триумфов американской массовой культуры. И такое происходит в крупнейшей стране капиталистического мира, претендующей на роль его политического и духовного лидера. Почему? Чем это грозит человечеству?

На эти и многие другие вопросы книга Максимилиана Березовского дает ответы. Не формулами, а умело подобранными фактами, их основательным, часто остроумным объяснением, ненавязчивыми, но политически точными характеристиками тех или иных явлений, процессов, тенденций, характеризующих духовную жизнь так называемой западной цивилизации.

Порожденная миром денег и верно ему служащая, массовая культура бездуховна по самому своему существу. Более того, она античеловечна, ибо, представляя массам единственно зрелища, она воспитывает из людей, даже высокообразованных в своей области, настоящих варваров в нравственном отношении.

Массы заслуживают куда большего чем просто зрелищ. Эта простая ленинская мысль легла в основу всей культурной политики социалистического общества, нацеленной на просвещение десятков миллионов людей, на их приобщение к культуре, на их эстетическое и нравственное воспитание. Вот почему с такой силой и прямотой К. У. Черненко на недавнем юбилейном пленуме правления Союза писателей СССР особо отмечал: «Плохо написанные книги и оперы, примитивно сиятые теле- и кинофильмы, аляповато сработанные скульптуры и картины не просто портят вкус миллионов людей. Они дискредитируют темы и идеи, за которые берутся их создатели. Так что против серости и безликости в искусстве надо бороться настойчиво и принципиально».

И еще одно соображение приходит в голову, когда читаешь книгу Максимилиана Березовского. Серость и халтура, возведенные на Западе в ранг «искусства для масс», вкупе с убожеством по-мещански «красиво» оформленных идей — вот что представляет собой сегодня поп-культура, оплачиваемая и эксплуатируемая буржуазным обществом. Как и всякая посредственность, она очень агрессивна. И недаром же ее «ценности», ее приемы, ее идолов на час политики Запада пытаются поставить на службу «психологической войне» против социалистического мира.

...Максимилиан Березовский избрал нелегкий, но, думается, эффективный путь к читателю: он не декларирует «в лоб» свое отношение к описываемому, заставляя описываемое говорить за себя — своим собственным языком, своей логикой (в данном случае ее отсутствием), своей несовместимостью ни с простыми нормами человеческой нравственности, ни со здравым смыслом. Хотя, разумеется, книга Максимилиана Березовского отнюдь не бесстрастна. Она написана с четких позиций и подводит читателя к выводу об антигуманной по самому существу своему природе капиталистического строя.

Пресли или Пруст?

Тогда как одни радостно потирают руки, а другие горестно ими разводят, факт остается фактом: события частной, интимной жизни все чаще становятся общественным достоянием. Секс, вера, ошметки политики — все это теперь подсвечивается юпитерами, перемешивается, превращается в товар массовой, популярной культуры.

Нет такой развитой страны, которой в той или иной мере это не коснулось бы. Но более всего подобное явление дает знать о себе в высокоразвитых государствах, где обширная сфера поп-культуры не только удовлетворяет духовные запросы потребителя, но подчиняется также законам коммерции, рынка, рекламы. Порой это приводит к любопытным результатам — создает изобилие развлечений, делает их яркими, живыми. Но чаще — к вещам куда менее привлекательным: насаждает верхоглядство и дурной вкус, порождает пристрастие к банальностям.

Многолетнее мое непосредственное знакомство с такой культурой, главным образом в американском и английском ее вариантах, навело меня на такие соображения. Прежде всего идеалом поп-культуры должны быть зрелищность и драматизм любой ценой, и чем цена выше, тем лучше. Творческие силы, предприимчивость, технический размах — все подчинено этому.

Я был в Лондоне, когда выдавали замуж принцессу Маргарет; некогда подобного рода венчания происходили в тиши королевской часовни — теперь оно послужило материалом для фабрикации телевизионного шоу, рассчитанного на массового зрителя. Спустя какое-то время в бурный поток поп-культуры были брошены развод Маргарет и ее любовные похождения на далеком острове в Карибском море. Самые пышные похороны подпадают под то же правило. Это служит ответом на так называемый социальный заказ — ответом, который в свою очередь и сам воздействует на формирование вкусов и пристрастий общества.

Принцип игрища строго соблюдается и в той области, которая лежит на границе культуры (в самом широком смысле слова) и политики. В Соединенных Штатах мне довелось наблюдать за тем, как кандидату в президенты приходилось вставать на актерские котурны и тянуться к лавровому венку любимца публики. Политик, который не в состоянии вести себя в соответствии с выработанными массовой культурой представлениями, обрекает себя на неудачу; и наоборот — тот, кто сумеет сделать это, добьется успеха, неоправданного, если сопоставить его с ценностью подобных достоинств для управления государственным кораблем.

Принцип рекламы, проникающий в сферу религии, пробивает дорогу мании культов и поклонению самозваным апостолам. Принцип коммерции, применяющийся повсеместно, сдирает с эротики покрывало интимности, превращает ее в искусство «подсматривания», делает ее вульгарной. Ну, а скандалы, которые нередко (правда, не всегда) вспыхивают на этой почве, для поп-культуры все равно что самые громкие иерихонские трубы.

Черты эти не исчерпывают природы поп-культуры, но к ним стоит приглядеться повнимательнее. Во-первых, хотя бы потому, что человек, заблудившийся в каменных джунглях цивилизации, охотнее именно таким, а не иным образом пытается найти самого себя и легче заглушает одолевающие его сомнения. А во-вторых, потому, что кое-какие произведения и явления подобного рода не чужды и нам: мы их перенимаем и им подражаем.

Мы ведь знаем, что массовая культура не держит своих потребителей на хлебе и воде. Она кормит их лакомствами, а кроме того, создает иллюзию соучастия и демократизма. Еще не так давно с переодетыми принцессами мы встречались только в сказках да операттах — сегодня можно увидеть и нанять для нужд культуры настоящих. То, что в свое время считалось образчиком легкого развлечения, сейчас стало нормой практически для всех сфер общественной жизни. Она подчинилась требованиям индустриализации, а стало быть, стандартизации.

Когда быт упорядочен, хорошо налажен, избавлен от бурных потрясений — а такова привилегия богатых обществ,— ритм жизни часто кажется людям скучным, и оттого им хочется побольше зрелищных, развлекающих их вставных номеров. Гюнтер Вальраф в одном из своих репортажей привел слова 50-летнего телезрителя из ФРГ, который так сформулировал свои пожелания телевидению: «Они не должны показывать сложных фильмов. Мы хотим развлечений, без всяких там дополнительных проблем». Стало быть, пусть жестокость, но боже упаси от сложностей. Сходные требования предъявляются и к значительной части развлекательной литературы, драматургии, музыки, живописи, того же хотят от музеев. Хватит того, что сложна сама жизнь; так пусть все остальное будет шоу.

Сто лет назад в своих записных книжках Достоевский задавался вопросом: «Что с того, если я объявлю в афишах, что каждую субботу или воскресенье буду показывать голый зад. Верю, найдутся любители, которые придут толпою, но вот будут ли они питать ко мне уважение?»

Ка: трудно строить прогнозы: эксгибиционизм уже не лишает человека уважения.

Ибо люди торопливой, сытой и беспокойной цивилизации ищут мгновенной и будоражащей разрядки. Им нужны яркие эффекты. Они тем больше хотят громко расхохотаться, что в процессе организованного труда им приходится сохранять серьезность. Их тянет посмотреть на обнаженных девушек в телепрограмме, фильме, журнале не только по очевидным мотивам, но и просто чтобы отдохнуть от лицемерия женщин-роботов в комбинезонах или халатах. Они жаждут необычного, потрясений, шика, блеска. Такая поп-культура имеет право на жизнь, она — не абсолютное зло; поэтому, как

пишет польская исследовательница, осуждение массовой культуры было бы занятием бесперспективным.

По понятным причинам она не может освободиться от механизмов, которые ее создали. И развлечение тоже оперирует стереотипами — оно повторяет шаблоны сенсации, жестокости и загадочности, в сущности скроенные по единому образцу. То, что продается в киоске массовой культуры, должно быть изготовлено на конвейере, промышленным способом. И потому не следует удивляться, что мгновенный успех какого-нибудь фильма (скажем, «Челюстей») тотчас же вызывает лавину подражаний: современное развлечение подчиняется тем же законам, по которым действует вся система производства — машинизированного, автоматически управляемого, серийного.

Американский ученый Льюис Мамфорд заметил, что в сфере развлечений личные суждения, желания и мечты перестали быть частным делом, более того, они утратили свободу и спонтанность — «их монополизировали, в них вложили капитал, создав таким образом крупномасштабную индустрию развлечений».

Так что массовая культура XX века и не «друг» и не «враг» народа, она — неизбежный продукт промышленных и торговых систем. Некоторые ее элементы проникают и в художественную культуру, ассимилируются ею. В результате происходит сближение и определенная нивелировка двух течений, что критиков поп-культуры повергает в ужас, а у ее поклонников вызывает чувство удовлетворения. Итальянский поэт Эудженио Монтале, ставший в 1975 году лауреатом Нобелевской премии в области литературы, принадлежал к числу охваченных ужасом. Коммерческий дух и требование, чтобы «все было развлечением», стали по его мнению тем бременем, тяжести которого искусство не выдержит. Американский романист Сол Беллоу тоже признавался, беседуя с автором этих строк, что, несмотря на некоторые ее заслуги вовсе не считает поп-культуру благом для Америки.

Менее категоричен несколько лет назад был выдающийся американский поэт Рэндалл Джарелл. Как он образно выразился, в идеальной культуре произведение «В поисках утраченного времени» принесло бы Прусту миллионы долларов, а вот певец Элвис Пресли был бы обычным рабочим на бензоколонке. В идеально плохой культуре, продолжал Джарелл, цикл «В поисках утраченного времени» никогда не был бы опубликован и даже написан, а Марселю Прусту пришлось бы взяться за сочинение биографии Пресли для еженедельника «Сютердей ивнинг пост». Поэт, по-видимому, имел в виду, что существующая модель культуры вполне сносная, хотя она и ближе к идеалу поп-культуры, в которой миллионы долларов и статус идола достались бы не Прусту, а Пресли.

Быть может, из рассуждений этих можно также сделать вывод, что элитарные художники мечтают о том, чтобы произведения их были замечены, подхвачены и переварены массовой культурой, поскольку в таком случае они дождутся признания миллионов людей и миллионных состояний, правда, ценой низведения собственных книг до уровня тривиальности. Подобная вероятность не исключена, но тут приходится рассчитывать скорее на везение, нежели на торжество железной логики.

Как известно, культура принадлежит к тем сферам человеческой деятельности, в которых иррациональность пользуется естественным правом политического убежища,— это относится и к массовой культуре. В ней есть место для фантазии, преувеличений, парабол, для мистификации и подкрашивания. В упорядоченном и псевдорациональном мире ей, как воздух, необходимо немного безрассудства. Но когда определенные границы оказываются перейденными, эта черта массовой культуры обретает разрушительные свойства, способность одурманивать потребителя.

В античном греческом театре для того, чтобы разрядить психическое напряжение у зрителя, после трагедий ставили комедии. Во времена, когда, напротив, сама общественная жизнь все чаще напоминает фарс, прерываемый трагедиями, поп-культура ежедневно обновляется, черпая силы во все новых вариантах одних и тех же замыслов и идей. Верная самой себе, она преображает трагедию в мелодраму или бурлеск, хотя человека, которого донимают тревоги XX столетия, не освобождают от них ни слезы умиления, ни взрывы гомерического хохота.

Комиксы обычные и навыворот

Никто не будет возражать, что воплощением поп-культуры служит комикс. И когда в конце семидесятых годов неожиданно выяснилось, что открытая в свое время субстанция, названная интерфероном, годится для лечения некоторых раковых заболеваний, в Америке сорделиво припомнили, как в 1960 году автор комикса «Флеш Гордон», узнав об интерфероне, навел своих героев на мысль использовать эту субстанцию для борьбы против внеземных вирусов, которые (в комиксе) проникли на нашу планету.

Вот пример комикса, который благодаря сформулированным в нем взглядам опередил науку; впрочем, фантазирование на грани научной фантастики в комиксах — дело обычное. Героиня серии «Ослепительная», певица Элисон Блэр, воздействовала на поведение людей, преображая звуки в пучки света, а у Невообразимого Колосса кровь была поражена гамма-лучами, что изменило его личность.

С тех пор как в Америке появился комикс (энциклопедия комиксов Хорна ориентировочно относит его рождение к 1901—1905 годам), возник совершенно новый и жизнеспособный вид массовой культуры. Есть у него яростные противники и не менее горячие сторонники. Поначалу он завоевал популярность как продукт, который усваивается легче всех иных печатных изделий. Комиксы всегда были хорошо сбиты, немногословны и сдобрены

юмором, а часто отличались и неожиданной развязкой. Появились они, по словам видного историка культуры Хейзинга, когда началось «вторжение полуобразованных масс в сферу духовной жизни» и когда кино делало еще только первые свои шаги. Достаточно лишь представить себе тогдашнюю Америку. Развитие мысли не поспевало за стремительным прогрессом техники, но в то же время росли и нематериальные потребности. Комиксы были прообразом современной пиктокультуры, которую затем переняли кино и телевидение, чем-то средним между неподвижным и меняющимся рисунками.

Океан отделял Америку от сказок братьев Гримм и Андерсена, от мира легенд, чудищ и смелых рыцарей, берущих в жены спасенных ими принцесс. Американский фольклор в сравнении с европейским беден, ибо мир европейской фантазии был плотно заселен в феодальные времена, которых Соединенные Штаты не знали. Вместо кота в сапогах-скороходах, заколдованных лебедей и чернокнижников в островерхих колпаках Америка создала комиксы. Более земные и менее поэтичные. В них мало традиционного колдовства, зато много технических выдумок. Американцу тоже захотелось натянуть сапоги-скороходы.

Подобно гамбургерам [1], комиксы положили на лопатки послевоенную Европу. Блюдо мини-культуры, пригодное для моментального потребления, подходило к темпу, каким жила торопливая цивилизация. Оно не изгнало других кушаний, но, быть может, изменило вкусы. Во всяком случае, оно отдавало тогда экзотикой, соответствовало моде на все американское. Правда, уже в конце пятидесятых годов американский критик Роберт Уоршоу предупреждал, что для многих людей комиксы наряду с телевидением превратились в единственный канал связи с культурой, в небезопасный ее суррогат. Комиксы тогда предлагали «адаптации» известных романов, выдавая это за сокращение трудного пути к просвещению.

В те времена комиксам, как выскочкам, отводились в газетах и журналах последние места. Когда редактор «Вашингтон пост» решил понизить в ранге рубрику одного из репортеров, он поместил ее поближе к полосе комиксов. Как много изменилось с тех пор! Сегодня не найти репортера, который отказался бы от такого прежде всеми презираемого места: соседство с комиксами обеспечивает большее число читателей. О престиже комиксов может дать представление спор, разгоревшийся между «Вашингтон пост» и ее конкурентом «Вашингтон стар» по поводу прав на комикс «Doonesbury». Победительницей в конце концов оказалась «Вашингтон стар».

Автор этого комикса Гарри Трюдо склонен к политической сатире и сардоническому юмору. В Вашингтоне я обратил внимание на то, что знакомство с плодами игры воображения Трюдо стало частью повседневного ритуала политиков и журналистов. Среди его героев можно узнать членов конгресса, кандидатов на высшие государственные должности, окарикатуренных сотрудников президента, в связи с чем «Doonesbury» попадает в утренние обзоры печати, которые составляются в Белом доме. В известном смысле этот комикс — еще более рафинированная версия цикла Эла Кэппа «L'il Abner», который в свой звездный час потешался над истеблишментом на страницах 900 газет Америки.

У комиксов своя собственная слава. Оригиналы наиболее известных рисунков этого рода коллекционируют некоторые американские музеи, в художественных галереях выставляют их как документы поп-культуры и новое явление в живописи; к ним, например, относится продолжающий выходить «Peanuts» Чарльза Шульца. Летом 1978 года состоялся первый большой аукцион комиксов в салонах нью-йоркской фирмы «Сотби», которая главным образом продает с торгов известные произведения искусства. Это повышение ценности комиксовых рисунков — своего рода пожалование дворянской грамотой по-американски.

С начала прошлого десятилетия стали проводиться ежегодные встречи создателей и издателей комиксов, выпуск которых до того, как они превратятся в музейные реликвии, может быть также прибыльным предприятием. Французский историк комиксов Клод Молитерени замечает, что альбомы популярных комиксов выходят во Франции тиражом по крайней мере в 15 тысяч экземпляров, тогда как романам редко удается преодолеть пятитысячный барьер. Этот довод в пользу изменения вкусов, к сожалению, не позволяет окончательно выяснить, в чем дело: то ли романы стали хиреть, то ли комиксы облагородились.

Французы обошли всех своей предприимчивостью: в 1980 году они приступили к выпуску многотомной энциклопедии в виде комиксов (до сих пор существовала лишь энциклопедия комиксов). В свою очередь итальянцы оказались пионерами «фоторомана» — слезливой серии комиксов, составленной из фотографий актеров в той или иной позе (вместо рисунков) и диалогов; «фотороманы» читают 35 миллионов итальянцев и 20 миллионов французов. На кого они рассчитаны? Говорит один из руководителей издательства «Ланчио»: «Наша аудитория молода, в известном отношении она чувствует себя обойденной удачей и лишенной привилегий: главную ее часть составляют провинциалы».

На киноэкране пальму первенства в жанре комиксов по-прежнему держат американцы. В самом конце семидесятых годов на экраны вышла киноверсия «Супермена» — знаменитого американского комикса полувековой давности. Предпринятая раньше попытка дать ему жизнь на телеэкране оказалась не очень удачной, так что кинофильм решили снимать с большим размахом — кинозвезды, технические трюки, реклама. Пригласили самых кассовых актеров во главе с Марлоном Брандо, которому дали эпизодическую роль отца, отправляющего с далекой планеты своего

---

[1] Бутерброд из булочки с котлетой.

потомка на Землю, дабы спасти его от космического катаклизма. Этот потомок становится Суперменом и творит чудеса.

Паря в небесах, Супермен спасает во время грозы самолет президента США, ремонтирует прекрасный, но развалившийся надвое во время землетрясения мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, вытаскивает из реки лодку с удирающими уголовниками и оставляет ее на суше, ну, и наконец, махнув рукой на политику, за 90 секунд облетает земной шар, держа в объятиях красотку Лоис. По существу, это эпопея, прославляющая образцовый и наивный американизм.

Фильм этот, словно гигантский магнит, притягивал массы зрителей — премьеры его состоялись в 700 кинотеатрах, вышло восемь новых книг о Супермене, видимо-невидимо брошюрок-комиксов, пластинок, игрушек, плакатов, рубашек. Студия «Уорнер бразерс» покоряла экраны Америки, прочих континентов.

«Супермен» — это и нравоучительная сказка для взрослых: сверхчеловек совершает благородные поступки, некогда приписывавшиеся в Европе колдунам и сказочным богатырям, утоляя таким образом жажду необычайных приключений, жажду, которая породила легенду об Икаре, устремляющемся в небеса, побудила Одиссея отправиться в плавание по морям. По правде говоря, делается это на несколько инфантильный манер: поразительные технические чудеса соседствуют тут с беспомощным морализаторством. Продюсерам уже мало одних только барышей, им хочется выступить и в роли благодетелей. Создатель кинофильма о Супермене словно с церковного амвона провозгласил: «Мы утверждаем верность идеалам христианской морали — все должны быть честными, любить ближнего и помогать обездоленным».

К ссылкам на опоры христианской нравственности в культуре развлечений стали прибегать постоянно, действуя по принципу: «Забавляясь, спасать мир». Не стоит огорчаться: на духовных потребностях, как и на всем остальном, неплохо зарабатывают.

Эпопею-комикс о жизни Христа, вышедшую в Лондоне, его издатели («Дартон, Лонгмен энд Тодд») окрестили «важным событием в сфере христианской культуры». В чем же дело? Новаторство автора комикса (в книжном издании), ушедшего на пенсию профессора Уильяма Баркли, занимающегося изучением Библии, состояло в том, что он в уста Иисуса вложил тексты из Священного писания, перемешав их с жаргоном лондонских пригородов. Какой же восторг это вызвало! Как известно, по меньшей мере со времен яркого мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» заслоны, охранявшие религиозность от святотатства индустрии развлечений рухнули, — но тут нет вины безбожников: факт этот шумно приветствовал именно мир коммерции. С данной точки зрения публикация экуменического[1] комикса и в самом деле может показаться «важным событием»: она подчеркнула, что влияние комикса на культуру все расширяется, и от участия в этом процессе не отказываются даже профессора.

Став классическим жанром поп-культуры, комикс, однако, не избавился от одного своего клейма: определение «комиксовый», когда оно прилагается к произведению иного ряда, комплиментом не служит.

Разумеется, комикс комиксу рознь. Наряду с заурядными комиксами — а их больше всего, и они чем-то напоминают бульварные романы с продолжением, конца которым частенько просто и нет, — мы сталкиваемся с самой очевидной коммерцией: крупная американская фирма «Бёрджер Кинг», торгующая по всему континенту гамбургерами, по рекламным соображениям своим символом избрала комиксовую фигурку по имени Бёрджер Кинг-волшебник, чтобы противопоставить ее клоуну комикса Рональду Макдональду, который красуется в гербе конкурирующей фирмы по продаже гамбургеров — «Макдональдс». И тут мы находим одну из причин сумасшедшего успеха комиксов: их полное сходство с рекламой, которой в Америке пропитано все и вся.

Но есть и другой полюс: комиксы нешаблонные и даже изысканные, словно предавшие свой жанр, пользующиеся лишь его формой, но к самому этому жанру не относящиеся; в сущности говоря — антикомиксы. Я уже упомянул о некоторых из них, — в частности, о принадлежащем перу Гарри Трюдо, — но, думается, дальше всего от шаблонов то, что еженедельно появляется на страницах серьезной английской газеты «Гардиан». Это — пародия на продукцию массовой культуры, высмеивающая примитивизм и каноны мещанской этики. Главная героиня, острая на язык студентка Иокаста, с наигранной наивностью издевается над старшим поколением филистеров, над их новыми догматами и традиционным позерством.

В этом комиксе навыворот мачеха Иокасты, миссис Триш Райт, немало напережи-валась, приняв опрометчивое решение пойти к совершенно ей незнакомому зубному врачу. Им оказывается Крэг Кромби, австралиец. Почему же именно он, прибывший бог знает откуда? Как говорят, во всей Англии нет ни одного дантиста из южного полушария, так что все происходящее тем более должно приобрести сюрреалистическую, зловещую окраску.

И в самом деле: в приемной Кромби стол завален левыми изданиями, а на стене — на стене висит огромный портрет Карла Маркса. Кромби — марксист! — догадывается госпожа Райт. Бежать уже слишком поздно. И вот она усаживается в кресло, к ней тянется волосатая лапища, а дантист обращается к ней с двусмысленными намеками. Если бы еще речь шла об эротике! Где там, речь идет о политике. Ибо, заметив, что пациентка состоятельная капиталистическая дама, Кромби заставляет ее признаться — да, она ведет паразитический образ жизни.

[1] Экуменизм — движение христианских церквей за устранение разобщенности между ними и сплочение церковных сил в международном масштабе *(прим. ред.)*.

Бедняжка Триш! Зубная боль обезоруживает ее, она кается, что ее окружает роскошь, и послушно глотает лекарства, стимулирующие чувство вины. В продолжении затянувшегося визита к зубному врачу она громко, с классовых позиций осуждает своего супруга, клянется отказаться от прислуги, от второго автомобиля. Она почти что здорова! На прощанье Кромби вручает ей табличку, на которой написано: «Я хорошая пациентка», но, будучи настоящим австралийским марксистом, врач не может удержаться от иронии. «Будьте осторожны,— говорит он.— Зубы надо держать в чистоте. И ни-ни ездить верхом с открытым ртом, договорились?» Мораль такова, что даже дантисты могут пробраться в честную буржуазную душу и смущать ее. Так что же, опять нравоучительность?

Она не режет уха, ибо пропитана сарказмом, как в американском журнале «Атлантик мансли», который, отойдя от своих правил, напечатал летом 1981 года комикс Эдварда Сорела «Социолог». В нем изображен некий джентльмен, которого незаслуженно оскорбляют, называя «белорожим», секретарша-негритянка и негр-таксист; тот, однако, оправдывает «гнев черных» социоисторическими причинами. Когда на него напал грабитель, прекраснодушный либерал был растроган до слез: он стал благодарить грабителя (белого) за то, что тот опроверг стереотипное представление, будто преступления подобного рода совершали главным образом негры. «Бери мои деньги, и да благословит тебя бог!» — восклицает растроганный социолог.

Хотя число антикомиксов и возрастает, в большинстве своем они предназначены для людей с непритязательными вкусами. Известно, что публику, особенно в странах, бывших в прошлом пуританскими, в свое время приводили в ужас некоторые требования, связанные с эмансипацией женщин. И потому болезненные тогда темы не затрагивались в комиксах — ни в литературных, ни в телевизионных. Как и в жизни, женщины играли в них вспомогательную или декоративную роль; намеки на то, что они находятся под гнетом эротической эксплуатации (как выражаются современные сторонницы эмансипации), считались бестактными. Но времена изменились, и наряду с супермужчинами в комиксах появились и суперженщины.

В сороковые годы попытка ввести в оборот дамские комиксы не удалась. Не пошли ни «Мисс Америка», «Венера» и «Манекенщица Милли», ни «Мисс Фурия» и «Чертовка Шанна». Не пошли, так как комиксами увлекались исключительно мальчики, а мальчикам казалось, что читать комиксы, в которых главные роли исполняют существа женского рода, значит «обабиться».

Зато в 1980 году американское издательство «Марвел комикс» подсчитало, что 46 процентов его читателей — девушки. Феминистское движение дало ему клиенток. Никто теперь не покраснеет, если его собьет с ног девица.

Как и их коллеги, суперженщины символизируют тоску по силе и приключениям, по справедливости, орудием которой они сами и служат. Они наносят удары направо и налево, побеждают демонов, гоняются за злоумышленниками и опасными фанатиками, борются со злом и выжигают его каленым железом. Они аппетитны и предприимчивы, стройны и расчетливы. Не могу забыть обложку комикса «Чудо-женщина», на которой толпа перепуганных мужчин молит героиню: «Помоги, Чудо-женщина, помоги! Спаси нас от Летающей Тарелки!» И зов их был услышан.

Итак, эмансипированный комикс — это микстура для всех: маленькая доза секса, равноправие женщин, немножко научной фантастики, детективный сюжет, капелька мистики — по существу, модернизация старомодной формулы о чудесном исцелении от мора и поветрия. С ностальгией по волшебству мы сталкиваемся часто: она уравновешивает в психике человека восхищение техникой и утомление от нее. Это выражается как раз в стремлении сохранить верность фантастическому началу.

Самые популярные суперженщины населяют специально посвященные им комиксы: «Великолепная», «Женщина-паук», «Рыжеволосая Соня», «Чудо-женщина» или «Мадам Ксанаду», королева черной магии; с ними соперничает «Дикий колосс» женского пола. Телевидение тоже не обошло этих героинь своим вниманием. Оно старается завоевать взрослую аудиторию, но не забывает и детей. Чем больше телевизоров — тем больше доход от рекламы. Потому-то развлечение следует приправлять нравоучением; уходящая своими корнями в религию борьба добра со злом, ставшая неотъемлемым элементом и светской морали, должна щедро плодоносить и добром вполне материальным.

Дети не были первыми потребителями комиксов, но изокультура заманила в свои сети самых маленьких. И вот для них составляется взрослое меню, приспособленное к ребячьим запросам. Они получают кашицу, при виде которой потом начинают топать ногами либо же от которой — если они не так разборчивы — спокойно обалдевают. Благонамеренные критики и психологи ломают головы над тем, какие рекомендовать детям книги, что им показывать; а тем временем индустрия развлечений уже много лет делает свое дело, не дожидаясь результатов интеллигентских дискуссий.

Английские ребятишки, подрастая, заглатывают традиционные волшебные сказки о собаках с глазами величиной с блюдце, сокращенные издания дневников миссионеров, целые горы комиксов — обычных и навыворот,— притчи о принцессах, которые никогда не разводятся, приключенческие повести, переделки Диккенса, научно-фантастические рассказы, а также плоды новейших достижений науки о воспитании вроде книги «Прости, ты топчешь мои глаза».

Английский критик Джоффри Горер высказал мнение, что популярность, которой сказки пользуются у взрослых, объясняется их стремлением оградить «невинность» детей; главным образом они подразумевают сексуальную «невинность» и опреде-

ляемую ею мораль. Это было простым делом в старые времена; но как сохранить целомудрие души, если газеты во всех подробностях расписывают историю молодой лондонской дамы, растлительницы четырех мальчиков? Имеет ли какой-нибудь смысл дискуссия о «чистоте воображения»?

И потому, понятно, среди специалистов нет единой точки зрения. В Англии, где ежегодно издается около трех тысяч названий книг для молодых читателей, вышла работа «Подходит ли это детям?», посвященная спорам вокруг проблемы о том, как знакомить самых маленьких с миром фантазии и реальности. Из нее можно узнать: критик Маргарет Мик согласилась со своей коллегой миссис Шервуд, что самым маленьким надо давать такие книги, в которых рассказывается о всей гамме человеческих чувств, но из этого, естественно еще ничего не следует. Любовь и ненависть, презрение и страх можно по-разному представить, да они и выглядят по-разному, вызывая ужас либо рассказом о собаке с глазами-блюдцами, либо сообщением о том, как глаза топчут каблуками. В первом случае ребенок вживается в мир сказки, во втором — сталкивается с жестокостью и пошлостью.

Но может, спор вообще беспредметен? Существуя в сфере изокультуры, дети ежедневно видят по телевизору резню — и в «приключенческой» программе, и в передачах новостей, повествующих о реальных событиях. Кроме того, они наблюдают за приготовлениями — не всегда, правда, полными,— к распутству, и ничто их не в состоянии удивить. Критики будто бы и позабыли о коммерции и моде, которые паразитируют на так называемой порче нравов и вздохах о целомудренной морали.

Американские родители, более европейцев подверженные воздействию изокультуры и живущие в необычайно напичканном техникой обществе, нередко отказываются знакомить своих детей с традиционными сказками, и делают они это либо потому, что сами потеряли к ним интерес, либо полагая, что истории о заколдованных людях и животных далеки от повседневной реальности, а стало быть, по их понятиям, способны повредить детям.

Заблуждающихся подобным образом родителей призвал к порядку известный американский психолог-фрейдист Бруно Беттелгейм. В книге «Польза волшебства» он предостерегает: ребенку, не приученному к сказкам, грозит утрата воображения. Сказки помогают ему в известной степени самоопределиться: ребенок не в состоянии выразить в словах свои страхи, но он прекрасно разбирается в символике сказок, узнает из них, что страха не надо стыдиться, что его можно перебороть. Вместе с тем д-р Беттелгейм ошеломил взрослых, утверждая, что наиболее известные классические сказки — «Снежная королева», «Спящая царевна», «Золушка» — это, ко всему прочему, и истории о сексуальном вызревании девочек; кровь и колдовство символизируют менструацию, а косматые животные — агрессивное мужское начало. Так что опасения относительно того, будто сказки оторваны от жизни, оказались развеянными.

В Америке старые сказки еще не восстановлены в своих правах. Оживился, однако, интерес к старым, прошлого века, повествованиям о зловредных, безобразничающих детях на манер романа Джорджа Уилбура Пекка «Злой мальчик». Герой изображен на обложке книги так: невинно глядя в глаза торговцу, он незаметно протягивает руку к кадке с огурцами. Тут всего шаг до того, чтобы забраться в чужой карман. Маленькие американцы должны испытывать отвращение к «злому мальчику», но кто знает, не восхищаются ли они им.

Куда более изощренные формы обретает нравоучение в современной иллюстрированной истории для английских ребятишек под названием «Билл-взломщик». (Если, конечно, они захотят ее читать: текста в ней больше, чем картинок. А тем временем 47% детей, опрошенных в 913 школах Англии, Уэльса и Северной Ирландии в 1980 году, отдавали предпочтение комиксам, а не книгам.)

«Билл-взломщик,— так начинают рассказ авторы,— одиноко живет в доме, набитом краденым добром. Каждый вечер он ужинает ворованной рыбой с картошкой и выпивает ворованную чашку чая. Затем закидывает себе на спину ворованный мешок и отправляется на работу — красть разные вещи».

Однажды Билл вернулся с огромным деревянным ящиком, который попался ему на глаза. Из ящика доносятся какие-то странные постанывания. И что же оказывается? В ящике лежит ребенок. Он, правда, не очень-то привлекателен на вид, но и Билл отнюдь не красавец; по доброте сердца он качает младенца на коленях, пока они не становятся влажными.

Мы знаем, что Билл и сам бы управился с украденным сопляком; однако следующей же ночью в дом Билла-взломщика врывается вдова Бетти. Изумление двух профессионалов преображается в симпатию; и вот вдова, желая изменить свое гражданское состояние с помощью Билла, уговаривает его остепениться и с подозрительной нежностью прижимает к груди чужого мальчугана.

Какая из этого следует мораль? Билл — милый человек, но принадлежит он к низшим сферам, тащит все, что попадется под руку, складывая чужое имущество в самый обыкновенный мешок; речь его вульгарна, и он предпочитает плебейскую пищу — рыбу с жареной картошкой. Потому во имя общественного спокойствия он поднимается только на одну ступень: из взломщика превращается в честного ремесленника.

Буржуазное дитя рекламной эры, которому посвящена история о Билле, должно либо радоваться, что взломщик перестал красть и сделался человеком порядочным, либо расстраиваться из-за того, что он женился и понес финансовые убытки по причине смены профессии; но ребенку рекламной эры по сути дела все равно, скорее всего он успокаивает себя мыслью о том, что воры вместе с ремесленниками и вдовами принадлежат к дру-

гому миру, а значит, незачем и переживать из-за них.

Много лет назад дети зачитывались комиксом «Лорд Листер, джентльмен-взломщик», в котором описывалась двойная жизнь таинственного аристократа. Как лорд, он, попыхивая трубкой, часами высиживал в изысканных клубах. Ночью — в смокинге и перчатках — Листер забирался в виллы своих знакомых, дабы вскрыть сейфы и захватить их содержимое. Поведение лорда казалось необъяснимым. Однако он поступал так из благородных побуждений, ибо речь шла по большей части о краже компрометирующих документов и спасении чести оклеветанных графинь.

Тогдашние дети крайне обеспокоились, когда лорд Листер прекратил свою сенсационную деятельность. Но в памяти их удержалось, что отступление от общепринятых норм поведения диктовалось свойствами души, которыми обладают люди благородных кровей, ибо не оставалось и тени сомнения, что кражи вовсе не были источником существования для лорда Листера. Мораль сводилась к тому, чтобы восхищаться аристократом, который вынужден был идти на унижения, тяжко страдая от этого.

А вот для Билла воровство — естественное занятие, он идет на него, преследуя эгоистические, материальные цели, ибо живет краденым. Он не талантливый любитель, как Листер, он заурядный профессионал грязных дел. И ему хорошо, совесть его не донимает, вот только вдова Бетти путает все карты; будучи человеком низкого происхождения и грубого ума, он не задумывается над своим положением и поддается чувствам.

Так что у нас есть основания сказать по секрету: хотя со времени публикации первой истории (о лорде Листере) утекло уже много воды, вторая (о Билле-взломщике) продолжает то же самое дело, только с иного конца — и раньше и сейчас детям внушали и внушают, что люди принадлежат к разным сферам и пусть каждый держится своей.

Комикс, породнившийся с рекламой и сказкой,— то фантазия, то мини-юмореска, простейший продукт пиктокультуры, сокращение, которым обозначают спешащую цивилизацию,— такой комикс способен, прибегая к услугам рассчитанного на ребячий ум сюжета, внушать вполне взрослую мораль.

Очарование моды

Джузеппе Бальзамо прославился под именем графа Калиостро. Салонный лев, идол женщин, он завоевал высшие сферы Парижа обещанием эликсира молодости, а его жизнь послужила Гёте сюжетной канвой для «Фауста». Эликсир сицилийского алхимика оказался средством никуда не годным, тем не менее, пока ему все сходило с рук, Бальзамо объехал пол-Европы — не пропустив и Варшавы,— раздаривая свое изобретение, которым пользовался как наживкой.

Когда надежды не оправдались, он познакомился с тюремными камерами Лондона и Бастилии, а жизнь свою окончил в папской крепости Сан-Лео. Дабы месть выглядела благородной, его обозвали «атеистом, отвратительным невеждой в религиозных вопросах, еретиком, отчаянным мошенником, прощелыгой, обманщиком и скотиной».

И только недавно с Бальзамо были торжественно сняты обвинения инквизиции. Распространение эликсиров молодости и красоты заставило отказаться от анафемы по адресу столь замечательного предшественника косметической промышленности. Мужчины, обладавшие властью и богатством, всегда стремились окружить себя привлекательными женщинами, а себе гарантировать долгую молодость. В свою очередь женщины мечтали усовершенствовать самое эффективное свое оружие — красоту. Египетская царица Нефертити красила губы и густо подмазывала веки. Спустя века английская королева Елизавета I, хладнокровно наблюдавшая за казнью своего фаворита графа Эссекса, покрывала лицо голубоватыми линиями, чтобы думали, будто это видны под кожей жилки,— тогда была мода на эфемерных и ангелоподобных женщин. Во времена Калиостро парижские дамы запасались искусственными бровями из мышиных шкурок, хотя они обычно и отклеивались в самый неподходящий момент.

Прихорашиваться, подчеркивать красоту тела — естественное стремление человека, и потому косметическая промышленность принадлежит к числу самых процветающих; ее продукция проникает в самые глухие уголки. И становится все больше миллионеров, сколотивших состояние на искусственных ресницах, фальшивом румянце, париках и искусственной бледности. Ни экономические спады, ни преходящая мода на «естественный вид» не приводят к уменьшению спроса на «эликсиры молодости». Достаточно перелистать парижские журналы, бросить взгляд на плакаты в лондонском метро или провести несколько часов у телевизора в Соединенных Штатах, чтобы убедиться, какой грандиозный механизм пущен в ход для рекламы продуктов косметической индустрии.

Горы губной помады, кремов, жидкостей и порошков потребителей не преобразят — те и сами в глубине души сознают это. Но надежда все-таки теплится: а вдруг сделают краше?.. Фирма «Ревлон» выпустила косметическую серию «Жонтю» и добилась успеха благодаря рекламе, уверяющей, что ее изделие стимулирует чувственность... но «с небольшой примесью невинности». Что, собственно говоря, это может означать? Тем не менее приманка свое дело сделала, и серия «Жонтю», если подсчитать сумму, вырученную от ее продажи, заняла второе место в мире: успех небывалый. ведь надо принять во внимание, что крупные косметические фирмы губную помаду и лак для ногтей выпускают 2500 оттенков, которые к тому же постоянно меняются.

Опережает всех и в этом отношении Америка. Необычайно активная реклама уговаривает покупать и ставит человека в

положение, когда он испытывает нажим со всех сторон.

Это касается всей сферы моды вообще. Разве можно сказать, что диктатором моды остались Париж или Рим? Крупные фирмы — Живенши, Баленсинга, Сен-Лоран, Карден, Риччи, Курреж, Бальмен, Пату — действительно задают тон, конструируют оригинальные коллекции, навязывают цветовые гаммы, ткань и стиль. Но вот что будет принято, а что отвергнуто, решают прежде всего американские контрагенты, для которых показы мод устраиваются чаще, чем для кого бы то ни было: американский рынок — самый большой, самый богатый, самый емкий. Американское специальное издание «Уиминс вэар дейли» распространяется по всему миру. Самые смелые идеи, опрокидывающие нормы традиционной моды, рождаются в Америке и Англии: джинсы и ковбойские рубашки, лохмотья хиппи и мини-юбки, платья «топлесс» и спортивные костюмы, заменяющие выходное платье.

Лондон, консервативный Лондон стремится быть первым в том, что касается моды на грани скандала. Американская журналистка Хиби Дорси с неподдельным энтузиазмом так описывала одну из лондонских демонстраций мод в конце семидесятых годов: «Итальянские конструкторы отличаются высоким профессионализмом, у французов прекрасные идеи, а вот англичане обладают бесспорным талантом к умопомрачительным замыслам». Особый восторг вызвала Сандра Роудс, которая предложила модели «панк» в стиле «изысканные лохмотья». При этом Роудс окрасила волосы в цвет шпината, заявив, что она не моделирует одежду для мышеподобных женщин. Хиби Дорси, храня англо-американскую солидарность, объявила, что Роудс — «одна из самых серьезных и наиболее талантливых конструкторов моды в мире».

Спустя несколько лет эксцентричная англичанка превзошла самое себя. На сей раз она предстала с розовыми волосами, подол юбки был нарочито обкромсан, на лице, покрытом толстым слоем грима, красовались розовые пятна; искусственные ресницы были вывернуты — одна вверх, другая вниз. Сандру Роудс встретили овацией: восстать против общепринятых норм непросто, так что давайте похлопаем симпатичным безумицам.

Ибо настали времена всеобщего однообразия. Во «всемирной деревне» поп-культуры кино, телевидение, печать навязывали единый стереотип моды: были отброшены и провинциализм и непохожесть. Никогда еще мода не была столь универсальна и никогда (в сфере евро-американской цивилизации) — столь общедоступна.

Стиль диктуют несколько десятков конструкторов и промышленников. Полмира носят узкие брюки и платья-клеш либо наоборот. Весной и летом, в салонах и на улицах, подражая господствующему стилю и друг другу, модницы появляются почти в одинаковых нарядах. Если же вдобавок принять во внимание, что длина и цвет волос, формы причесок также предписываются модой, что модные духи пахнут одинаково, а толстые каблуки или шпильки влияют на походку, то можно представить себе, во что превращает индивидуальность человека призванная разнообразить мода.

В этом проявляется неизбежное противоречие: предлагая каждому нечто очень личное, мода стремится отнять частичку его индивидуальности. Как заметил американский ученый Карл Мангейм, отождествление человека с группой, к которой он принадлежит, побуждает потребителя к механической солидарности и тем самым к принятию примитивного демократизма. Другой американский социолог, Вэнс Паккард, писал: надо быть оранжевым в оранжевый год и фиолетовым — в фиолетовый.

Несмотря на острую профессиональную конкуренцию, диктаторы моды неизменно предлагают по сути дела весьма сходные решения. Новые модели появляются дважды в год, то есть с невиданной ранее регулярностью. Это вынуждает модельеров лезть из кожи вон, повторяться и эпигонствовать. Кому по силам раз в несколько месяцев выдавать новые идеи? К тому же мода тоже не застрахована от бюрократизма: в Париже и Нью-Йорке выпускаются листовки; там же происходят парады и шествия манекенщиц, о чем ежедневно печатаются сводки, напоминающие донесения с поля боя. К счастью, все это куда привлекательнее, нежели шагистика вооруженных отрядов, и куда приятнее, нежели военные парады с пушками.

Жажда перемен делает моду капризной, а производители одежды поощряют это. Американский бизнесмен Гарольд Роббинс утверждал, что мода — «это уже не проблема, как выглядеть, а проблема, как делать деньги». Роббинс, правда, переборщил: мода — продукт культуры, зрелище, она — производное естественных человеческих склонностей. Промышленность это и использует в своих интересах.

Прежде по стилю одежды можно было довольно точно определить время, когда она появилась на свет, но по мере того, как стали возвращаться к тому, что уже было, все труднее становится не впасть в ошибку. В течение всего нескольких десятилетий мы перевидали уже многое — цыганские и народные платья, «полуперуанские-полубаварские» (как в шутку назвали одну модель Сен-Лорана), прямые, изысканные, короткие, длинные, «компромиссные», сужающиеся и расширяющиеся книзу, псевдоелизаветинские и якобы негритянские, прозрачные, закрытые до подбородка. Видели мы и «препи-лук», модели, напоминающие, как одевались барышни из элитарных школ, и декольте во вкусе девиц совершенно иного круга. Подражатели обращались к различным эпохам: юноши, родившиеся много лет спустя после второй мировой войны, напяливали на себя пиджаки по моде начала столетия, времен короля Эдуарда, а барышни, слыхом не слыхавшие о маркизе де Помпадур, копировали ее кружева.

И наконец, мода стала эклектичной, как и вся массовая культура, которая ее породила: она стала поп-модой. Одни ве-

щи уже вышли из употребления, другие еще не привились; платья в обтяжку приелись, а балахоны оказались на помойке — впрочем, может, и наоборот, разве упомнишь.

Лондонская журналистка Полли Тойнби обнаружила на парижской демонстрации моды, что ее коллеги, чтобы добавить перчику своим корреспонденциям, выдумывали или драматизировали в своих отчетах происходившее там, ибо по законам массовой культуры сенсации ценятся выше, нежели точное описание реальных событий. А потому не исключено, что и таким образом создается мода.

Как признавалась старейшина цеха модельеров Эрнестина Картер, она и сама не в состоянии разобраться в том, что творится с модой. «Я полагаю,— говорила она,— царящая тут неразбериха отражает то состояние, в каком находится само общество, оно переживает кризис ценностей, взглядов, идеалов, и это порождает такой хаос, зыбкость и переменчивость в мире моды». Так что существует некая закономерность: точно так же как и в моде, меняются и другие критерии в культуре.

Американская мода, законодателями которой некогда были элегантные голливудские «звезды», отличалась консерватизмом и четкостью, выражала вкусы нуворишей. В годы «революции нравов» американским «спесиалите» стал свободный стиль, сформировавшийся в рамках пропитанной духом коммерции контркультуры, ибо бунтовщики бросили вызов моде, олицетворяющей жесткие нормы буржуазных ценностей. Обрядившись в нетрадиционные одежды, молодежь на какое-то время создала собственную «антимоду», которую затем быстро поглотило основное течение. В известном смысле это более демократическая мода, но будем откровенны — на улицах Нью-Йорка нетрудно отличить модельные платья под лохмотья от настоящих лохмотьев. Так что выравнивание тут относительное.

Популярный в Америке свободный стиль одежды приветствуется не везде. Сотрудники правлений корпораций, банков, административных учреждений разного ранга, посетители фешенебельных ресторанов, даже продавщицы в дорогих магазинах должны одеваться традиционно; от этого во многом зависит их карьера. Так, например, женщинам, занимающим ответственные должности или претендующим на них, рекомендуется носить на службе жакет и юбку (боже упаси от брюк). Сапожки тоже не в чести, совершенно недопустима одежда, слишком откровенно подчеркивающая женские формы, вне зависимости от возраста и ситуации, даже если она и носит полуофициальный характер.

Джон Т. Моллой, автор пользующихся спросом книг, посвященных связи моды с общественным положением человека в США, в результате проведенных им исследований пришел к выводу, что манера одеваться может способствовать либо продвижению вверх по социальной лестнице, либо, наоборот, соскальзыванию вниз. «Бывает, что одежда служит основанием для нравственной оценки людей,— пишет он,— а люди в свою очередь составляют мнение о тех или иных фирмах по внешнему виду работающих в них». Поэтому фирмы, как правило, заботятся о том, чтобы их сотрудники одевались в соответствии со вкусами своих контрагентов. «Таков механизм деятельности тех сфер нашей цивилизации, которые имеют дело с финансовыми ценностями»,— заключает Моллой. О том, сколь серьезно отнеслись к этому выводу, говорит успех книг и советов Моллоя; его работа «Одежда ради успеха» разошлась тиражом в четверть миллиона экземпляров, и автору ее за двухдневные консультации концерны выплачивали гонорар в 9 тысяч долларов.

Другой американский специалист, Эрнест Дихтер, рассказал об одном совещании менеджеров, которым — дабы они почувствовали себя удобнее и раскованнее — предложили снять пиджаки и галстуки. Бросилось в глаза, что отказались сделать это наиболее высокопоставленные из присутствовавших, которые тем самым, как считают, выказали свою приверженность иерархии и стремление подчеркнуть свое место в ней, сохранив известную дистанцию.

Возникает, таким образом, полуофициальная униформа, которую почти не затрагивает переменчивость моды. Например, в американском деловом мире избегают костюмов коричневых тонов, поскольку их считают вульгарными, а также галстуков-бабочек, ибо сложилось убеждение, будто их носят люди, поведение которых непредсказуемо. В лондонском Сити предпочтительнее показаться в котелке или жесткой шляпе, именуемой «хомбург». Все это — пережитки средневековья, когда по одежде судили не только о социальном положении, но и о профессии и строго наказывали за попытки носить неположенное платье, за самовольное нарушение кастовых предписаний.

Элита и высшие слои среднего класса, которые неизменно задавали тон моде, с ее помощью подтверждают свой статус. Покупаемое ими за сумасшедшие деньги изысканное платье — своего рода отличительный знак и пропуск в салоны, но вместе с тем и выражение их стадного чувства, хотя речь идет о стаде избранных. Принадлежащие к нему хотят показать самим себе и окружающим, что они лучше других — так во времена оны дамы и рыцари запрещали своим подданным носить перчатки: это было привилегией высших классов, которые не унижали себя физическим трудом. Нынешняя элита дорогим платьем подчеркивает, что она в состоянии навязать свою точку зрения, что она — творец культуры, поскольку выбранное ею затем будет тиражировано в тысячах экземпляров.

Положим, появляется не то шляпка, не то вуаль под названием «биби»; в семидесятые годы она замелькала в Париже на изысканных ужинах и премьерах — ее видели на голове принцессы Каролины, прижилась она и в Англии, где благодаря

королеве дамские шляпки в большом ходу, ибо светская жизнь связана со двором, а при дворе шляпки обожают. Но судьба обрекла «биби» уже в колыбели — обрекла на гибель как символ превосходства. И погибла эта новинка в тот самый день, когда в огромных количествах появилась в магазинах на Оксфорд-стрит, в «Галери Лафайетт» — словом, там, где делают покупки массы.

Не права ли тогда госпожа Пруденс Глинн, жена лорда Уиндлшема, специализирующаяся на рецензировании новинок моды, утверждая, что платье — инструмент, с помощью которого общество заставляет индивида оставаться на предназначенном ему месте, но вместе с тем и инструмент в руках индивида, стремящегося нарушить этот установленный порядок?

Она права лишь отчасти. Побуждая к подражанию в одежде — таков эффект массового и стандартизированного производства,— потребительская культура действительно становится силой, поддерживающей социальную субординацию, но в то же самое время она стирает и многие внешние проявления классовых различий. В подобных условиях свободный, вопреки всем правилам, выбор платья уже перестал быть действенным оружием бунтарей против общепринятых норм, в особенности после того, как коммерческая мода приручила модели молодежной контркультуры. Мода, однако, уже в течение нескольких десятилетий стремится быть более демократичной. Не так давно на королевском приеме в Букингемском дворце нельзя было появиться без фрака, полосатых брюк, пепельно-серого цилиндра. Но времена меняются: когда я пришел на такой прием, одевшись как и положено, оказалось, подобным образом поступило явное меньшинство приглашенных. В Америке можно встретить стольких людей, одетых «нетрадиционно», что уже само по себе это начинает попахивать модой. Массовое потребительство и терпимость подавляют бунт.

Люди добровольно подчиняются требованиям моды, удовлетворяя свою страсть к переменам, свежести, новизне. Сбрасывание старых одежд и облачение в другие — акт, который иногда сравнивают со сменой оперения птиц; это символ возрождения природы. В то же самое время подчинение диктату моды вызвано и социальными причинами: во-первых, это проявление конформизма, окраска в защитные цвета, объявление о принадлежности к той или иной культуре; во-вторых, избавление от чувства неуверенности, стремление быть признанным, одобренным. Люди хотят, чтобы их вкусы были приняты другими, и мода им в этом помогает. Непоследовательность? Ну конечно же непоследовательность.

Могущество моды превращает ее в авангардную силу широко развитой легкой промышленности, производства галантереи, косметики, украшений, драгоценностей и т. п., а вместе с тем и в одну из характерных черт принадлежности к той или иной социальной группе. Можно ли представить себе жителей больших городов Европы и Америки одетыми неизменно одинаково? Другие, «экзотические», культурные круги в этом отношении склонны к большей стабильности, консерватизму. Возможно, индийское сари, арабский бурнус, малайский саронг, которые носят не по праздникам, а ежедневно, производятся теперь с примесью синтетического волокна, но их покрой и внешний вид те же, что и давным-давно. Время, которое управляет жизнью в Европе и Америке, в иных местах — импортное лакомство.

Другими словами, в странах третьего мира, где культурные ценности Запада прививаются только частично, поскольку они представляют собой чуждую цивилизацию, поскольку общество тут малодинамично, а рынок недостаточно емок из-за низкого жизненного уровня, иностранный бизнес не в состоянии захватить в свои руки моду, хотя вообще-то в этой географической зоне он делает большие деньги.

Вторжению моды в развивающиеся страны противодействует также равнодушное отношение к проблеме анонимности. Это европейская цивилизация издавна терзается дилеммой: как добиться отличия, не отказываясь от сходства? Как, отбрасывая монотонность, не перечеркнуть общности? Как выделиться в рамках господствующей моды? Анонимность в Европе с давних времен не была в чести, но по мере стандартизации производства она обретала все большую силу; она унижала — да, но и защищала! Серость одежды, ее безликость призваны были спасать от прокрустова ложа, на деле же они служили строительным материалом для него.

Несмотря на это, анонимность была в тягость даже армиям, которые с помощью разнообразия мундиров спасались от монотонности. Кстати, и сами солдаты пытались и пытаются подчеркнуть свою личность, по-своему украшая военную форму. Европейцев и американцев, живущих в мире машин и массовой культуры, не привлекает, писал Эрих Фромм, машина-автомат, как две капли воды похожая на миллион окружающих ее автоматов. Вот причины появления монограмм на носовых платках, запонках, галстуках, брелоках. Вот почему в Америке есть курсы, обучающие тому, как вырваться из мира анонимности. Вот почему можно встретить на машинах регистрационные номера с инициалами их владельцев. В чаще всеунифицирующей моды, безропотно соглашаясь с требованиями носить платье той или иной длины и брюки той или иной ширины, каждый стремится изобрести что-нибудь для отличия собственного «я».

Стремление выделиться стало отправной точкой двух американских телевизионных программ — «Дешевое обозрение» и «Шоу красоты за 1 доллар 98 центов». В первой за неверный ответ на вопрос участника передачи наказывали, забрасывая его грязью, яйцами и чем-нибудь липким. Другая была пародией на выборы «Мисс Красоты». В ней выставляли на всеобщее осмеяние калек и уродов, одетых в обтягивающее фигуру трико; все это происходило под возгласы конферансье: «Разве

не поразительно, на что готовы пойти люди, лишь бы попасть на телеэкран?!» Иррациональное поведение — это протест против анонимности.

Возможно, что одной из форм защиты от нее служит также гиперболизм в рекламе, попытка добиться популярности по принципу: ты звезда или никто. Погоня за известностью, отмечал американский журнал «Харперс», стала болезненной. Рядовой человек, «истязаемый анонимностью», хочет добиться славы любой ценой. Артур Бремер, житель захудалого городка, в 1972 году тяжело ранивший кандидата в президенты Уоллеса, писал в своем дневнике, что «он стремился остаться в памяти людей как убийца Ричарда Никсона»; когда это у него не вышло, он решил устроить покушение на политика калибром поменьше. По мнению журнала «Харперс», демократическая мифология успеха (к а ж д ы й может быть велик, прославлен, богат) превращается в мифоманию, нелепую, абсурдную погоню за успехом. Так что «актеры меняются, но спектакль идет все тот же».

«Машина, производящая знаменитости, должна производить их все в большем количестве и все лучшего качества»,— писал «Харперс». Издания типа «Кто есть кто», некогда регистрировавшие людей выдающихся, расплодились в таком множестве, что в ходу теперь около 250 различных справочников, включая «Кто есть кто» в области выращивания собак породы кокер-спаниель. Как грибы после дождя повырастали так называемые святыни славы (Halls of Fame), посвященные известным (и не очень известным) людям разных профессий. Подсчитано, что их появилось около 750, а среди них — «святыня славы» спортивного общества Банка гражданских сбережений, «святыня» игроков в кегли и даже «артисток» стриптиза.

Социолог из колумбийского университета в Нью-Йорке Амитаи Этциони назвал это стремление «сумасшедшей и отчаянной» попыткой узаконить ценности весьма сомнительного свойства. Добавим, что в системе бюрократизированной культуры фамилия, вписанная в реестр, причем все равно в какой, или же выбитая на доске, рассматривается как символ имеющего силу приговора истории. Однако, если каждый хочет быть «кем-нибудь», все возвращается на круги своя — к обезличиванию и безымянности.

Это отчетливо дает знать о себе как раз в моде. Приходится с сожалением признать, что способствовала этому и горячность женщин — сторонниц эмансипации. Западные феминистки в своей жажде во всем сравняться с мужчинами (к тому, правда, были причины) вопреки своим принципам создали (наверняка временный) спрос не на разнообразие, а на унификацию моды — впервые с незапамятных времен. А дальше? Когда-то платье из пальмовых листьев или пояс, украшенный цехинами, служили маскарадным нарядом. Однако в Италии совершенно серьезно спроектировали костюм из листьев овощей, а в Париже молодой модельер Кастельбайк добился успеха, предложив в качестве дополнения к элегантным туалетам платье из марли и матрасной обивки.

И вновь слава поджидает тех, кто сумеет изобрести что-то новенькое, дабы эпатировать буржуа. Неряшливость, особенно в сочетании с изысканностью, «потрясает буржуа», возбуждает его. Авторов новых идей щедро вознаграждают, ибо большая индустрия всемирной моды должна постоянно затмевать самое себя, дабы эксплуатировать золотую жилу. Подули и другие ветры: буффонада стала признанной формой экспрессии.

«Красный цвет теперь считается цветом нейтральным»,— объявил в один прекрасный день конструктор одежды Вилли Смит, вызвав восторг у состоятельных поклонниц: какая изысканность, какой вкус!

В атмосфере спешки и экстаза феминистки стянули с мужчин не только брюки, но также и рубашки, сапоги, жилеты, то есть дряхлые атрибуты мужского начала.

Можно подумать, что мир перевернулся вверх ногами: журнал «Вог» поместил снимок — парочку совершенно раздетых купальщиков на пляже. «Вог», который был пропагандистом изысканной одежды, моды, безупречной элегантности, шика! Это был доведенный до предела дендизм, голые arbitres elegantiarum [1]. По-видимому, «Вог» должен был доказать своим читателям, что любую границу можно перейти, что ничто не удержит его от одобрения любого стиля, что он всегда остается провозвестником все равно какого направления.

Мода, этот не проливающий крови диктатор, отличается тем, что независимо от того, требует ли она раскрашивать лицо аляповато или едва заметно, быть в стиле кисейной барышни либо рослого драгуна, ожидает от своих приверженцев готовности к мгновенной и безоговорочной перемене взглядов. Она провозглашает, что едва родившийся самоновейший стиль вот-вот умрет. Такая спешка приводит к тому, что о многих книгах, спектаклях и фильмах в обзорах новинок пишется меньше, чем о брюках, кофтах и платьях, представляющих собой последний крик моды, который не протянет и одного сезона.

Тяга к декадансу? Возможно. Претенциозность? Наверняка. Однако же не лишенная очарования.

Великолепный Том Китинг

После аукциона в Далласе Билли Пэррот выписал чек на 50 тысяч долларов. Стояло чудесное летнее утро, и ослепительное техасское солнце заливало бальную залу гостиницы «Адольфус».

Подходили к концу первые в мире (но не последние) торги, на которых продавали скот и произведения искусства[2]. Билли Пэррот покидал их, приобретя восемь коров и телят, а также одну написанную маслом картину. «Я любитель искусства,— сказал он,— и у меня достаточно места на

[1] Законодатели хорошего вкуса *(лат.)*.

[2] Такого рода техасские торги уже стали традиционными *(прим. авт.)*.

стенах, чтобы повесить картину. Но вот коровы!! Мне придется срочно купить ранчо для этой чертовой скотины».

Так что утверждения всякого рода злоязычников о том, будто нефтяному королю из Далласа художественное произведение досталось как приложение к коровам, выглядело бы инсинуацией. Владельцы огромных состояний в Техасе уже издавна содержат советников, комплектующих для них ценные коллекции. А уж среди тех, кто чуть менее богат, покупка произведений искусства в Техасе и многих иных штатах Америки — дело вовсе обыденное: скотоводы покровительствуют художникам, особенно если те воспроизводят сцены из жизни на ранчо. Проявлением такого именно симбиоза и были торги, совместно устроенные союзом скотоводов, выращивающих породу «санта-гертрудис», и хозяином фирмы «Техас арт гэллери», купцом Биллом Бёрфордом.

Участников торгов, которые начались в субботу вечером и продолжались без малого восемь часов — до утра в воскресенье, сперва пригласили в Регентский зал гостиницы «Адольфус», где можно было купить часть картин по твердой цене. Картины развесили по стенам; середину зала заняли коровы, жующие сено. Сами торги состоялись в огромном бальном зале, куда гости затем и перебрались. Скотину рядами установили на возвышении, на котором обычно располагается оркестр. Все животные по такому случаю были отменно вычищены и политы дезодорантом. Рога покрасили лаком для ногтей. Четырнадцать специальных помощников следили за тем, чтобы ковры оставались чистыми.

На аукцион попеременно выставляли животное и картину (либо скульптуру). Бывший губернатор Техаса и бывший министр кабинета президента Никсона Джон Коннелли, мультимиллионер, адвокат, владелец огромного ранчо и скромной, по его собственным словам, коллекции живописи, восседая на высоком табурете, комментировал каждую продажу. Рассказывают, что наиболее меткие его замечания касались скотины: тут нет ничего удивительного, поскольку в течение многих лет он занимался выращиванием коров породы «санта-гертрудис» и пользовался репутацией «специалиста-энтузиаста».

Развлекались отменно: всю ночь напролет бальный зал сотрясали взрывы хохота. Тем не менее это было наисерьезнейшее предприятие. Торги дали доход в 464 700 долларов, уплаченных за тридцать пять животных, а также за сто картин и скульптур; так что у Джона Коннелли было полное право заверить триста господ в смокингах, что «они показали высокий класс, ибо покупают не только скотину, но и произведения искусства». Я не стал бы просто отмахиваться от этих его слов. В сущности говоря, вовсе не так уж очевидно, что тот день в Далласе ознаменовал собой деградацию искусства. Может, скорее вырос престиж крупного рогатого скота.

Позднее, правда не без иронии, мысль Коннелли поддержал американский критик Роберт Хьюз. «Миллионам американцев,— писал он,— внушили, что, приобретая художественные произведения, они поднимают свой статус, удачно вкладывают деньги и в то же самое время повышают свой культурный уровень». Страсть, которая так огорчала Хьюза, конечно, не была постыдной, но она обрекала людей неосторожных на собирательство коллекций фальшивых картин.

Когда будет пересечен определенный порог богатства, когда будут накоплены большие материальные ценности, необходимо, как того требует неписаное правило, заняться собирательством художественных коллекций, а то и попросту меценатством. По этой-то причине порой и составляются удивительные собрания, вроде музеев Уитни и Гуггенхейма в Нью-Йорке, Хиршхорна в Вашингтоне и многих иных; однако само по себе очевидно, что нувориши частенько отличаются полным невежеством и странными причудами. Но стоит ли именно им ставить в вину процветание штампа, халтуры, убожества? Не обязательно. Халтура завоевывает позиции и без покровительства денежных тузов, как раз при достижении среднего уровня потребительства пробуждаются новые внематериальные потребности, которые по большей части удовлетворяются как бог на душу положит.

Проблема эта особенно остро дает знать о себе в условиях, когда быстро созревают плоды технологических нововведений, увеличивается свободное время и растут доходы и когда за всем этим духовное развитие общества не поспевает. А ведь именно в богатых странах появляется значительная часть выдающихся произведений; страны эти всегда располагали потенциалом, способствующим развитию культуры, и они продолжают сейчас его наращивать. Пропасть, образовавшаяся между этим потенциалом и высочайшими возможностями техники, с одной стороны, и насквозь пропитанной духом наживы сферой вульгарнейших развлечений, духовной халтурой, с другой,— странное сосуществование двух этих миров, их взаимовлияние давно уже вызывают тревогу у лучших умов Запада.

Было бы утопией ожидать, что большая часть из того, что появляется на свет божий в области культуры, может или должна относиться к разряду произведений серьезных, несравненных, великолепных. Но разве большей их части суждено оставаться за границами хорошего вкуса? По-видимому, да.

Прежде всего на каменистой почве таланты не рождаются; потому-то выдающихся произведений относительно немного, а цена их высока. Кроме того, более или менее состоятельный человек откладывает на эти цели суммы весьма скромные, даже если он и располагает немалыми возможностями, поскольку потребление культуры, не выдерживая конкуренции с потреблением других товаров, не достигает потолка. В массовом масштабе вкусы капиталистического общества более всего формирует реклама. Господство заурядности как минимум порождает низкие критерии ценностей. Царит и удовлетворяется спрос на серость, в чем нетрудно убедиться на примере стран, расположен-

ных по обоим берегам океана, да и не только на их примере.

Разумеется, существуют коммерческие фирмы, занимающиеся исключительно высокохудожественными произведениями искусства, иначе как бы мы узнали о существовании последних? Поскольку, однако, число таких произведений ограниченно, большинство фирм преуспевает, распространяя произведения малой ценности, черпая их поистине из бездонной бочки. Потребители, которые в состоянии приобрести электрическую куклу, нуждающуюся в настоящих пеленках, или куклу с лицом — точной копией покупательницы, машинку для прогулок, которая тянет за собой гуляющего, или игру «Монополия» в шоколадном исполнении (за 600 долларов), естественно, не лишены выбора, когда речь идет о товарах, относящихся к сфере культуры,— нет, однако, гарантии, что они не выберут слащавенький пейзаж, Леду с лебедем или фальсифицированный модерн.

Трудности, сопутствующие тут составлению собственного мнения и выбору, благоприятствуют мошенникам; к тому же нет полной ясности, где проходит граница между недозволенной фальсификацией и фальсификацией, которую общество считает допустимой. Столь же зыбка и граница между искусством признанным и заслуживающим признания. Американский писатель Том Вулф в книге «Раскрашенное слово» [1], которую он написал на основе многолетних наблюдений, утверждал, что маленькая групка нью-йоркских искусствоведов навязывает свои критерии художникам и покупателям и таким образом диктует направления развития живописи в одном из крупнейших культурных центров мира.

Приобретение произведений искусства— прекрасный способ помещения денег, особенно во времена инфляции. Это в еще большей степени способствует распространению все новых стилей, а значит, росту сбыта и расширению рынка.

Как предмет овеществления капитала (то есть вне своих эстетических достоинств) художественные произведения, достигнув определенной ценности, отличаются от коров породы «санта-гертрудис» лишь своей долговечностью. И потому становятся объектом денежных манипуляций, как правило, вполне законных и одобряемых обществом. С этой-то как раз точки зрения подделка художественных произведений, представляющая собой угрозу для культурного наследия и помещения капитала, относится к числу занятий особенно предосудительных. Но критерии и тут размываются, как выяснилось, например, когда Джеральдина Норман из лондонской «Таймс» напала на след гениального имитатора.

Тому Китингу было тогда 59 лет, за плечами у него — большой профессиональный стаж, рядом — молодая подружка по имени Джейн Келли, владеющая языком светских салонов. В наше время каждый, кому не лень, созывает пресс-конференции. Том Китинг после того, как его разоблачили, поступил точно так же. По его словам, за четверть века он написал и сбыл по крайней мере 1000, а может, и 3000 (он потерял им счет) стилизаций картин известных художников, начиная с голландцев XVII века и кончая французскими импрессионистами и немецкими экспрессионистами.

Кого только не было в этом списке! Констебль и Боннар, Дега и Ренуар, Тулуз-Лотрек, Модильяни, Мунк. Целый завод по производству известных полотен, и все в одном лице — в лице бывшего реставратора. В последние годы Китинг специализировался на подделке пользующихся большим спросом работ высокочтимого английского живописца XIX столетия Сэмюела Палмера.

Кружным путем, через посредников и торговцев, они попадали в частные коллекции и даже музеи. Несколько таких «Палмеров» купила у Джейн Келли известная галерея Леже. Вот почему я и упомянул о ее владении языком аристократических салонов: в Англии этот язык помогает скорее убедить сомневающихся в том, что «отысканные» художественные ценности — часть семейных реликвий. Одна из картин Китинга была затем продана с торгов фирмой «Сотби» за 34 500 долларов. Тогда это была рекордная цена за палмеровские полотна, и Том Китинг, как и подобает истинному кокни лондонских пригородов, чертыхался от удовольствия.

Хорошее настроение не покинуло его и на пресс-конференции. Он окрестил самого себя «кошмарным фальсификатором» и с издевкой заметил, что те, кто видел его работы и посчитал их подлинниками, «наверное, были не в своем уме». Если верить (но зачем?..) его утверждениям, перед тем как приступить к работе, он обычно писал на холсте: «Китинг», «обман» или даже какое-нибудь непристойное слово, да к тому же еще якобы краской с примесью олова, которую с помощью рентгеновских лучей (к этому всегда прибегают при проверке подлинности картин выдающихся мастеров) можно обнаружить под слоем грунтовки, масляной краски, лака. Неужели же ни у кого не возникало никаких подозрений? Одни при покупке полагались на солидность известных торговцев. Другие, продавая, знали, что картины поддельные,— им нечего было проверять. А фальсификатор сидел в своей провинциальной глуши и писал.

За четыре года до разоблачения Тома Китинга в галерею Леже обратился знаток палмеровского творчества Карл Паркер и заявил, что купленная галереей картина «Овин в Сепэме» — подделка. Вскоре после того консультант фирмы «Сотби» сообщил, что у него есть подозрения относительно еще одного полотна. Однако эти предостережения были оставлены без внимания. Бомба взорвалась лишь тогда, когда Джеральдина Норман разыскала Китинга.

В хрониках наших дней отмечено немало подобного рода случаев — они, правда, наделали куда меньше шума. В семидесятые годы разнеслась весть о торговле подделанными рисунками Фрагонара (1732—1806). Появились также сомнения в

[1] Фрагменты этой книги публиковались в «ИЛ», № 5 за 1976 год.

подлинности рисунков старых мастеров — Ван Дейка и Пиранези, которые из Рима и Лондона попали в Британский музей, Национальную галерею Вашингтона и коллекцию Библиотеки Пирпойнта Моргана в Нью-Йорке. Городской музей Кливленда (штат Огайо) располагал картиной с изображением св. Екатерины; считалось, что эта картина принадлежит кисти мастера XVI века Матиса Грюневальда, однако написана была в ателье современного молодого баварского художника Кристиана Геллера. В Милане и Флоренции обнаружили мастерские, наводнившие Европу и Америку подделками под Кандинского, Модильяни, Де Кирико, Пикассо. Чуть позже бельгийский искусствовед поставил под сомнение принадлежность многих полотен Джону Констеблю. Только спустя 400 лет установили, что в известных музеях висят фальсификаты тициановских гравюр на дереве.

Возможно, самые выдающиеся достижения в этой области были продемонстрированы в нью-йоркской пинакотеке Пирпойнта Моргана. Мне представился случай побывать на устроенной там выставке, названной «Испанский фальсификатор». Он был великолепным художником и ловким конспиратором, так что раскусили его слишком поздно. Проблематична даже его национальность. О нем так ничего толком и не удалось узнать; известно лишь, что он писал на рубеже XIX и XX столетий, по всей вероятности в Париже. И потому только, что первая приписанная ему подделка была стилизацией под картину Хорхе Инглеса — художника XV века, работавшего в Испании, его и окрестили «испанским фальсификатором». Охотнее всего, однако, он брался за вариации на темы средневековья, специализировался также на подделке рукописей — причем делал это так талантливо, что, как предполагают, большинство их не распознано до сих пор и служит украшением известных музеев и частных собраний.

Уверен, что многих коллекционеров вовсе не радует это разоблачительское поветрие. Они предпочли бы, чтобы подозрительные эксперты оставили «испанского фальсификатора» в покое, и не вводили их в убыток. Тем не менее лабораторные исследования, проведенные на бруклинском атомном реакторе, не оставили и тени сомнения. Приговор был однозначный: это не средневековое искусство, мы имеем дело с подделками.

Спрос на предметы, ценность которых в условиях инфляции возрастает, интернационализация рынка художественных произведений, а также индустриализация многих областей культуры — все это благоприятствует отнюдь не мастерам пастишей, а проходимцам. Вполне допустимо предположить, что их будет еще больше, поскольку в США и Западной Европе годовой оборот торговли произведениями искусств измеряется миллиардами долларов. Точный подсчет тут не всегда возможен, да и не всегда в нем заинтересованы, особенно если речь идет о торговых доходах, а не о культурной ценности. Ловких копиистов ценят даже обманутые коллекционеры; некоторые владельцы миланских имитаций не захотели оглашать список приобретенных произведений, поскольку иначе картины были бы конфискованы полицией.

Демаркационная линия, отделяющая подлинное искусство от подделок, стала зыбкой. Где мистификация? Критики ломают копья по поводу того, что представляет собой большую художественную ценность — мастерски подделанная «испанским фальсификатором» картина «Обручение св. Урсулы» или композиция из настоящей нейлоновой шторы шафранового цвета, которую художник-новатор Кристо, называющий себя «артистом, пользующимся международным признанием», растянул на пять километров в парке Канзас-Сити? (Перед этим он протянул 38-километровую штору через холмы в Калифорнии, а еще одну, покороче, повесил над перевалом в Колорадо; гастролировал он также в Австралии и Западной Европе.)

Нет ничего удивительного в том, что Китинга возвели в ранг английской знаменитости. Он олицетворял собой художественные и коммерческие способности, искусство и рекламу, скандал и забаву — те самые элементы, которые лежали в основе достославных торгов в Далласе. Правда, против Тома Китинга и торговца картинами Лайонела Ивенса было выдвинуто обвинение; фальсификатор, однако, нашел покровителей, выразивших готовность прийти ему на помощь. Джеральдина Норман издала его воспоминания, которые пользовались не меньшим успехом, чем его картины. Вышел в свет и составленный ею же «Каталог Тома Китинга». В нем содержался перечень открытых Джеральдиной Норман подделок, причем Скотленд-Ярду удалось обнаружить лишь незначительную их часть.

Телевидение выпустило документальный фильм о жизни Тома Китинга. Привлеченная этой рекламой церковь св. Троицы в графстве Саффолк обратилась к Китингу с просьбой написать картину в стиле Джона Констебля, которого он так хорошо подделывал. Британское отделение Фонда спасения Венеции заказало ему «тициановский» портрет, дабы продать его с торгов на благотворительном базаре. Китинг посетил Канаду, где его бурно принимали. В англоязычной прессе появились снимки калифа на час — за работой и на прогулке. Он получил тысячи писем от умиленных и восхищенных зрителей.

Такого всеобщего восхищения не вызывал до него ни один мошенник. «Испанский фальсификатор» родился слишком рано. Популярность, которую на какое-то время завоевал Т. Китинг, прежде всего подтвердила, что механизм такого явления, как симбиоз рекламы и поп-культуры, не может работать вполоборота. Он должен организовывать игрища. Кто бы ни попал в его шестерни — сегодня один, завтра другой,— он обречен на восхищение, независимо от того, что именно принесло ему славу. Шоу не может оборваться.

(Окончание следует)

МАРК ТВЕН

ИЗ ЭССЕИСТИКИ

К 150-летию со дня рождения

Искусство Марка Твена многое вобрало в себя из накопленного им журналистского опыта. Творческая жизнь его началась в газете и была связана с газетой до самого конца.

Свой первый очерк он напечатал, когда ему еще не исполнилось и шестнадцати лет. Было это в Ганнибале. родном городе Твена, который мы прекрасно знаем, потому что он описан в «Томе Сойере» и «Гекльберри Финне». Потом была работа в газетах Невады, Калифорнии и Нью-Йорка. Первые книги Твена — «Простаки за границей», «Налегке» — возникли из тех корреспонденций, путевых заметок и фельетонов, которые он писал чуть ли не ежедневно.

Пока даже приблизительно нельзя определить, сколько им было опубликовано статей, эссе и памфлетов. Многое затеряно в провинциальной американской периодике середины прошлого века, что-то, видимо, утрачено навсегда, потому что не сохранились комплекты новадской «Территориал энтерпрайз», где Твен был штатным сотрудником в годы Гражданской войны. Архив Твена издан далеко не полностью, а известно, что в архиве лежат некоторые наиболее обличительные и острые его материалы относящиеся к последним годам жизни писателя.

Периодически выходят все новые сборники твеновской эссеистики. Один из них, увидевший свет в 1963 г., содержит в себе и эссе, с которыми теперь знакомится читатель «Иностранной литературы».

Они созданы в разные периоды творчества Твена. Это, конечно, чувствуется — ведь и в этой небольшой подборке, как в капле воды, отразился сложный путь художника. С ходом времени в Твене все отчетливее выступали черты непримиримого критика социальных установлений и нравственных норм американского общества. Великий юморист становится великим сатириком.

Иначе и не могло быть. XX век начинался под знаком жестоких классовых битв и грабительских колониальных войн: англо-бурской, испано-американской. Было потоплено в крови боксерское восстание в Китае. Одиозную славу снискал себе палач Африки Сесил Родс, которого Твен клеймит в своей книге «По экватору». Американским штатом в результате аннексии (Твен предрекал ее за двадцать лет до того, как она произошла) стали Гавайи, американской колонией — Филиппины, американским протекторатом — Куба.

Пожалуй, только сегодняшняя атмосфера в США может сравниться с той вакханалией разгулявшихся экспансионистских амбиций. которая поднялась, пока экспедиционный корпус американских войск жег филиппинские деревни, а миссионеры благословляли такого рода победы над язычниками.

Отклик Твена на события международной и внутриполитической жизни США рубежа веков был негодующим. Пролег рубеж резкого размежевания между воинствующим гуманистом Твеном и казенными американскими патриотами. В руках писателя оружие памфлета сражало наповал. Таким же разящим оно осталось и сегодня.

Мы еще недостаточно отдаем себе отчет в том, как велика была сила твеновского гнева. Для нас Твен — прежде всего автор замечательных книг о Томе и Геке, мастер комической новеллы и озорной зарисовки вроде «Моих часов» или «Укрощения велосипеда», над которыми беззаботно смеются уже столько читательских поколений. Прочитав его памфлеты, порой трудно поверить, что они вышли из-под того же пера, которым написаны блестящие страницы юмористики Твена. Когда в поле зрения писателя попадали «герои» его времени — милитаристы и политические демагоги, продажные конгрессмены, ревнители «постоянства» окаменевших догм буржуазного мышления,— Твен представал резким, беспощадным обличителем.

Даже его юмор, переливающийся богатыми оттенками, становился иным, если темой Твена, как, допустим, в «Налогах и морали», оказывалось буржуазное лицемерие, коррупция, надругательство над элементарными демократическими нормами и еще многие явления американской повседневности, ставшие характерными уже и в его эпоху, а теперь почитаемые чуть ли не нормальным порядком вещей.

Юмор Твена часто называют необузданным, «диким», указывая на традиции американского фольклора, где стихия невероятного смещает все реальные пропорции. В отношении многих прославленных страниц Твена-юмориста такие определения верны. Но Твен уже и в молодости владел гротеском совсем иного типа — сатирическим, памфлетным. Это почувствует читатель «Сандвичевых островов» (они печатаются по публикации в «Нью-Йорк трибюн» в 1873 г.).

Здесь создана обычная для Твена маска доверчивого простака, этакого благодушного туриста, который зачарован сказочной природой Гавайев и вроде бы понятия не имеет о том, что за сто лет, прошедших со дня открытия островов экспедицией капитана Кука, число аборигенов сократилось в восемь раз: плоды буржуазного «прогресса» уже вполне очевидны. И когда он совершенно серьезно советует соотечественникам поскорее аннексировать острова, где формально правил местный царек (американцы сместят его через двадцать лет, спровоцировав волнения, которые предварительно отрепетируют, как пьесу в театре, а потом высадив свои войска — испытанный метод, сохраняющийся по сей день), сатирический эффект такого финала оказывается тем сильнее, что он ничуть не подчеркнут. В устах повествователя подобное рассуждение органично, ведь простак должен принимать за аксиому, что прогресс есть благо беспримесное и безоговорочное.

А Твен ненавязчиво разъяснит, в чем именно выразится этот прогресс: туземцы наконец уразумеют, как можно миллионами воровать казенные деньги, слывя респектабельными господами, и овладеют искусством перекрашивать преступления в благодеяния. На Гавайях Твен впервые с такой ясностью постиг подлинную сущность буржуазной цивилизации. И его уже не обманут никакие миражи «прогресса», достигаемого за счет расового и национального угнетения.

«Юмор? — скажет он одному из друзей.— Ну конечно, у меня юмор. И такой, что как раз подойдет для молитвы по усопшему. Никто даже не заметит, что ее тон не вполне уместен».

Постепенно такой юмор вытеснил у Твена жизнерадостность, пленяющую читателей его ранних произведений. В том, что это произошло, нет ничего удивительного. Всю жизнь ощущая свою идейную близость «веку разума» — просветительскому веку, Твен с непреложностью убеждался в том, что опыт буржуазного общества превратил в пустые фикции те понятия равенства и свободы, которые для него обладали значением непреложных истин. Долгие годы Твен сохранял веру в фундаментальные принципы, возвещенные основоположниками американского государства, но он, быть может, первым из американских писателей постиг, что буржуазные формы жизнеустройства коренным образом несовместимы ни со справедливостью, ни с человечностью. И это был главный итог его духовного и творческого развития.

Самому Твену подобное признание далось ценой тяжкого кризиса убеждений, пережитого в конце пути и наложившего очень четкий отпечаток на последние произведения писателя. У Твена достало мужества сказать горькую правду о сущности буржуазного мира, трагически себя проявившей на переломе от XIX к нашему столетию. Этой его честностью, этой смелостью одарила мировую литературу твеновская публицистика, оставшаяся одним из самых ярких творческих свершений демократической сатиры и ничуть не утратившая актуальности за те три четверти века, что миновали со дня смерти великого американского писателя.

Материалы этой подборки входят в книгу Марка Твена «Дары Цивилизации», подготовленную издательством «Прогресс».

А. ЗВЕРЕВ

Сандвичевы острова

I

Сэр! Ваше предложение, столь для меня почетное, написать статью о Сандвичевых островах — причем именно сейчас, когда смерть короля привлекла к ним внимание публики,— заставляет показаться на свет божий человека, которому скромность предписывала до сих пор оставаться в тени. Я мог бы засыпать вас статистическими данными, но, поскольку большинство предпочитает сплетни, я надеюсь, вы не осудите меня, если я постараюсь удовлетворить любопытство широкой аудитории, предоставив другим докучать меньшинству арифметикой.

Шесть лет назад я провел на Сандвичевых островах несколько месяцев, и, будь у меня хоть малейшая возможность, я непременно вернулся бы туда и остался там до конца своих дней. Для ленивого человека это истинный рай. Если у вас есть деньги, вы можете жить там в роскоши, и ваше богатство будет вызывать такое же почтение, как и в других краях; если же вы бедны, вы можете примкнуть к туземцам и, не тратя на жизнь почти ничего, загорать целыми днями под пальмами, тревожась о завтрашнем дне не более, чем бабочки.

В этом благословенном уголке вы далеки от суеты мира, ваши дни проходят в глубокой безмятежной неге, прошлое забыто, настоящее подобно Эдему, а будущее само заботится о себе. Вы находитесь в центре Тихого океана, две тысячи миль отделяют вас от любого из континентов и миллионы миль — от жизни остального человечества. Куда ни глянь — со всех сторон гребни волн заслоняют горизонт, и весь лежащий за их стеной огромный мир кажется вам каким-то чужим, далеким, не представляющим ни малейшего интереса.

Климат здесь попросту изумительный: внизу, на уровне моря, никогда не бывает холодно и никогда — слишком жарко, ибо тут вы как бы на промежуточной станции — всего в двадцати градусах к северу от экватора. Впрочем, здесь можно самому выбирать себе климат, так как все восемь обитаемых островов — это не что иное, как горы, вздымающиеся прямо из океана, если угодно, своего рода колокола с наростами по краям. Допустим, вы сделали выбор. Прекрасно! Вы берете термометр и отмечаете на нем то место, где, независимо от времени года, надлежит навеки остановиться ртутному столбику (с разницей зимой и летом не более 12 градусов по Фаренгейту). Если вы избрали 82 градуса в тени (примирившись с тем, что столбик все же изредка смещается на 5—6 градусов вверх или вниз), то вы строите свой дом на «наросте», то есть на побережье — холмистом или плоском, по вашему усмотрению, и эта температура станет для вас подлинным образцом постоянства. Именно такой климат в Гонолулу — столице королевства. Если в качестве средней температуры вы отметили 70 градусов, поселяйтесь на склоне любой из гор, на высоте 400 или 500 футов над уровнем моря. Если вы отметили 55 или 60, поднимайтесь на 1500 футов выше. Соскучились по зиме — продолжайте подъем и следите за ртутью. Хотите, чтобы вокруг были вечные льды и снега — ноль (по Фаренгейту) и ниже,— обосновывайтесь на вершине горы Мауна-Кеа, на высоте 16 000 футов. Если вам нужна жара, живите на Лахаине, где градусник не вешают на металлический гвоздь, чтобы он не разбился, если гвоздь расплавится; можно также поселиться в кратере Килауэа, и вы немедленно почувствуете себя дома, словно и не уезжали. Нигде в мире не найти такого климатического букета, как на Сандвичевых островах. Вы можете, дрожа от холода и кутаясь в меха, стоять на вершине Мауна-Кеа, среди сугробов, которые лежали там, может быть, еще до рождения капитана Кука, и, окидывая взглядом склоны гор, видеть четкую границу между зоной мерзлоты и началом растительной жизни; чуть ниже убогие и чахлые деревья сменяются более высокими и развесистыми, а те, в свою очередь, уступают место обилию листвы и богатству красок умеренного пояса; еще ниже привычная зелень леса заканчивается широким, окаймляющим гору подобно поясу, бордюром из апельсиновых деревьев такого глубокого и темного оттенка, что издали они кажутся черными; ваш взгляд скользит дальше и упирается в побережье, где томится под солнцем сахарный тростник, отражаются в тропических волнах плюмажи кокосовых пальм и где, как вы догадываетесь, бродят грешные туземцы в своей первозданной наготе, ничуть не подозревая и ничуть не заботясь о том, что вы стучите в снегу зубами так близко от них. Так что, как видите, здесь можно разом узреть все имеющиеся на земле климаты и наблюдать краски всех типов растительности, причем путешествовать приходится только вашему взгляду, да и то на расстояние, не превышающее примерно трех миль, которые он пролетает с быстротой птицы.

Туземцев на островах всего тысяч пятьдесят, белых же около трех тысяч, и большинство из них американцы. Если верить капитану Куку, то меньше ста лет назад туземцев было около 400 тысяч. Но торговцы принесли с собой труд и невиданные прежде болезни — иными словами, долгий, постепенный и неумолимый упадок; миссионеры же явились с лекарствами для души и подготовили туземцев к их приему. С тех пор обе силы действуют согласно и дружно, и всякий, кто умеет считать, может с точностью сказать вам, когда последний гаваец отойдет к праотцам, а его острова — в руки белых. Это так же несложно, как вычислить время затмения: если начальные данные правильны, ошибки не будет. Уже почти столетие у туземцев на три рождения приходится пять смертей, так что каждому ясно, какой грядет итог. Нет сомнений, что лет через пятьдесят гаваец будет диковинкой в своей собственной стране, а показ его на ярмарке — доходнее цирка.

Я искренне сожалею о том, что гавайцы вымирают, ибо этот народ, быть может, самый интересный из всех существующих дикарей. Язык гавайцев мягок и музыкален, в нем нет ни одного свистящего или ши-

пящего звука, и все слова оканчиваются гласными. Человека по имени «Джим Фиск» они будут звать «Джимми Фикки», ибо они меняют на свой лад даже имена собственные, если те звучат слишком жестко. По сравнению с гавайским языком итальянский кажется резким и неблагозвучным.

Раньше гавайцы ходили обнаженными, но миссионеры положили этому конец: теперь в городах мужчины носят европейскую одежду, а в деревнях — пробковые шляпы и набедренные повязки; отправляясь в гости, они надевают воротничок и жилет. Этими достойными восхищения переменами они обязаны исключительно религии и просвещению. Женщины ходят в просторных ситцевых балахонах до пят, без единого выреза.

Называя вещи своими именами, в отношениях между полами не существовало преград. Девушка или женщина, отвергающая притязания незнакомца, рисковала вызвать презрение; однако миссионеры боролись с этой свободой нравов столь упорно, что преуспели по меньшей мере в одном: она перестала быть явной и, исчезнув на словах, существует только фактически.

Гавайцы — самые простодушные, добрые и бескорыстные из всех существ, созданных Творцом по своему подобию. Там, где влияние белых еще не изменило их, они радушно встретят любого чужака и поделятся с ним всем что имеют — черта, которая, по-видимому, никогда не была присуща ни одному другому народу. Они живут сегодняшним днем, завтрашний остается за пределами их планов. В Гонолулу у меня в услужении был юноша-туземец, выпускник миссионерского колледжа, деливший время между переводом Евангелия и уходом за принадлежащим мне животным, которое я гордо именовал лошадью. Получая жалованье, он каждый раз тратил его целиком, от пятидесяти центов до доллара, на пои (национальное блюдо, приготовляемое из корня таро) и созывал всех местных оборванцев, случившихся поблизости, помочь разделаться с ним. Эти симпатичные дикари усаживались в высокую траву под тамариндами и работали челюстями до тех пор, пока не убирали все подчистую. Дня два после этого мой слуга ходил голодный и довольный, а затем какой-нибудь гаваец, которого он, возможно, видел впервые в жизни, приглашал его на такой же пир и вновь давал ему средство для поддержания жизни.

Прежняя религия гавайцев являла собой смесь забавных суеверий. По-видимому, верховным божеством, которому они поклонялись — или, точнее, которое пытались умилостивить,— была акула. Затем шла Пеле, богиня, правившая страшным огнем Килауэа, и множество мелких божков. Ныне туземцы все до единого христиане; они все добрые прихожане и богословие любят больше, чем пироги; они в состоянии выдержать проповедь, не уступающую по длине Декларации независимости; чем проповедь скучнее, тем сильнее она их увлекает; они готовы сидеть, подогреваясь на медленном огне нарастающего экстаза, и томиться в собственном соку, пока не захлебнутся в нем, если, конечно, священник вовремя не остановится. Воскресные школы — любимое развлечение для туземцев, они не хотят оттуда уходить. Если бы их опьянение религией было не только духовным, но и физическим, они бы не протрезвлялись никогда. Религия для туземца — это и выпивка и еда. В его распоряжении имеется аккуратно изданная Библия (она переведена на местный язык, и читать ее могут на островах все: мужчины, женщины и даже маленькие дети), и он читает и перечитывает ее десятки раз. Кроме того, он в изобилии читает нравоучительные истории, взятые из старых добрых учебников для воскресных школ, подслащенные сверх всякой меры, и поклоняется героям этих историй — безмозглым, тошнотворно набожным недоумкам, которые бродят по свету, пуская розовые слюни. Он знает наизусть все гимны, какие вы только слышали в своей жизни, и поет их мягким, приятным голосом на родном языке, на котором «Стою на бреге бурного Иордана» звучит для нас так же нелепо и чуждо, как если бы слова пропустили через мельницу не с того конца. Так что вы сами можете судить, насколько обитатели островов — большие и маленькие, старые и молодые — пропитаны религией, по крайней мере ее поэзией и музыкой. Однако в обиходе с религией дело обстоит по-другому. Некоторые главные заповеди христианства они, не задумываясь об этом, всегда выполняли и будут выполнять. Зато кое-какие из второстепенных они, так же не задумываясь, нарушают и будут нарушать всегда. Белый человек научил их лгать, и они лгут радостно и безгрешно — ибо они не воспринимают это как грех, и, следовательно, его не совершают. На прелюбодеяние они смотрят как на поэтически неподобающее, но практически вполне достойное занятие.

Этот народ религиозен сентиментально — быть может, это самое подходящее слово. Пока все в порядке, они молятся, поют и морализируют, но когда дело доходит до каких-то трудностей, то есть до вещей «серьезных», они готовы бросить поэзию и воззвать к Великой Акуле, божеству своих предков, чтобы она помогла. Древние суеверия у них в крови и постоянно выказывают себя самым естественным и извинительным образом.

Я отношусь к числу людей, смотрящих на миссионерскую деятельность как на долгий и неблагодарный труд, далеко не сразу приносящий желанные результаты. Но я далек от того, чтобы считать эту деятельность безнадежной или бессмысленной. Я верю, что это семя, брошенное в дикую землю, даст в третьем поколении полноценный плод, и такой итог, разумеется, стоит всех затраченных усилий. Однако я не думаю, что можно ожидать многого от первого и второго поколений. Это против природы. Чтобы превратить горький миндаль в персик, требуется многолетний терпеливый труд. Но мы не отказываемся от попыток достичь этого, ибо в конце концов труд, без сомнения, окупится.

Из гавайцев получаются отличные моряки, и хозяева китобойных судов отдают им предпочтение перед другими народами. Они так послушны, понятливы и старательны и вместе с тем так верны, что в качестве ра-

бочей силы ценятся владельцами сахарных плантаций выше всех. Разве эти факты не говорят в пользу наших бедных темнокожих учеников воскресных школ с далеких островов?!

Здесь небольшой имущественный ценз, и всякий туземец, имеющий доход в 50 долларов в год, пользуется избирательным правом.

Три тысячи белых на островах держат в руках все деньги и заправляют всей коммерцией и сельским хозяйством — да и религией Среди них подавляющее большинство составляют американцы. Белые — это владельцы сахарных плантаций, китобойных судов, торговцы и миссионеры. Миссионеры досадуют на присутствие всех прочих белых, а эти прочие досадуют на то, что миссионеры не убираются восвояси. Бóльшая часть земли на склонах, которая соседствует с океаном и доходит до подножия гор, богата и плодородна. Этой полезной почвы всего 200 тысяч акров, но подумайте только о ее возможностях! В Луизиане сахарная плантация в 200 тысяч акров дает в год не более 50 тысяч бочек сахара, а может быть, даже меньше, тогда как на Сандвичевых островах с такой же площади можно получить по меньшей мере 400 тысяч бочек. Это звучит как преувеличение, и тем не менее это правда. Здесь две с половиной бочки с акра — вполне обычный урожай, три с половиной бочки тоже никого не удивят, а нередко собирают и по пять бочек. Я могу назвать человека, который собрал за один сезон пятьдесят бочек сахара с семи акров Его плантация была на горном склоне, в 2500 футах над уровнем моря, и на ее возделывание ушло три года. За справками обращайтесь к капитану Макки, остров Мади, Сандвичевы острова..

Как наживались эти плантаторы во время нашей войны когда цена сахара перевалила за двадцать центов! Он обходился им в десять или одиннадцать центов за фунт, доставлялся в Сан-Франциско и окупал все расходы. Если кто-нибудь пожелает знать, почему эти плантаторы могут быть заинтересованы в том, чтобы оказаться под нашим флагом то ответ прост Сейчас мы заставляем их платить пошлину в четыре цента за фунт рафинада; комиссионные расходы, фрахт и погрузка-разгрузка (два-три раза) стоят еще три цента; выращивание тростника и получение сахара обходятся в пять центов — итого 12 центов или около того за фунт. А нынешняя оптовая цена рафинада не превышает на наших рынках примерно 12 с половиной центов. Так что о серьезном доходе нет и речи. Но вот если бы нам пришлось присоединить эти острова и покончить тем самым с разорительной пошлиной в четыре цента за фунт, то некоторые из крупных плантаторов, которые и без того так крупны, что с трудом удерживаются на поверхности, загребали бы в год по 75 тысяч долларов и больше. Их плантации со всем сырьем и оборудованием окупились бы за два года. Я, правда, был на островах давно и поэтому не могу поклясться, что Соединенные Штаты взимали за сахар пошлину именно в четыре цента за фунт, но уж что не меньше трех — это точно.

Мне хотелось бы вспомнить о покойном короле Камехамехе V и о системе государственного управления на островах, но отложу до следующего дня. Кстати, мне интересно, почему ваши корреспонденты так спокойно игнорируют истинного наследника престола Сандвичевых островов, как если бы он не существовал вовсе и не имел бы никаких шансов. Я хотел было замолвить за него словечко. Я имею в виду верного поклонника Америки принца Уильяма Луналило, потомка одиннадцати поколений коронованных дикарей — славного парня, способного и даже талантливого, имеющего образование, джентльменские манеры, благородные побуждения и ум, который так ослепительно блещет сквозь потоки виски, как если бы оно было горючим, на котором работает его мозг. Все жители островов знают, что Уильям, или «принц Билл» — как они его зовут исключительно из симпатии, а не почему-нибудь еще,— стоит в двух шагах от трона. Почему же его игнорируют?

II

Сэр! Объяснив, кто такие три тысячи белых на островах и что представляют собой 50 тысяч туземцев, я подброшу теперь немного сведений о том, как управляется это игрушечное королевство с его игрушечным населением. Властью констебля и шести полисменов? Мирового судьи и присяжных? Мэра и муниципалитета? Ничего похожего. Здесь имеется король, парламент, министры, тайный совет, регулярная армия (200 солдат), флот (паровой паром и плот), коллегия верховных судей, и на каждом острове — главный шериф. Ни больше ни меньше. Это все равно что приводить в движение блюдо для сардин, используя всю мощь техники нашего Востока.

Примерно полвека назад туземцы, повинуясь внезапному и необъяснимому для них самих порыву, сожгли всех своих идолов и низвергли старую религию. Забавно, что первая партия наших миссионеров в это время как раз огибала мыс Горн и прибыла вовремя, чтобы снабдить этих людей новым и гораздо более надежным средством спасения души. Миссионеры крестили сразу всех мужчин, женщин и детей и немедленно приступили к обучению их догматам новой веры. Они построили огромные церкви и за день приводили к причастию до 5 тысяч человек. Молва об этом облетела всю землю, и повсюду народы возликовали; духовенство назвало это «великим пробуждением», и даже еще не пробудившиеся были взволнованы и выражали восхищение. Миссионеры выучили местный язык, перевели на него Библию и другие книги, создали школы и даже колледжи с довольно сложной программой и обучили всю нацию читать и писать. Принцы и знать получали образование в колледжах и становились знатоками полудюжины мертвых и живых языков. Прошло еще лет двадцать и миссионеры выработали конституцию, которая стала законом страны. Конституция подняла женщину на уровень ее повелителя, поставила арендатора в меньшую зависимость от хозяина, установила точную и справедливую налоговую

систему, ввела баллотировку и всеобщее избирательное право, наделила короля, вождей и народ соответствующими правами и привилегиями, учредила парламент, где должны были быть представлены все сословия королевства, и, если я правильно помню, предоставила парламенту право проводить законы, невзирая на вето короля.

Несколько лет все шло как по маслу, в особенности при правлении брата покойного короля, просвещенного и либерально настроенного монарха, но когда он умер и на престол взошел Камехамеха V, дело приняло иной оборот. Это был, что называется, «божьей милостью» король, а вовсе не марионетка, как утверждали некоторые; действительно, пока он правил, основная власть на островах была сосредоточена в его руках, и он принимал и отменял законы единственно своей королевской волей.

Он был хозяином с самого начала и до последнего дня. «Марионеткой» в его правление был как раз парламент. Первое, что он совершил, вступив на престол, это, впав в великолепную ярость (когда парламент забаллотировал одно из его решений), изорвал прекрасную конституцию в клочки и истоптал своими королевскими ногами. Затем он бесцеремонно прервал работу парламента и отправил его членов заниматься своими делами. Он ненавидел парламенты, считая их досадной помехой королевской власти, однако допускал их существование, ибо помехой они были скорее бутафорской, нежели реальной. Он ненавидел всеобщее избирательное право и уничтожил его — во всяком случае обескровил, оставив от него лишь вполне безвредную видимость. Он заявил, что не позволит нищим голосовать за разорение предпринимателей, и ввел имущественный ценз. Он окружил себя раболепным королевским кабинетом, состоявшим из американцев и других иностранцев, и диктовал свои решения его членам, а через них и парламенту; парламент встречал королевские постановления почтительно, если не сказать подобострастно, и беспрепятственно их принимал.

Все это как-то не вяжется с образом «короля-марионетки». Камехамеха V не был глуп. Он правил мудро, знал людей, был образован и хорошо воспитан и изо всех сил стремился разбогатеть с помощью своего народа, в чем и преуспел. В нем не было вздорности, часто свойственной царственным особам: одевался он просто и ездил по Гонолулу на своей старой лошади без всякой свиты как днем, так и ночью; он был популярен, глубоко уважаем и даже любим. По-видимому, единственным, кто его никогда не боялся, был принц Билл, о котором я уже упоминал. Единственным, кто осмеливался говорить о короле все что думает в парламенте и на предвыборных митингах, был нынешний наследник престола — если, конечно, принц Билл еще жив, а мне не приходилось слышать о его кончине. Этот прогрессивный молодой человек обходился с королем без особого почтения, нисколько не заботясь о последствиях, а поскольку он был даже популярнее в народе, чем сам король, вполне вероятно, что его оппозиция имела кое-какую силу. Шесть лет назад в Гонолулу только об этом и говорили, и я верю, что это правда, хотя не располагаю иными данными, кроме того, что слышал.

По моим соображениям, принцу Уильяму сейчас около тридцати пяти лет. Он не состоит в кровном родстве с домом Камехамеха. Он происходит из рода более древнего и гордого. рода вождей и принцев с острова Мауи где этот род пользовался непререкаемой властью в течение нескольких столетий. Уильям одиннадцатый по счету принц по прямой нисходящей линии, и туземцы всегда оказывали особое почтение знатности его происхождения, почтение, которым они не удостаивали выскочек из дома Камехамехи. Его считают единственным настоящим наследником гавайского престола, и вот почему. Умирающий или отрекающийся король, в соответствии с законом страны, может назвать своего преемника — он имеет право выбрать любого из своих детей, братьев и вообще любого из членов королевской семьи. Покойный король ушел в лучший мир, не оставив ни сына, ни дочери, ни брата, ни дяди, ни племянника, ни отца (его отец никогда не был королем — он умер года два назад) и не назначив преемника. В этой ситуации парламент полномочен избрать короля среди членов двенадцати знатнейших семей. Таково, во всяком случае, мое представление о сути дела, и я убежден, что не ошибаюсь. По рангу принц Уильям настолько же выше любого из остальных вождей, насколько английский герцог королевской крови выше обычного графа. Не считая королевской семьи, это единственный гаваец, имеющий право носить и передавать по наследству титул принца; кроме того, он популярен до такой степени, что, если бы король избирался всенародным голосованием, принц Уильям был бы вне конкуренции.

Это очень красивый молодой человек, с манерами истинного принца, будь он трезв или пьян — в данном случае я выражаюсь образно, ибо по-настоящему пьян он не бывал никогда: много в него не вмещалось. Его черты прекрасны, у него римский нос, представляющий собой образец красоты и величия. Он полон воодушевления, мужества и предприимчивости, очень умен, говорит легко, всегда энергично и по существу; в нем нет и намека на скрытность или двуличие; он всегда берет быка за рога, нимало не заботясь о том, что кто-то может проникнуть в его намерения и разгадать его цели. Он потенциальный друг Америки и американцев. Таков истинный наследник вакантного престола — если он, как я уже говорил, еще жив.

Я упомянул, что Уильям пьет. Для гавайцев это не порок. Виски им вреда не причиняет; у привычного к виски туземца редко заплетаются ноги и затуманивается мозг. Для принца Билла это всего-навсего вода с приятным ароматом, то же самое, что для нас сидр. Всемогущим противоядием, охраняющим любителей виски, является пои. Кто постоянно ест пои, может выпить сколько угодно, практически ничем не рискуя. Покойный король и его покойная сестра Виктория пили виски без всякой меры; то же самое делали бы и

остальные туземцы, если бы могли его достать. Местный напиток ава чудовищен настолько, что виски по сравнению с ним — детская игрушка. Ава превращает человеческую кожу в белую рыбью чешую, настолько прочную, что человека может искусать собака, а он не узнает об этом до тех пор, пока не прочтет в газетах. Ава делается из какого-то корня. У «элиты» этот напиток, в общем, в ходу; что же касается плебеев, то налоговое законодательство сделало его для них почти недосягаемым. Что такое виски по сравнению с авой?

Много лет назад покойный король со своим братом приезжали в Калифорнию, и кто-то из жителей Сакраменто решил, что было бы забавно их напоить. Для этой цели собрали всех самых известных городских пьяниц, и те принялись накачивать высоких гостей, а заодно и себя пуншем из крепкого бренди. Через два-три часа городские бражники лежали без чувств под столом, в то время как оба принца продолжали сидеть и с тоской говорили о том, какая это скучная, трезвая страна! Я в точности повторяю то, что мне рассказывали в Сакраменто.

Гавайский парламент состоит из горстки вождей, нескольких белых и примерно тридцати или сорока простых гавайцев. Королевские министры (полдюжины белых) заседают вместе с парламентом и подавляют всякое сопротивление воле короля. В парламенте всегда говорят одновременно двое: член парламента и переводчик. Этот крохотный законодательный орган так же гордится собой, как и всякий другой парламент, и невероятно важничает. По мудрости своих решений он равен аналогичным органам любого нашего штата, но и не превосходит их. Вероятно, господь создал все подобные ассамблеи в этом отношении одинаковыми. Я помню один поразивший меня гавайский законопроект: он предлагал связать острова Оаху и Гавайи посредством висячего моста, поскольку путешествие по воде между этими пунктами было сопряжено с тяжелой морской болезнью и приносило туземцам массу неудобств. Этот висячий мост должен был иметь длину в 150 миль!

Мне легко представить себе, что делается сейчас в Гонолулу и как проходит этот месяц траура, ибо я был там, когда умерла Виктория, сестра покойного короля. Давид Калакауа (вождь), верховный главнокомандующий гвардии (как вам нравится этот титул?), вне всякого сомнения, стоит сейчас на посту у запертых ворот, ведущих на территорию «дворца», и гонит прочь всех белых, не состоящих на государственной службе, а внутри наши крещеные язычники вопят, танцуют и неистовствуют по древнему дикарскому обычаю, который существовал еще до того, как Кук открыл эту землю. Я жил в трех кварталах от двухэтажного деревянного дворца гавайских королей и когда оплакивали Викторию, эта церемония не давала мне спать до утра тридцать ночей подряд. Все это время тело крещеной, но не вполне праведной принцессы лежало во дворце, выставленное для прощания. Однажды ночью я сумел войти на территорию дворца и увидел сотни полуобнаженных дикарей обоего пола, мяукавших, завывавших и бивших в свои мрачные тамтамы в таинственном сиянии бесчисленных факелов; большая группа женщин, покачивая гибкими телами, извивалась в затейливых движениях сладострастного танца, называемого хула-хула, а все прочие сопровождали это пением на местном языке. Я спросил сына одного миссионера, что означают слова этой песни. Он ответил, что они воспевают восхитительные дарования и физические совершенства умершей принцессы. Я начал было расспрашивать подробнее, но он сказал, что слова слишком непристойны, перевести их немыслимо и лучше вообще не упоминать вслух телесные совершенства, о которых идет речь, да и столь восхваляемые и прославляемые способности покойной приличнее предоставить воображению. Он сказал, что король, без сомнения, слушает сейчас эти ужасные славословия и упивается ими. И это покойный король — образованный и благовоспитанный Камехамеха V! Стоит заметить, что он имел в числе прочих и титул главы церкви: будучи воспитан в соответствии с религиозными воззрениями миссионеров и получив образование в их школе и колледже, он тем не менее рано научился презирать их плебейский способ богослужения, заимствовал английскую систему и английского епископа и во главе всей организации поставил себя. Теперь вообразите мрачную вакханалию, происходящую по ночам на территории дворца, где сейчас выставлено для прощания тело его величества.

Покойного монарха часто можно было видеть по воскресеньям на королевской скамье в Гавайской королевской реформатской католической церкви, однако в тревожные минуты он обращался не к кресту, а к языческим богам своих предков. Таков был этот человек, который мог написать вам прекрасное письмо безукоризненным почерком на безукоризненном английском языке, возможно даже с удачными упоминаниями классики или с изящными ссылками на достижения науки, международное право или историю международных отношений; он мог, облачившись в элегантный вечерний костюм, по-королевски развлекать вас у себя за ужином, беседуя как прирожденный христианский джентльмен; мог работать без устали изо дня в день, целиком посвящая себя государственным делам, и при случае обмениваться собственноручными посланиями с королями и императорами Старого света. Но буквально назавтра, окончив дела, он мог исчезнуть в темном скоплении маленьких, покрытых соломой туземных хижин на берегу моря и там на несколько недель превратиться в язычника, ничем не отличающегося от своих диких предков. Сменив королевскую одежду на набедренную повязку, он ежедневно напивался виски, восседая рядом со своими наложницами, в то время как другие наложницы танцевали для него особую хула-хулу. Если ему случалось принимать ответственное решение, он вызывал к себе старую ведьму, состоявшую в числе его приближенных, и просил сообщить ему мнение и волю языческих богов — их приказам он следовал не-

укоснительно. Он был настолько суеверен, что не решился бы переступить через проведенную поперек дороги черту, а предпочел бы ее обойти. Все это часто обсуждалось на островах. Сам я видел короля только один раз, и не во время его периодических «уходов». Он был в вечернем костюме и принимал участие в похоронах своей сестры; траурная лента длиной в ярд свисала с его шляпы, похожей на печную трубу.

Если вы дадите себе труд вспомнить, что население этих островов едва превышает 50 тысяч душ и что над этой ничтожной горсткой людей громоздится монархия — причем разукрашенная таким количеством высокопоставленных сановников, что их хватило бы на управление Российской империей,— вам, вероятно, будет интересно узнать, остается ли кто-нибудь, кем можно управлять, когда все вакансии заполнены. И действительно, одна из самых редких диковинок на островах — это человек, не имеющий никакого титула. Будучи, по-видимому, единственным неофициальным лицом в Гонолулу, я чувствовал себя очень одиноким, и, чтобы найти себе компанию, мне пришлось покинуть страну.

После описания этого имперского величия неудобно даже говорить о том, что весь экспорт королевства не составляет и полутора миллионов долларов, импорт тоже, при годовом доходе, положим, в пятьсот тысяч. Из этого они платят королю 36 тысяч долларов в год, и от трех до восьми тысяч получают чиновники — а сколько их, ведает один бог.

Когда я был там, государственный долг составлял 150 тысяч долларов, и ничем они так не гордились, как этим долгом. Ради такого долга можно не делать займа. Стоило посмотреть, с каким видом его превосходительство министр финансов к месту и не к месту поминал свой годовой доклад о государственном бюджете, зачитывая наиболее впечатляющие пункты и похваляясь балансом!

Чрезвычайно забавное явление — «королевские министры». Это белые люди разных национальностей, прибывшие на острова в давно прошедшие годы. Опишу вам один образчик — не из самых прекрасных. Например, Гарриса. Он американец, бывший деревенский адвокат из Нью-Гэмпшира, длинноногий, самовлюбленный и поверхностный. Если бы его ум был пропорционален длине его ног, он затмил бы самого Соломона; если бы его скромность равнялась его невежеству, он посрамил бы даже фиалку; если бы его ученость равнялась его тщеславию, то Гумбольдт рядом с ним показался бы темным, как могильный камень; если бы его рост был соразмерен его совести, этого человека пришлось бы рассматривать в микроскоп; если бы в его идеях было столько же широты, сколько в словах, то они не поместились бы и в сотне голов; если бы аудиторию обязали слушать его, пока он не устанет, то все умерли бы от старости; а уж если заставить его говорить до тех пор, пока он не скажет хоть что-нибудь дельное, то конец этому положит лишь трубный глас. Впрочем, у него хватило бы наглости переждать, пока эта досадная помеха стихнет, и продолжать дальше.

Таков (или таким был) его превосходительство мистер Гаррис, министр Того, Сего и Прочего при его величестве покойном короле, ибо Гаррис был понемногу всем, но главное, он неизменно являлся самым покорным слугой и восторженным обожателем короля, его первым защитником и глашатаем на министерской скамье в парламенте. Едва поднимался какой-нибудь вопрос (неважно, какой именно), Гаррис тотчас же вскакивал, начинал размахивать своими костлявыми ручищами, бушевать, выделывать пируэты, сыпать звонкими трюизмами, казавшимися ему верхом красноречия, изливать потоки желчи, мнившиеся ему сатирой, и перемежать это унылой чепухой, видимо, принимаемой им за юмор. Обладая физиономией гробовщика, он сопровождал свои речи немыслимыми гримасами, которые должны были играть роль усмешек.

Он начинал на островах в качестве маленького, безвестного адвоката и дорос (?) до положения официального лица, занимающего столько разных постов, что народ издевательски прозвал его «государственной машиной». Он стал великаном в стране карликов — из людей его калибра в других странах получаются всего лишь констебли и коронеры. Я не хочу, чтобы кому-то показалось, будто у меня есть предубеждение против Гарриса, и надеюсь, ничто из мною сказанного не создаст такого впечатления. Я должен быть беспристрастным историком и, следовательно, не могу в данном случае утаить то обстоятельство, что эта величественная фигура, на расстоянии смахивающая на статую Вашингтона, вблизи оказывается не чем иным, как тридцатидолларовой ветряной мельницей.

Гаррис любит заявлять, что он больше не американец и гордится этим, что он гаваец до мозга костей и гордится этим, что он добросовестный слуга своего господина и хозяина, короля Камехамехи V, и гордится этим, и благодарен за это судьбе.

Давайте присоединим эти острова! Подумайте, какой мы можем создать там китобойный промысел! (Однако при наших порядках не исключено, что суда скоро перестанут приходить оттуда, чтобы их не обирали постоянно матросы и крючкотворы, как сейчас это происходит в порту Сан-Франциско, который капитаны торговых судов обходят так же старательно, как рифы и мели.) Давайте присоединим острова. Мы могли бы производить там сахара столько, что хватило бы на всю Америку, и цены с уничтожением налога сразу понизятся. У нас тогда будет такой чудесный перевалочный пункт для наших тихоокеанских кораблей; такой удобный пункт обеспечения и наблюдения для нашей эскадры; мы можем выращивать здесь хлопок и кофе и окупать это сторицей, ибо при отсутствии пошлины доходы увеличатся. Кроме того, мы бы тогда владели самым могучим вулканом на земле — Килауэа! Барнум мог бы управиться с ним, он теперь знает толк в огне. Давайте присоединим их во что бы то ни стало. Мы очень просто можем усмирить принца Билла и прочую знать — поместим их в резервацию! Ничто

так не любит дикарь, как резервацию, где он каждый год получает новую мотыгу, Библию и одеяло для обмена на порох и виски,— полная идиллия под охраной солдат. Присоединив острова, мы получим все эти 50 тысяч туземцев дешево, как мусор, вместе с их моральными и прочими недугами в придачу. Никаких затрат на их образование: они уже образованны; нет нужды обращать их в истинную веру—они уже обращены; никаких затрат, чтобы одеть их: по очевидным причинам.

Мы просто-таки должны присоединить гавайцев. В наших силах отучить их веселиться с помощью нашего мудрого и благодетельного правительства. Мы можем познакомить их с таким новшеством, как воровство, и со всеми видами воров — от трамвайных карманников до муниципальных грабителей и правительственных растратчиков; показать им, как бывает забавно, когда их арестовывают, судят и выпускают на свободу — одних за деньги, других за «политическое влияние». Они быстро устыдятся собственной простой и первобытной юстиции. Мы покончим с их практикой приговаривать своих редких убийц к смертной казни через повешение и дадим им судью Пратта, чтобы он научил их, как сохранить для общества убийц Эвери. Мы можем дать им какого-нибудь Бернарда, чтобы их акционерные общества не имели затруднений. Мы можем дать им присяжных, состоящих исключительно из самых искренних и очаровательных болванов. Мы можем дать им железнодорожные компании, которые купят их законодательные органы, как старое тряпье, раздавят их лучших граждан и будут жаловаться, что трупы пачкают пути кровью и нечистотами. Вместо безвредного и хвастливого Гарриса мы можем дать им Твида. Можем отдать им Конноли. одолжить им Свини; мы можем снабдить их каким-нибудь Джеем Гулдом, который покончит с их устаревшим представлением о том, что воровать стыдно. Мы можем наградить их Вудхаллом и Клафлином. А также Джорджем Фрэнсисом Трейном. Наконец, мы можем дать им воспитателей. Я и сам поеду.

Мы можем сделать эту кучку спящих островов самой горячей точкой земли и облачить их в высоконравственное великолепие нашей святой цивилизации. Присоединение — вот в чем нуждаются бедные островитяне. «Неужели мы откажемся дать блуждающим во тьме лампаду жизни?»

Перевод с английского А. ДУРНОВО

Налоги и мораль

Именно благодаря привычкам, о которых говорил здесь мистер Чоуэт, мне удалось остаться молодым до семидесяти лет. Сегодня я весь день провалялся в постели, намереваюсь так же провести завтрашний день, да и вообще весь год. Где еще, как не в постели, делать работу, которую считаешь удовольствием,— в ней так удобно, так хорошо. Мистер Чоуэт мудро воздержался от комплиментов по моему адресу. И не потому, что не хотел меня хвалить,— просто не нашел за что.

Я прибыл сюда с ответственной миссией — быть надзирателем над мистером Чоуэтом. Причина сегодняшнего собрания серьезна и важна, и я счел свое присутствие необходимым; если ему придет в голову сделать заявление, которое потребуется подправить, сократить, опровергнуть или разоблачить, тут-то рядом и окажется испытанный друг общества, способный защитить собравшихся и навести порядок. Но со всей откровенностью — и удовольствием — должен признать, что ничего подобного сказано не было. Все, что произнес здесь мистер Чоуэт, ничуть не уступает в достоверности тому, что говорю я. Более достойного человека я еще не встречал. Я вовсе не завидую, сердце мое преисполнено благодарности — благодарности и гордости — по отношению к стране, способной произвести на свет таких людей. Двух таких людей, да еще в одном и том же веке! Мы не будем с вами вечно, мы уходим, вот уйдем, и тогда... Что ж, тогда всему конец, я думаю. Грустно сознавать это. Но я останусь жить в ваших душах. Чоуэт тоже — если сумеет.

Итак, коль скоро объяснять, опровергать и уточнять ничего не нужно, мне остается лишь перейти к самому привычному для меня занятию — поучать. В Таскеги от студентов требуют глубокого постижения кодекса христианской морали, до сознания их доводят неоспоримую истину, что из всех систем морали эта — высшая и лучшая. Им внушают, что величие Америки, ее сила и репутация среди других народов — продукт именно этой системы. Именно она является основой американского национального характера, все лучшее в американцах, достойное восхваления и восхищения, выросло и расцвело из этого семени. Студента учат, что истина эта вечна и всеобъемлюща независимо от того, верующий ты или нет, ибо в нашей стране есть лишь один кодекс, кодекс христианской морали. Каждый американец формируется под его воздействием, ощущает его влияние от колыбели до гробовой доски; он впитывает эту мораль с молоком матери, вдыхает с воздухом, которым дышит; она — его плоть и кровь, основа его духовной и культурной деятельности, она — вечна. А потому каждый из восьмидесяти миллионов, родившихся в Америке, независимо от его убеждений или отсутствия таковых, христианин — в том смысле, что его нравственной конституцией является христианство.

Все это так, и ни один студент не окончит Таскеги, не постигнув этой истины. Так что же ему нужно еще, кроме этого? Чему могу научить его я? Разве существуют какие-то знания, которых ему в университете не дали или по крайней мере недодали? Существуют, и очень важные.

Есть два вида христианской морали, одна — для себя, другая — для общества. Они настолько различны, настолько несовместимы, что сходства между ними не больше, чем между архангелами и политиками. Одна — это личная христианская мораль, другая — общественная. Искреннее соблюдение требований личной христианской мора-

ли позволило нашей стране стать тем, чем она стала: нацией людей нравственных и достойных в быту, честных и порядочных в том, что касается дела. В этом смысле никакая другая страна не может соперничать с нами, ни один самый взыскательный критик не станет оспаривать эту истину.

Триста шестьдесят три дня в году американский гражданин хранит верность своей личной христианской морали и поддерживает доброе имя американца, но в оставшиеся два дня он оставляет личную христианскую мораль дома и, отправляясь в налоговое управление или на выборы, берет с собой мораль общественную, а уж там делает все возможное, чтобы разрушить созданное за год добросовестным и праведным трудом. Не моргнув глазом, он отдает свой голос за бесчестного хозяина, если этот хозяин — его духовный Моисей; без тени сомнения он голосует против лучшего человека в стране, если тот из другой партии. Каждый год он помогает протащить к власти пройдох и взяточников, благодаря ему в городах и штатах пышным цветом расцветают подкуп и мошенничество Из года в год он планомерно способствует разложению политической жизни в стране — а ведь следуй он своей личной христианской морали, он смог бы быстро очистить государственные учреждения от хапуг и мошенников и привести к власти действительно порядочных и достойных людей. Но пока что, видя результат своих непатриотических деяний, он лишь вздыхает, горюет и обвиняет всех и вся — в то время как винить нужно одного себя.

Раз в год он откладывает личную христианскую мораль, нанимает паром и на три дня прячет свои акции на каком-нибудь складе в Нью-Джерси, потом достает мораль общественную и идет в налоговое управление. Там воздев руки к небу, он клянется, что за душой у него ни цента, да помоги ему господь. На следующий день в газетах появляются имена посетивших налоговое управление — список в колонку с четвертью, набранный четким шрифтом, и каждый в этом списке — миллиардер, исповедующий две (если не больше) христианские веры. Я знаю всех этих людей. У меня со всей этой братией отношения дружеские, деловые — и преступные. Они ни за что не пропустят службу, если находятся где-то поблизости, и никогда — где бь. они ни были — не пропустят день, когда надо под присягой докладывать о своих доходах.

В такой разлагающей обстановке трудно сохранить порядочность. Когда-то я был честным человеком Теперь я перестаю им быть. Вернее, уже перестал. Когда две недели назад размер моего налога определили в 75 000 долларов, я попробовал занять денег, но не тут-то было. Потом, выяснив, что всей шайке нью-йоркских миллионеров дозволяется платить в три раза меньше, чем мне, я воскликнул в гневе и негодовании: «Это капля переполнившая чашу. Я не собираюсь финансировать этот город в одиночку». В эту минуту — в эту памятную минуту — я и начал разлагаться. Через пятнадцать минут процесс завершился: все мои добродетели рассыпались в прах, и вместе с бывалыми и опытными мошенниками я, клятвенно подняв руку, перечислил все мое достояние на этом свете, вплоть до последней тряпицы, деревянной ноги, стеклянного глаза и остатков парика.

Сборщики налогов были потрясены; потрясены до крайности. Они привыкли, что такие спектакли закатывают закаленные старые пройдохи, и примирились с этим, но от меня, штатного моралиста-профессионала, они ждали большего, и взоры их затуманились.

Я явно упал в их глазах, как упал бы и в своих собственных. да падать дальше было некуда — я уже ударился о дно.

В Таскеги профессора вместе с доктором Паркхерстом, не имея достаточных сведений, делают скоропалительные и ошибочные выводы, уверяя студентов, что джентльмены-де никогда не сквернословят.

Взгляните на чудесных миллионеров, о которых я только что говорил; разве они не джентльмены? Представьте себе, они сквернословят — клятвословят. Может быть, всего раз в год, зато уж так солидно, что вполне компенсируют потерянное время. А что-нибудь они при этом теряют? Ни в коем случае; за три минуты экономят столько, что их семьям вполне хватит прожить семь лет. Содрогаемся ли мы при таком сквернословии? Нет — разве что они воскликнут «черт возьми». Тут мы содрогнемся. В нас просто все перевернется. Но не надо принимать это близко к сердцу, ибо сквернословим мы все — все до единого. Включая дам. Включая доктора Паркхерста, этого сильного, бравого и выдающегося гражданина, правда не вполне воспитанного.

Ведь грех — это вовсе не слово, а то, что за ним. Когда раздраженная дама произносит «о!», за этим стоит «черт возьми!», и именно так нужно воспринимать сказанное ею. Мне всегда становится не по себе, когда я слышу подобную скверну из дамских уст. С другой стороны, если «черт возьми» произнести весело и дружелюбно, к этому можно не придираться.

Мысль о том, что джентльмен никогда не сквернословит, в корне неверна, он может браниться и оставаться джентльменом, если тон его — мягкий, благожелательный и необидный. Историк Джон Фиск, которого я хорошо знал и любил, был безупречным, благороднейшим и честнейшим христианином, но и он однажды не выдержал. Не то чтобы не выдержал, и все же... Лучше я вам расскажу обо всем по порядку.

Однажды, когда Фиск был с головой занят работой, в комнату вошла его жена, очень взволнованная и глубоко опечаленная. Она сказала: «Прости, Джон, что отрываю тебя, но я вынуждена, потому что дело крайне серьезное и безотлагательное».

Потом, глубоко сокрушаясь, она предъявила обвинение их маленькому сыну. Она сказала: «Он назвал тетю Мери дурой, а тетю Марту чертовой дурой». Мистер Фиск минуту поразмышлял над услышанным, потом заметил: «Что ж, пожалуй, разница между ними схвачена верно».

Мистер Вашингтон, прошу вас передать эти наставления вашему великому, процветающему, в высшей степени благодетельному учебному заведению, включив их

в щедрую казну интеллектуальных и духовных богатств, каковыми вы оснащаете ваших питомцев, этих счастливчиков, готовя их к выходу в бурное море жизни.

Перевод с английского М. ЗАГОТА

Семидесятый день рождения

Выступление в Нью-Йорке 5 декабря 1905 года на ужине по случаю семидесятилетия Марка Твена. Представил Марка Твена Уильям Дин Хоуэллс:

«А теперь, леди и джентльмены, а также полковник Харви, я хочу пожелать крепкого здоровья нашему почетному и, принимая во внимание солидный возраст, почтенному гостю, при этом позволю себе пожадничать от вашего имени. Я не скажу: «Король, живи вечно!», но: «Король, живи сколько захочешь!» (Все бурно аплодируют, машут салфетками, поднимаются и пьют за здоровье Марка Твена.)

Что ж, будь я автором этой шутки, я бы зачислил ее в разряд своих лучших, да и подана она превосходно. Но до такого высокого уровня я не поднялся. Тем не менее оценить шутку могу, я ее запомню и при случае обязательно ею воспользуюсь.

За целую жизнь дней рождения у меня было предостаточно. Особенно хорошо помню первый и всегда думаю о нем с негодованием: все было так грубо, неэстетично, по-дикарски. Никакого сравнения с сегодняшним торжеством. Никаких приличествующих моменту приготовлений — вообще ничего. Да-да, для человека, который явился на свет с возвышенными и утонченными инстинктами, абсолютно ничего не было готово — представьте, даже колыбельку не удосужились покрасить. У меня не было ни волос, ни зубов, ни одежды — в таком виде я и присутствовал на своем первом банкете. От желающих попасть на него отбоя не было. Дело было в скромном селеньице — нет, это громко сказано, в крошечной деревушке где-то на задворках штата Миссури, где никогда ничего не происходило, поэтому людям было все интересно, они оглядывали меня: появилось ли в моем роду что-то новенькое? Представьте, в этой деревеньке никогда ничего не происходило, и я, только я и был единственно стоящим, что там произошло за многие месяцы. Может быть, мне не следовало бы этого говорить, но более важного события в жизни этой деревеньки не случалось как минимум два года. Итак, эти люди пришли, собрались, обуреваемые откровенно провинциальным любопытством, и с откровенно провинциальной непосредственностью оглядели меня и высказали свои замечания. Их никто не спрашивал, а я был бы не прочь услышать хоть один комплимент в свой адрес, но такового не последовало. Замечания были зелеными от зависти и предубеждения, я ощущаю их и поныне. Короче говоря, я терпел... держался вежливо, покуда было возможно. Терпел целый час, и тут мое терпение лопнуло — петух прокричал. Я сам был этим петухом, пришла моя очередь — и я заорал. Я прекрасно знал, в чем моя сила, знал, что во всем этом городке есть лишь один непорочный, чистый и незапятнанный человек — это я, и заявил об этом вслух. Им нечего было возразить, ибо я был прав Краска стыда залила их лица. Это была моя первая в жизни послеобеденная речь. Да, кажется, дело было после обеда.

От той первой юбилейной речи до нынешней утекло немало времени. То была моя колыбельная песнь, а это, надо полагать, песнь лебединая. К лебединым песням я привык: я пел их несколько раз.

Сегодня мой семидесятый день рождения, и мне хочется, чтобы вы прочувствовали весь смысл этих слов, оценили всю значимость этой фразы — семидесятый день рождения.

Семидесятый день рождения! Это время жизни, когда человек достигает новой и жуткой стадии величия; когда можно сбросить оковы приличий, угнетавшие вас в течение целого поколения, и без страха и смущения стоять на своей семиступенчатой вершине, поглядывая вниз и поучая. Можно рассказать миру, как вы достигли этой вершины, что все и делают. Человек готов без устали повторять, благодаря какому тонкому искусству и каким подлинным добродетелям ему удалось взобраться так высоко. Со старческим восторгом он во всех подробностях объяснит, как проходило восхождение. Я давно жаждал поделиться с окружающими своей методикой и вот наконец получил на это право.

Я дожил до семидесятилетия обычным путем: строго придерживаясь способа бытия, который убил бы любого другого человека. Не думайте, что это преувеличение, это общее правило, позволяющее дожить до старости. Когда кто-то из словоохотливых стариков знакомит нас со своей жизненной программой, мы всякий раз приходим к выводу, что привычки, продлившие жизнь ему, обязательно довели бы нас до могилы; образ жизни, позволяющий им, по выражению мистера Чоуэта, так долго жить на средства своих наследников, без сомнения, отправил бы нас на тот свет раньше времени. Поэтому предлагаю следующий мудрый афоризм: каждый идет к старости своей дорогой.

Сейчас я начну вас поучать, познакомлю со своим образом жизни, и желающие поскорее перейти в мир иной смогут воспользоваться схемой, которая позволила мне целых семьдесят лет водить за нос и доктора и палача. Возможно, что-то вам покажется далеким от истины, но имейте в виду: я здесь не для того, чтобы лгать, я здесь для того, чтобы учить.

До сорокалетнего возраста наши привычки не назовешь устоявшимися. Но постепенно они закаливаются, потом твердеют — тогда-то все и начинается. После сорока лет я всегда отхожу ко сну и просыпаюсь, придерживаясь заведенного порядка, и это чрезвычайно важно. Я взял за правило ложиться спать, когда сидеть больше не с кем, и вставать, когда этого требуют обстоятельства. В результате получился строго упорядоченный беспорядок. Мне он со-

хранил здоровье, другого сделал бы калекой.

Что касается диеты — тоже весьма важный вопрос,— я всегда настойчиво потреблял продукты, с которыми конфликтовал, пока кто-то из нас не брал верх. До последнего времени верх всегда брал я. Но прошлой весной я перестал развлекаться со сладким пирогом после полуночи; прежде я был уверен, что он не взрывоопасен. Последние тридцать лет я в восемь утра съедаю бутерброд и запиваю его кофе — и до половины восьмого вечера не беру в рот ни крошки. Одиннадцать часов. Для меня это нормально и вполне безвредно, потому что у меня в жизни не болела голова, если же вы страдаете головными болями, едва ли вам с комфортом добраться до семидесяти этой дорогой — нет смысла и пробовать. И вот что я хочу довести до вашего сведения — думаю, это будет мудрый совет: если вы видите, что по дороге к станции «Семьдесят» вам придется ехать без удобств, не ездите вовсе. И если вас высаживают из пульмановского вагона и помещают в невесть чем пропахший вагон для курящих — соберите вещички, проверьте свой банковский счет и выходите на ближайшей станции, где есть кладбище.

Я взял за правило никогда не выкуривать более одной сигары сразу. Никак иначе себя в курении не ограничиваю. Не помню, в каком именно возрасте я начал курить, знаю только, что мой отец был еще жив и курить приходилось тайком. Он расстался с этим миром в начале 1847 года, когда мне едва стукнуло одиннадцать; с тех пор курю в открытую. Я вовсе не сторонник умеренности, но здесь могу быть примером для подражания: я взял за правило никогда не курить во сне и никогда не ограничивать себя после пробуждения. Это хорошее правило. Разумеется, для меня; но многим из вас прекрасно известно: оно подходит не для всякого, кто стремится дожить до семидесяти.

Я курю в постели, пока не придет время спать; просыпаясь ночью иногда один раз, иногда дважды, а то и трижды, всегда пользуюсь этой возможностью, чтобы покурить. Эту старую привычку я очень ценю, без нее мне было бы тяжело, как тяжело было бы вам, сэр (я говорю о председателе), лишиться единственной вашей добродетели, если таковая у вас имеется: я этого не утверждаю. Признаюсь, время от времени я бросал курить — самое большее на несколько месяцев, но не из принципиальных соображений, а просто порисоваться: хотелось щелкнуть по носу критиков, заявлявших, будто бы я — раб своих привычек и не способен избавиться от сковывающих меня уз.

Вот уже шестьдесят лет я заядлый курильщик. Никогда не покупаю сигары с антиникотиновым фильтром, ибо давным-давно выяснил: для меня это слишком дорого. Я всегда покупал дешевые сигары — в разумных, во всяком случае, пределах. Шестьдесят лет назад это удовольствие обходилось мне четыре доллара за бочонок, но с тех пор мои вкусы претерпели изменение к лучшему, и теперь я плачу семь. Шесть или семь? Кажется, семь. Но это вместе с бочонком. Дома я часто устраиваю вечеринки для курильщиков, но все эти люди, как правило, только что дали зарок воздержания от спиртного. Интересно, какая тут связь?

Что касается спиртного, у меня нет никаких правил. Когда пьют другие, я готов прийти им на помощь; в остальных случаях я остаюсь «сухим», по привычке и предпочтению. Мне это никак не вредит, но может навредить вам, потому что вы — это вы. Так что на меня не ориентируйтесь.

Начиная с семилетнего возраста я крайне редко принимаю лекарства и еще реже в них нуждаюсь. Но до семи лет жил исключительно на аллопатических средствах. Я в них, насколько мне известно, вовсе не нуждался, мне их давали из соображений экономии: какой-то должник отца расплатился с ним аптекой, и рыбий жир стал в доме самым дешевым завтраком. У нас его было девять бочонков, и мне этого хватило как раз на семь лет. Потом этот родник иссяк. Остальным членам семьи приходилось довольствоваться ревенем, рвотным корнем и тому подобными снадобьями — любимцем все-таки был я. Я, подобно компании «Стэндард ойл траст», прибрал к рукам самое лучшее. К тому времени, когда аптечные запасы истощились, я уже успел укрепить свое здоровье и с тех пор на него почти не жалуюсь. Но вы прекрасно понимаете: наивно полагать, что такой старт хорош для каждого ребенка, который жаждет дотянуть до семидесяти. Для меня этот старт оказался подходящим, но ведь это чистая случайность; такое может не повториться целый век.

Я никогда не делал никаких упражнений, если не считать сна и отдыха, и делать не собираюсь. Они вызывают у меня отвращение. Какая от них польза, если чувствуешь себя усталым? А усталым я чувствовал себя всегда. Но если моей тропой пойдет другой человек, хочу посмотреть, надолго ли его хватит.

Еще раз повторю здесь мой афоризм, чтобы обратить на него ваше внимание: каждый идет к старости своей дорогой. Мои привычки охраняют мою жизнь, вас они могут свести в могилу.

Я всегда вел добродетельный образ жизни. Но если другие попытаются пойти этим путем или я им такое порекомендую — это будет ошибкой. Мало кто преуспеет: нужно иметь колоссальный запас добродетелей; если их у вас кот наплакал — ничего не получится; они должны быть все целиком и храниться в вашей шкатулке. Добродетели — дело благоприобретенное, вы прибавляете их на свой счет как музыку, иностранный язык, набожность, покер, паралич, ни один человек с ними не рождается. Я не исключение, начинал я очень скромно. У меня не было ни одной добродетели. Едва ли в этом зале найдется человек, который был более обделен, чем я. Да, именно так я и начинал: передо мной весь мир, а за душой — ни одной добродетели. Я даже не был застрахован. До сих пор помню, как я приобрел первую. Все помню — и обстановку, и погоду, и как все выглядело. Это была старая добродетель, изрядно потрепанная, скрипучая и разболтанная, и

вообще она мне не подходила. Но если с такой штукой обращаться осторожно, хранить ее в сухом месте и беречь для всевозможных процессий, благотворительных лекций и концертов, всемирных ярмарок и тому подобное, если ее время от времени дезинфицировать, подкрашивать свежей краской — вы не представляете, какой стойкой она окажется, как долго сохранит приятность. По крайней мере не навредит. Перед тем как достаться мне, эта старая и замшелая добродетель долго бездействовала и совсем перестала расти, но я вдохнул в нее жизнь, у меня она работала вовсю, даже по воскресеньям. В таких условиях она окрепла и разрослась до неслыханных размеров. служила мне верой и правдой целых шестьдесят три года и все это время была предметом моей гордости и радости; но потом она попала в общество президентов страховых компаний и скоро оскудела плотью и духом, на нее стало жалко смотреть, а уж деловые качества она утратила полностью. Я был в большом убытке. Но не в полном. Я ее продал — увы, к тому времени она превратилась в жалкий скелет — бельгийскому королю Леопольду, этому разбойнику, а он перепродал ее Метрополитен-музею, причем музей был счастлив, потому что даже безо всякого тряпья у нее было 57 футов в длину и 16 футов в высоту, и они приняли ее за бронтозавриху. Что ж, какое-то сходство есть. Говорят, вырастить ей самца под пару удастся только через девятнадцать геологических периодов.

Добродетели исключительно ценны, потому что в каждом человеке с рождения сидит куча греховных микробов, и добродетели — единственное средство, способное эти микробы истребить. Скажем, если взять стерилизованного христианина... Собственно, выбирать не из кого, стерилизованный христианин всего один. Дорогой сэр, пожалуйста, не надо на меня так смотреть.

Итак, семь десятков!

Это библейский порог. Переступил его — и никто не потребует от тебя полезных деяний; жизнь, полная усердных трудов, для тебя окончена. Твое время истекло, и, как говорил Киплинг применительно к армии, ты отслужил свой срок лучше или хуже, и теперь ты демобилизован. Теперь ты почетный гражданин республики, ты свободен, больше не будет приказов, не зазвучит для тебя призывный сигнал горна, разве что «погасить огни». Ты платишь по полуистлевшим долговым распискам, если желаешь, а нет такого желания — уклоняешься, причем на законных основаниях, потому что срок действия этих расписок давно вышел.

Теперь не нужно больше отказываться от приглашений под предлогом занятости, а ведь сколько раз за сорок лет из-за этих отказов тебя мучила совесть; теперь об этом можно позабыть навсегда; по эту сторону могилы никакие предлоги тебе больше не потребуются. И если сердце твое сожмется при мысли о ночи, о зиме, о позднем возвращении с банкета, где сияли огни и звучал смех, о возвращении по пустынным, безлюдным улицам к одиночеству, которое напомнит, что больше не нужно красться на цыпочках, боясь побеспокоить близких, которые уже спят, ибо беспокоить некого,— если сердце защемит при всех этих мыслях, ты просто ответь: «Ваше приглашение делает мне честь, мне приятно, что вы еще помните меня, но мне семьдесят лет, семьдесят; поэтому лучше я уютно устроюсь в уголке возле камина, закурю трубку, раскрою книгу, отдохну, а вам от души пожелаю всего самого лучшего. И еще: когда придет ваш черед отправляться от пирса под номером семьдесят, я хочу, чтобы вы ступили на борт ожидающего вас судна умиротворенным и поплыли навстречу заходящему солнцу с сердцем, преисполненным покоя».

Перевод с английского М. ЗАГОТА

◆

Антирубрика

Ф. ТОНКАБОНИ (Иран)

ПОХВАЛА ЛЕНОСТИ

Перевод с персидского ДЖ. ДОРРИ

Человек — существо ленивое. Все, чего он не сделал,— не сделал из-за своей лености, а то, что он сделал,— сделал тоже из-за своей лености. Человек не решил ходить на двух ногах — он просто решил не ходить на четырех. Он устал от того, что все четыре конечности соприкасаются с твердой, неровной, коварной поверхностью, что ему приходится до боли вытягивать шею и держать поднятой голову. И в какой-то момент принял решение не ставить руки на землю, а помахивать ими во время ходьбы, прямо держать голову и доказать свое превосходство над другими животными.

Человек не решил приручать животных, к примеру лошадь,— он просто решил не ходить пешком: ему стало лень. А ездить, конечно, спокойнее. Человек не решил изобретать лодки и корабли — он просто решил больше не плавать сам. Ему лень стало плавать. А потом, когда понял, что и гребля тоже противоречит его натуре, он изобрел парусную лодку. Затем, развалившись в парусной лодке под ласковым солнцем, покачиваясь на морских волнах, он подумал: как бы это устроить, чтобы не заниматься таким утомительным делом — поднимать и опускать паруса. И тут он изобрел моторную лодку. Он имел быстроходные корабли но ему стало невмоготу даже изредка заходить в порт и болтаться там до тех пор, пока не подойдет его очередь за топливом. Для собственного спокойствия он построил атомоход.

Человек не решил изобрести автомобиль и железную дорогу — разгадка гораздо проще: он устал качаться в седле, утруждая свои мышцы, трястись в экипаже или коляске за спиной какой-нибудь вонючей лошади.

Не сообразительность человека явилась причиной изобретения самолета, а исключительно его леность и праздность. Ему надоело часами просиживать в автомобиле, ездить по забитому машинами шоссе, проваливаться в колдобины, наливать в бак бензин, следить за уровнем масла, менять шины, ремни, амортизаторы.

Человек придумал вертолет только потому, что ему надоели всякие сложности, связанные с самолетом. Ему лень было двигаться по взлетной полосе, чтобы подняться в воздух, лень было искать аэродром и кружиться над ним, дожидаясь разрешения на посадку. Вертолет больше соответствовал его ленивой натуре. Вертолет приземляется и поднимается, где вздумается пилоту.

Человек разваливается в удобном кресле гигантского самолета, ему приносят еду, напитки, книги, газеты, журналы, для него играет музыка, ему показывают фильмы, и, самое главное, расстояние, которое пешком можно было бы преодолеть только за несколько лет, он пролетает за несколь-

---

ФЕРИДУН ТОНКАБОНИ (род. в 1931 г.)
Иранский писатель. Его первые новеллы появились в начале 60-х годов. Автор более десяти сборников рассказов, в том числе «Записки шумного города» (1970), «Между двумя путешествиями» (1978). В русском переводе вышла его книга «Новеллы» (М., «Художественная литература» 1979).
Предлагаемые рассказы взяты из сборника «Хождение по рельсам» (1977).

ко часов. Но ему лень выдерживать даже эти несколько часов. Тогда он изобретает сверхзвуковые самолеты. Действительно, человек — самое ленивое и нетерпеливое существо в подлунном мире.

Возьмите любое открытие — от самого ничтожного до самого великого. Все свидетельствует о человеческой лени и праздности: стиральная и посудомоечная машины, нейлоновые рубашки, тарелки одноразового пользования (и это при наличии посудомоечного автомата!), бумажные стаканы и салфетки, лифт. Да-да, самый убедительный пример — лифт! Человек изобрел лифт потому, что ему было лень подниматься по лестнице. Но должна же лень иметь границы! Ладно, подниматься на лифте — еще куда ни шло. Но ведь человеческое существо настолько лениво и праздно, что, даже спускаясь вниз, пользуется лифтом!

Как вы думаете, в чем самое большое наслаждение и радость человека? В еде? Вы угадали. Но человек ленив до того, что даже для получения такого удовольствия не желает приложить минимум усилий. Ему лень приготовить для себя еду, и он изобретает ресторан. И опять-таки потому что ему было лень накладывать в тарелку еду, лень пользоваться ножом, вилкой, ложкой, солонкой, перечницей, появляется на свет бутерброд. Не умаляйте роль бутерброда. Бутерброд — гениальное изобретение!

Человек не желал подняться с места, чтобы посетить друзей или привести в порядок свои дела. Поэтому он придумал почту. Но тогда ему пришлось писать письма, ходить на почту, покупать марки, облизывать их, приклеивать на конверты (правда, чуть позже он изобрел конверты с нарисованными марками) и бросать их в ящик — все это делать ему тоже стало лень, и поэтому он изобрел телефон. Имея телефон, можно и не писать и не двигаться. После того как это изобретение пришлось по вкусу его ленивой натуре, он использовал его и в других целях: телефонная покупка, телефонная продажа, телефонное обучение, даже телефонная любовь и брак. Да-да, венец творения не хочет пожертвовать своей праздностью даже ради любовных наслаждений, которые он наравне с едой считает в жизни главным. Не обременяя себя встречами с возлюбленной или, по крайней мере, сочинением любовных писем, он ограничивается телефонным звонком. По правде говоря, я убежден, что некоторые человеческие существа от избытка лени умудряются обмануть даже природу. Вместо того чтобы при сотворении каждого ребенка немного потрудиться, рожают по два, по три, а то и по пять детей сразу. Если это не результат лени, то что же это такое?

Куда ни взглянешь, всюду видишь проявление человеческой лености и праздности. Посмотрите, например, на свой письменный стол. Человечество устало макать ручку в чернильницу и изобрело самопишущую ручку. Затем ему стало лень выполнять и эту нехитрую работу: изредка наполнять самописку чернилами. Тогда оно изобрело шариковую ручку. Но писание такой ручкой показалось ему слишком утомительным — и оно изобретает пишущую машинку. Однако и это чудо не удовлетворило человека: надо было нажимать на клавиши — его нежные пальчики уставали. Тогда он изобрел электрическую пишущую машинку, а потом и электронную. Чтобы не перепечатывать одно и то же по два-три, а то и по многу раз, придумали копировальную бумагу.

Человеку лень было ходить туда-сюда, чтобы узнать новости. Тогда он изобрел газету. Газеты — одно из самых гениальных изобретений человека. Устраиваешься себе уютненько в кресле — и узнаешь о событиях и происшествиях во всем мире. Но это сверхленивое существо поленилось читать и газету. И оно изобретает радио.

Радио — еще более изощренное изобрение ленивого человека, чем газета, так как для того, чтобы слушать, надо приложить еще меньше усилий, чем для того, чтобы читать. А затем ему надоело сидеть и смотреть на уродливую коробку, из которой раздается треск, музыка, чьи-то голоса... С другой стороны, ему было лень подняться, одеться, выйти из дому, сесть в какой-нибудь транспорт, выйти из него, встать в очередь купить билет, войти в кинотеатр и посмотреть фильм. И опять-таки ему лень было делать только одно изобретение, поэтому он сделал несколько изобретений одновременно, придумав телевизор.

Кроме своих непосредственных функций телевизор стал выполнять функции отца с матерью и дедушки с бабушкой. Телевизор — и учитель, и друг, и партнер в игре, и шут, и все что угодно. Когда собираются несколько человек и им лень пошевелить мозгами, чтобы придумать тему для беседы, телевизор решает эту сложную задачу. Все молчат, уставившись в огромный ящик. А если о чем-нибудь говорят, то говорят о нем же. Мы знаем, что самое сложное для человека — думать. Думать — глубоко противно натуре человека. Телевизор освобождает от тяжелой необходимости напрягать мозги — и тем самым от головной боли. При наличии телевизора не приходится думать вообще. Поэтому телевизор наравне с бутербродом и застежкой «молния» можно считать крупнейшими открытиями в истории цивилизации.

Нет, нет, ни в коем случае не преуменьшайте роль «молнии»: она, хоть и невелика по габаритам, зато по своему значению не уступает телевизору. Расстегивать и застегивать пуговицы — поистине каторжная работа. А тут — вжик! — и «молния» освобождает вас от пытки возиться с пуговицами, которым нет конца. Особенно если вы спешите. Как бы это сказать — спешка, разумеется, никак не согласуется с человеческой ленью. Но я имею в виду вынужденное состояние спешки. Например, когда вам необходимо — по зову природы, который сильнее вашей воли, расстегивать одну пуговицу за другой. Пальцы дрожат и срываются. Вы проклинаете все на свете, особенно пуговицы. В таких случаях «молния» делает чудеса.

Повторю: куда бы вы ни взглянули — всюду заметите яркие проявления человеческой лени. В любой области.

Возьмите историю. Да, человеку стало лень вынимать стрелу из колчана и вкладывать ее в лук, лень натягивать тетиву, лень бросать копье и опускать саблю на голову врага — и он изобрел ружье.

Но ему снова стало лень после каждого выстрела перезаряжать ружье и спускать курок. Тогда он изобрел автоматическую винтовку и пулемет.

Человеку лень было убивать своих врагов поодиночке. Это занимало много времени, терпение его лопалось. Тогда он изобрел отравляющие газы и бомбу.

Посмотрите на экономику. Человеку лень было все делать самому. И сеять, и жать, и варить, и шить, и строить, и делать тысячу других дел. Тогда люди собрались в кружок, и один из них, который поумнее, то есть более ленивый, предложил остальным: «Давайте сделаем так: ты пеки хлеб, ты шей обувь, ты куй железо, ты пили деревья, ты строй дома. А я буду следить за всеми вами, чтобы вы хорошо работали и не обманывали друг друга и, главное, меня».

Все подумали про себя: «Черт возьми! Я поработаю всего несколько часов в день, зато потом ничего не буду делать».

И все остались очень довольны.

Так произошла величайшая революция в истории человечества — разделение труда, и она развивалась и развивалась, пока развиваться стало некуда. Но человеческая лень всегда найдет выход. Человек подумал: «Раз я делаю одно и то же простое дело, например ударяю с утра до вечера молотком по гвоздю, не лучше ли что-нибудь изобрести, чтобы оно выполняло это дело вместо меня?»

Появилась автоматизация.

Или возьмите политику. Человеку лень было выполнять самому свои общественные обязанности. Тогда он выбрал уполномоченных, и они любезно согласились привести его собственные дела в порядок. Но уполномоченные, как ни крути, были тоже человеками, а следовательно, существами ленивыми. Они поручили нескольким людям из своего круга привести их общественные дела в порядок. Эти несколько из-за своей лености и праздности сняли груз поручений со своей шеи и повесили его на шею одного, который волей-неволей был вынужден выполнять их дела. Но поскольку он очень уставал и ему хотелось улизнуть от тяжкого бремени, его обманывали. Обманывали, обдуряли, вертели им как хотели. (Не подумайте ничего плохого! В те времена не было ни газет, ни тем более колонки происшествий!)

В один прекрасный день этому человеку построили шикарный дворец. На следующий день принесли золото, серебро и разные драгоценности. Как только он уставал, ему посылали прелестных женщин, чтобы те взбадривали его. Либо присылали своих дочерей и сыновей, чтобы те прислуживали ему. И он вынужден был продолжать работу, а дабы как-то расслабиться, иногда выкалывал кому-нибудь глаза или отрезал кому-нибудь язык, наливал в чью-нибудь глотку расплавленный свинец, отрубал кому-нибудь голову, сжигал какой-нибудь город, грабил какую-нибудь страну и тому подобное. Но в конце концов ему все это порядком надоело, и он стал совсем уж несговорчивым.

Тогда люди убрали его и сказали: «Давайте установим очередность. Пусть каждые несколько лет кто-нибудь один будет везти этот воз. Нельзя же одному бедняге со дня рождения до самой смерти все работать и работать, а другим всю жизнь прохлаждаться». И они нашли какого-то простачка, взвалили на него ярмо всех своих забот и хлопот на четыре года. По истечении этого срока бедолага взмолился: «Я проработал четыре года, выполнил все свои обещания — теперь хочу отдыхать сорок лет».

Но людям было лень искать другого такого же беднягу, и они всяческими клятвами, посулами уговорили простачка поработать еще один срок. Простачок, чтобы к нему больше не приставали, начал обирать всех подряд, липнуть к чужим женам, устранять назойливых мужей, отсылать в подходящие места людей с длинными языками и любопытных и делать другие подобные дела, которые обычно делали и делают для снятия усталости и улучшения настроения.

Но разве люди понимали, как ему тяжело? После следующего срока снова начались стенания, мольбы: «Останься еще на четыре года. Уж это будет в последний раз».

По прошествии и этого срока они забыли про совесть и стыд и прямехонько, без обиняков заявили бедняге: «Ты нам очень понравился, и мы хотим, чтобы ты оставался нашим президентом навсегда».

Простак крайне возмутился, он проклинал время, землю и свою несчастную долю. Но ему ничего не оставалось, кроме как дать согласие. По правде говоря, он ведь тоже был человеком, а значит, ленивым. И теперь, после того как он провел многие годы в президентском дворце и привык к нему, лень было переезжать в другое место.

Но оставим политику в покое. Давайте лучше поговорим о приятном.

Какое самое любимое человеческое развлечение? Питие. Человеку было лень открывать незнакомые континенты, продираться через дикие и опасные леса, покорять вершины и таким способом получать удовольствие. Он сделал открытие, при помощи которого можно, не выходя из своей комнаты, не вставая с места, почувствовать волнение, возбуждение, то есть получить удовольствие: человек изобрел вино. Можно без ошибки сказать, что вино — одно из самых удачных его открытий. Нет нужды что-либо делать — вино все сделает за тебя. Сначала вдохнет в тебя энергию, чтобы ты мог часами без устали плясать, хохотать, плакать, петь, орать, короче говоря, делать все, что придет в голову. Затем, чтобы ты не слишком утомился, оно ослабит тебя, сделает спокойным и безвольным (о, как же человек любит это состояние!) и благополучно усыпит.

Кстати, вспомнил! Если бы человек не был ленивым, то зачем он изобрел бы

снотворные таблетки? Но это существо настолько лениво, что не хочет даже поворочаться в постели с боку на бок от бессонницы.

Итак, речь шла о развлечениях, о том, каким способом человек может доставить себе удовольствие. Ни для кого не секрет, что огромное удовольствие приносит людям спорт. Принято считать, что спортсмены — самые ловкие представители человечества. Казалось бы, спорт и лень не совместимы друг с другом. Смею вас уверить, это заблуждение. По моему мнению, спортсмены относятся к самой ленивой категории людей. Если бы было иначе, то зачем они установили в горах столько подъемников, канатных дорог, фуникулеров и других приспособлений?

И еще я хочу сказать: человек настолько ленив, что, если он чего-нибудь не хочет делать, он этого не сделает никогда, но если захочет что-нибудь сделать, то немедленно придумывает всевозможные условия и оговорки. Поскольку уж мы заговорили о спорте, приведу пример. Вы каждое утро занимаетесь гимнастикой. В один прекрасный день вы говорите себе: «Сегодня я встал поздно, зарядку делать некогда». На следующее утро никак не можете прозеваться: «Что-то мне сегодня не по себе». На третий день опять находите отговорку: «Вечером я немного перебрал, до зарядки ли?» Так вы отвыкнете и от утренней гимнастики.

Но если вы не занимались спортом никогда и вдруг решили им заняться, то обязательно подумаете: «Ладно, сегодня пятница, конец недели, начну-ка я с понедельника».

Если вы хотите научиться играть на сазе [1] или изучить математику, то тоже устанавливаете себе какой-то срок: «Примусь с начала месяца». А если такое желание пришло вам зимой, вы обязательно заявите: «Начну уж сразу с весны!»

Сделаем небольшое философское отступление и на этом закончим наши разглагольствования (мне лень продолжать!).

Обращали ли вы внимание на тот факт, что, когда человеку становится лень жить дальше, он кончает жизнь самоубийством?

Меня не волнует, что другие считают движущей силой прогресса. Я полагаю, что движущая сила прогресса — лень, только лень, и ничего, кроме лени.

Не знаю, где я прочитал или услышал: «Если бы не лентяи, мы до сих пор жили бы в пещерах».

---

[1] Музыкальный инструмент. *(Прим. перев.)*

ЖИЗНЬ

Этот рассказ можно использовать для постановки мультипликационного фильма или обычного с той лишь разницей, что при демонстрации скорость пленки должна быть большей. В общем, надо, чтобы получилось нечто подобное тому, что получается, когда старые фильмы крутят на современных кинопроекторах. Звуки также должны быть частыми и неразборчивыми. (Как если бы грампластинку запустили на максимальной скорости.)

Карета «скорой помощи» влетает во двор родильного дома. Больничный коридор. Возле дверей теснятся бабушки, взад-вперед ходят взволнованные молодые папы. Тут двери распахиваются, на пороге — несколько медицинских сестер. На каждой руке у них по новорожденному. Ликующие бабушки целуются и обнимаются. Молодые папы в восторге жмут руки друг другу. Бабушки угощают друг друга сладостями. Папаши не скупятся «на чай» медсестрам.

Следующий день. Поток посетителей. У каждого в руках перевязанный ленточкой подарок. Рядом с кроватью роженицы стоит столик. Он постепенно заваливается коробками и свертками. Новые посетители входят, старые, поднимаясь и кланяясь, выходят. Бабушка предлагает всем фрукты и конфеты. Каждый раз, когда она звонит в колокольчик, нянечка выносит ребенка.

Гостиная в доме. В ней шумно и накурено. Старики оживленно судачат. Те, кто помоложе, разливают по бокалам спиртное, весело танцуют. Дети проказничают.

Пирог с одной свечой. Мамаша дует на нее, а затем разрезает пирог. Все восторженно кричат и хлопают в ладоши.

Детская комната. Младенец спит.

Снова шумная вечеринка. Пирог уже с двумя свечами, затем — с тремя, четырьмя, пятью и вот, наконец, с шестью свечами.

Слышится автомобильный сигнал. Перед домом останавливается школьный омнибус. Мальчик (в одной руке портфель, в другой — судки с обедом) выскакивает на улицу. Из омнибуса выходит молодая особа и помогает ребенку сесть. В омнибусе тесно — яблоку негде упасть.

Класс. Тетрадки парнишки. Диктанты, арифметика, английский... Хорошо, хорошо, отлично, хорошо, хорошо, отлично. Школьная линейка. Директор школы вручает ученику памятный подарок. Ребята кричат: «Ура!» Сцена повторяется несколько раз. Дневник за первый класс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой...

Мальчик выходит из школы. В одной руке у него портфель, в другой — футбольный мяч. Подходит к забору, кладет все на землю, обхватывает свою голову двумя руками и... отрывает ее. Затем стучит несколько раз о забор: полученные за день «знания» высыпаются. Устанавливает голову на прежнее место, берет портфель и мяч. Справа от забора какие-то развалины. Мальчик забрасывает туда портфель. Слева — пустырь с двумя футбольными воротами. Мальчик направляется туда, и вот мы видим его, увлеченно гоняющего мяч.

День рождения. То же шумное веселье, те же лица. Праздничный пирог, задувают свечи. Их восемнадцать. Юноша тянет в пустую комнату девушку, с которой они весело танцевали, и целует ее. Сцена пов-

торяется на каждом дне рождения с новой партнершей.

Аттестат зрелости. Диплом бакалавра. Диплом магистра и, наконец, ученая степень доктора.

Аэропорт. Молодой человек с трапа самолета машет провожающим. Самолет взлетает. Провожающие расходятся, вновь собираются. Самолет совершает посадку. На трапе появляется молодой человек. Встречающие машут руками.

Свадьба. Похоже на день рождения, но побогаче. Жених с невестой на автомобиле возвращаются домой.

Наутро он на том же автомобиле уезжает на службу. Навстречу высыпают сотрудники, жмут руку, слышны поздравления. Он садится за свой письменный стол. Его кабинет невелик и скромно обставлен. Все, что там есть,— это несколько стульев и незатейливый стол. Над столом — фотокарточка в маленькой рамке.

В последующих кадрах кабинет, стол — все растет буквально на глазах.

И вот уже в кабинете ковры и дорогая мебель, кожаные кресла. Стол со стеклом. На столе множество самых разных канцелярских принадлежностей. Здесь и телефон, и диктофон, и настольная лампа, и пресс-папье, и ножички для бумаги из слоновой кости с инкрустацией.

Стрелки часов, недавно показывавшие семь утра, быстро бегут и отмечают уже пять вечера. Он выходит и садится в автомобиль. В пути автомобиль растет: «жиан», «фольксваген», «пейкан», «шахин», «ария», «бенцы» разных марок — от самых дешевых до самых дорогих, американских.

Вечером наш герой приглашает в гости сослуживцев. В последующих кадрах и количество гостей растет — от трех до тридцати,— и столы, и все, что на столах, меняется: пиво, вино, водка... коньяк, виски... Преображается и само заведение — от недорогого ресторана до самых роскошных кабаре и салонов в фешенебельных отелях.

Страница объявлений в газете. Поздравления: «Назначение господина такого-то, достойного представителя молодого поколения... Назначение глубокоуважаемого господина такого-то, известного и выдающегося мужа...» Количество поздравлений растет и растет, текст их увеличивается, пока не заполняет всю газетную полосу.

Родильный дом. Как в начале фильма. Мужчина становится отцом. Сцена повторяется несколько раз.

Утром он выходит с детьми из дома и отводит их в школу.

Веселый шут Хаджи-Фируз, с лицом, выкрашенным в черный цвет, в яркой одежде, потешает прохожих. Кругом зелень — наступил долгожданный Ноуруз[1]. Он с семьей едет в автомобиле. Вскоре они попадают в нескончаемый поток машин и вынуждены остановиться. Все едут на юг. Все сигналят, подымается невообразимый шум. Календарь и часы. Стрелки часов быстро крутятся. Листочки календаря отрываются и падают. Автомобили, следовавшие на юг, вдруг поворачивают и устремляются на север. И снова все стоят; и снова все водители жмут на клаксоны.

Лето. Люди в легких, просторных одеждах. Автомобили движутся на север. Сигналят. Некоторым удается преодолеть небольшое расстояние.

Мелькают стрелки часов. Отрываются листочки календаря. Автомобили снова устремляются на юг, снова стоят, сигналят.

Зима. Снег и теплая одежда. Восход солнца. Автомобили держат курс на восток. На всех установлены снегоочистители, на колесах — цепи. Снова затор, и все сигналят. Закат. Автомобили поворачивают на запад. На всех — снегоочистители и цепи.

Следующие несколько кадров — аэропорт. То и дело взлетают и садятся самолеты. В кипящей толпе наш герой толкается — в одной руке чемодан, другая свободна, чтобы помахать на прощание. На лицах улыбки.

Какой-то зал. За столом сидят несколько человек. Кто-то раздает карты. В одно мгновение перед каждым из игроков растет или тает кучка банкнотов. Все поминутно хватаются за стаканы и осушают их одним глотком. Стрелки часов совершают полный оборот: от семи до семи, от двенадцати до двенадцати.

Он останавливает свой автомобиль и сажает поджидавшую его женщину. В дороге женщины все время меняются. Они постепенно становятся прелестней, шикарней, красивее и дороже. Автомобиль тормозит перед подъездом отеля. Он с женщиной в сверкающих ожерельях и роскошном туалете входит внутрь.

Снова какой-то зал, только другой. Сидят несколько человек. Похоже, что это сотрудники ведомства или министерства, поскольку занимают места согласно положению и должности. Выступающий с трибуны оратор о чем-то очень горячо говорит. В паузах присутствующие аплодируют. Он берет стакан с водой и пьет, пока не стихают аплодисменты. Тут же суетятся фоторепортеры и киношники. На экране через определенный интервал мелькают цифры (почему? Сам не знаю)... 24, 3, 15, 6, 21, 9, 4, 25, 27, 21.

В следующем кадре появляется какой-то тип, сгребающий со стола деньги. Перед типом останавливается он. Бросает незнакомцу в шляпу банкнот в пять туманов, затем в десять, двадцать, пятьдесят, сотню, пятьсот, тысячу, выписывает чек и тоже швыряет в шляпу.

Новый кадр: он возлагает на могилу венок. Затем еще один — побольше, следующий еще больше...

Он восседает за столом в учреждении. Целая серия кадров.

Он все старее и старее. Голова чуть клонится на грудь. И вдруг голова неестественно дергается, и он падает замертво.

Полоса объявлений в газете. Два столбца одинаково нудных соболезнований, адресованных одному и тому же лицу. Разве что подписи разные. Соболезнования, соболезнования, много соболезнований, очень много.

Поминальный вечер. Приезжают знакомые на машинах. По двое, по трое. В машинах слышны шутки и смех. Прежде чем

[1] Иранский праздник — Новый год. Отмечается 21 марта.

выйти из машин, вытаскивают из портфелей или из багажника траурные маски и нацепляют на лица. Заходят в дом. Как только вновь прибывшие входят, прибывшие ранее встают, выходят. Хлопают дверцы машин, срываются маски и снова слышны шутки и смех.

На паперти — проповедник. Следующие кадры иллюстрируют то, о чем он говорит.

Покойный щедр и не скупится на благодеяния: бедному дает денег, кормит голодного, одевает раздетого, переводит через дорогу слепца, помогает старухе. В какой-то больнице раздает больным сладости и фрукты, на каком-то митинге произносит захватывающую речь и, наконец, красивым жестом рвет на себе рубаху и подставляет грудь возможной пуле врага. Человек в одежде официанта подносит ему вино, он с возмущением бросает бокал на землю. К нему подходит девица и начинает кокетничать. Он гневно и презрительно дает ей пощечину, прогоняет ее. Он открывает дверь какой-то комнаты и видит, что там играют в карты. Он резко захлопывает дверь и бежит прочь И вот в кадре два ангела. Они почтительно держат под руки тело покойного, от которого отделяется и воспаряет в небеса душа.

Следующие кадры — вновь полоса объявлений в газете Соболезнования. соболезнования. Везде мелькает его имя. Появляется чья-то рука, комкает газету и бросает ее в помойное ведро. На дне ведра все еще можно прочесть имя покойного. Рука высыпает на газету кучу мусора. Лишь белый газетный уголок все еще торчит из ведра...

◆

К нашим иллюстрациям

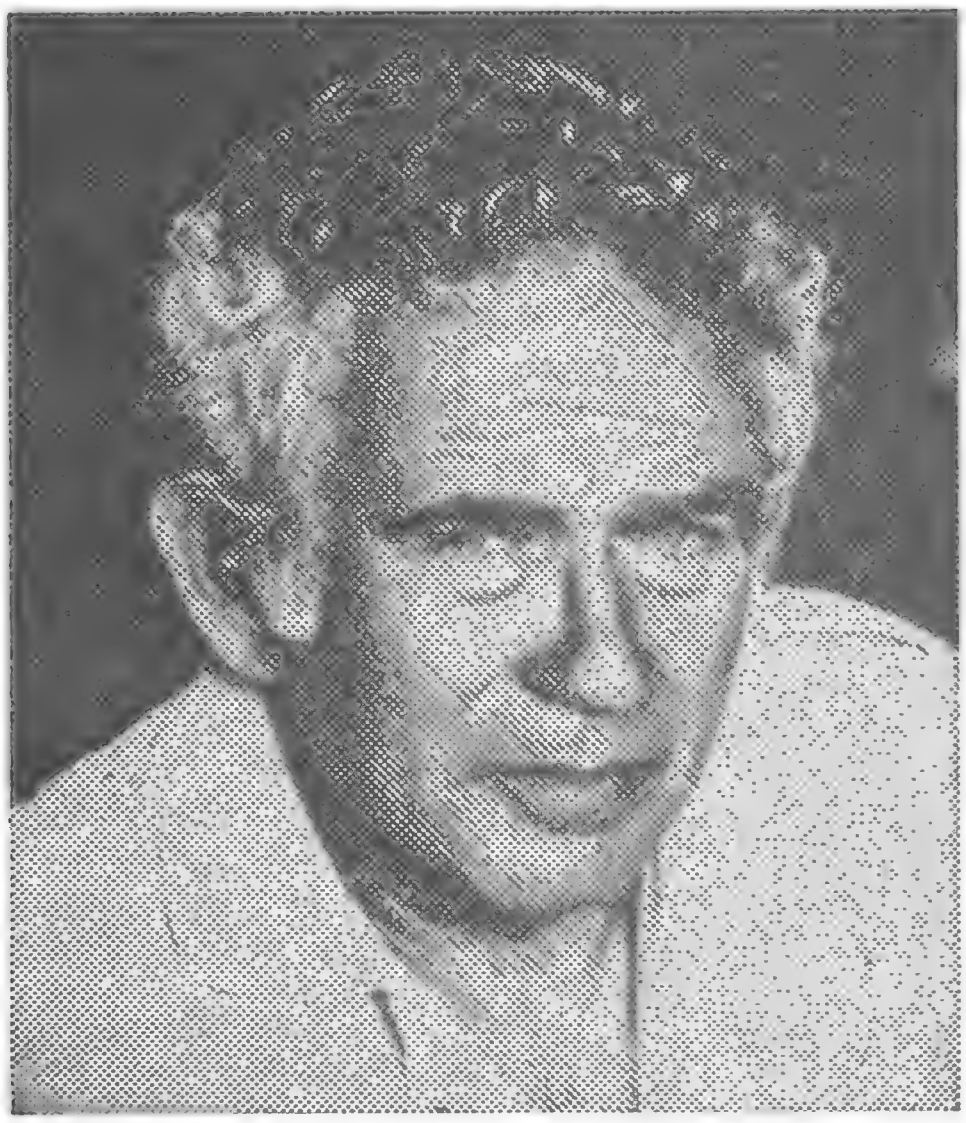
На цветных иллюстрациях номера воспроизведено несколько картин из собрания Старой Пинакотеки (Мюнхен), вошедших в экспозицию, впервые демонстрировавшуюся недавно в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в рамках культурного обмена между СССР и ФРГ.

В это же время в Мюнхене в Государственном античном музее экспонировалась выставка «Золото скифов» из уникальных коллекций ленинградского Эрмитажа.

Мюнхенская Старая Пинакотека — одна из крупнейших картинных галерей мира. Фонды музея огромны, но только около восьмисот самых значительных произведений выставлены в его залах. (Интересно отметить что строительство здания Старой Пинакотеки было поручено архитектору Лео фон Кленце, по планам которого позже был возведен новый Эрмитаж в Ленинграде.)

Среди авторов работ, представленных в коллекции, такие имена, как Дюрер, Рубенс, Рембранд, Гойя, а также многие другие, прославленные во всем мире художники.

Е. ЧЕРНЯЕВ.



Норман Мейлер

(США)

Трудно найти сегодня в Америке писателя, который вызывал бы столь противоречивые чувства. Именно чувства прежде всего, потому что сам он с первого сразу же ставшего современной американской классикой романа «Нагие и мертвые» (1948)[1], был неотделим от его книг, их героев. Мир, созданный его воображением, был так проникнут противоречивой атмосферой жизни Америки, а драматические события ее жизни так естественно воспринимались в его видении, что постепенно, к середине 60-х годов, он стал органической частью этой атмосферы, зеркалом американского сознания, в котором Америка узнавала себя. Он превратился в героя «Великого американского романа», о котором так много писала послевоенная критика, связывая надежды на его появление с блестящей плеядой ушедших ныне писателей. Романа, который так и не удалось создать ни одному из них, но который «написало» время, воплотившееся в десятках ярких его образов, запечатленных в книгах, неповторимых осколках мозаики, из которых и сложилось «лицо» эпохи.

Почему же именно Норман Мейлер сумел приковать к себе столь заинтересованное, столь эмоционально окрашенное внимание?

Потому что его всегда всерьез занимали проблемы, наиболее существенные для жизни его страны, для ее мироощущения, для понимания ее перспектив,— от кампаний по выборам президентов до проблемы преступности, от войны во Вьетнаме до высадки на Луне. Американская реальность трансформировалась в его произведениях, во всем, что он говорил и делал, сквозь призму сознания буржуазного интеллигента, выходца из среднего класса, который на протяжении последних двух десятилетий пережил кризис, заставивший заговорить о болезни американского общества, о несоответствии между «американской мечтой» и американской действительностью.

Норман Мейлер формировался, «болея» всеми болезнями своего времени и, говоря словами Р. П. Уоррена, «сопротивляясь своей эпохе» — отказываясь принять то, что противоречило его представлениям об Америке, о человеке. Более других его волновали две кардинальные проблемы — экзистанса, непосредственного опыта личности, со всеми его тончайшими оттенками и «безднами», и проблема современной власти, бюрократии, «технократии», как он обычно ее называл.

Уже в первом романе о войне он воссоздал одну из классических экзистенциальных ситуаций. Потом он написал еще четыре романа, герои которых выявили в послевоенной американской реальности одержимость поиском «переживания» и душевный надлом от сознания тщеты этого поиска, отсутствия достойной цели, утраты ориентиров, распада «цепи времен». К середине 60-х годов Норман Мейлер отказался от вымысла. Его «я», его темперамент сбросили оковы традиционной формы романа. Он решился писать современную американскую историю «как роман», став главным героем этого романа. В его документальных повествованиях, написанных

[1] В русском переводе роман вышел в 1972 г.

от первого лица [1], наиболее существенные события последовавших двух десятков лет читатель увидел его глазами, ощутил посредством его чувств. Политические, общественные, культурные вехи эпохи были обрисованы им с позиции человека, стремящегося понять суть происходящего и высказать свое отношение ко всему, что олицетворяет его время,— с позиции историка, художника, философа. Благодаря яркости его таланта «горячая» история обрела эпический размах. В ее многоцветном потоке он стремился выявить национальный характер своего соотечественника, понять природу американской политической и общественной системы, направление развития современной цивилизации, взаимоотношения человека и природы, личности и общества, жизни и смерти, любви и насилия, добра и зла.

Бросив перчатку истории, он стал для читателей героем времени, что придало его мыслям, чувствам, поступкам иной масштаб, новое качество — обусловило иное восприятие. Он как бы узурпировал право представлять их на подмостках Истории, где он столкнулся с теми, к кому было приковано сознание страны,— представителями власти, космонавтами, «звездами» экрана, спорта, уголовной хроники. История обретала уже не только эпичность, но и черты современного мифа, что порой и раздражало и искажало видение. Но неизменно подкупала подлинность чувств и сложность поставленных задач. Он искал свое мировоззрение, пытаясь, по его словам, перекинуть мост между Марксом и Фрейдом, выявить социальную структуру и психологию современного человека, связь между его общественным бытием и духовным миром. «Пока мы не поймем, с помощью каких механизмов власти манипулируют нами, почему мы вынуждены вести образ жизни, который нам не по нутру, почему многие из нас чувствуют омертвение души, пока мы не поймем, что наше мироощущение рождено не отсутствием воображения, а есть продукт широкой бюрократической системы, аморальной и несправедливой... мы ни к чему не придем... Я пытаюсь найти корни зла, угрожающего обществу, чтобы пригвоздить его к позорному столбу». В характерных приметах американской жизни он искал стереотипы мышления. И его талант помогал ему проникнуть в существо мифа и тем самым подорвать его основу, что так часто возмущало его соотечественников.

В нем самом боролась тяга к экзистенциальному, анархическому и стремление к политике, участию в общественной жизни страны, сочетались противоречивые видения художника и историка, непосредственного участника событий и их аналитика. Талант неизменно помогал ему избрать главную тему, сохранить чувство истории, обостренное чувство современности, в которой «дух неверующего человека XX века, оцепеневшего от неудач, паники и ужаса перед грядущим уничтожением, томится, как холощеный скот перед изгородью». И все его размышления приводили его к тому, что именно романист, художник по своему восприятию способен вернуть современному человеку подлинность чувств, остроту морального сознания. Сама логика истории поставила перед ним главную проблему — перспективы выживания человечества в ее конкретном воплощении, войны и мира, взаимоотношений между США и СССР. И тогда по логике своей личности, всегда служившей ему мерилом реальности, он решил своими глазами увидеть страну, о которой он много думал и которая в конце концов должна была стать его личным переживанием. Ее образ потребовал своего воплощения, материализации через собственный опыт общения с этой страной, ставшей для Америки одним из существенных компонентов современной мифологии.

Писатель, неоднократно сравнивавший модели реальности, ее «сценарии» с гипотезами современной науки, неизменно опровергаемыми реальными фактами, захотел сравнить американский «сценарий» с реальной страной. По возвращении на родину он так и озаглавил свои впечатления о ней: «Это страна, а не сценарий. Американец в России хочет понять, что́ нас разделяет». Как и многим его соотечественникам, другим американским писателям, ему не удалось полностью отрешиться от «сценария». Но он честно постарался увидеть реальную страну.

— Собираетесь ли вы писать книгу о России? Вы говорили о своих планах вновь приехать в нашу страну, лучше понять ее жизнь, приглядеться к ней, «потрогать» ее своими руками, пожить здесь.

— Я не так глуп, чтобы, опираясь на впечатления нескольких поездок, писать книгу о такой стране, как Россия, о ней уже написано так много поверхностных книг. Я давно интересуюсь русской историей, русской культурой, ее литературой, конечно. Я понемножку учу русский язык, потому что без этого невозможно понять психологию народа. Может быть, когда-нибудь мне захочется написать роман в духе «Анны Карениной», например. Хотелось бы надеяться, что на посту председателя американской секции ПЕН-клуба мне удастся сделать контакты между американскими и советскими писателями более частыми, что, на мой взгляд, помогло бы нам лучше понять друг друга. Возможно, мы живем на самой прекрасной из планет, но отношения между нашими странами более бесплодны, чем лунные кратеры. Америка живет по сценарию, согласно которому СССР — «средоточие зла». Сейчас мир оказался на грани саморазрушения, и меня все более волнует вопрос: можем ли мы и дальше позволить себе подобное отвращение?

— Каковы же ваши первые впечатления?

— От моих кратких визитов в Москву, Ленинград и Прибалтику у меня остались теплые человеческие впечатления. Главное из которых — несоответствие реальной страны американскому «сценарию» о фашистской стране, готовящей нам войну. Он — плод изощренной пропаганды, не имеющей ничего общего с реальностью.

[1] Отрывки из книг «Майами и осада Чикаго» и «Бой» см. в «ИЛ», 1971, № 1, 2 и «ИЛ», № 10. Фрагменты из других публицистических книг печатались в газетах.

Советские люди произвели на меня хорошее впечатление серьезностью своего отношения к жизни, а атмосфера жизни страны оставила ощущение стабильности. Но, к сожалению, стереотипы пропаганды, массовой культуры в целом очень действенны. Они примитивны, рассчитаны на посредственность, но XX век — царство посредственности. Нынешний президент Америки — ее воплощение. Он сформировался под воздействием дешевых фильмов, широчайшая популярность которых обусловлена заложенными в них стереотипами массового сознания. Именно благодаря этим стереотипам он пользуется такой популярностью у американцев, чувствами которых он управляет, как опытный кукловод. Рейган — это плата за все наши посредственные фильмы, за их дьявольскую сентиментальность, на которой он играет, как на органе. А мы уже были свидетелями того, как деятели второразрядных способностей вовлекали Америку в серию перворазрядных катастроф. Кроме того, он необычайно обаятелен на телеэкране, что главным образом и обеспечивает ему популярность. Он умеет дать американцам понять, что он один из них и они с ним не пропадут. А для США — зрительный образ виднее реальности. Есть масса анекдотов на эту тему. Например: встречаются две бабушки, одна начинает хвалить внука другой, лежащего в коляске. Та отвечает: «Это что! Вы бы видели его фотографию».

Однако мне думается, что в ближайшие два года отношения между нашими странами станут менее жесткими, как и обстановка внутри США, где внешняя политика Рейгана вызывает все большее недовольство. И даже в случае его переизбрания[1] новой администрации придется несколько изменить свой курс в направлении центра под давлением сил, способных противостоять тем, кто стоит за Рейганом.

— *Америка всегда была вашим главным героем. Что привело вас в Древний Египет, место действия недавнего романа «Вечера в древности», который так долго занимал ваше воображение? Как случилось, что стремление разобраться в настоящем и увидеть очертания будущего, которое четко обозначилось уже в 1970 году в книге «Пожар на Луне», завело вас так далеко?*

— Действительно, вместо «Великого американского романа» я написал грандиозный египетский роман. Я собирался совершить короткое путешествие в прошлое — в Египет, Грецию и Рим. Но я погрузился в Египет и завяз в нем более чем на десять лет. Обнаружилось, что я шел к этому роману давно. Гэри Гилмор, герой романа «Песнь палача», например, был для меня современной мифической фигурой на раунде со смертью. Корабль «Аполлон», его команда предстали мне олицетворением современной технологии враждебной природе человека. Я всегда занимался символическими фигурами доминирующей на Западе «мужской» культуры. Герой же моего египетского романа, которому удается четырежды родиться на протяжении ста восьмидесяти лет, позволил мне выйти за пределы не только личности, но и самой истории. Эта возможность захватила мое воображение.

Я начинал, как всегда, опережая собственное понимание предмета. Сколько раз я и раньше убеждался в том, что сам процесс работы над книгой высвобождает какие-то дремлющие в нас возможности. Лучшее, что удается написать, рождается именно из этого источника. Мне самому было странно мое увлечение Древним Египтом: ничто в моем прошлом не предвещало его. Все мои интересы были всегда в настоящем. И вдруг — такое удаленное прошлое, совершенно иная культура. Я ничего не знал о Древнем Египте, но какой-то инстинкт влек меня к нему. Я постараюсь пояснить вам это чувство на примере: читателю особенно интересен роман, когда он думает, что только он один по-настоящему разделяет видение автора, есть в этом романе нечто, что понятно только им двоим. Так и в историческом исследовании: появляется чувство, что какую-то сторону предмета вы знаете лучше, чем, например, рядовой египтолог. Мне казалось, что я лучше других разбираюсь в погребальных обрядах; не в деталях, а в существе. Это была и магия незнакомого языка. Я немного занимался языком Древнего Египта, и меня увлекла его диалектика, его экзистенциальная чувствительность, столь прекрасно воплощенная в самой культуре этого периода истории Египта. Так, например, слово «магнетизм» одновременно означает и «ты», то есть оно говорит о том, что два человека, обмениваясь взглядами, ощущают игру неких сил. Сегодня мы говорим о «вибрациях», но это лишь бледная тень мироощущения древних египтян, каждое слово языка которых столь прочно и тонко было связано с множеством других слов. Не мне судить о результате моих многолетних усилий, но я более чем когда-либо был убежден, что действительно большая книга способна продолжать свою жизнь в сознании читателей, менять их жизнь.

— *Роман «Вечера в древности» заставляет по-новому увидеть ваши предыдущие книги, почувствовать новое измерение вашего видения, захватывает сила его образов — таких человечных и эпических одновременно. Неужели вам вновь захочется вернуться к современности, трагедия которой, по вашим же словам, состоит в том, что все становится мельче, незначительней?*

— Как вам известно, пока продолжался мой «роман» с египетским романом, я написал несколько книг о современности. Вскоре должен выйти мой детективный роман о современной Америке. Но я не оставил свой давний замысел. Мне уже, видимо, не придется углубиться в жизнь Древней Греции или Рима, но я хотел бы в следующей части задуманной мной трилогии, которую открыл роман «Вечера в древности», перенестись на два-три века в будущее и написать роман о космическом корабле. Этот мой проект вселяет в меня ужас: мне придется изучить современную научную фантастику, самые современные направления астрофизики. Это нелегкое дело. А нужно все это — все эти невероятные для меня усилия — лишь для того, чтобы вложить в уста моего героя единствен-

[1] Н. Мейлер посетил редакцию в июне 1984 года.

ную фразу: «Да, в XX веке они думали о Вселенной то-то и то-то, и, смотрите, как они ошибались». Это будет головокружительно трудно. Третий роман, на который я очень рассчитываю, если мне доведется его написать, будет о современности. Есть у меня кое-какие припрятанные козыри, о которых я пока умолчу Они-то и позволят мне связать воедино Древний Египет, космический корабль будущего и современность. Хочется верить, что мне удастся соединить их столь же естественно как три ствола, растущих из одного корня, или, если вспомнить символику мифов Древнего Египта, это будет трезубец — мистический фаллос Озириса. Если я смогу претворить в жизнь весь этот замысел, он позволит мне заглянуть в совершенно новые области, писать шире и лучше. Не знаю, смогу ли осуществить задуманное.

— Кто же станет героем вашего современного романа? Будет ли это наконец попытка написать «Великий американский роман»?

— Я решил отказаться от идеи «Великого американского романа», когда меня захватил великий Египет XIII—X веков до нашей эры. Я понял, что современная Америка подобна Балканам — это слишком сложное, многослойное общество чтобы его можно было объять единым литературным произведением. К тому же современные писатели не умеют писать среду, а это главное — ведь сегодня так много Америк. Что касается моих планов: всегда хочется попробовать что-то новое, никогда не знаешь, чем займешься завтра, а всякая книга требует огромной подготовительной работы, у меня она занимает обычно не менее двух лет.

— Кто же заслуживает сегодня, по-вашему мнению, титул первого американского писателя?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, я принадлежу к категории писателей, которые почти не читают своих современников. Сегодня я вижу на арене трех боксеров: это Сол Беллоу, он никогда не снимает белые перчатки; Джон Апдайк напоминает мне расслабившегося игрока в гольф— у него уже все получилось. Третий — злой, как боксер. от него пахнет серой, у него мрачный взгляд Джека Лондона — это Норман Мейлер. Я достаточно наговорил о современных американских писателях в разных своих выступлениях Могу лишь сказать, что каждый из первой десятки, если он, конечно, будет честен, первым назовет себя.

— Кто тогда заслуживает этого титула из современных, скажем, латиноамериканских писателей?

— Маркес великолепен. В «Сто лет одиночества» он создал не один, а сотню миров. Не знаю, как ему это удается. Люди входят в его романы. На десяти страницах он изображает семью с восемнадцатью детьми и прослеживает жизнь всех этих людей на протяжении десяти лет. И вы знаете каждого из детей и все, что произошло за это время в их жизни. На десяти страницах. Я на этом пространстве могу изобразить лишь один изгиб Нила.

Т. РОТЕНБЕРГ

◆

Среди книг

Издано в СССР

«Я, ТЫ, ALTER EGO...»

Ален Боске. Избранные стихотворения. Переводы с французского под редакцией М. Ваксмахера. Составитель М. Ваксмахер. Предисловие Е. Винокурова. Москва, «Радуга», 1984.

Во мне взрывается океан:
триста островов
взлетают на воздух...
А. Боске. «Внутренний мир»

Сколько же их во мне? Целое племя:
я, ты, alter ego...
А. Боске. «Сколько их?»

— Вы выключаете телефон во время работы?

— Нет, никогда,— отвечает Ален Боске.

— А если телефонный звонок прервет мысль и вы ее забудете?

— Значит, ничего другого она и не заслуживает.

— Разве вы не любите работать в уединении, в деревенской тиши?

— А о чем я буду писать в уединении, в деревенской тиши? Нет, мне нужны люди, мне нужно, чтобы вокруг кипела жизнь. Я могу жить только в городе, я люблю городской шум, городскую суету, можно сказать, я самая что ни на есть городская крыса. И потом, я сотрудничаю с несколькими газетами и журналами, и если вздумаю уединиться в деревне, на мое место быстро найдут другого, а я останусь без работы...

Алену Боске предлагают при мне вступить в одну из литературных организаций, но он упорно отказывается. Почему?

— Хотя бы потому, что в нее не входит ни один авангардист.

— Но вы же сами не авангардист!

— Ну и что же? Все равно, я считаю, должны быть представлены все литературные направления. Кроме того, в списке ее членов я не вижу никого из моих врагов. С кем же я буду спорить и о чем?

Что касается врагов, то Ален Боске умеет наживать их с необычайной легкостью. У его давнего и близкого друга только что вышел роман, и Боске, не сочтя нужным промолчать или покривить душой, подверг его жестокой критике. И вчерашний друг и слышать теперь не хочет о Боске.

Но этого колючего, язвительного и безжалостного (а временами и кокетничающего) Алена Боске я вижу и другим — по-отечески внимательным и ободряющим — на выставке молодого провинциального художника, которого писатель, как говорят французы, «запустил» несколько лет назад, поддержав его самые первые работы. Даже во Франции не все знают, что Ален Боске — поэт, прозаик, литературный критик и переводчик (с английского, немецкого и, в первую очередь, с русского языков) — опубликовал уже восемнадцать книг о живописи, посвященных в основном еще не успевшим прославиться художникам.

Я вижу его и в окружении молодых поэтов, приезжающих к нему в Париж за помощью из разных городов и городков Франции. И не только Франции.

— Вы даже не можете себе представить, как трудно впервые опубликоваться в Париже, если у тебя нет ни имени, ни денег,— говорит мне поэтесса из Ливана Венюс Кхури-Гата,— но доброе слово Алена Боске, как волшебный ключ, отомкнуло передо мной двери нескольких издательств.

Писателю неловко слушать изъявления благодарности, и он прерывает их насмешливым замечанием.

Иногда иронический тон сменяется у Боске академически наставительным. Собственно, он и есть академик и занимает пост вице-президента Академии, носящей имя Малларме и объединяющей крупнейших поэтов Франции. Но скорее всего сказывается давняя преподавательская привычка — после войны он несколько лет читал в США курс французской литературы. Боске вдруг как-то по-стариковски горбится и начинает рассказывать о глубокой древности, в том числе и русской — он превосходно знает русскую историю и литературу. Или, водя меня по музеям и выставочным залам, объясняет, что мне здесь должно нравиться, а что нет. Зачастую нам нравится совершенно разное, да и на многое другое, находящееся за пределами литературы и искусства, мы смотрим по-разному — что тут удивительного? Но это не мешает нам дружить. В творчестве самого Боске мне тоже

нравится не все, и он это знает — говорить с ним легко и можно возражать и спорить, не опасаясь вспышек оскорбленного самолюбия.

Я вижу Алена Боске и азартно играющим на скачках. Как все заядлые игроки, он разработал собственную систему, которая должна гарантировать стопроцентный успех. Однако система почему-то подводит, и Боске делает вид, что крупный проигрыш его ничуть не огорчает.

Как-то вечером дома у Боске я спросила, доволен ли писатель своим сборником стихов, который только что вышел в московской «Радуге».

— Я столько раз в жизни давал интервью, что, отвечая на ваш вопрос, могу уложиться в любое время, какое вы мне определите. Сколько вы мне даете? Три, четыре, пять минут или шесть часов?

— Не больше часа,— говорит Норма, жена Алена Боске.— Пока я готовлю ужин...

— ...Доволен ли я этим сборником? Я просто счастлив. Ведь я родился в Одессе, и хотя в 1919 году, когда мне было всего четыре месяца, родители увезли меня из России, она все равно остается для меня моей далекой родиной.

Отбор стихов сделан превосходно. Сюда вошли стихи разных лет, начиная с сороковых годов и по сегодняшний день. Разные жанры и формы представлены тоже равномерно. Я вижу здесь и военные, и политические, и философские, и любовные стихи. Включены также серьезные и иронические стихи о смысле и назначении поэзии, о языке и слове: «Я весь в моих стихах...», «Зачем писать?», «Определение поэта», «Язык», «Представьте себе, что слова — существа, подобные нам...», «Поэт как предмет домашнего инвентаря» и другие. Включено даже кое-что из моих стихов для детей.

О качестве переводов судить не берусь,— продолжает Боске.— Я знаю, что во всех случаях перевод бывает очень отличен от оригинала. И Морис Ваксмахер правильно поступил, что вообще не включил в книгу некоторые мои стихи, не поддающиеся переводу. Особенно трудно переводить рифмованные стихи. Правда, в России рифмованная поэзия существует с давних пор и жива и поныне, а верлибр встречается гораздо реже. Во Франции же все наоборот. Шестьдесят лет назад французская поэзия почти полностью отказалась от рифмы. Да и воспринимают поэзию у вас и во Франции совершенно по-разному. Со времен Малларме французская поэзия стала чересчур замкнутой чрезмерно интеллектуальной и трудной для восприятия. Исключением была, конечно, поэзия Сопротивления. В России же поэзия во все времена более доступна широким народным массам. И для ее восприятия не требуется специального образования. Если у вас поэзию читают двадцать пять миллионов, во Франции поэт, обращающийся к ночи и тайникам своего подсознания, найдет не более пяти—десяти тысяч читателей. Пожалуй, даже самые известные французские поэты имеют не больше десяти тысяч читателей. Сказывается и цена поэтических сборников. Это восемьдесят—девяносто франков. Что равняется четырем билетам в кино или двум билетам в театр. Я знаю, что мои книги за такую стоимость приобретает от четырех до восьми тысяч человек. Но если эти же сборники выходят карманным изданием, ценой в пять раз дешевле, число моих читателей возрастает до двадцати тысяч.

В последнее время во Франции во взаимоотношениях поэтов с читателями наметился некоторый сдвиг. Если раньше у нас совершенно не существовало вашей традиции поэтических вечеров, то теперь в недавно построенном Доме поэзии — вы видели это современное и красивое здание напротив Бобура [1],— так вот, теперь там регулярно устраиваются такие вечера. Меня приглашают выступать и с лекциями о поэзии. Будем надеяться, все это действительно поможет пробудить интерес к поэзии у более широкого круга людей.

Я спрашиваю, каким образом Ален Боске сочетает работу над прозой и поэзией.

— Я не пишу стихи постоянно, изо дня в день. Примерно раз в два года ко мне неожиданно приходит вдохновение, и три-четыре недели подряд я пишу только стихи. По нескольку стихотворений в день. А потом снова наступает большой перерыв. Я и сам иногда не знаю, почему пишу то или иное стихотворение. Бывает, что меня неотступно преследует какая-то мелодия или требует выхода возмущение, гнев или, напротив, великое терпение...

— Или любовь?

— А великое терпение? Разве это не одно и то же? — смеется Боске.— Писать стихи — это и попытка познать самого себя. Когда у меня рождаются первые строки стихотворения, я еще не знаю, как закончу его и что у меня получится. И я говорю себе: «Ну-ка, посмотрим на что ты способен».

Некоторые стихотворения я написал благодаря моим русским переводчикам. Среди них есть и стихи о войне. Кроме того, когда Морис Ваксмахер готовил к изданию этот сборник, он попросил меня прислать ранее не публиковавшиеся стихи. И я написал несколько стихотворений, сочиняя их с особым, «русским» чувством — для того, чтобы они зазвучали потом по-русски совсем не так, как они звучат у меня по-французски. Что-нибудь прочитать? Боюсь, что не смогу. Прозу свою я вообще никогда не перечитываю. Можно сказать, я не знаю собственных романов. Стихи иногда перечитываю, но не стараюсь запоминать наизусть.

А вы заметили, что я часто пишу о боге? И я пишу о нем со знанием дела, потому что наверняка знаю, что его нет. В русский сборник вошло одно из таких стихотворений. Сейчас найду его. Вот оно:

Не лишай себя жизни, господь, погляди:
посреди пепелища расцветает
уже орхидея,
не лишай себя жизни, господь: вот
в воронке от бомбы
журчать начинает ручей,
не лишай себя жизни, господь: вот
уже небо
присыпало инеем шрамы свои, и уже
океан
наложил из кораллов повязку на свои
глубокие раны[2].

[1] Имеется в виду здание культурного центра им. Ж. Помпиду.

[2] Перевод М. Ваксмахера.

До конца не буду читать. Оно длинное. Правда, я бы сказал: «Не кончай с собой, господь», но, может быть, по-русски это звучит плохо?

Стихотворение это о войне, об абсурдности войны и взаимного уничтожения. И об абсурдности веры в бога. Я написал его в 1944 году в Англии, незадолго до того, как в составе американских войск высадился в Нормандии.

— В каком возрасте вы начали писать стихи?

— Как и все. В детстве. Но если можно, я задал бы этот вопрос иначе: когда другие узнали, что я пишу стихи? Впервые я опубликовал свои стихи, когда мне был двадцать один год.

— Сначала были стихи, а потом проза?

— Конечно. Ведь писать стихи гораздо легче, чем прозу.

В новом, только что вышедшем во Франции сборнике поэзии Алена Боске, в его великолепно отточенных, напряженно-страстных и горько звучащих стихах мне послышались бодлеровские интонации, и я говорю об этом Боске.

— Упоминание рядом с именем Бодлера всегда чрезвычайно лестно, но я думаю, в моих стихах меньше безысходности и упадничества. Хотя это и книга о старости, о смерти, о сознании близкой смерти, о том, как трудно жить. И, как вы, наверно, заметили, я вернулся к рифме, что для Франции большая редкость. Сам я семнадцать лет не писал рифмой, а сейчас вдруг почувствовал в ней потребность. Но это книга и о жизни. Помните, в ней есть слова: «Я хочу жить долго...»? Поэт умирает, а его стихи продолжают жить. Значит, длится и жизнь поэта. Сначала я назвал эту книгу «Один день после смерти», а потом переменил на «Один день после жизни». Этот день — книга, которая остается после поэта.

Стихотворение — это тайна и для сочинившего его, и для читателя. Снова и снова возвращаясь к стихам Пушкина, Есенина, Хлебникова, каждый раз воспринимаешь их по-иному. И открываешь новые образы, новую музыку и сталкиваешься с новыми загадками. Наибольшее удовольствие, наиболее напряженную борьбу со словом и возможность наиболее полно выразить себя — все это мне дает поэзия.

— Я помню ваши строки: «Я мученик стиха, и нет мне избавленья...» Значит, в первую очередь вы все-таки поэт?

— Надеюсь,— отвечает, смеясь, Боске.— Гораздо важнее, чтобы не ты сам, а другие признавали в тебе поэта. Когда при мне говорят: «Я поэт»,— я всегда испытываю неловкость. По-настоящему большие поэты никогда не говорят так о себе. Да и невозможно быть поэтом все двадцать четыре часа подряд. Это было бы невыносимо. И для самого поэта, и для всех вокруг. Вне своих стихов поэт может оказаться самым что ни на есть неинтересным и заурядным человеком. Как раз мой случай.

...Как я работаю над прозой? Мои романы — это, я бы сказал, свидетельства очевидца. Для меня это средство борьбы — со временем, с моим веком, с невежеством, ленью, ложью. И конечно, против войны. Мое поколение пережило немало событий, о которых мне хотелось рассказать сегодняшним поколениям. Не знаю, интересно им узнать об этом от меня или нет, но когда пишешь, надеешься, что интересно. Я и сам пережил немало драматических моментов, которые навсегда врезались мне в память. Ну, например, в январе 1944 года я находился в Лондоне и по поручению генерального штаба союзников должен был нанести на карту все оборонительные сооружения и немецкие огневые точки на западном побережье Франции. Я имел право посылать на разведку самолеты, которые производили фотосъемку нужных районов. И вот два из этих самолетов не вернулись. Представьте себе мое состояние: получилось, что, сидя в удобном кресле, я спокойно послал людей на смерть. Я пережил это как очень тяжелую драму. Точно так же меня потрясло известие об атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму. Я находился уже в Берлине. Узнав об этом, я заплакал. Я понял, что человечество совершило шаг вперед, но шаг этот повлечет за собой трагические последствия. Я понял, что мир вступил в новую эру и что человека ждут новые, страшные испытания.

Конечно, для вашей страны последняя война была более разрушительной и кровопролитной, чем для Франции. Но для советских людей вопрос стоял однозначно: победить любой ценой. Я же проиграл войну дважды: сначала в Бельгии, где она застала меня с родителями, потом я перебрался во Францию, вступил во французскую армию и проиграл войну во второй раз. Так в возрасте двадцати одного года на протяжении нескольких дней я проиграл две войны. Но я хотел продолжать бороться. И это было нелегко, особенно если тебя окружают люди, думающие совсем иначе. Потом встал вопрос: за какую Францию бороться? Францию, которая потерпела поражение? Францию Петена? Или Францию де Голля? Все эти вопросы вставали перед моим поколением, и каждый решал их для себя по-своему. Обо всем об этом я и написал в автобиографической трилогии. Две первые ее части вы уже знаете. Это «Ребенок, каким ты был», где я рассказываю о детстве, проведенном в Болгарии и Бельгии, и «Ни войны, ни мира»— о предвоенных годах и первых месяцах войны.

(Сделаем отступление и процитируем несколько строк из этой книги, герой которой ищет пути для включения в борьбу за освобождение Европы: «Перед лицом фашизма преимущество социализма заключалось в духе братства, объединенных усилиях и вере. Ошибочно было тешить себя надеждой, что под предлогом сохранения свободы и личной независимости можно было занять промежуточную позицию между этими двумя блоками: в траншеях нет места для нейтральных... Постыдно вести себя подобно страусу, когда решается судьба Европы».)

— Только что вышла третья книга,— продолжает Боске,— вот она, я дарю ее вам. Она называется «Жестокие праздники» и заканчивается тем временем, когда в мою жизнь входит литература. И здесь я став-

лю точку. Рассказывать автобиографию писателя мне не хочется.

Новые планы? Их немного. И я не люблю о них говорить. Одно совершенно точно — романов я больше писать не буду. Может быть, новеллы, может быть, что-нибудь в жанре дневника, но романы — нет. Я написал уже двенадцать романов, ну и хватит. Мне уже шестьдесят пять лет, и насколько мне известно, в таком возрасте хороших романов пока еще никто не создавал. Буду писать стихи...

Разговор наш заходит и о том, какое место в жизни Алена Боске занимает русская и советская литература.

— Имена Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Маяковского дороги мне, можно сказать, с раннего детства. У нас в семье их произносили не иначе как с благоговением. Я мог бы часами говорить о своих любимых русских и советских писателях. И, как вы знаете, я не только преклоняюсь перед вашей литературой, я делаю все, чтобы способствовать ее публикации на французском языке: перевожу стихи, составляю антологии прозы и поэзии.

И, вспомнив о чем-то, Боске спрашивает:

— Хотите, покажу вам письмо Льва Толстого его французскому переводчику Гальперину-Каминскому?

— Конечно, хочу.

И писатель достает альбом, в котором бережно, заложенное между двумя прозрачными страницами, хранится это письмо, датированное 1879 годом

Всматриваюсь и вчитываюсь в пожелтевшие листки, на которых стоит подпись нашего великого классика, и думаю: знают ли у нас о существовании этого письма? Воспроизведено ли оно в толстовских изданиях? Вспоминаю, что имя Гальперина-Каминского встречалось мне и в «Дневниках» С. А. Толстой, и в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого, и в томах Литературного наследства, посвященного Толстому. Кажется... Да нет, не кажется, он действительно бывал у Толстого в Москве в хамовническом доме и в Ясной Поляне и посещал Софью Андреевну уже после смерти Толстого. И даже рассказывал об этих посещениях во французской печати. Вспоминаю, что требовательного Льва Николаевича как будто не очень удовлетворяли переводы Гальперина-Каминского. Тем не менее их связывали долгие годы переписки, и если оригинал этого письма у нас еще не известен, то он может заинтересовать не только толстоведов, но и всех, кого занимает история давних взаимоотношений между русской и французской культурами...

— Вы скоро? Ужин уже давно готов,— зовет нас к столу Норма.

Бывают супружеские пары, в которых мужа и жену — независимо от того, встречал ли их семейный корабль на своем пути штормы и ураганы или безмятежно проплавал в тихих водах — невозможно представить себе друг без друга. И даже если они во многом непохожи, стоит по прошествии времени вспомнить одного из них, как сразу же вспоминаешь и второго. И рядом с Аленом Боске я непременно вижу его жену — тихую, немногословную, всегда чем-то озабоченную, но приветливую и улыбающуюся.

Н. ПОПОВА

ЧТОБЫ ОЖИЛ КРАЙ...

Б. Хайнс. Цена угля. Р. Уильямс. Вокруг Манода. Перевод с английского. Послесловие Николая Пальцева. Москва, «Молодая гвардия», 1983.

Обе книги имели в Англии почти сенсационный успех, обе написаны маститыми литераторами, хотя Б. Хайнс моложе Р. Уильямса. Но у Б. Хайнса это — «роман-репортаж», созданный на основе двух телевизионных пьес, а у Р. Уильямса — последняя часть трилогии, где герои предыдущих частей сходятся, наконец, вместе и затевают спор, превращающий традиционнейший роман нравов, каким книга кажется поначалу, в диспут — ни много ни мало — о судьбе Великобритании и населяющих страну людях. И все это — в рамках «рабочей темы».

Перед нами — милтонская шахта в Южном Йоркшире, время действия — июнь 1977 года. Приезд его королевского величества принца Чарльза и связанные с этим событием достаточно скромные обстоятельства, выгодно оттеняющие величие момента. Здесь и суета «косметической» уборки территории шахты вопреки здравому предложению: «если он приезжает, пусть видит все как есть», принадлежащему одному из главных персонажей книги, рабочему Сиду Стори, и махинации профсоюзных боссов, стремящихся «и невинность соблюсти, и капитал приобрести», и, наконец, готовность администрации пойти на любые меры, дабы все выглядело так, как должно. Само событие — камень, брошенный в пруд, но круги от него расходятся, как выясняется, дальше, чем предполагалось. Потому что «действительность» (так называется вторая часть книги), в отличие от благонамеренной подготовки к «встрече с народом» (заголовок первой части), оказывается трагической: через две недели после вертолетного приземления августейшей особы произошла авария на шахте, погибли люди, в том числе и совсем молодой ученик забойщика.

На этом сюжете можно было бы построить роман-расследование. Б. Хайнс поступает иначе: он создает модель взаимоотношений власть имущих с рабочими. Связь «мечты» и «действительности» осуществляется у него не по принципу сходства или контраста — прилет принца и катастрофа находятся просто в разных измерениях. Объединяет их общий саркастический тон книги, к концу ее приобретающий оттенок трагической иронии. В финале первой части автор уводит читателя от торжественной церемонии, дав перед тем возможность понаблюдать за всеми перипетиями предшествовавших ей «тараканьих бегов», и останавливает взгляд на младшем сыне Сида Стори — Марке, ушедшем в торжественный день удить рыбу. А завершая роман, покидает Элфа Микина, секретаря местного отделения профсоюзов, на пороге дома вдовы погибшего при аварии шахтера.

Сарказм, владеющий Б. Хайнсом, неотделим от ощущения им закономерности происшедшей катастрофы. С самого начала в книге развивается мотив чужеродности предстоящего события жизни, укладу, нравственным ценностям, принятым на шахте. Но и тут типично английский парадокс возведения ритуала в культ — это событие сопряжено с целым рядом соображений справедливых: надо ведь когда-нибудь убрать мусор, навести порядок, отремонтировать лифт, ведущий в забой, установить в шахтах... туалеты... Инерция восприятия читателем «потока жизни» резко перебивается неожиданной деталью, обессмысливающей «целое». И наоборот: обстоятельства, при которых произошла авария, проявляются постепенно, через суету, неведение, тревогу тех, до кого лишь в финале доходит непоправимость катастрофы и невозвратимость человеческих жизней. Преступность существующего порядка обретает статус закономерности. Что же — «порочный круг»?

Присмотримся к композиции романа. В центре его — не событие и даже не противопоставление двух событий, а как будто «стихийное», зависящее от обыденных «мелочей», которых хватает и в первом случае и во втором, становление рабочего сознания. Процитированный ранее вывод Сида Стори, прозвучавший в начале книги, становится реальным опытом, подтвержденным фабулой. Вот почему, нам кажется, автор в целом обстоятельного и глубокого послесловия Н. Пальцев несколько преувеличивает, говоря о «непридуманном многообразии лиц, характеров, индивидуальностей». Персонажи книги большей частью очерчены всего двумя-тремя штрихами и охарактеризованы в первую очередь через речь (поэтому досадно, что добротному переводу М. Загота не хватает речевой нюансировки). В книге Б. Хайнса очень чувствуется ее «телевизионное» прошлое — в частности обилие диалогов и скупость описаний, собственно «плоти» текста. «Лица» же романа не просто чувствуют, что произошла катастрофа, они уже не могут мириться с дурной бесконечностью подневольного, что бы ни говорили сторонники теорий бесклассовости, труда. Жена Сида, Кэт, в самые горькие минуты вспоминает о забастовках тридцатых годов. И напряженная пауза читательского ожидания, мастерски проведенная через последнюю треть романа — жив Сид или нет — это пауза осмысления жизни рабочего в среде рабочих. А их работодатели выглядят вообще на одно лицо (если судить только по тексту).

Повествование в книге Б. Хайнса «впускает» одного персонажа за другим, и писатель прибегает как к «внутрикадровому», так и «параллельному» монтажу, особенно в момент, предшествующий появлению вертолета с принцем, или за несколько секунд до аварии. Сила непосредственного наблюдения и ударных сопоставлений здесь обнажена. В романе Р. Уильямса «Вокруг Манода» (отлично переведенном В. Муравьевым), напротив, торжествует привычное бытописание — но, как уже говорилось, до поры до времени.

Герои Б. Хайнса — рабочие. Ему важнее поэтому создать коллективный портрет, хотя на авансцену выдвинута семья Стори. Оба же протагониста книги Р. Уильямса: и историк Мэтью Прайс, действовавший в первом романе трилогии «Пограничный край» (1960), и социолог-экономист Питер Оуэн, центральный персонаж «Второго поколения» (1964) — оба они интеллигенты из рабочих, интеллигенты в первом поколении. Р. Уильямс погружает их в куда более напряженную ситуацию, чем Б. Хайнс, но разворачивает действие не спеша, давая возможность героям ощутить отголоски прошлой жизни (и связать воедино предыдущие два романа с третьим, написанным через пятнадцать лет после «Второго поколения»), продолжая развивать ведущую тему своих книг — тему классовой борьбы. Эта тема присутствует в давнем споре Питера Оуэна с социологом, а ныне «хозяином» Робертом Лейном из второй книги о судьбах рабочего движения. Одновременно это тема и разных поколений, и их отношения к проблеме переустройства мира.

Мэтью Прайс, которому вместе с Питером Оуэном предложено стать промышленными консультантами по уточнению практической реализации проекта застройки местности Манод, откуда Прайс родом, и таким образом принять участие в создании промышленного центра в Уэльсе, способного конкурировать с индустриальными районами Англии, возвращается в свои пенаты и пробует служить делу. Но выясняется, что земли, отведенные под застройки, скупает какая-то англо-бельгийская компания, спекулирующая земельными участками с возможными месторождениями нефти, что предполагает совершенно иную энергетическую базу, а стало быть, и другой проект. Драматизм ситуации в том, что скупает эта компания именно те участки, которые были связаны с характером проекта, то есть велась нечистая игра. Вот вокруг «перспектив» Манода и развивается действие романа, причем расстановка сил, участвующих в «игре», становится ясной лишь постепенно, по мере того как поступки жителей Манода выявляют их социальное лицо. И две позиции — идеализм «дела», присущий Мэтью Прайсу в преклонном возрасте, и бунтарский скептицизм Питера Оуэна служат полюсами авторских размышлений о перспективах «вымирающего края». Питер Оуэн понимает, что эксплуатация не исчезнет, что богатства будут по-прежнему хищнически разграбляться, но ничего нового, кроме его вечной, по выражению Мэтью, оппозиции, предложить не может. Что же касается Мэтью Прайса, то он полагается не на либерального толка прессу, способную сказать «правду» о происходящем в Маноде, а на волю личности — одиночки, по определению его друзей, «способного все разъяснить» и работающего на благо родного Уэльса, взрастившей его земли.

Спор между Оуэном и Прайсом, погруженный в дробную вязь событий и взаимоотношений, взрывается в финале, где вмешивается «третья сила» — хозяйская, то есть бывший социолог Роберт Лейн, ставший чиновником, которому выгодно сохранять иллюзию разумности хода событий. Но надежды на будущее, которые питает

Мэтью,— это уже не его ранние реформистские иллюзии. Писатель видит в проекте возможность послужить родине вопреки воле капиталистов, а в Мэтью — неизрасходованные до конца созидательные силы. Важно, чтобы в будущем усилия поколений соединились, чтобы смутное ощущение неудачи, с которым принимается поначалу за дело Мэтью Прайс, уступило место трезвости и обоснованному оптимизму.

Роман Р. Уильямса, в отличие от Б. Хайнса, не сталкивает впрямую интересы хозяев и рабочих, а показывает посредника, стоящего между ними. Можно ли в таком случае говорить о новых гранях «рабочей темы»? Думается, что можно. И роман-репортаж Б. Хайнса, и роман-расследование, роман-диспут Р Уильямса, в сущности, говорят об одном: о возможностях пробудившегося классового самосознания.

А. ШЕМЯКИН

Издано за рубежом

КАК ЖИТЬ ЗАВТРА?

Věra Adlová. Trpká vůně podzimu. Praha, Československý spisovatel, 1983.

Вера Адлова. Горький запах осени. 1983.

Человеческие судьбы всегда помечены временем, тем более если речь идет о времени войн, революций, крутых социальных перемен. И все же люди — не беспомощные фигурки, подвластные эпохе, каждый сам выбирает свой путь, своих друзей, свое место в жизни. Но существуют ли критерии верности сделанного выбора, как избежать ошибок и можно ли что-нибудь исправить? Эти вопросы встают перед героями нового романа чешской писательницы Веры Адловой, который был высоко оценен критикой и вызвал большой читательский интерес.

Вера Адлова до сих пор была известна прежде всего как автор книг для детей и биографических произведений (в их числе «Женни», 1980,— книга о жене Карла Маркса). «Горький запах осени»— этот, по определению рецензента «Руде право» Я. Неедлой, «большой пражский роман» — важный шаг в ее творчестве. Он стал заметным явлением в современной чешской прозе, отразил тенденции и черты, которые можно наблюдать сегодня и в литературах других социалистических стран.

В центре романа — проблема женской судьбы, женских характеров, сформированных бурной действительностью XX века. Писательница поднимает здесь и всегда актуальную проблему взаимопонимания поколений. Перед читателями три женских образа, показанных на фоне жизни Чехословакии с конца первой мировой войны до современности. «Я рассказываю историю,— говорит нам автор,— которая началась шестьдесят лет назад. Но ведь это не простые полста лет, это целое тысячелетие. Мы уже живем в другом веке, в другом мире». Историю подруг — Надежды, Ирены и Эммы, принадлежавших к разным социальным слоям довоенного общества (Надя — дочь бедного учителя, Ирена — дочь рабочего-коммуниста, Эмма — дочь состоятельного адвоката либеральных взглядов), писательница начинает с их школьных лет. Однако выдержанное в относительной хронологической последовательности повествование «от автора» перебивается написанными от первого лица «элегиями» — размышлениями Надежды о пережитом, которым она предается, уже будучи на пенсии. К тому же объективный тон авторской речи то и дело нарушается субъективно окрашенными пассажами, прямыми обращениями рассказчицы к читателю, комментированием и событий и поступков героев. Надо привыкнуть к такому способу рассказывания — поначалу он может показаться несколько искусственным, но в итоге помогает создать объемность изображения, внушает ощущение его достоверности.

Наибольшее место занимает в романе образ Надежды — тихой, скромной, безропотной, но в то же время очень стойкой и преданной. Она росла в центре Праги, не зная этого города, не зная никаких радостей и развлечений. Отец умер еще до ее рождения — от ран и болезней, вынесенных с фронта первой мировой войны. Мать Нади кухарка Антония была наделена незаурядным характером и жизненной силой, но после безвременной смерти мужа словно окаменела в трауре. Надя не знала не только забав, но и материнской ласки. Лишь перед самой войной у нее появились подруги — Ирена, вместе с которой она училась, и Эмма, с которой Ирена познакомила Надю. Страшный круговорот военных лет разлучил подруг, но они снова встретились после войны и сохранили дружбу на протяжении всех последующих лет. Надя вышла замуж за веселого и энергичного рабочего-активиста Павла Моравека, но счастье ее оказалось непрочным. Продвинувшись по службе и потянувшись к «красивой жизни» с новой молодой женой, Павел покидает Надежду с тремя детьми.

Ее опорой становится старший сын Иван, но он разбивается на мотоцикле. Когда женится средний сын Павел и выходит замуж младшая Фран, Надежда остается совсем одна в маленьком домике далеко от Праги, куда она переехала после женитьбы сына, оставив ему пражскую квартиру. Теперь у нее много свободного времени — чтобы предаться воспоминаниям, передумать жизнь заново...

Когда писательница обращается к периоду оккупации, на первый план выдвигается образ Эммы. Ирена, Эмма и ее брат Иржи участвуют в подпольном движении (отдельные поручения выполняет и Надя), попадают в руки фашистов, проходят через концлагерь. Эмма — старшая и самая красивая из подруг — переживает в военные годы яркую любовь к коммунисту Ладиславу Тихому и трагедию его гибели.

В фашистской тюрьме у нее рождается сын — маленький Ладислав, которого удается вырвать оттуда ее родителям, обратившим на него всю свою любовь. После войны Эмма находит свое призвание: оставляет право, которым она занималась по желанию родителей, и становится детским врачом, полностью отдавая себя работе, но в личной жизни остается одинокой. Не налаживаются у нее и отношения с выросшим без нее сыном, для которого непереносимым горем явилась смерть бабушек и эмиграция деда.

Счастливее подруг оказывается Ирена, жизнерадостный характер которой не сломили никакие испытания. Она выходит замуж за Иржи, которого любила с детства, заводит целый выводок детей — родных и приемных, заботится о неустроенных подругах, пригревает их детей — в ее дом каждый может прийти в трудную минуту.

Сосредоточенность на женских судьбах, на своего рода хронике семейной жизни сближает этот роман со «Старомодной историей» венгерской писательницы М. Сабо. Есть здесь перекличка и в построении романа, в использовании некоторых художественных приемов. В обеих книгах рассказчицы в подтверждение своих оценок, своих версий приводят документы и письма героев, ссылаются на фотографии и т. п. Дело не меняет тот факт, что у Адловой документы эти вымышленные, ибо они выполняют ту же функцию, что и подлинные документы у М. Сабо. Однако не только время, но и мир, который изображает Адлова, иной, чем замкнутый провинциальный мирок «Старомодной истории». Хотя чешская писательница тоже непосредственно не показывает большие исторические события, ей удается их обозначить через отражение в укладе повседневной жизни и человеческих взаимоотношениях. Очевидно, что это определяется выбором героев, не стоящих в стороне от движения истории. Вместе с тем эти книги объединяет главное в них — пафос человечности, утверждение ценности истинной дружбы и простой людской доброты.

Очень выразительны в романе Адловой дети — маленькая Надя и Ладислав, хотя они и появляются лишь в кратких эпизодах. С темой детей — маленьких и выросших — связаны самые драматические конфликты романа. Это отход Эммы и Иржи от родителей, вполне добропорядочных по прежним понятиям, но совершенно не способных понять своих детей и изменившуюся жизнь. Это трудные отношения Нади с матерью и ее еще более сложные взаимоотношения с собственными детьми. В отличие от суровой Антонии она была с ними бесконечно ласкова, терпима и добра. Почему же Павел и Фран становятся бессердечными эгоистами? Почему она не сумела передать им свое равнодушие к вещам и чуткость к людям, свое понятие о долге? Может быть, Павел, его агрессивная в своем мещанстве жена Моника и Фран изображены даже чересчур прямолинейно отрицательными. Пожалуй, эти характеры могли быть раскрыты полнее, мотивированнее. Несомненно, однако, что в их разладе с матерью отражена одна из реальных нравственных проблем сегодняшней жизни. Столь же реальна и проблема Эммы. Прекрасный врач, которая самоотверженно выхаживала слабенькую Фран и может ночами не отходить от постелек чужих больных детей, оказывается настолько невнимательной к собственному сыну, что едва его не теряет.

Для концепции романа важен образ счастливой в своих детях Ирены. Однако читателю больше запомнится Ирена-девочка — живая, порывистая, быстрая, чем Ирена — взрослая женщина, глава семьи. Подтверждается старая истина, что несчастную семью изобразить легче, чем семью счастливую. И все же этот образ выполняет свою роль, влияет на общую тональность романа.

«Горький запах осени» — это действительно «пражский» роман. Писательница умеет зримо передать особенности разных кварталов города, разных типов домов, в которых обитают ее герои. Это ветшающий, некогда «патрицианский», а в нашем веке заселенный разношерстным мелким людом неуютный родной дом Надежды, который в войну разрушит бомба, это роскошная вилла родителей Эммы, откуда Ирена уводит своего Иржи, это принадлежавший родителям Павла Моравека бедный домик в пригороде, это не обремененные мебелью квартиры первых послевоенных лет. Точно подмеченные подробности городского пейзажа, подробности меняющегося на протяжении полустолетия быта не становятся самоцельными. Они приближают к нам героев, конкретизируют и оттеняют присущий роману обостренный нравственный поиск.

Адловой чужда назидательность. Она стремится показать сложность причинно-следственных связей в человеческих взаимоотношениях, вовлекает читателя в раздумья над проблемами, которые касаются буквально каждого человека.

Роман рассказывает в основном о прошлом, его главные герои к концу повествования приближаются к весьма солидному возрасту. Но он весь обращен в будущее. Конец романа обещает более счастливое продолжение: Надежда берет на воспитание маленького сына Фран, брошенного ею в погоне за новой любовью. Значит, и для Надежды еще может начаться новая жизнь. В романе много горького и трудного, но он горячо «агитирует за доброту» и проникнут верой в возможность счастья, завоеванного в непрестанной борьбе с обстоятельствами и самим собой.

С. ШЕРЛАИМОВА

НА ВСТРЕЧУ С ЛАФОНТЕНОМ

Soulkhan-Saba Orbeliani. La Vérité du mensonge. Paris, Publications Orientalistes de France. Collection UNESCO. 1984.

Сулхан-Саба Орбелиани. Мудрость вымысла. 1984.

Два баснописца жили примерно в одно время в тысяче лье друг от друга. Француз и не подозревал о существовании грузина, а грузин Сулхан-Саба Орбелиани мог слышать

имя Лафонтена под сводами Версаля, направляясь на аудиенцию к Людовику XIV. Будучи на тридцать семь лет моложе Лафонтена, посланник, увы, не застал в живых поэта во время своей дипломатической миссии в Европу в 1713—1716 годах. И все же сходство их занятий и дум было таково, что литературоведы и историки, забыв о несогласии дат и приняв желаемое за действительное, устроили собратьям по перу встречу, но... лишь на страницах своих сочинений, под дружелюбным взглядом вдохновлявшего обоих Эзопа.

Лафонтен стихами, а Орбелиани—прозой обработали — каждый на свой лад — несколько общих сюжетов. Встреться оба писателя, они с полуслова поняли бы друг друга. Но несправедливость жизненную могло и должно было исправить время. Потомки Орбелиани на своем языке познакомились с сочинениями Лафонтена. Оставалось представить франкоязычным читателям сочинения грузинского писателя.

Когда мне поручили перевести «Мудрость вымысла», наиболее известное творение Сулхана-Саба Орбелиани, на французский язык, эта задача показалась мне настолько же увлекательной, насколько и ответственной.

Предстояло проделать два путешествия: в мир прозы Орбелиани и на родину Лафонтена.

Перевод художественного произведения, как известно, дело деликатное. Не только слова и образы, но и окружающая их атмосфера неизбежно исчезают, предвещая рождение новых слов, создающих свою атмосферу. При такой пересадке сердце может прижиться или отказаться действовать. В случае с Орбелиани отчетливо обрисовывалась необходимость сохранить филигранную немногословность фраз, их лапидарную оголенность, глубину и весомость авторского взгляда на жизнь. Художественного воздействия Орбелиани достигает не броскими средствами, но строгой сдержанностью архитектуры целого, точностью выбора слов (недаром за прозаиком стоит мощная поддержка лексикографа, составителя авторитетного и по сегодняшний день толкового словаря грузинского языка).

Работа была и вдохновляющей, и расширяющей языковые горизонты, и тренирующей легкие и мышцы, как бег по трудной, пересеченной препятствиями трассе. Окончательной отливке фраз предшествовали доработки и приближения, продирание сквозь колючки разночтений, поиски равновесия на наклонных плоскостях смысловых контекстов. На переходе от одного языка к другому разыгрывается затейливый ритуал гостя и хозяина. Но закрепляясь в новой языковой форме, рисунок слов приносит чувство облегчения и удовлетворения, ощущение неподозреваемой дотоле энергичной пульсации, заложенной в самой авторской воле, ведущей вас по лабиринту метаморфоз.

Далее вступил в свои права обычный сценарий: прохождение книги в издательстве, ее набор. Поскольку первое издание вышло в 1978 году в Тбилиси, то литеры подбирали наборщики, для которых они не были родной стихией. Печатный текст кряхтя освобождался от типографской шелухи. Но вот наконец книга родилась — плод бережного отношения к ней и сосредоточенного труда многих, в малом продолговатом формате, в темно-зеленом одеянии с серебряным тиснением. У книги, естественно, был терпкий вкус дичка, но она уже существовала и тем самым, как позже выяснилось, заключала в себе возможность путешествия, подобного путешествию, совершенному в свое время ее автором.

Французы, бельгийцы, люксембуржцы, прочитавшие грузинские притчи, обнаружили в них и перекличку эпох, и нечто знакомое для себя с детства. В былях и небылицах философу послышалась «галльская нежность» и «ностальгическое напоминание о цивилизации, исчезнувшей повсюду на земле, о тех временах, когда люди передвигались пешком и разговаривали с хорошо им знакомыми животными». Писатель представил себе день, когда «в учебники, предназначенные для франкоязычных школ Бельгии, включат «Царя и кузнеца», «Скупого и золото», «Верблюда и осла» или же «Пахаря, ткача и портного». Поэт увлекся «выявлением множества соответствий». Среди них «Волк, коза и сено» и «Три четы и река» напомнили ему «загадки, которые во время игры предлагают во Франции (с той разницей, что сено в них заменено капустой)». Читая «Заживо погребенного», он вспомнил Рабле и Свифта.

С берегов текущей на запад и сливающейся с водами Луары Сарты пришло дружеское пожелание: «Почему бы не переиздать книгу во Франции?».

В самом деле, почему бы нет? Занятый серьезными государственными переговорами, не мог же восточный посланник пересказывать коронованному собеседнику свои назидательные притчи? За прошедшие два столетия тщательно обдумывавшиеся и вынашивавшиеся в передышке между кровавыми сражениями и в мрачном затишье заговоров замыслы легли стопкой ветшающих документов в дреме архивов. А притчи? Притчи продолжали жить своей полнокровной жизнью под солнцем, на виду у честного народа, в помыслах детей и взрослых.

Жили и терпеливо ждали возможности общения с потомками тех, кто встречал их создателя. Притчам некуда было спешить, и даже такое печальное событие, как смерть короля-солнца, не лишало их будущих собеседников. Само их сообщение не старело, а лишь видоизменялось в зависимости от перемен в мире и в мироощущении людей. Не все отмирает, старея. Вот почему отстоявшаяся мудрость поддерживает человека в меняющемся мире и несет ему ростки надежды.

Витрины книжных магазинов Парижа захлестывают волны переизданий классиков и еще не привлекших к себе внимания новинок. От калейдоскопа имен и названий кружится голова и в душу закрадывается сомнение: потеснятся ли застывшие в типографских строках волнения человеческого сердца, позволив расположиться рядом с ними вновь пришедшим поискам и вопросам?

И все же, пока жив человек, нет силы, способной обуздать его любознательность,

положить предел его стремлению познать мир и себя. К тому же и в потоке книг, как и вообще в человеческих деяниях, неизбежно взбивается пена, со временем бесследно уходящая в почву, оставляя чистый промытый песок для новых записей.

Принятая ЮНЕСКО, книга нуждалась в издательстве. Им оказалось тринадцать лет тому назад созданное «Пюбликасьон ориенталист де Франс», сокращенно звучащее как мирный выстрел или салют, приветствующий в лучах восходящего солнца создания восточных муз от древнейших времен до наших дней — «ПОФ»!

Брошенное пригоршней Сулхана-Сабы зерно взросло, и французское издание его творения вышло под эгидой ЮНЕСКО, в серии представительных произведений народов мира в издательстве «ПОФ» в марте 1984 года. По сравнению с первым изданием перевода изменился французский заголовок книги, став «Правдой вымысла», контрастнее выделив заключенный в авторской мысли парадокс. Вырос формат книги, на теплой, желтоватой белизне обложки выстроилась четкая графика черных и светло-коричневых — «верблюжьего цвета», как выразилась директор издательства Сюзанн Сиффер, букв. Черная часть набора заголовков едина для всех серий издательства: русской, японской, китайской, вьетнамской и других, а вот второй цвет закрепляется лишь за той или иной представленной в «ПОФ» литературой. Для грузинской серии, дотоле отсутствовавшей в публикациях издательства, речь шла о кизиловом цвете. Но полиграфическое оформление видоизменяется в процессе подготовки книги к изданию, и так получилось, что предполагавшийся кизиловый сменился бледно-коричневым.

Его принесли с собой верблюды, цепочкой каравана следующие за купцом в тюрбане и делящие на две части пространство обложки. Подобно замысловатому развитию восточных притч, неоднозначно и движение каравана. В хурджинах, навьюченных на животных, переносятся не только шелка, драгоценности, яства, но и содержимое притч «Мудрости вымысла». К следующему своему привалу караван может принести еще одну книгу из Грузии.

Воздушная полиграфия текста, омываемого подушками белизны, чутко следует за содержанием притч, в которых иная существенная мысль, окруженная ничейным пространством, задерживает взгляд, как оазис в пустыне; перечисления разбиты подобно строкам стихотворения; освобожденные от подписей иллюстрации одной лишь своей графикой соотносятся с текстом, а однажды в черном воспроизведенный мотив каравана ближе к середине книге незаметно подключается к ее заглавному движению.

Едва появившуюся книгу принял на один из своих стендов третий парижский Салон книги, открывший двери для посетителей в Большом Дворце на Елисейских полях в марте 1984 г. Двадцать пять минут посвятило книжной новинке центральное французское радио в своей передаче «Франс-культюр». Представляя ее радиослушателям, журналист Оливье-Жермен Тома отметил реальный интерес французов к многонациональной культуре народов СССР.

В дни выхода книги, проведенные в Париже по приглашению издательства,— залитые солнцем весенние дни с набухавшими почками и расцветавшими каштановыми деревьями — на ум приходили отдельные штрихи, предшествовавшие рождению французского издания «Мудрости вымысла».

На параллельной набережной Сены улице Лилля, где помещается «ПОФ», вспоминался Мари Броссе, жизнеописание которого, по воле случая, вышло в Тбилиси незадолго до парижского издания Орбелиани. Облик выдающегося грузиноведа несколькими нитями связывался с творением Орбелиани. Полтораста лет тому назад Мари Броссе пытался основать кафедру грузинского языка в парижском Институте восточных языков, том самом Институте, который сейчас соседствует на улице Лилля с «ПОФ». Ныне оба учреждения своей деятельностью дополняют друг друга, а кафедра грузинского языка существует в Институте наряду с кафедрами других восточных языков. А еще среди других своих сочинений Мари Броссе осуществил оставшийся в рукописи перевод «Мудрости вымысла».

Другой штрих был ближе во времени — несколько лет тому назад в Париже, под эгидой все той же ЮНЕСКО, прозвучало музыкальное произведение грузинского композитора Нодара Габуния, написанное на один из сюжетов «Мудрости вымысла» и впитавшее его динамику.

Да сколько еще других отголосков притаилось в насыщенном событиями воздухе Парижа?

Но из глубины времени громче других доносился отголосок подлинно состоявшейся встречи союзников по перу и друзей по сердцу, двух выдумщиков, в вымысле которых была только правда: ведь Сулхан-Саба Орбелиани все же пришел на встречу к Жану де Лафонтену.

ГАСТОН БУАЧИДЗЕ
Тбилиси

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

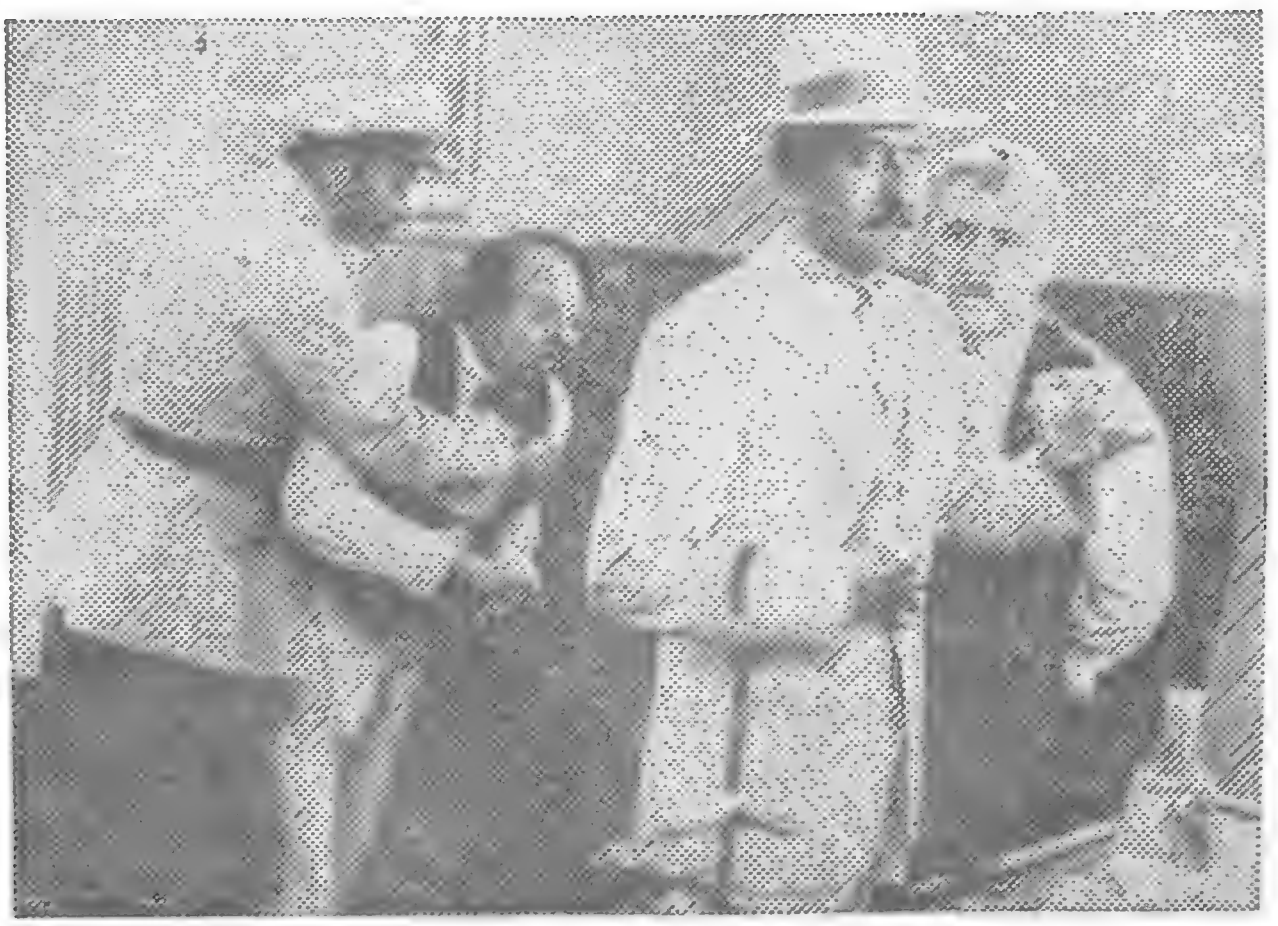
«УВИДИМСЯ НА ХОЛМЕ»

Так называется новый сборник Николая Зидарова, популярного в Болгарии поэта, много пишущего для детей, известного также и своими лирическими и гражданскими стихами, которые занимают с течением времени все больше места в его творчестве. Последний его сборник — это размышления немолодого человека, знающего, что такое одиночество, болезни, житейские невзгоды. Но если физические силы могут человеку изменить, отмечает в своей статье, опубликованной еженедельником «Литературен фронт», критик А. Спиридонов, то дух его остается по-прежнему бодрым. Удивительны, пишет критик, искренность, человечность, прозрачная ясность этой философской лирики, насыщенной одновременно и значительным социальным содержанием: политические мотивы нашли особенно яркое выражение в цикле стихов, посвященных Сирии. Коммунист, участник антифашистской борьбы, Зидаров прекрасно понимает тех, кто «на Голанских высотах борется с новоявленными черными рыцарями человеконенавистнических доктрин».

Сборник «Увидимся на холме», заключает критик, создает для нас образ поэта с тонкой душой, глубоко чувствующего человеческую боль.

Фильм «Бон шанс, инспектор!» режиссера Петра Донева (он же автор сценария), как пишет рецензент журнала «Болгарские фильмы», явился сюрпризом для болгарского зрителя — такой пародии на детективный жанр в болгарском кино еще не было. Комедия в стиле «ретро» рассказывает историю инспектора Тюхчева, который приехал в провинциальный городок довоенной Болгарии раскрыть преступление — похищение из банка восьми миллионов. В результате расследования инспектор сам становится соучастником преступления, так как похитителем миллионов оказался сын министра, от которого зависела карьера инспектора. Он выбирает карьеру, почему и фильм называется «Бон шанс, инспектор!». Большому успеху фильма, как отмечает пресса, способствует игра остроумного, пластичного, талантливого Велко Кынева, исполнителя главной роли (на фото).

(Журнал «Болгарские фильмы»)



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УСТАМИ ЮБИЛЯРА

В октябре 1984 года исполнилось 80 лет Грэму Грину. Имя этого английского писателя широко известно в нашей стране. За свою долгую творческую жизнь он написал 23 романа. В центре его внимания всегда были самые горячие точки планеты и самые жгучие вопросы человеческого бытия.

Накануне юбилея Грин принял корреспондента Британской радиовещательной корпорации (Би-би-си) и в беседе с ним поделился мыслями о том, как он сам оценивает свое творчество.

Говоря о месте, которое он мог бы отвести себе в истории мировой литературы, Грин, в частности, заметил: «Думаю, что могу отнести себя к числу хороших писателей — но называть меня великим было бы слишком сильно. Рядом с Бальзаком, Толстым и Диккенсом вряд ли кто-нибудь из современных романистов может претендовать на подобный титул. Величие каждого из них заключается в свойственной им глубине проникновения в характеры героев, искусстве повествования и привлекательности для самых различных читателей.

Когда я оглядываюсь назад, — продолжал Грин, — мне кажется, что я слишком много путешествовал и слишком много всего повидал. До определенной степени мне нравилось рисковать, однако чем дальше, тем меньше. Теперь уж и вовсе я слишком стар для этого: смерть достаточно близка, чтобы торопить ее. Думаю, что для счастливой жизни человеку нужно не так много переживаний, но каждое из них должно быть как можно более глубоким».

В октябре прошлого года вышла из печати новая работа Грина — «Мое знакомство с генералом». Она относится к документально-публицистическому жанру и рассказывает о президенте Панамы Омаре Торрихосе, погибшем в 1981 году в результате авиакатастрофы, происшедшей при невыясненных обстоятельствах. На протяжении длительного времени Грин находился с Торрихосом в дружеских отношениях, и его новая работа, сочетающая тонкий портретный очерк с публицистическим анализом общеполитической обстановки в Латинской Америке, безусловно привлечет внимание многих поклонников творчества английского писателя.

На вершине одного из красивейших холмов Будайских гор будет установлена скульптурная композиция Марты Лешеньеи, аллегорические фигуры которой олицетворяют объединение в 1872 году двух исторически сложившихся частей города — Буды и Пешта. Парламентским актом 1873 года Будапешт официально был объявлен столицей Венгрии.
На снимке: макет скульптурной композиции Марты Лешеньеи.

(Журнал «Уй тюкёр»)

ВЕНГРИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ МУЗЕЮ ИМЕНИ ПЕТЁФИ — 75 ЛЕТ

Осенью прошлого года исполнилось 75 лет со дня основания Государственного литературного музея имени Петёфи.

Об истории его создания и о его деятельности рассказали на страницах газеты «Мадьяр немзет» директор музея Ференц Ботка и заведующий отделом рукописей, председатель Международного комитета литературных музеев при ЮНЕСКО Эрнё Такснер-Тот.

Зарождался музей в начале века. В 1909 году Общество Петёфи, объединявшее литераторов — поклонников поэзии Шандора Петёфи, на свои средства создало Дом Петёфи. Его первым директором был известный венгерский писатель Мор Йокаи. Именно при нем был заложен рукописный фонд и первое собрание книжных изданий. Общество выпускало «Альманах Петёфи», в котором печатались первые научные работы, посвященные его творчеству, а также установило премии имени Петёфи и имени Йокаи (после смерти писателя), которые присуждались соответственно поэтам и прозаикам. В 1949 году Дом Петёфи был преобразован в Музей Петёфи, а в 1954 году он получил статус Государственного литературного музея имени Петёфи.

Сейчас Государственный литературный музей имени Петёфи обладает обширным собранием рукописей и материалов, отражающих венгерскую духовную жизнь XIX—XX веков. «Всего сегодня насчитывается полмиллиона единиц хранения»,— говорит Ференц Ботка. При музее имеется большая библиотека, в которой собраны первые издания произведений венгерской литературы.

Музей — редчайшее собрание реликвий, в которое входят портреты, личные вещи писателей и другие музейные экспонаты. Он является единственным местом, где собираются оригиналы книжной графики и создана ценная фонотека, сохранившая для потомков голоса писателей.

В год юбилея в музее прошла научная конференция, в работе которой приняли участие и специалисты из-за рубежа. Она свидетельствовала о том, что Государственный литературный музей имени Петёфи снискал себе большой международный авторитет.

ВЕНЕСУЭЛА

ЮБИЛЕЙ ГАЛЬЕГОСА

Культурная общественность Венесуэлы широко отметила 100-летие со дня рождения известного латиноамериканского писателя Ромуло Гальегоса. Во многих городах страны прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате. В них приняли участие деятели культуры Венесуэлы, а также прибывшие в страну зарубежные гости. В организации проведенных в рамках празднования этой годовщины встреч представителей культуры с общественностью и профессиональных семинаров по обмену опытом писателей оказала содействие Коммунистическая партия Венесуэлы.

Литературные критики, политические деятели, простые читатели отмечали большой вклад Р. Гальегоса в развитие латиноамериканской прозы.

ГДР

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ БЕРЛИНСКОЙ СЕМЬИ»

Такой подзаголовок своему новому роману «Ян Оппен» дал известный писатель Клаус Бойхлер, недавно удостоенный премии Свободных немецких профсоюзов (см. «ИЛ», 1984, № 9).

Уже первая фраза романа «Оппены с незапамятных времен жили на Гризенерштрассе, пятьдесят четыре» говорит о том, что роман написан в традиционной реалистической манере, напоминающей таких мастеров слова XIX века, как Теодор Фонтане. Клаус Бойхлер рассказывает историю обычной берлинской семьи, во главе которой стоит дед-плотник Ян Оппен. Сын Яна Оппена, Петер, продолжил семейную профессию и тоже стал плотником высокой квалификации — он бригадир на большом строительстве. Жена Петера — учительница, а два сына стоят

«Фридрих Вольф-театер» города Нёйстрелиц поставил пьесу И. Вайндлиха по роману Гельмута Заковского «Даниэль Друскат» (см. «ИЛ», 1976, № 8).
«В свое время по этому роману был создан телевизионный фильм,— пишет журнал «Театер дер цайт».— Сейчас зрители познакомились с интересным спектаклем (режиссер — сам Вайндлих), отразившим историю нашей страны после 1945 года. Этот спектакль — весомый вклад в нашу культуру в год 35-летия Германской Демократической Республики».
На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Театер дер цайт»)

да Аббаса. Чествовать юбиляра в Бомбей прибыли многие выдающиеся деятели индийской литературы и искусства. На торжественном заседании, организованном Обществом советско-индийской дружбы, с приветственными речами к юбиляру обратились Мулк Радж Ананд, Исмат Чугтаи, Али Сардар Джафри и ряд других писателей.

Накануне юбилея Х. А. Аббас был удостоен премии имени Воровского, присужденной ему Союзом советских журналистов.

Другой знаменательной датой явился юбилей представителя литературы хинди, писателя-сатирика Харишанкара Парсаи, которому исполнилось 60 лет. Юбилейные торжества, посвященные 60-летию Парсаи, проходили на его родине — в деревне Джамани (штат Мадхья-Прадеш). По этому случаю сюда со всех концов штата съехались поэты, писатели, общественные деятели, учителя и студенты местных колледжей. Перед собравшимися с большой речью, посвященной жизненному и творческому пути Харишанкара Парсаи, выступил писатель Севарам Трипатхи. Охарактеризовав Х. Парсаи как крупного новеллиста, оратор особо отметил ту роль, которую произведения писателя играют в общественной и культурной жизни страны. «Чтение произведений Парсаи — это не просто чтение для удовольствия, — сказал оратор. — Оно воодушевляет нас на борьбу».

Другой оратор — Раджендра Шарма в своем выступлении подчеркнул, что имя Парсаи знакомо миллионам читателей как в Индии, так и далеко за ее пределами, ибо его произведения переведены не только на все основные индийские языки, но и ряд европейских: русский, английский, чешский, венгерский.

Пристальное внимание прессы к юбилейным торжествам, прошедшим в Бомбее и Джамани, свидетельствует о важности той роли, которую прогрессивная литература играет в общественной жизни страны.

перед выбором профессии. Вопрос о том, будут ли они продолжать дело, которым всегда занимались Оппены, остается открытым, потому что внука старого Оппена, Яна-младшего, увлекает техника, и он стремится стать автослесарем.

«В центре повествования — образ старого Оппена, человека замечательного, очень мудрого, хотя и несколько чудаковатого. Бойхлер рисует его очень живо, с большим юмором,— отмечает газета «Берлинер цайтунг».

«Эта на первый взгляд простая история выходит далеко за рамки семейных проблем, — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Писатель поставил в своей книге много важных вопросов о жизни, о взаимоотношениях поколений, о воспитании молодежи. Он связал современность с историей, оживающей в воспоминаниях старого Оппена. Картины недавнего прошлого, антифашистской борьбы, в которой участвовал Ян Оппен и его отец, даны в книге очень убедительно... Новый роман, обращенный в основном к юношеству, имеет большое значение для всей нашей современной литературы...».

ЕГИПЕТ

НОВЫЕ КНИГИ ЕГИПЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Журнал «Афак арабийя» сообщает о новых книгах, вышедших в Египте. Среди них — романы Нагиба Махфуза «Сын Фатумы». В последнее время, отмечает пресса, этот крупнейший египетский писатель, которому скоро исполнится 73 года, работает особенно плодотворно, публикуя каждый год по роману. Его предыдущий роман «Перед троном», опубликованный в 1983 году, по мнению видных египетских писателей и деятелей культуры, был лучшим произведением этого жанра.

Другой видный египетский писатель — Абд ар-Рахман аш-Шаркави — опубликовал пьесу «Вождь», посвященную национальному герою Ахмаду аль-Ораби «Ораби паше») — офицеру египетской армии, возглавившему в 1882 году восстание против английских колонизаторов.

В Каире вышел также сборник стихов недавно умершего крупного поэта Амаля Дункуля под названием «Бумаги из комнаты № 8».

ИНДИЯ

ДВА ЮБИЛЕЯ

Прогрессивная общественность Индии отметила две знаменательные даты.

Широкое освещение в печати получили проходившие в Бомбее юбилейные торжества, посвященные 70-летию со дня рождения известного писателя урду, журналиста и кинорежиссера Ходжи Ахма-

ЭСТАФЕТА ДОБРА

Большое внимание индийской прессы привлек фильм «Факел» режиссера Яша Чопры. В центре картины — судьба талантливого журналиста, который, не жалея сил и времени, ведет на страницах газеты борьбу против социального зла и несправедливости, чем восстанавливает против себя сильных мира сего. И начинается травля — дикая, планомерная, не знающая пощады. Из газеты его вынуждают уйти. Поиски другого места ни к чему не приводят: чья-то невидимая рука перекрывает ему все пути. Основанная им газета прогорает. Прежде обитатель фешенебельного особняка, герой фильма оказы-

На снимке: кадр из фильма «Факел».

(Газета «Джан юг»)

вается выброшенным на улицу. В довершение всего уходит из жизни единственный близкий человек — жена. Он сломлен, раздавлен, и враги могли бы торжествовать победу над поверженным противником, если бы не одно обстоятельство: дело, начатое отважным журналистом, точно эстафету подхватывает молодая сильная рука человека, которому он помог подняться со дна жизни и приобщил к тайнам своего ремесла.

«Многие эпизоды картины потрясают до глубины души», — пишет рецензент газеты «Джан юг», подчеркивая особую актуальность фильма в современных условиях.

ИТАЛИЯ

СУДЬБА РИСУНКОВ

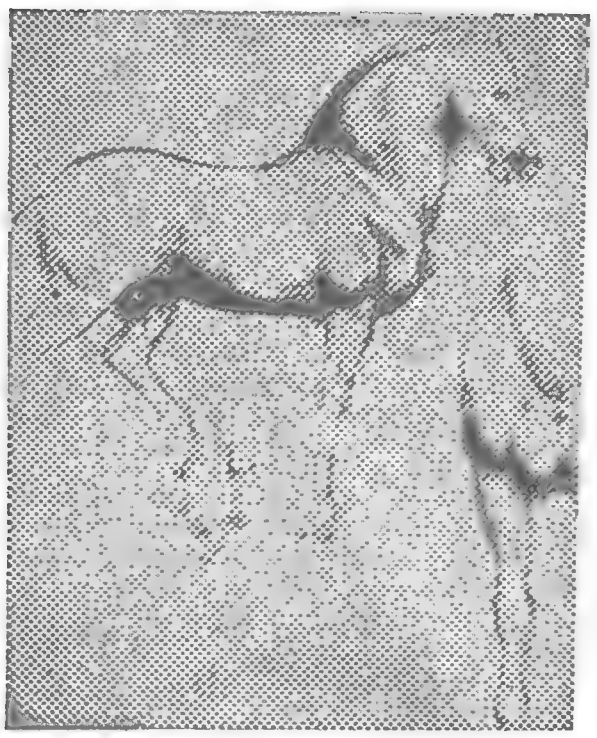
Во Флоренции во дворце Веккио состоялась выставка рисунков Леонардо да Винчи. Все пятьдесят девять рисунков, представленных на выставке, изображают лошадей. В начале XVII века их приобрел Томас Говард, герцог Арандельский, состоявший советником по искусству при дворе принца Чарльза I. Ныне они хранятся в лучшей в мире коллекции рисунков Леонардо да Винчи королевы Елизаветы II в Королевской библиотеке Виндзорского дворца, и теперь после трехсотлетнего отсутствия были привезены на родину.

«О любви Леонардо да Винчи к животным сохранилось множество историй,— пишет корреспондент газеты «Интернэшнл геральд трибюн». — Несмотря на то, что он никогда не был богат, Леонардо всегда держал лошадей, которые были для него воплощением физического совершенства. Когда двор Медичи во Флоренции пришел в упадок и Леонардо был вынужден поселиться при дворе Сфорца в Милане в качестве музыканта, он привез с собой серебряную лиру собственного изготовления в форме головы лошади. Звук лиры Леонардо был столь прекрасен, а его поэтические импровизации, которые он исполнял в ее сопровождении, так искусны, что герцог пригласил его остаться в Милане и разрешил ему заняться живописью. Большая часть его рисунков лошадей создавалась именно в Милане в качестве набросков для будущих монументальных работ».

После Флоренции выставка отправилась в США и Японию.

На снимке: рисунок Леонардо да Винчи.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)



ЭДУАРДО — ПЕРЕВОДЧИК ШЕКСПИРА

Прославленный драматург, режиссер и актер Эдуардо Де Филиппо, умерший недавно, перевел на неаполитанский диалект XVII века пьесу Шекспира «Буря». Этот уникальный перевод вышел отдельной книгой в издательстве «Эйнауди». На страницах журнала «Эспрессо» Де Филиппо рассказал о том, как родился этот замысел, и о своей работе переводчика:

«Переводить Мольера и Шекспира всегда было моим заветным желанием, но обязанность представлять зрителям каждый год новую постановку не оставляла на это времени. Однажды ко мне пришел Джулио Эйнауди, рассказал о своей новой серии «Писатели в переводах писателей», и спросил, не хочу ли я перевести какую-нибудь пьесу Шекспира. Я выбрал «Бурю»... Я старался сохранять возможно большую верность тексту, как, по-моему, и следует поступать при переводе, но не всегда мне это удавалось. Иногда, особенно в комических сценах, актер в моей душе восставал против игры слов, ныне уже утратившей смысл, и тогда я менял ее; иногда я ощущал необходимость добавить несколько стихотворных строк, чтобы лучше объяснить какую-нибудь мысль или придать бóльшую эмоциональность тексту... Что касается языка, то я вдохновлялся неаполитанским семнадцатого столетия, но использовал его как человек, живущий сегодня; было бы неестественно пытаться достичь полной адекватности с языком, который не употребляют уже веками. Однако как прекрасен этот старый неаполитанский, столь близкий к латыни, с его спокойными, не усеченными словами, с его музыкальностью, нежностью, удивительной гибкостью и со способностью оживлять таинственные волшебные события и создания, способностью, которой ныне уже не обладает ни один современный язык! Я переводил непосредственно с английского, ища в разных английских словарях двойное, а то и тройное значение некоторых архаических слов...»

Де Филиппо, которому было 84 года, затратил на перевод полтора месяца, увлеченно работал, несмотря на сильную жару летом 1983 года, иногда по восемь часов в день. Журнал «Эспрессо» опубликовал отрывки из перевода Де Филиппо, помещая рядом итальянский перевод пьесы Шекспира.

КНДР

«УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» ЛЮ ЕН МАНА

Тема отечественной освободительной войны корейского народа против агрессии американского империализма и его приспешников в 1950—1953 годах по-прежнему остается одной из ведущих для кинематографистов КНДР. Подтверждением этому служит полнометражный художественный фильм «Утренняя звезда» режиссера Лю Ен Мана, посвященный незабываемым героическим событиям того времени.

В центре экранного повествования судьбы двух мо-

На снимке: кадр из фильма «Утренняя звезда».

(«Кинобюллетень»)

лодых людей — Ли Сока и Ен Хи, которые еще со студенческой скамьи полюбили друг друга и торжественно поклялись отдать все свои силы беззаветному служению родине. В самый разгар упорных кровопролитных сражений с оккупантами Ли Сок по решению командования оказывается за линией фронта. где входит в доверие командования марионеточной армии и передает из тылов противника ценные сведения в свое соединение. О его секретной миссии знает очень ограниченный круг людей. Вот почему большинство выпускников университета, и в их числе Ен Хи, считают поначалу Ли Сока изменником и предателем.

Ен Хи служит радисткой в одном из соединений, и однажды ее направляют с ответственным заданием в стан неприятеля, чтобы получить там важную информацию непосредственно из рук разведчика-патриота. Безгранично счастье девушки, когда она узнает, что этим разведчиком, одетым в офицерскую форму неприятельских войск, является Ли Сок. Окрыленная, возвращается она в расположение своей части, и ей доверяют принимать лично от него шифрованные радиограммы. В решительный момент Ли Сок, стремясь любой ценой сорвать газовую атаку американских агрессоров, захватывает их радиостанцию и вызывает через Ен Хи огонь на себя, он гибнет. спасая жизнь многим своим соотечественникам.

Фильм «Утренняя звезда» с большим успехом прошел на VIII Ташкентском международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, был удостоен диплома и приза Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

КУБА

ПЕРВАЯ БЬЕННАЛЕ В ГАВАНЕ

Почти два года назад было объявлено о том, что в 1984 году в Гаване состоится бьеннале изобразительных искусств Латинской Америки. Это сразу же вызвало большой интерес во всех странах континента. А для многих художников бьеннале давала случай впервые показать свои работы широкому зрителю. И все же устроители выставки были поражены количеством экспонатов — 835 художников из 22 стран привезли в Гавану 2171 работу.

Колумбийский график Хуан Антонио Рода, член жюри бьеннале, заявил, что «это не только победа искусства, но и знак солидарности художников с народом Кубы, для которого созидание является неотъемлемой частью повседневной жизни».

В рамках бьеннале состоялись также персональные выставки отдельных художников и семинары, которые дали участникам встречи возможность творческого общения.

Жюри выставки присудило премии за рисунки кубинцу Роберто Фабело и венесуэльцу Алирио Паласиосу, а в области графики — Бранке де Оливейра из Бразилии. Гран-при получил Арнольд Белкин из Мексики за работу «Смерть Сапаты от руки предателя». При вручении премии лауреат сказал: «Отметив мою работу, жюри тем самым воздало должное социальному течению в живописи. Я верю, что искусство много значит для осознания человеком собственного достоинства».

Подводя итоги первой бьеннале в Гаване, критик журнала «Призма» приводит слова поэта Элисео Диего о важности взаимопроникновения разных культур при том, что искусство каждой страны обладает неповторимыми особенностями.

Журнал «Призма» сообщает, что следующая бьеннале состоится в 1986 году, и на нее будут приглашены также художники из стран Африки и Азии.

На снимке: работа Арнольда Белкина «Смерть Сапаты от руки предателя».

(Журнал «Призма»)

НИКАРАГУА

К СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЕ

Со времени свержения диктатора Сомосы прошло пять лет, и никарагуанский народ широко отметил эту знаменательную дату. Немало событий в культурной жизни страны было приурочено к этим дням. Издательство «Нуэва Никарагуа» выпустило книгу «Живая мысль Сандино» — сотую книгу со дня своего основания, — которая представляет собой сборник материалов о жизни и деятельности Сандино. Книга эта составлена одним из руководителей Сандинистского фронта национального освобождения писателем Серхио Рамиросом, избранным на пост вице-президента республики Никарагуа.

На торжественном акте, посвященном юбилею, выступил министр культуры Эрнесто Карденаль, который отметил неоценимое для революционной Никарагуа значение собственного издательства, которое продает народу книги по различным отраслям знания по цене ниже себестоимости.

В Манагуа в театре имени Рубена Дарио открылась выставка крупнейшего эквадорского художника Освальдо Гуаясамина. На выставке экспонируется 200 рисунков и литографий, десять из которых останутся в Манагуа как дар художника никарагуанскому народу.

Празднование пятилетия никарагуанской революции

получило широкий отклик во всей Латинской Америке и в первую очередь на Кубе. Кубинский институт международных отношений опубликовал книгу «Никарагуа и сандинистская революция», созданную сотрудниками института. В эти дни в Никарагуа на гастролях побывали кубинские артисты. Они привезли в подарок своим друзьям спектакль «Кубинский праздник в Никарагуа», сценарий которого построен на стихотворениях Николаса Гильена.

Приглашения на празднование знаменательной даты получили друзья никарагуанской революции из многих стран, в их числе и перуанский поэт Уинстон Оррильо, который в интервью газете «Унидад» сказал: «Я бывал в СССР, в народной Корее, в Болгарии и на Кубе и уже знаю, что мечты могут быть воплощены в действительность, что они должны быть воплощены в действителность... Для меня поездка в Никарагуа означает встречу с будущим Латинской Америки...»

РУМЫНИЯ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В издательстве «Картя ромыняскэ» вышел третий том фундаментального труда известного румынского критика Эуджена Симиона «Современные румынские писатели» (1-й том издан в 1974 и переиздан в 1978 г., 2-й — в 1976 г.) В рецензии М. Йоргулеску в еженедельнике «Ромыния литерарэ» издание этого труда рассматривается как значительное явление в литературной жизни страны, поскольку исследование Э. Симиона является первой крупной работой, в которой отражена история развития румынской литературы за последнее сорокалетие.

Труд Э. Симиона охватывает большой и сложный этап в истории развития румынской литературы, в нем представлены многие писатели, в том числе и те, которые начали свой творческий путь еще в довоенные годы. Таким образом, исследование посвящено не только социалистическому периоду развития литературы, как первоначально было задумано, но и межвоенному.

В 3-м томе дан широкий анализ творчества 48 писателей. В книге представлены различные литературные течения и направления, показано развитие литературно-критической мысли в Румынии. В исследовании Э. Симиона современная литература СРР предстает, заключает М. Йоргулеску, как «богатая, мощно проявляющаяся реальность, органически цельная, располагающая подлинно художественными непреходящими ценностями».

СИРИЯ

«ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН — ЛОВУШКА»

На III Дамасском международном кинофестивале арабских, азиатских и латиноамериканских стран широкий отклик среди участников вызвала документальная лента Организации освобождения Палестины «Западный Берлин — ловушка», завоевавшая специальный приз Союза деятелей искусств Сирии.

Молодой кинорежиссер Джибрил Авад в своей работе привел целый ряд неизвестных ранее для палестинской кинодокументалистики фактов, свидетельствующих о незавидном положении тех палестинцев, которые оказались волею судеб вдали от родины, впервые проанализировал причины, порождающие массовый отъезд арабов в государства капиталистического Запада, рассказал о тяжкой участи изгоев на новом месте жительства, проследил механизм изощренных методов, которые применяются империалистическими разведками для вербовки прибывающих с Ближнего Востока иммигрантов, чтобы использовать их затем против Палестинского движения Сопротивления.

Д. Аваду и его коллегам нелегко было добиться согласия молодых палестинских переселенцев на то, чтобы их повседневные житейские будни в Западном Берлине фиксировались на кинопленку. Немало трудностей пришлось также преодолеть, прежде чем удалось получить разрешение Министерства юстиции ФРГ на встречу с арабами, арестованными за якобы «правонарушения», ознакомиться с их досье, заснять беседы с ними.

Удача кинофильма «Западный Берлин — ловушка» лишний раз подтвердил жизнестойкость и оперативность кинематографии палестинских арабов, ее богатые возможности в борьбе за осуществление естественного права многострадального, но не сломленного народа жить на родной земле, права на независимость и суверенитет.

США

ФОЛКНЕР — ПОЭТ

То, что Уильям Фолкнер начинал свой творческий путь как поэт, факт хорошо известный. Известно было также, что на его ранние поэтические опыты сильное влияние оказала модная среди поэтов США первой четверти XX века техника французских символистов, чье творчество неустанно пропагандировали «отцы-основатели» англо-американского модернизма Паунд и Элиот. Слова в стихах Фолкнера и других американских «символистов» десятых годов группировались вокруг некой смысловой «пустоты» — того, что не могло быть выражено буквально и присутствовало как бы «по ту сторону» поэтического текста. Как позднее признавался Фолкнер, в своей прозе он стремился к аналогичному эффекту: длинные, громоздящиеся друг на друга, словно набегающие волны, предложения должны были передать невысказанное, но «угадываемое» читателем эмоциональное состояние героя — так происходит, например, в романе «Шум и ярость» (см. «ИЛ», 1973, № 1, 2).

Стихи молодого Фолкнера, написанные им между 1916 и 1924 годами, представляли собой, пишет обозреватель еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», не отдельные самостоятельные произведения, но части больших лирических циклов, которые были сродни поэмам «Хью Селвин Моберли» Паунда и «Бесплодная земля» Элиота. В 1921 году Фолкнер написал большой, в 88 страниц, лирический цикл «Весеннее видение», единственный машинописный экземпляр которого он подарил своей невесте. Потом текст был утерян. Случайно сохранившаяся его фотокопия, найденная недавно, стала основой книги, опубликованной издательством университета штата Техас.

Многие образы в «Весеннем видении», отмечает обозреватель, напоминают па-

---

В связи с безвременным уходом из жизни американского писателя Трумена Капоте, чье творчество, по мнению рецензента «Юманите», было «кратким и блестящим», в газете воспроизведена уникальная фотография 1955 года, запечатлевшая писателя вместе с Мерилин Монро, когда оба они были в зените славы. В подписи к ней также сказано, что «и у изголовья актрисы, и возле тела автора «Обыкновенного убийства» («ИЛ», 1966 № 3, 4) были найдены «успокоительные таблетки», приведшие к смерти.

(Газета «Юманите»)

рафразы лирики Элиота десятых годов. Есть даже дословные совпадения поэтических строк, которые, очевидно, носят пародийный характер. Вместе с тем стихи Фолкнера звучат откровенно подражательно и едва ли представляют собой сколько-нибудь значительную художественную ценность. Они, впрочем, интересны как литературный памятник, как документ, отражающий первые шаги Фолкнера к большому искусству.

ФРАНЦИЯ

НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЦЕСС

В парижском Дворце Правосудия состоялся необычный процесс: слушалось дело о преступлении, совершенном... 117 лет назад, а на скамье подсудимых находились герои романа Эмиля Золя «Тереза Ракен». Заседание, продолжавшееся более десяти часов, шло по всем правилам судопроизводства, один за другим давали показания свидетели, и, наконец, был оглашен приговор: обвинявшаяся в убийстве мужа Тереза оправдана, а ее сообщник Лоран осужден. Хотя Терезу и Лорана играли актеры Анн Лени и Флоран Жибассье, остальные участники, начиная с судьи и присяжных и кончая жандармами, обеспечивавшими общественный порядок, были настоящими.

Такие процессы над литературными героями устраиваются на впервые. Так, в 1969 году состоялся суд над Жюльеном Сорелем. Персонаж «Красного и черного» был оправдан, как и Тереза Дескейру, героиня одноименного романа Ф. Мориака. Но когда три года назад на скамье подсудимых оказался Раскольников, судьи были неумолимы: тридцать лет тюремного заключения...

Жак Перимон, руководитель студии театрального мастерства, которому принадлежит инициатива проведения подобных «процессов», видит в них идеальную возможность для молодого актера слиться целиком со своим героем, жить его жизнью, прошлым, настоящим: «Весь интерес в том, что актеру приходится действовать в одиночку. Он выступает одновременно в роли режиссера, сценариста, костюмера. Это искусство театра в чистом виде». Никаких репетиций накануне «суда» не проводится, никто не учит наизусть свой текст. актеры импровизируют. И тем не менее «литературные» процессы — захватывающий спектакль, за которым увлеченно следят пришедшие во Дворец Правосудия зрители.

Известная артистка кино Даниэль Дарьё (советским зрителям она знакома, например, по фильму «Красное и черное») после длительного перерыва вновь появилась на киноэкране в картине режиссера Поля Веккиали «На последней ступени». В этом фильме она играет вдову художника, возвращающуюся после 20 лет отсутствия в родной город, где она была счастлива до того, как в войну был убит ее муж, запятнавший себя сотрудничеством с петеновцами и фашистами. Героиня Д. Дарьё отказывается считать кару, постигшую ее мужа, справедливой и жаждет отомстить всем тем, кто был причастен к его смерти. Однако встречи с людьми, знавшими ее в юности, беседы с очевидцами событий заставляют ее по-иному увидеть и понять далекое военное прошлое, помогают подняться над своим личным горем, пробуждают ее политическое сознание.
Фильм «На последней ступени» П. Веккиали, пишет рецензент киножурнала «Премьер», призван, в частности, вызвать интерес к прошлому у молодежи, не знавшей войны. А для многочисленных поклонников Даниэль Дарьё — это возможность насладиться талантливой игрой актрисы.
На снимке: Даниэль Дарьё.

(Журнал «Премьер»)

ФРГ

ПОИСКИ ВИМА ВЕНДЕРСА

Как уже сообщалось, фильм «Париж — Техас», созданный западногерманским режиссером Вимом Вендерсом, завоевал одну из самых почетных кинематографических наград мира — Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Все рецензенты, обозревавшие Каннский кинофестиваль, как, например, французская газета «Монд», называют фильм «самым волнующим произведением последних десяти лет». А критик журнала «Шпигель» предваряет свою рецензию словами: «Писать об этом фильме означает безнадежную попытку словами передать интенсивную и завораживающую силу его образов».

Эта картина имеет в творческой биографии режиссера довольно длинную предысторию. В 1978 году он был приглашен в Голливуд, чтобы поставить фильм «Хэммет» (демонстрировался во внеконкурсной программе XIII Московского МКФ). Съемки картины из-за разногласий, возникших между продюсером и режиссером, затянулись на целых четыре года и не принесли режиссеру большого творческого удовлетворения. Чтобы не терять времени даром, параллельно с «Хэмметом» он снимал еще две ленты: «Молния над водой» и «Положение вещей». Последняя картина, рассказывающая о переживаниях европейского режиссера, ангажированного на постановку американской картины, принесла ему Главный приз Венецианского кинофестиваля 1982 года. Фильм «Париж — Техас». единодушно признанный рецензентами лучшим произведением об американской действительности начала 80-х годов, снимался как франко - западногерманская копродукция. Это позволило Вендерсу избежать диктата американских продюсеров, от которых он натерпелся во время работы над «Хэмметом».

В роли Джейн снялась соотечественница Вендерса — актриса Настасья Кински, известная советским зрителям по фильму Р. Полянского «Тэсс».

На снимке: Настасья Кински—исполнительница главной роли в фильме «Париж—Техас».

(Журнал «Премьер»)

◆

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Редколлегия журнала «Иностранная литература» отмечает как лучшие следующие работы авторов художественного перевода, опубликованные на наших страницах в 1984 году:

Е. СУРИЦ — перевод романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй».

И. ТЫНЯНОВА — перевод романа Алехо Карпентьера «Арфа и тень».

А. СЕРГЕЕВ — перевод романа Воле Шойинки «Аке, годы детства».

Н. ГЛЕН — перевод рассказов Дончо Цончева.

Е. СОЛОНОВИЧ — перевод стихов Джузеппе Джоакино Белли.

М. ДУДИН — перевод стихов Роберта Блая.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109 017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 29.10.84. Подписано в печать 14.12.84. А 03987. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 28,52.

Тираж 418 000 экз. (1-й завод: 1—368 000 экз.) Зак. 3803.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ЖАН БАТИСТ СИМЕОН ШАРДЕН «Женщина, чистящая овощи».

Цена 1 руб. 80 коп.

Индекс 70394